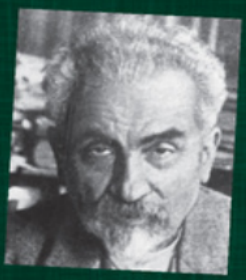
В. М. АЛПАТОВ

ЯЗЫКОВЕДЫ, ВОСТОКОВЕДЫ, ИСТОРИКИ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

- Владимир Михайлович Алпатов
  -
  - Предисловие
  - Громовержец
  - Человек-словарь
  - «Никуда не годный заговорщик»
  - Крестьянский сын
  - Метеор
  - Трудное плавание по течению
  - «Колоссальный продуктор»
  - Дважды умерший
  - Первая женщина
  - Грустная судьба
  - Петр Саввич
  - Человек-столетие
  - Человек в трех зеркалах
  - Выдвиженец
  - Мудрый директор
  - Мемуаристка
  - Этот бескомпромиссный Сыромятников
  - Лектор-директор
  - Нестандартный человек
  - Дойти до языка Адама
  - Об отце

- О матери

Владимир Михайлович Алпатов
Языковеды, востоковеды, историки

© Алпатов В. М. 2012
© Языки славянских культур, 2012

Предисловие

Предлагаемая читателю книга не соблюдает «чистоту жанра». Она совмещает в себе научный и научно-популярный подход, рассказ о научных идеях, биографический анализ и элементы мемуаров. Автор книги уже много лет занимается историей отечественной науки XX в., постепенно расширяя рамки исследований: сначала история японского языкознания, потом изучение языкознания вообще, наконец, и история развития ряда других гуманитарных дисциплин. А история науки включает в себя, по крайней мере, два компонента: историю идей и историю людей. Можно, разумеется, ограничиваться исключительно историей идей (сейчас это применительно к лингвистике стали называть лингвистической эпистемиологией) и полностью отвлекаться от истории людей. И я так поступал и буду поступать во многих своих публикациях. Однако, занимаясь историей науки, сталкиваешься с тем, что те или иные идеи и концепции выдвигали интересные люди с яркими судьбами. И, бывало, хотелось поделиться с читателем малоизвестными фактами их биографий, а в ходе работы не раз всплывали совершенно новые сведения, в том числе архивные. А в советской науке XX в., особенно его первой половины, пожалуй, как ни в какой другой, трудно отделить историю идей в чистом виде от обстоятельств, в которых эти идеи вырабатывались и провозглашались. Традиционная биография ученого бедна внешними событиями: тогда-то родился и умер, там-то учился, там-то работал, то-то опубликовал, но редко так получалось в годы революций, войн, коренной ломки общественных отношений. В судьбах многих моих героев бывали и взлеты, и падения. Но даже если событийная сторона жизни была более или менее спокойной, что во второй половине века стало нормой, то могло быть немало внутренних сложностей: многим приходилось проходить через переоценку ценностей, непризнание и непонимание со стороны окружающих и многое другое. А многие концепции вообще неотделимы от личности их автора; яркий пример – Н. Я. Марр.

В биографиях многих моих «героев» отразилось сложное и интересное время их жизни. Они нередко дают представление не только об истории тех научных дисциплин, которыми они занимались, но и обо всей истории нашей страны за последнее столетие. Я, разумеется, не ставил себе задачу написать сколько-нибудь связный исторический очерк, но, как мне представляется, кое-какую информацию эти судьбы могут давать. Безусловно, в моих оценках немало субъективного, но мне очень хотелось бы

отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Моя научная жизнь сложилась так, что я по образованию и основным занятиям – языковед (или, что то же самое, лингвист), но после окончания МГУ более сорока лет работаю в академическом Институте востоковедения, где страны Азии и Северной Африки изучают не только в лингвистическом аспекте, но и в историческом, культуроведческом, политологическом, экономическом и т. д. Можно ли считать востоковедение единой наукой? Это спорно, но общее в разноплановых исследованиях той или иной страны Востока (скажем, Японии) все же есть, а наше классическое востоковедение, последних представителей которого (например, Н. И. Конрада) я еще застал, занималось своими странами и народами во всех аспектах. Поэтому меня с давнего времени интересовали и история лингвистики, и история востоковедения (в состав которого традиционно входит и восточное языкознание), а среди персонажей книги присутствуют и чистые лингвисты, не все из которых занимались восточными языками, и востоковеды, независимо от того, занимались ли они специально языками или нет. Были и ученые, одновременно работавшие и как лингвисты широкого профиля, и как востоковеды (Н. Я. Марр, Е. Д. Поливанов). Кроме того, некоторые из рассматриваемых здесь ученых могли заниматься и другими вопросами: публикациями памятников, литературой, этнографией и др. Все это тоже как-то здесь учитывается. Я не стремился охватить в очерках всех наиболее крупных отечественных ученых, мой отбор персонажей иногда случаен, а их вклад в науку неравноценен, но мне каждый из моих «героев» представлялся хоть чем-то интересным.

Среди персонажей моих очерков есть немало людей, наследием и биографией которых я занимался, но которых никогда не мог видеть, поскольку они умерли еще до моего рождения. Однако некоторых ученых и организаторов науки я знал: одних по филологическому факультету МГУ, где я учился, а позже стал по совместительству преподавать, других по Институту востоковедения. Какими-то из своих воспоминаний мне хотелось бы поделиться, хотя среди моих очерков вряд ли хотя бы один можно назвать мемуарами в чистом виде. Кроме того, я решился рассказать и о своих родителях, которые тоже работали в советских гуманитарных науках. Они, правда, не были ни лингвистами, ни востоковедами в традиционном для нашей страны понимании; они были историками. Но я, сам не будучи историком, включил и их в свою галерею.

О большинстве своих «героев» я уже не раз писал и

публиковал статьи, а иногда и книги. Но эти публикации, как правило, были рассчитаны на читателя-профессионала. А мне хочется рассказать о них и более широкому читателю. Поэтому я сознательно отказался от научного аппарата, от систематической библиографии (источники приводимых в книге цитат можно найти в других моих публикациях), значительно упрощаю изложение научных концепций своих персонажей. Однако я не счел возможным ограничиваться только биографическим и мемуарным материалом. Важно было и показать вклад моих «героев» в науку, поэтому я старался как-то рассмотреть и их научные взгляды, пусть упрощенно.

В качестве первого варианта данной монографии я могу рассматривать небольшую книгу «Москва лингвистическая», изданную в 2001 г. издательством Института иностранных языков. В нее были включены очерки о ряде лингвистов, про девять из которых рассказывается и здесь. Однако здесь все эти очерки значительно переработаны и расширены.

Об ученых, здесь рассмотренных (кроме троих), ранее у меня выходили публикации. Некоторые из них послужили основой для данных очерков, но все они в ходе подготовки книги к печати подверглись той или иной правке. Далее приводится список основных публикаций. Часть из них была выполнена совместно с ныне покойным Ф. Д. Ашниным на основе архивных исследований, большей частью принадлежавших моему соавтору; однако за тексты каждой из этих публикаций я несу полную ответственность.

Н. Я. Марр:

История одного мифа. Марр и марризм. М.: Наука, 1991. 2-е изд. М.: УРСС, 2004.

Актуально ли учение Марра? // Вопросы языкознания. 2006. № 1.

Н. Я. Марр и народные этимологии // Вопросы филологии. 2009. № 1.

Д. Н. Ушаков:

Дмитрий Николаевич Ушаков – ученый и человек // Арбатский архив. II. М., 2009.

Н. Н. Дурново:

«Дело Славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С Ф. Д. Ашниным.

Николай Николаевич Дурново // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. № 4. С Ф. Д. Ашниным.

А. М. Селищев:

«Дело Славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С Ф. Д. Ашниным.

Е. Д. Поливанов:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 35–66. Ищите в расстрельных списках. К 100-летию со дня рождения Е. Д. Поливанова // Азия и Африка сегодня. 1991. № 12.

Евгений Дмитриевич Поливанов // Отечественные лингвисты XX века. Ч. 2. М.: ИНИОН, 2003.

Н. И. Конрад:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 83–97. Николай Иосифович Конрад. К 100-летию со дня рождения // Восток. 1991. № 2.

Предисловие // Николай Конрад. Неопубликованные работы. Письма. М., 1996.

Академик Николай Иосифович Конрад // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. № 5–6.

Николай Иосифович Конрад (1891–1970) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3. Древний мир и Средние века. М.: Наука, 2004.

Н. А. Невский:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 77–82. Николай Александрович Невский // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. № 6.

«Колоссальный продуктор» // Русское подвижничество. К 90-летию Д. С. Лихачева. М.: Наука, 1996.

Н. И. Конрад и Н. А. Невский:

Конрад и Невский // Российские востоковеды. Страницы памяти. М.: Муравей, 1998.

Е. Д. Поливанов, Н. И. Конрад и Н. А. Невский: Три японист а // Знание-сила. 1992. № 1.

Н. Ф. Яковлев:

Жизнь и труды Николая Феофановича Яковлева // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1994. № 4, 5. С Ф. Д. Ашниным.

Николай Феофанович Яковлев // Отечественные лингвисты XX века. Ч. 3. М.: ИНИОН, 2003.

Р. О. Шор:

Розалия Осиповна Шор // Вопросы языкознания. 2009. № 5.

В. Н. Волошинов:

Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2005.

П. С. Кузнецов:

Петр Саввич Кузнецов (к 100-летию со дня рождения) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. № 1.

Воспоминания о Петре Саввиче Кузнецове // Фортунатовский сборник. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

В. И. Абаев:

Предисловие // Абаев В. И. Статьи по теории и истории языкознания. М.: Наука, 2006.

В. И. Абаев – теоретик языкознания // Вопросы языкознания. 2009. № 3.

П. С. Кузнецов и В.И. Абаев:

Эпизод идейной борьбы в советской лингвистике // Ирано-Славика. 2008. № 1–2.

М. Ю. Юлдашев:

Двое из Саранска // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2001. № 2.

Т. П. Ломтев:

Тимофей Петрович Ломтев // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Серия 6. Отечественное языкознание. 1995. № 3.

Б. Г. Гафуров:

Мудрый руководитель и наставник // В масштабе века. Бободжан Гафурович Гафуров. М.: Посольство Республики Таджикистан, 1999. То же. Академик Бободжан Гафуров. К 100-летию со дня рождения. М.: Восточная литература, 2009.

К. А. Антонова:

О мемуарах К. А. Антоновой // К 100-летию со дня рождения К. А. Антоновой. М.: Восточная литература, 2011.

Н. А. Сыромятников:

Этот бескомпромиссный Н. А. Сыромятников // О коллегах и товарищах. Московские востоковеды 60–80-х годов. М.: Восточная

литература, 1994.

М. А. Алпатов:

Об отце // История и историки. 2004. Историографический вестник. М.: Наука, 2005.

З. В. Удальцова:

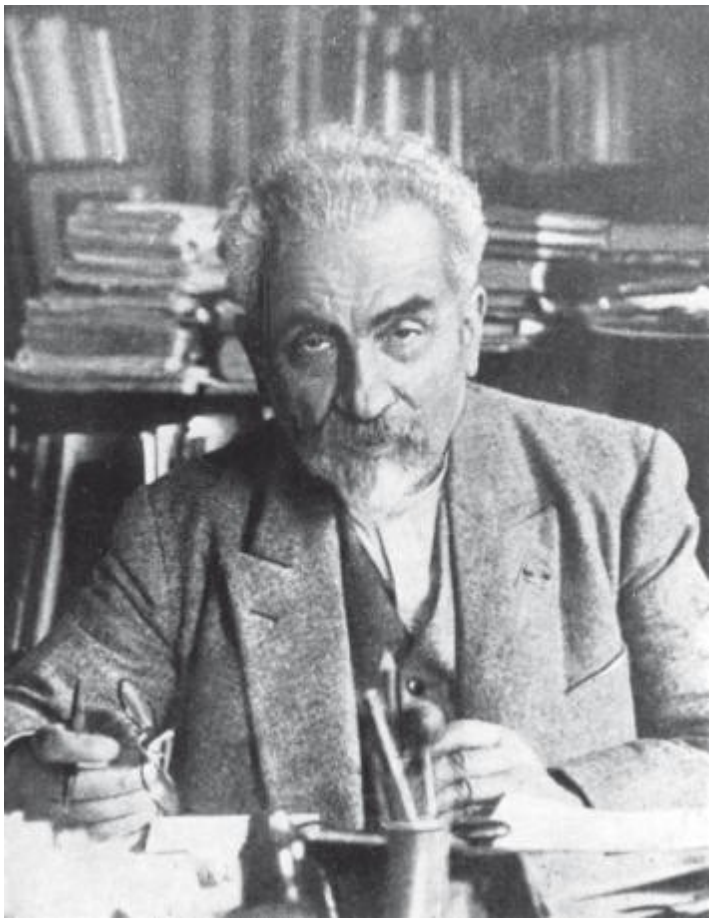
Член-корреспондент АН СССР Зинаида Владимировна Удальцова (1918–1987) // Новая и новейшая история. 2008. № 6.

Удальцова Зинаида Владимировна (1918–1887) // Портреты историков. Том 5. Средние века. Новая и новейшая история. М.: Наука, 2010.

О ряде рассматриваемых ученых см. также публикацию:

Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 1 (53). Очерки, за исключением двух последних, расположены в порядке дат рождения их персонажей.

Громовержец
(Н. Я. Марр)



Имя академика Николая Яковлевича Марра (1864/1865–1934) я узнал в очень раннем детстве, когда мне еще не было и четырех лет. Меня иногда водили в дом тетки моей матери, скульптора З. Д. Клобуковой. В огромной коммунальной квартире с высоченными потолками в центре Москвы, переделанной из парадных залов барского дома Горчаковых, большую комнату занимала ее мастерская. Она вся была уставлена скульптурами, казавшимися ребенку громадными. Помню, как Зинаида Дмитриевна показывала их мне и рассказывала, кто есть кто. И был там мрачный бородатый человек, рядом с которым стояла скульптура солдата, про них было сказано: «Это академик Марр,

это красноармеец. Они у меня разговаривают». Много позже я узнал, что Клобукова была знакома с Марром, лепила его с натуры, но когда я заинтересовался этой личностью, ее уже не было на свете.

Прошел год, и помню лето, дачу в Кратове и поселковый радиорепродуктор, из которого разносилась статья И. В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании». Мне в пять лет запомнились из нее лишь два неоднократно повторявшихся слова «базис» и «надстройка». Но стало ясно, что академик Марр – вовсе не такой хороший человек, каким представляла его сестра моей бабушки. Впрочем, скульптура продолжала стоять в мастерской еще много лет, но, увы, после смерти Зинаиды Дмитриевны в 1968 г. родственники продали ее вместе с другими оставшимися скульптурами неизвестно куда, и следы ее затерялись.

Когда я начал учиться лингвистике, то узнал, что и после разоблачения «культа личности» учение Марра не признали. В нашем обучении он почти не присутствовал (только в курсе истории лингвистики В. А. Звегинцев его упоминал, но отзывался о нем резко). Зато помню, как на научном студенческом обществе студент старшего курса Сергей Кузнецов (ставший впоследствии известным лингвистом) рискнул выступить с докладом о Марре, что по тем временам (1966 г.) выглядело экзотикой. Впрочем, он мало что сумел сказать в защиту академика, кроме общих слов о том, что тот подходил к своему предмету комплексно и совмещал в себе лингвиста, археолога и историка.

И потом Марр был для меня где-то далеко, пока не грянула перестройка. Все, связанное с главным критиком Марра, вдруг стало сверхактуальным, начались становившиеся все более злыми его разоблачения. Это вызывало (не у лингвистов, а у философов и особенно писателей и журналистов) сочувствие к любым его «жертвам», и к Марру тоже. Пошли публикации, авторы которых иногда даже не знали, что академика критиковали более чем через пятнадцать лет после его смерти. А я весной 1987 г. закончил большую тему и не мог сразу разобраться, чем заняться дальше. Потом у меня умерла мать, я долго был выбит из колеи. И тут в конце октября востоковед Петр Михайлович Шаститко (1923–2009) предложил мне написать в журнал «Народы Азии и Африки» статью о значении дискуссии 1950 г. для советского востоковедения. Я вдруг понял, что это то, что мне сейчас нужно.

Я начал работать в библиотеках, читать сочинения Марра, его сторонников и противников, встречаться с участниками и свидетелями тех событий (в конце 80-х их было еще много, я охватил около двух десятков людей, из которых сейчас не остался в живых никто). И тема меня захватила. Материала оказалось

столько, что помимо статьи сама собой получилась книга «История одного мифа: Марр и марризм» (к сожалению, из-за неспешности издательства «Наука» книга, написанная в 1988 г., вышла лишь осенью 1991 г., уже в другую историческую эпоху, когда эффект новизны прошел). Я думал, что книгой исчерпал тему, и перешел на другие сюжеты, но оказалось, что академик меня не отпускает, к тому же неожиданно тема Марра приобрела новую актуальность, о которой я скажу в конце. И за прошедшие два десятилетия пришлось писать и о параллелях между марризмом и марксизмом, и о причинах выступления Сталина, и о методах этимологизирования Марра, и о многом другом, полемизировать с неожиданно появившимися «неомарристами». В 2004 г. «История одного мифа» вышла вторым, дополненным изданием. А, рассказывая здесь о персоналиях советских лингвистов, нельзя пройти мимо столь мощной и яркой фигуры, ставшей с 1987 г. моим «вечным спутником».

Николай Яковлевич Марр – по выражению его ученика В. И. Абаева, «без сомнения, если не самое знаменитое, то самое “шумное” имя в истории советской науки». Его считали великим ученым, сравнивали с Коперником и Дарвином, но могли и полностью зачеркивать его вклад в науку и сожалеть о бумаге, исписанной его сочинениями. Ушли из жизни последние люди, его знавшие, но споры о нем продолжаются.

В его биографии все было необычно, начиная с происхождения. Его отец Джеймс (по другим источникам, Джекоб) Марр, шотландец-садовник, оказался заброшен судьбой в Закавказье, где в восьмидесятилетнем возрасте женился на двадцатилетней грузинке. От этого брака в Кутаиси родился Николай Яковлевич. Как он впоследствии рассказывал, у его родителей не было общего языка: отец говорил по-английски и по-русски, мать – только по-грузински. Но, безусловно, родным языком Николая Марра был грузинский (по-русски он говорил свободно, но с заметным акцентом), и детство он провел среди грузин. В Кутаисской гимназии мальчик выделялся способностями, но также и странностями поведения: однажды, поругавшись с товарищами, он положил в мешок свои книги и пошел по шпалам в Тифлис, а потом еще дважды убегал из гимназии. Как позже писал сам Марр, в те годы он увлекался идеями независимости Грузии, вдвоем с товарищем они как-то поклялись отдать за это жизнь, но, как сам добавляет, его товарищ стал директором банка, а он академиком.

Марр всю жизнь был очень честолюбив, но, выбирая профессию, не мог не учитывать, что человеку не дворянского происхождения в тогдашней России многие пути были закрыты.

Из того, что было доступно, служить в банке, очевидно, не казалось интересным, духовная карьера не считалась престижной, а для какой-либо революционной борьбы в «глухое царствование» Александра III перспектив не было видно. Оставалась наука, и этот выбор оказался фатальным даже не для самого Николая Яковлевича (его карьера как раз удалась), а для отечественной науки. При больших талантах будущий академик по складу мог быть выдающимся проповедником, революционером, может быть, поэтом, но научные занятия ему были противопоказаны. Как пишет современный исследователь Я. В. Васильков, «чтение работ Марра наводит на мысль, что он вряд ли отчетливо понимал различие в принципах научного – и художественного, поэтического творчества. Подобно поэту, он не считал нужным подвергать свои интуитивные прозрения анализом фактов и логической аргументацией». И, как писал еще в 50-е гг. один из его критиков Б. В. Горнунг, «сначала следовал вывод, а потом уже изучение и исследование материала с готовой предвзятой идеей. Этому принципу, впервые примененному в юности, Н. Я. Марр остался верен всю свою жизнь». Ученые не должны так работать.

Но, став в 1884 г. благодаря кавказской стипендии студентом восточного факультета Петербургского университета, Марр сразу же показал свои таланты. Тогда студенты на факультете учили либо один восточный язык, либо два-три языка, культурно связанные (например, иранисты кроме персидского языка учили арабский). А Марр стал учиться сразу на четырех разрядах, что не имело на факультете прецедентов, и выучил все языки Ближнего Востока, там преподававшиеся. Одним из его талантов был полиглотизм. Но его подготовка имела существенный пробел. Студентов-востоковедов тогда учили в основном читать старинные рукописи, но не учили лингвистике. Исключительно развитое к тому времени сравнительно-историческое языкознание (о нем подробнее всего см. в очерке о С. А. Старостине) не преподавалось востоковедам. И Марр, в ранние годы принимавший его постулаты, просто не умел работать в этой области, в чем даже не было его вины. Но потом именно по этой причине ему было легко эти постулаты отбросить.

Окончив в 1888 г. университет, молодой ученый решил специализироваться по кавказоведению; в этой области на факультете у него не оказалось сильных конкурентов. При этом с самого начала он не ограничивался грузинской филологией, занявшись и Арменией, позже он включил в сферу интересов и другие языки и культуры Кавказа. К тому времени его национальные симпатии сменились общекавказскими (уже в годы Гражданской войны правившие в Грузии меньшевики предложили

Марру стать ректором нового Тбилисского университета, он отказался, поскольку создавался чисто грузинский университет, а он настаивал на межнациональном университете с грузинским, армянским и азербайджанским факультетами). И уже в ранние годы у него были любимые идеи, которые он отстаивал, даже если они противоречили научно установленным фактам. Одной из них была идея о великом историческом прошлом кавказских народов. Другой – усвоенный с детства тезис об особой близости грузин и армян, который хотелось подкрепить доказательством родства их языков. Но сравнительно-историческое языкознание к тому времени установило, что армянский язык входит в обширную индоевропейскую семью, с грузинским же языком ясности не было, но, во всяком случае, он никак не мог считаться индоевропейским. Уже это вызвало недовольство молодого ученого.

Но пока еще Марр в основном следовал канонам своей профессии. Выдвинулся он не как языковед, а как филолог, затем как археолог (хотя в это время он написал и лучшие свои лингвистические работы, в том числе грамматику родственного грузинскому лазского языка, и сейчас ценимую специалистами). В ранний период своей деятельности он совершил несколько путешествий на Кавказ, на Афон и Синай, где изучал библиотеки православных и армяно-григорианских монастырей, найдя там ценные древнегрузинские и древнеармянские рукописи, которые издал. Видный немецкий богослов А. Гарнак после этого писал, что Марр доказал принадлежность грузин к «великой греко-христианской семье народов древности». Все эти памятники были церковными, сам Марр в те годы был старостой грузинской церкви в Петербурге и принимал участие как эксперт в канонических спорах. Кто мог тогда представить, что он единственным из членов Императорской академии наук вступит в партию большевиков? А как археолог Николай Яковлевич достиг еще больших успехов. В основном он раскапывал армянские памятники, прежде всего, древнюю столицу Армении Ани. В связи с этим его имя до сих пор окружено почетом в Армении (намного больше, чем в его родной Грузии).

Но и в начале XX в. Марр был популярен. Вехи его биографии уже в дореволюционные годы – неуклонный путь вверх: с 1891 г. приват-доцент, с 1899 г. магистр, с 1900 г. экстраординарный профессор, с 1902 г. доктор и ординарный профессор, с 1909 г. адъюнкт Академии наук, с 1911 г. – декан восточного факультета, с 1912 г. академик. Он быстро вошел в когорту знаменитых русских востоковедов. Позже его ученик академик И. А. Орбели скажет: «Вы знаете, что за люди были на факультете… Но…

поверьте, гений был только один – Марр».

Но чем больше, тем дальше проявлялись черты сложного характера Марра. В его некрологе работавший под его руководством на факультете академик В. М. Алексеев напишет: «Это грандиозный, бурный, беспредельный темперамент… Это был вечный гейзер, не деливший своих вод на струи и назначения, – вулкан, действовавший в едином огне и сотрясавший все вокруг… При столкновении с людьми… особенно с людьми более размеренной жизни и более размеренных убеждений, не мог не причинять себе и им обид и огорчений, тем более что в окружающей действительности он вряд ли мог встретить людей, понимавших его во всех статьях». Сам Алексеев испытал этот темперамент и на себе: в 1913 г. Марр, тогда декан, запретил ему читать курс по учению Лао-Цзы, поскольку там излагалась «атомистическая теория на футуристическом языке». А сам Николай Яковлевич писал: «Я привык слушать всех, кто давал мне советы (а их так много), чтобы тем резче часто сделать совершенно противоположное». Единственным человеком, имевшим на него влияние, был его учитель, крупный востоковед барон В. Р. Розен, который уговорил его не публиковать наиболее вызывающие положения до защиты докторской диссертации, но после его смерти в 1908 г. воздействовать на вулкан стало некому.

Ситуация усугублялась негласным кодексом поведения, существовавшим в среде востоковедов: не высказываться по тематике, выходящей за пределы их узкой специализации, и тем более по языкам, досконально не изученным. А поскольку в университете крупных кавказоведов, кроме Марра, не было, то критические выступления по его адресу были невозможны. Марр заботился о своем монополизме, точнее, о монополизме своей школы: к моменту революции у него уже было немало учеников, среди них такие крупные ученые как И. А. Орбели, И. А. Джавахишвили, А. Г. Шанидзе. А чужаков он старался изгнать из кавказоведения, так, он не дал возможности продолжать занятия армянским языком видному языковеду А. И. Томсону, опубликовавшему армянскую грамматику (именно Томсон спустя много лет пожалеет исписанную Марром бумагу). Не мог он до конца справиться лишь с конкурентами из Грузии и Армении, где, особенно в Грузии, всегда существовала ему оппозиция. Там могли разбираться в его построениях, тогда как петербургские коллеги исходили из презумпции научной достоверности и не догадывались, что и в ранний период ученый мог, если в толковании места в памятнике одно слово не укладывалось в его концепцию, зачеркнуть слово и делать вид, что его нет.

Сам Марр указанному кодексу не следовал. Ранний период его деятельности – эпоха господства позитивизма, когда не только в востоковедении, но в любой гуманитарной науке господствовали «преклонение перед фактом», по выражению В. Н. Волошинова, и боязнь обобщений. Марра же с самого начала тянуло к разнообразным глобальным сюжетам от происхождения языка (глоттогенеза) до миграций народов в древности. Общность этих сюжетов была лишь в одном: Марр сохранил господствовавшее весь XIX в. понимание любой гуманитарной науки, в том числе языкознания, как науки исторической, и тяготел к изучению древнейших, дописьменных и, как тогда часто говорили, «доисторических» эпох. Эти эпохи не могли изучаться филологическими методами, основанными на анализе письменных текстов; дальше вглубь веков заходили лишь археология и сравнительно-историческое языкознание (компаративистика), позволявшее реконструировать праязыки, из которых развились реально зафиксированные языки. Но, во-первых, эти две дисциплины не могли состыковаться между собой: археологические данные оказывались безгласными, а языковые данные очень трудно было привязать к какой-либо археологической культуре. Во-вторых, любые реконструкции получают праязыки, существенно не отличающиеся от современных языков; на их основе нельзя судить о том, как далекие предки человека научились говорить. А Марру хотелось узнать обо всем этом, хотя фактов в его распоряжении не было, зато были богатая фантазия и умение безапелляционно излагать свою точку зрения.

Аппетиты Николая Яковлевича росли постепенно. Поначалу его построения еще находились в рамках допустимых в науке гипотез, хотя доказывать он их не умел. Еще в год окончания университета он выступил со статьей, где без всяких доказательств высказал две основополагающие идеи: о существовании особой семьи языков, которые он назвал яфетическими, и о более отдаленном родстве яфетических языков с семитскими. Как известно, у библейского Ноя были три сына Сим, Хам и Яфет (Иафет). В лингвистике давно выделялись семитская и хамитская семьи, а яфетической не было (хотя в Библии к сынам Яфета как раз отнесены в основном народы, говорившие на индоевропейских языках). И Марр предложил так называть языки, типичным представителем которых во всех многочисленных его вариантах этой семьи оставался грузинский. Снова развивать эти идеи Марр стал с 1908 г., когда опубликовал книгу о семито-яфетическом родстве. Там у него уже содержалось немало языковых примеров, однако никакой строгой методики

доказательства не было, поскольку Марр ею не владел. Когда книга вышла, один из академиков заявил ему: «Не ждите, что мы будем Вам помогать, но и мешать Вам мы не будем». Иначе отнеслись к ней и другим работам Марра зарубежные ученые, в частности, крупнейший французский лингвист того времени А. Мейе, выступивший с резкой критикой построений Марра: «Поразительные фантазии, в которых нет лингвистики». После этого Марр на всю жизнь возненавидел и самого Мейе, и всю не признававшую его западную науку. В начале 20-х гг. он попытается создать международный Яфетический институт, но потерпит неудачу.

Яфетические исследования на их первом этапе нельзя оценить однозначно. Их положительной стороной стало изучение языков Закавказья, действительно родственных грузинскому: лазского, мегрельского, сванского, а также грузинских диалектов; здесь вклад в науку внесли и сам Марр, и его ученики. Но, как писал его ученик В. И. Абаев (см. очерк «Человек-столетие»), «выискивание яфетических элементов во всех языках обращается у Марра в своеобразную манию». В число яфетических академик стал включать все, что, по его собственному выражению, «плохо лежит»: баскский язык, совершенно не похожий на окружающие его языки Европы, нерасшифрованный язык этрусков, язык пеласгов, о котором не было известно ничего, кроме названия. Потом он начал объявлять яфетическими и языки с известными родственными связями: чувашский, берберский и др. И всегда яфетическим языком оказывался армянский. Именно безуспешные попытки доказать грузино-армянское родство привели Николая Яковлевича к двум ключевым идеям, которые он сохранит до конца, даже когда вообще откажется от родства языков: скрещения языков и классовости языка.

Идея скрещения языков существовала в науке и до Марра. Не все лингвисты (в том числе такие крупные как И. А. Бодуэн де Куртенэ) были согласны с одним из постулатов сравнительно-исторического языкознания, согласно которому языки только расходятся, дробятся, но никогда не сходятся, не скрещиваются (влияние одного языка на другой может проявляться лишь в заимствованиях, которые не меняют генетической принадлежности языка). Английский язык эти ученые иногда считали смешанным германо-романским, а идиш – то ли германо-семитским, то ли германо-славянским. Тем более имелись основания считать смешанными языками всякие пиджины. Этот вопрос и поныне вызывает споры. Но Марр, как не раз с ним бывало, брал некоторую уже существовавшую идею и доводил до абсурда. Любой язык ему хотелось представить как результат

скрещения каких-то разных языков. Начал он с армянского языка, пытаясь первоначально примирить свою любимую идею с общепринятыми трактовками: этот язык, по Марру, результат скрещения «простонародного» яфетического языка с «княжеским» языком, который он соглашался считать индоевропейским. Так еще до 1917 г. возникла идея классовых языков, за которые потом будет критиковать Марра Сталин. В дальнейшем Николай Яковлевич распространил ту же идею на другие языки, причем яфетический компонент в соответствии с духом времени у него оказывался связан с народными массами, угнетенными, завоеванными и пр. Например, в Древнем Риме известна борьба патрициев и плебеев. Латинское слово plebs имеет собирательное значение, обозначая не одного человека, а совокупность людей. А в грузинском языке имеется показатель множественного числа -eb, который можно при желании выделить в pl-eb-s. Вывод: латинский язык – результат скрещения яфетического языка угнетенных плебеев и индоевропейского языка завоевателей – патрициев. Итогом данного этапа деятельности академика стала имевшая успех книга «Третий этнический элемент в Древнем Средиземноморье» (два первых элемента – индоевропейский и семитский, третий – яфетический).

Книга вышла в 1920 г., уже в новую историческую эпоху. К моменту революции карьера Марра складывалась успешно. Он был академиком и деканом, последняя должность дала ему гражданский чин действительного статского советника, что в армии соответствовало генерал-майору. Не будучи дворянином по рождению, он получил потомственное дворянство вместе с этим чином. В наши дни (как и в советское время) хорошо известно, как важно бывает добиться бюджетного финансирования отдельной строкой, а Марр (единственный во всей Академии наук) добился такого финансирования для своих экспедиций. В экспедициях он прежде всего приходил к местному начальству в генеральском мундире, вызывавшем почтение, и получал все, что ему было нужно. Вряд ли Николай Яковлевич мог радоваться тому, что происходило в стране в 1917-м и в последующие годы: ему было что терять. Однако, умея ладить с прежней властью, он начал налаживать отношения и с новой. И уже в первые послереволюционные годы он, получив поддержку наверху, создал и возглавил два научных учреждения: Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК, с 1919 г.) и Яфетический институт (с 1921 г.). Тогда в России почти не было научно-исследовательских институтов, наука в основном развивалась в вузах, а в гуманитарных областях основанные Марром учреждения вообще были в Советской России

первыми. Но тогда он еще не заявлял о своем марксизме.

Между тем яфетическая семья беспредельно расширялась, а объяснять родство яфетических языков древними миграциями оказывалось все труднее. И в ноябре 1923 г. академик Марр сделал заявление, которое потом рассматривалось его последователями как начало новой эры в языкознании. «Индоевропейской семьи расово отличной не существует», «вначале был не один, а множество племенных языков, единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция». Сравнительно-историческое языкознание перечеркивалось.

«Новое учение о языке», как Марр назвал свои построения, за последующее десятилетие менялось им много раз к ужасу студентов и аспирантов, которым надо было все это заучивать. Но некоторый стержень оставался, его можно свести к трем постулатам.

Постулат первый. Языки не дробятся, а только скрещиваются. У первобытных людей возник не единый язык, а множество языков, которые потом много раз скрещивались. В итоге должен возникнуть единый язык человечества. Последняя идея была у Марра с самого начала, но потом стала связываться с идеей коммунистического общества, которое тогда многим казалось очень близким (в Яфетическом институте даже пытались создать группу, которая бы выработала основы всемирного языка, но из этого ничего не получилось). Очевидно, что это уже упоминавшаяся идея смешанных языков, доведенная до абсурда.

Постулат второй. Все языки проходят с разной скоростью один и тот же путь стадиального развития, переход от одной стадии к другой – революционный скачок. Идея стадий также не была новой: общие законы такого развития пытались выяснить ученые в XIX в., но потом она была оставлена из-за недостаточной подкрепленности фактическим материалом. Только в XIX в. в стадиях видели отражение этапов развития человеческого мышления, а Марр выводил их из социально-экономических-отношений (в более позднем варианте, из общественных формаций). Кроме того, отказавшись от семей, он не мог отказаться от яфетических языков, и объявил их одной из стадий. Как и в случае со скрещением, академик довел уже существующие идеи до абсурда. Например, он считал, что на определенном уровне экономического развития любой народ будет называть воду su (как в тюркских языках). По его мнению, сходство языков, ошибочно считающихся родственными, не надо преувеличивать, зато он любил находить стадиально объясняемое сходство любого языка с теми языками, с которыми он сроднился: «Русский оказался по пластам некоторых стадий более близким к

грузинскому, чем русский к любому индоевропейскому, хотя бы славянскому». «Немецкий язык в древнейших частях не индоевропейский, а общий со сванским (в Грузии. – *В. А.*)».

Постулат третий. Звуковой язык, пришедший на смену первоначальному жестовому языку (кинетической речи), у всех людей возник в виде четырех «диффузных выкриков» САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ. Потом эти выкрики видоизменяли звуковой облик, из не членимых элементов превращались в последовательности звуков (фонем), комбинировались и получали грамматическое оформление. Однако в любом языке, в том числе современном, можно выделить реликты древних стадий вплоть до этих четырех элементов (это называлось лингвистической палеонтологией). Студентов заставляли «палеонтологически» препарировать любое слово, например, *адмиралтейство*. Опять-таки идея лингвистической палеонтологии и сам этот термин существовали до Марра, но искать в каждом слове каждого языка преобразованные «диффузные выкрики» или их комбинации в голову никому не приходило. Например, согласно Марру, элемент РОШ можно выделить в словах *русы* (русские), *этруски, лазы, лезгины, ручей, русалка, рыжий, русый, красный*.

Марр к этому времени уже мало считался с фактами, отбирая из них лишь то, что соответствовало его схемам. Впрочем, имелся круг языков, факты которых он все же старался не искажать. Это современный русский, современные французский, немецкий и английский, классическая латынь. То есть языки, входившие в круг знаний русского интеллигента того времени. Сюда, по-видимому, входили и языки, которыми он профессионально занимался, по крайней мере, грузинский. В наши дни, как это убедительно показал академик А. А. Зализняк, духовные преемники Марра А. Т. Фоменко с соавторами сократили число неприкосновенных для них языков до двух: современного русского и современного английского. Другие языки их читатели редко знают и принимают любые операции с ними на веру.

С другим материалом можно было поступать, как угодно. Теория стадий в ее традиционном варианте использовала в качестве единственного объективного критерия морфологическую сложность; сложные по этому параметру латинский и древнегреческий языки признавались самыми совершенными. Но камнем преткновения оказывались французский и другие романские языки, морфологически более простые, чем латынь, от которой они произошли. Это пытались объяснить то как «тонкое совершенствование» строя языка, то как регресс. Но для Марра проблемы не существовало: «французский, английский, немецкий языки глоттогонически древнее латинского», то есть находятся на

более ранней стадии. И это не результат регресса: французский язык – скрещенный галло-латинский, отсутствие в нем склонения и бедность спряжения – наследие яфетического галльского языка (о котором на самом деле очень мало что известно), то есть он вовсе не терял склонение и спряжение, но, может быть, разовьет их в будущем. Доказать это нельзя, но такую гипотезу хотя бы можно было предложить, если бы никакие промежуточные звенья между классической латынью и современным французским до нас не дошли. Однако существует немало текстов, отражающих промежуточные этапы развития, начиная от так называемой народной латыни и кончая средневековым французским языком, которые показывают разные этапы упрощения морфологии. Но Марр все это просто зачеркивал.

С эпохами, для которых фактов имелось достаточно, ему всегда было трудно; он, например, связывая стадии с формациями, сумел ни разу не сказать, чему в строе языка соответствуют феодализм и капитализм. Зато в «доистории» было, где разгуляться. Один из его критиков еще в начале 30-х гг. писал: «Яфетидология страдает органическим пороком – неестественной дальнозоркостью. Она смотрит или в палеонтологические сумерки прошлого или в манящие дали будущего».

И, по выражению критика «нового учения» Е. Д. Поливанова (героя очерка «Метеор»), «то, что является постоянной ошибкой Марра, – это борьба со временем – анахронизмы… Названия, которые можно было бы назвать племенными, вытянуты из топонимики и переносятся вдруг в эпоху зарождения человеческой речи». Раскол Европы на католиков и протестантов (XVI в.) академик возводил к доисторическим временам. Это не наука, зато вспоминается такой современник Марра как В. Хлебников: тот тоже, по выражению Г. О. Винокура, «в своем видении сразу обнимал одним взором все времена и весь мир… Он, в высшем, конечно, смысле, «не понимал» разницы между VI и XX в., между египтянами и полабянами».

Марр не избегал иллюстрировать свои схемы примерами, наоборот, у него всегда на голову читателя обрушивается масса примеров из мало кому известных языков (хотя специалисты по таким языкам выясняли, что многие из них вымышлены или искажены). Как отмечал Е. Д. Поливанов, русисты, читая Марра, говорили, что русская часть его построений неубедительна, зато про шумерский язык очень интересно, а специалист по шумерскому языку (вероятно, имеется в виду В. К. Шилейко) считал, что про шумерский язык все неправильно, зато про русский язык любопытно.

Работа Марра с материалом видна, например, в его многочисленных этимологиях. Вот его немецкая этимология, производящая Hundert ‘сто’ от Hund ‘собака’: собака – собака как тотем – название коллектива, объединенного тотемом – все – много – сто. Очевидно, что хотя Марр говорил о «семантических законах», но для него исходно фонетическое сходство, а семантическое развитие придумывается (откуда и на каком этапе взялось наращение -ert и что оно значит, Марр не объясняет). Или уже русский «семантический пучок» модификаций «выкрика» БЕР: смерды – шумеры – иберы – сумерки – смерть – змей. Имеем шесть слов, три из которых известны и привычны, а три других – исторические термины, происхождение которых неясно и надо толковать. Все они фонетически как-то похожи, причем нет никакой регулярности в их соответствиях, а сходство может быть и очень большим (смерды и смерть), и крайне приблизительным, а в некоторых парах даже отсутствовать (змей и иберы). Три привычных слова можно при некоторой фантазии связать по значению (по крайней мере, смерть с сумерками и смерть со змеем), а три термина получают толкование (по Марру, смерды – «иберско-шумерская прослойка» русских).

Все это – типичные народные этимологии, не раз предлагавшиеся непрофессионалами. Часто это даже не сходство, а тождество: Марр связывал имя *Глеб* со словом *хлеб*, но святой Глеб издавна считался покровителем хлебных злаков. И не смог он, как и не один подобный энтузиаст, пройти мимо сходства этрусков с русскими, правда, не связывая первую часть слова *этруски* с местоимением «*это*».

Конечно, ассоциации академика-полиглота были гораздо богаче и многообразнее ассоциаций людей, которые знали лишь один язык (а таких среди народных этимологов большинство). Он мог находить сходство в русском, мордовском и китайском названии коня и пр. Но различие это лишь количественное. Ничего, по сути, не меняло и то, что у Марра, конечно, были какие-то рабочие приемы. Это, во-первых, стремление включить в каждый «пучок» побольше всего и свести все в конечном итоге к минимальному числу исходных единиц: четырем элементам или их комбинациям. Во-вторых, некоторые излюбленные приемы этимологизирования: возведение слов к племенным названиям и к тотемам, к именам небесных светил и названиям руки как первоначального орудия речи. Кто-то другой на месте Марра, связывая Hund и Hundert, может быть, обошелся бы без тотема. Но никакой регулярности, к которой уже тогда стремились этимологи, у Марра не было, не потому, что он о ней не знал, а потому, что она мешала бы многим его любимым построениям.

И в народных этимологиях, и у Марра нет никаких ограничений на полет фантазии, кроме пределов знаний (Марр, разумеется, знал очень много, хотя часто мог путать, а иногда и подтасовывать факты) и хотя бы минимального звукового сходства. Марр, правда, не был здесь совсем одинок среди людей, имевших научные чины и звания. Один из первых русских профессоров востоковедения Осип Сенковский (сам поляк) на основе звукового сходства слов *лехи* и *лезгины* пришел к выводу о том, что польская шляхта – не славяне, а потомки кочевников. Чем не Марр, который в этих же словах находил элемент РОШ? Но во времена Сенковского вся этимология находилась на таком уровне, а во времена Марра уже существовали определенные правила, по которым велись этимологические исследования. Но Николай Яковлевич предпочитал играть без правил, возвращая науку на уровень начала XIX в., к давно пройденному этапу народных этимологий, «обыденного сознания». Марру хотелось, как и авторам бытовых этимологий (в которых цейхгауз превращается в чихаус, вермахт в верхмахт и т. д.) объяснить непонятные слова любого языка через созвучные слова, ему лично известные (грузинские, армянские, русские и др.).

Академик подходил к предмету исследований не как ученый (хотя что-то мог использовать из арсенала науки) и не как безумец, а как талантливый, склонный к рефлексии, обладающий хорошей интуицией, знающий много фактов, но совсем не образованный носитель языка (в его случае, нескольких языков). Поэтому его этимологии оставались народными этимологиями. Конечно, Марр имел образование и даже хорошее в своей области образование, но в лингвистике остался дилетантом.

И так же, как Сенковский, он на основе случайных звуковых сходств выдвигал масштабные исторические гипотезы. «В конечном счете, вся яфетидология построена на этимологиях, которые построены на звуковых сходствах» (Е. Д. Поливанов). Шумеры жили в Месопотамии в 3 тысячелетии до новой эры, иберы на Пиренейском полуострове в конце 2 – начале 1 тысячелетия до новой эры, смерды – категория русского крестьянства, зафиксированная в источниках с XI в. новой эры. Связывать их всех воедино означало переворот в истории, но основой было лишь звуковое сходство их названий. Зато Марр отвечал противникам: «Но что вы можете сказать – ведь это же факты». И увлеченные историки заявляли, как Б. Л. Богаевский: я, «не будучи лингвистом, использовал работу Н[иколая] Я[ковлевича] как неизбежную». Неспециалистам в лингвистике казалось, что теории академика дают основу для построений в области древнейшей истории. Но, как напишет критик Марра А.

С. Чикобава, «в сумерках доистории легко утверждать о вещах, которым вряд ли кто поверит при дневном свете истории». Но верили в это долго, как и в фантазии Марра о происхождении языка, которые нельзя было ни доказать, ни опровергнуть.

Люди, не знавшие лично академика, обычно видели в его поздних трудах лишь бред сумасшедшего. Эмигрант Н. Трубецкой писал Р. Якобсону, что работы «умственно расстроенного» Марра «рецензировать должен не столько лингвист, сколько психиатр». Но с этим не соглашались те, кто слышали его пламенные выступления: их сила и напор покоряли аудиторию. Могли убеждать и печатные работы. По воспоминаниям М. В. Панова, хороший лингвист А. М. Сухотин, противник марризма, восхитился статьей Марра «Конь от моря до моря», где обозревались слова с этим значением по всей Евразии и все выводились из одного корня. Сухотин восклицал: «Какая титаническая мощь мысли! Какой титанический размах!».

И самые бредовые идеи Марра были созвучны эпохе. Это были 20-е годы, время великих свершений и еще более великих надежд. Первые успехи на пути построения нового общества порождали ощущение возможности и близости всего, казавшегося прежде невероятным. Тогда всерьез надеялись успеть поговорить с рабочими всего мира на общемировом языке. И хотелось отрешиться от «закона, данного Адамом и Евой», во всем, включая науку. В области искусства адекватным выражением этого мировоззрения был авангардизм. См. в недавней газетной статье: «Яфетидология ближе к театру Мейерхольда и поэзии Хлебникова, чем к академической лингвистике». Но в науке этому мешали не только накопленные традиции, но и вся система научного мышления, совокупность принятых подходов. Научный авангардизм так и не смог сложиться в области естественных наук, где его абсурдность была слишком очевидна, в том числе на практике. И в гуманитарных науках его сдерживало хотя бы распространение марксизма, революционного по выводам, но сохранявшего принципы европейского научного мышления Нового времени: опору на факты, стремление доказывать свои утверждения. Маркс и Энгельс никогда не говорили и о создании ими «новой науки» с нуля и опирались на идеи предшественников. Однако «дух времени» искал пути проникновения и в науку. Марр, харизматический лидер, по складу характера более пророк, чем академический ученый, оказался идеальной личностью для роли создателя «авангардистской науки».

В «новом учении» были и многие другие черты, созвучные конъюнктуре 20-х гг., например, рассмотрение всех явлений «в

мировом масштабе», игнорируя национальные рамки, сочувствие к культурам и языкам «угнетенных народов» и борьба с европоцентризмом, постановка вопроса о языке коммунистического будущего. Конечно, в их число входили давно свойственные Марру крайне резкие оценки «буржуазной науки», особенно западной. Вот одно из его многочисленных высказываний: «Я прекрасно знаю, какие благородные, самоотверженные работники лингвисты-индоевропеисты, между тем как сама индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной общественности, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их убийственной колониальной политикой». Вторую часть этой цитаты потом повторяли многократно, опуская обычно первую часть.

Кроме созвучия с советской конъюнктурой 20-х гг., учение Марра привлекало и соответствием господствовавшим в ту эпоху (не только в СССР) идеям о всемогуществе науки. «Буржуазная» наука действительно не могла объяснить происхождение языка и закономерности «доистории», а Марр объявил, что теперь все это известно и понятно. И это притягивало к нему и людей, равнодушных к политике, а иногда и не симпатизировавших новому строю. А авторитет его как крупного востоковеда, созданный еще до революции, продолжал сохраняться. Сложился миф о Марре, которому поддавались очень многие (не только лингвисты, но и ученые других областей). И нельзя популярность академика объяснять лишь административными мерами и страхом перед репрессиями: все это появится не раньше 1929 г., а Марра многие почитали и до того. Степень подверженности мифу определялась несколькими параметрами: расстоянием от Марра (в Ленинграде, где он жил, она была наивысшей, уже в Москве, где академика видели не так часто, она была меньше, а за рубежом идеи Марра не принимали даже языковеды-марксисты), политическими взглядами и особенно научными принципами: новаторы и ученые, склонные к обобщениям, обычно ценили Марра, а чистые фактографы старой школы не хотели его признавать. И надо было быть очень сильным человеком, чтобы сочетать, как Е. Д. Поливанов, научное новаторство и советскую ориентацию с неприятием марризма.

А восхищение Марром не знало границ. Вот знающий японист Олег Плетнер пишет брату-эмигранту Оресту 6 января 1927: «Напрасно смеются “Индоевропейцы”, ибо им нанесен жесточайший удар. Ироническое отношение или “несколько” ироническое отношение западных ученых к теории Марра свидетельствует только о косности этих ученых. Lux ex Oriente –

из СССР пойдет новая лингвистика. Ты тоже не совсем правильно уясняешь теорию Марра. Он не выставляет новый праязык, а отрицает существование вообще т. н. праязыков. Яфетодология расширилась вообще до палеонтологии речи. И пусть смеются западники-индоевропейцы: она все-таки вертится». А знаменитая О. М. Фрейденберг, прохладно относившаяся к советскому строю, но всегда искавшая новые пути в науке, после первого разговора с Марром восклицала: «Моя жизнь озарена!». И уже после его смерти она писала: «Марр – это была наша мысль, наша общественная и научная жизнь; это была наша биография. Мы работали, не думая о нем, и он жил, не зная этого, для нас».

Приспособление Марра к эпохе все усиливалось. С 1928 г. у него появляются и становятся постоянными высказывания вроде такого: «Материалистический метод яфетической теории – метод диалектического материализма, т. е. тот же марксистский метод, но конкретизированный специальным исследованием на языковом материале». Власть это оценила. Отношение старых академиков к новой власти бывало разным: от открытого неприятия до полной лояльности и активного сотрудничества, но лишь Николай Яковлевич объявил себя марксистом и сторонником пролетарской идеологии. В 1930 г. он, тогда еще беспартийный, выступал с приветствием от ученых на XVI съезде ВКП(б), вскоре его приняли в партию без кандидатского стажа (редкая привилегия). Помимо руководства двумя институтами, он имел много других нагрузок вплоть до вице-президента Академии и званий, в том числе почетного краснофлотца.

Насколько все это у Марра было искренним? Есть свидетельства того, что за границей, куда он в отличие от большинства ученых и в советское время ездил часто, он говорил совсем другое: «Марксисты считают мои работы марксистскими, тем лучше для марксизма» и «С волками жить – по-волчьи выть!». И с марксизмом он мог не считаться, если он противоречил его любимым идеям: он связывал распространение звуковой речи с классовой борьбой, хотя, согласно Ф. Энгельсу, в те времена никаких классов еще быть не могло. Но марксистская терминология для Марра была тем же самым, что когда-то облачение в мундир действительного статского советника. «Грандиозный, бурный, беспредельный темперамент» жаждал монополии в науке, и теперь он ее получил, правда, не в «мировом масштабе», как мечтал, а лишь в своей стране. Вряд ли он всерьез овладевал «пролетарским мировоззрением», скорее мстил нелюбимой им с самого начала академической среде, куда благодаря талантам сумел попасть, но она осталась ему чужой.

Во второй половине 20-х гг. Марр поссорился почти со всеми

учениками и сотрудниками прежних лет (кроме лишь близкого к нему с 1917 г. И. И. Мещанинова, прошедшего благодаря его покровительству путь от «правителя канцелярии» Марра до академика). Их место заняли новые люди, прозванные «подмарками» по аналогии с подберезовиками и подосиновиками. Среди них были и способные лингвисты, в основном тогда совсем молодые и верившие учителю (В. И. Абаев, А. А. Холодович), и люди без специального образования, сами рассчитывавшие через Марра завоевать высокое положение (В. Б. Аптекарь, С. Н. Быковский). «Подмарки» создавали академику славу, составляли сборники его цитат и боролись с врагами.

Понять Марра, писавшего очень запутанным языком, часто забывавшего к концу фразы то, что сказано в ее начале, было крайне сложно. Мой учитель В. А. Звегинцев рассказывал студентам, что когда уже в конце 40-х гг. его вызвал ректор и потребовал в соответствии с переданными сверху инструкциями пропагандировать «новое учение о языке», он предложил ректору пари: тот, открыв том Марра на любом случайном месте, не сможет понять, что там написано. Пари выиграл Звегинцев: ректор несколько раз открывал книгу и каждый раз не мог ничего понять, после чего отпустил Владимира Андреевича с миром. О стиле Марра пишет уже в наши дни Б. С. Илизаров: «Стиль витиеватый и путаный демонстративно тормозит понимание, причем так, что читатель не сразу осознает, каким образом одной-двумя фразами его закидывают из сталинского настоящего в какую-то самую далекую прорву прошлого, затем, как головой в грядку, – вновь сажают в бытие настоящего, но, не дав укорениться и там, швыряют в будущее». Но в ответ на признания в непонимании академик грозно отвечал: «Новое учение о языке» требует «особенно и прежде всего нового лингвистического мышления. Надо переучиваться в самой основе нашего отношения к языку, надо научиться по-новому думать». «Новое учение о языке требует отречения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления». «Новое мышление», как и другие любимые выражения Марра тех лет: «перестройка», «борьба с застоем», заставляют вспомнить другого их любителя в иную историческую эпоху. Очевидно, что М. С. Горбачев не читал Марра, и здесь может быть лишь типологическое сходство.

Полбеды, если бы Марр ограничивался только подобными обвинениями приверженцев «старого мышления» в книгах и статьях. Но желание иметь монополию в науке оборачивалось административными кампаниями против них. Особо пострадал Е. Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»), сам вызвавший на бой Марра в начале 1929 г. в Коммунистической академии. Он говорил, в

частности: «Критиковать яфетидологию как систему, это значило бы принять ее всерьез… Отсутствие элементарного фактического фундамента, которое заставляет нас проходить мимо яфетидологии не из-за ее общих положений, а из-за ее материала». «Лингвистам не было надобности доказывать, что 2 × 2 = 4 и что у Марра 2 × 2 = бесконечности». «Не только исторические факты объясняются неверно, но часто самые факты берутся неверно, т. е. иначе говоря, в примерах нет того материала, который нужен для факта. Нужен, например, звук, которого не существует».

Сам Марр не явился на бой, его заменили «подмарки», к которым присоединились занимавшие самостоятельную позицию ученые, считавшие себя представителями новой науки и потому поддержавшие Марра; это были Н. Ф. Яковлев и Р. О. Шор, герои очерков «Дважды умерший» и «Первая женщина». Соединенными усилиями «поливановщина» была разгромлена, ученого обвинили в научном и политическом «черносотенстве», почти никто его не поддержал. Дальнейшая его судьба была невеселой и закончилась расстрелом (отсылаю читателя к очерку «Метеор»). Примерно тот же состав сторонников Марра в 1931–1933 гг. боролся с другими конкурентами в марксистской лингвистике, на этот раз с целой группой молодых языковедов, имевшей название «Языкофронт» (см. очерк «Выдвиженец»). И их удалось разгромить, пользуясь поддержкой наверху.

Поливанов и «Языкофронт» были конкурентами в борьбе за «новую лингвистику». Не менее тяжело пришлось ученым старой школы вроде упоминавшегося А. И. Томсона или Г. А. Ильинского. Марр их презрительно именовал независимо от области интересов «индоевропеистами». Им не давали работать, увольняли, их труды не печатали, при этом признаком «контрреволюционности» считалось несоответствие их идей «новому учению о языке» академика Марра. Апогеем борьбы марризма с любой научной лингвистикой стал сборник, который выпустили «подмарки» во главе с аспирантом Марра Ф. П. Филиным в Ленинграде в 1932 г., он назывался «Против буржуазной контрабанды в языкознании». Там «контрабандистами» были названы почти все сколько-нибудь значительные советские языковеды тех лет, не входившие в марристский лагерь, от А. М. Пешковского и Д. Н. Ушакова до Н. Ф. Яковлева и Р. О. Шор.

Марра иногда и сейчас, особенно в среде петербургских востоковедов, считают «небожителем», пусть заблуждавшимся, но жившим исключительно в мире высокой науки. То есть, как сказано в басне Крылова, «лев бы и хорош, да все злодеи волки»,

то есть «подмарки». Действительно, Марр прямо не участвовал в борьбе с «поливановщиной» и «Языкофронтом», не был в числе авторов сборника против «контрабандистов». Но это была позиция «живого гения», которому не следовало снисходить до ничтожных противников. А воспоминания показывают, как сам Николай Яковлевич направлял борьбу. Его ученик И. В. Мегрелидзе (один из немногих, кто сохранил верность учителю с 30-х до 90-х гг.) писал, как тот советовал ему ударить по противникам: «они разводят реакционные мысли, и их называть контрабандистами мало». А брошюру П. С. Кузнецова (см. очерк «Петр Саввич») против учения Марра академик назвал «китайской бомбой» (намек на советско-китайский конфликт на КВЖД). «Вулкан, действовавший в едином огне и сотрясавший все вокруг», был страшен в гневе и обрушивал потоки лавы на своих противников и просто на тех, кто работал независимо от него. От ударов громовержца страдали не только лингвисты, но и историки, археологи, востоковеды. 1929–1933 гг. были тяжелыми годами для гуманитарных наук в СССР, в том числе и из-за роли Марра.

Марр, казалось, добился очень многого. Безвестный юноша, приехавший в столицу из глухой провинции, пробивший дорогу себе сам, стал знаменитым ученым, при жизни его называли великим. Выходили цитатники его трудов, чего в стране, кажется, более никто, кроме Сталина, при жизни не удостаивался. Одним из первых он получил орден Ленина.

Но нельзя думать, что он так уж был во всем благополучен. И в этой жизни бывали свои беды и страдания. Трагической оказалась судьба его детей. Из четверых двое умерли в младенчестве, один из сыновей в годы Гражданской войны были призван в Красную армию и умер там в 23 года от тифа. Последний оставшийся сын Юрий, также ставший востоковедом (иранистом), к тому же поэт-футурист (его поэтическое наследие и сейчас изучают), совсем молодым заболел туберкулезом, отец послал его жить на туберкулезный курорт в Абастумани, но Юрий так и не выздоровел и умер в 42 года, правда, на год пережив отца. А мать пережила всех детей! Все основные материалы экспедиции в Ани ученый в годы Гражданской войны отправил из Петрограда в Закавказье для предполагавшегося музея, по дороге на поезд напали бандиты, и все пропало (а Ани после войны оказался на турецкой территории и стал недоступен). Во время «Академического дела» 1929–1930 гг., когда была арестована группа академиков, Николай Яковлевич тоже, говорят, боялся неприятностей. Один из сотрудников Яфетического института рассказывал, что, зайдя к нему домой, обнаружил знаменитого

академика… под кроватью: тот, услышав звонок в дверь в неурочное время, решил, что за ним пришли. И это не было абсолютно не обоснованно: пострадавшие по делу рассказывали, что у них брали показания и на него. Но Марр был нужен власти, и в итоге, арестован не был и проработкам не подвергся.

И грустным был конец жизни ученого. В октябре 1933 г., в разгаре деятельности, с ним на работе случился инсульт. И. В. Мегрелидзе уже в годы перестройки утверждал, будто его спровоцировало резкое заявление Сталина о том, что Марр «сорвал языковое строительство», но подтверждений этому нет. Марр несколько дней находился между жизнью и смертью, его долго не могли даже вывезти из ГАИМК в больницу. В тот раз он выжил, даже стал появляться на людях и ездил в санаторий в Крым, но полного восстановления так и не случилось, работать он больше не смог. Коллеги запомнили, как на похороны его старого друга академика С. Ф. Ольденбурга с огромным трудом все-таки пришел Марр и сказал: «Прощай, Сергей, мы скоро встретимся». А Николай Яковлевич перед этим объявил себя атеистом. Помирившийся с учителем под конец его жизни И. А. Орбели рассказывал, что тот уже тяготился «новым учением» и с тоской вспоминал о временах яфетической семьи. Но ученый уже не был властен над созданным им мифом. Марру становилось все хуже, и 20 декабря 1934 г. он умер. Похоронили его в Александро-Невской лавре пышно, в день похорон в Ленинграде отменили занятия в школах.

О роли, которую играло имя Марра в последующие полтора десятилетия, мне говорил сотрудник основанного им Яфетического института, позднее ставшего Институтом языка и мышления, И. И. Цукерман: «Марр был для нас щитом, под прикрытием которого мы могли заниматься тем, чем хотели». Было положено хвалить Марра как великого ученого и основоположника марксистского языкознания, имелся набор его высказываний, который можно было взять из цитатника, но большинство его идей вышло из активного употребления. Ставший его преемником И. И. Мещанинов имел совсем иной, не «вулканический» темперамент, а в научном плане отошел от него далеко. И когда громовержца не стало, в науке обстановка на время успокоилась.

Марр-человек умер, а Марр как мифологическая фигура продолжал жить, и его именем время от времени совершались новые безобразия на научном фронте, как это происходило в 1948–1949 гг., когда до языкознания дошли борьба с «менделизмом – вейсманизмом – морганизмом» и «космополитизмом». И вдруг громовержец сам был повержен

«самим» Сталиным, выступившим против него 20 июня 1950 г. О причинах вмешательства вождя в вопросы языкознания можно рассуждать много, версий достаточно. Отмечу лишь одно: насколько «новое учение о языке» соответствовало конъюнктуре 20-х гг., настолько оно не соответствовало конъюнктуре последних лет жизни Сталина, когда интернационализм сменился великодержавностью и началось, пусть не полностью, возвращение к прежним традициям. В 40-е годы востоковед Н. М. Гольдберг сказал в разговоре: «До сих пор мы шли новым, неизведанным путем, а сейчас мы встали на такой, каким уже идут другие страны». И в области науки Марр, как это понял Сталин, мог быть хорошим примером опасности «новых, неизведанных путей», а статья вождя фактически снимала проблему построения особой «марксистской лингвистики», предписывая вернуться к русской науке о языке дореволюционного времени.

Как писал потом П. С. Кузнецов (см. очерк «Петр Саввич»), «сталинское учение предоставляло лингвистам несравненно более широкое поле самостоятельной научной деятельности, чем «новое учение о языке» Н. Я. Марра… Оно в простой и доступной форме сообщало многие такие положения, которые (или близкие к ним) уже высказывались нашими выдающимися лингвистами; прямых ошибок, в противоположность мнению некоторых ученых, в нем было очень немного (я лично могу указать, пожалуй, лишь две, и то касающиеся некоторых частных вопросов)». А вот отзыв со стороны, принадлежащий знаменитому Ноаму Хомскому: «Я читал эссе Сталина, когда оно появилось, и нашел его в высшей степени разумным (perfectly reasonable), но не содержащим ничего нового (quite unilluminating)».

С тех пор на многие годы установилось общее мнение о Марре как о великом путанике и фантазере, которое не смогли опровергнуть ни разоблачения «культа личности», ни даже «перестройка» (одно из слов, любимых Марром). Но в последние примерно десять лет вдруг ситуация стала меняться, стали даже говорить о «неомарризме». В Петербурге была попытка создать «марровскую лабораторию». В МГУ в 2004 г. была дискуссия о Марре, застрельщиком которой стал студент, яростно отстаивавший идеи Марра; чуть позже он, уже окончив к этому времени университет, читал там по Марру спецкурс. Оказавшийся сейчас в моде философ Ф. И. Гиренок в 2006 г. прочел в том же университете лекцию, прославлявшую Марра. Но и в более академичных кругах, в том числе на Западе, интерес к Марру заметен. В 2004 г. в Швейцарии состоялась специальная конференция по наследию этого ученого; хотя там никто не

сказал, что поддерживает «новое учение о языке» в полном объеме, но большая часть выступавших находила в нем те или иные интересные идеи. И в 2003–2009 гг. в статьях в журнале «Новая и новейшая история» упоминавшийся историк Б. С. Илизаров, резко оценивая И. В. Сталина, защищал Марра (у историка много фактических ошибок, но не о них сейчас речь).

В чем здесь дело? Причины могут быть различны. Илизаров пришел к Марру, отрицая Сталина, организатор дискуссии в МГУ оказался восхищен его «антибуржуазностью» (в искренности которой я имею основания сомневаться). Но важнейшую причину точно охарактеризовал в Интернете журналист и литературовед Вадим Руднев: «В конце XX в. труды М. постепенно стали реабилитировать, особенно его штудии по семантике и культурологии. Появилось даже понятие «неомарризм». Это произошло при смене научных парадигм, при переходе от жесткой системы структурализма к мягким системам постструктурализма и постмодернизма, где каждой безумной теории находится свое место». И Ф. И. Гиренок заявил, что любая философская теория обязана быть безумной, а Марр был по-настоящему безумен (кстати, у Марра были большие аппетиты, но как раз на славу философа он не претендовал).

«Постмодернистская наука», для которой не существует научной истины, сейчас в моде на Западе. У нас ее успех усиливается посеянным в перестроечные годы недоверием к науке советского времени, иногда переходящим в подозрительное отношение и к любой науке, признававшейся «большевиками», а то и к самим принципами научного мышления, по крайней мере, в гуманитарных науках. «Постмодернистская наука» (типичный ее пример – публикации А. Т. Фоменко и его соавторов) не считается с этими принципами, а факты использует или не использует по своему усмотрению. Марр был предтечей такой науки и имел с ней много общего, отсюда к нему может возникать интерес. Но объективно и во времена Марра, и сейчас на основе подобных подходов происходил и происходит возврат к донаучным принципам, к народным этимологиям и другим проявлениям донаучного, бытового сознания. И с этим, как я считаю, надо бороться.

Человек-словарь
(Д. Н. Ушаков)

Языкознание, или лингвистика не относится к числу наук, избалованных в России общественным вниманием. В нашей истории, правда, был короткий период, когда об этой науке заговорили повсеместно: это случилось в 1950 г., когда появилась памятная старшему поколению брошюра И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», предназначенная для всеобщего изучения. Но те времена давно прошли, и наших лингвистов (среди которых немало ученых мирового класса) мало кто знает за пределами круга их коллег. И лишь немногие имена прочно вошли в нашу жизнь. Пожалуй, их всего три: Даль, Ушаков и Ожегов (когда-то не менее известен был академик Марр, но после

его критики Сталиным это имя ушло в тень). Легко видеть, что это все составители известных словарей русского языка. Давно нет никого из них, но словосочетания: «Словарь Даля», «Словарь Ушакова», «Словарь Ожегова» продолжают жить, а словари издаваться. Имена всех троих вошли в легенду и в анекдоты. В 60-е гг. писатель Василий Аксенов написал юмористический рассказ, где действовал именитый языковед Ушаков-Ожегов; сотрудники академического Института русского языка обиделись и опубликовали письмо в защиту памяти обоих ученых.

Но много ли мы знаем об этих людях (Аксенов явно не знал ничего)? Многие ли знают, например, что если Даль все сделал один, то Ушаков – не единственный автор своего словаря, а руководитель научного коллектива? Тем более мало кто знает, что Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов, хотя много лет сотрудничали (Ожегов был и одним из авторов словаря Ушакова), но принадлежали к разным научным школам, а их отношения не всегда бывали гладкими. Впрочем, Д. Н. Ушаков имел, по крайней мере, в прошлом широкую известность не только как автор словаря. Как вспоминает одна из мемуаристов (дочь Р. О. Шор, героини очерка «Первая женщина»), «Ушаков… был одним из двух-трех ученых, фамилии которых были известны школьникам, поскольку Ушаков был автором маленького орфографического словаря». А люди старшего поколения помнят и его выступления по радио. Но хочется подробнее рассказать о хорошем ученом и прекрасном человеке.

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) родился и прожил почти всю жизнь (кроме нескольких последних месяцев) в Москве. Его отец был врачом, дед по матери священником. В 1895 г. Ушаков окончил историко-филологический факультет Московского университета, некоторое время преподавал в гимназиях и на Высших женских курсах, а в 1907 г. стал работать в университете. Его учителем был знаменитый ученый, основатель Московской лингвистической школы Филипп Федорович Фортунатов, идеи которого он усвоил на всю жизнь.

Как лингвист Ушаков не был первооткрывателем и революционером. Скорее он стал хранителем и умелым популяризатором традиций, заложенных его учителем. Главным его теоретическим трудом стало учебное пособие «Краткое введение в науку о языке», впервые изданное в 1913 г. и затем выходившее при жизни автора еще восемь раз (не так давно в составе однотомника трудов ученого появилось и десятое издание). Его значение, как и значение многих других работ Ушакова, прежде всего, педагогическое: то, что Фортунатов излагал тяжеловесно и сухо, Ушаков удачно переводил на

общедоступный язык. Впрочем, не во всем Дмитрий Николаевич следовал учителю. Фортунатов в соответствии с приоритетами науки XIX в. занимался большей частью древними языками, хотя в общей теории выходил за рамки чисто исторического подхода. А Ушаков, не избегая исторических сюжетов, более всего изучал современный русский язык, и литературный, и диалектный. Такой сдвиг интересов был характерен для науки о языке первой половины XX в., как дореволюционной, так и еще в большей степени послереволюционной.

Важнейшим полем деятельности ученого стала русская диалектология. В 1904 г. начала работать Московская диалектологическая комиссия, которую первоначально возглавлял академик Ф. Е. Корш. Вокруг комиссии сложился круг языковедов разных поколений. Д. Н. Ушаков, работавший в комиссии с самого начала, быстро занял в ней ведущее положение. Он не был научным лидером: как лингвист значительнее был его друг Николай Николаевич Дурново (см. очерк «Никуда не годный заговорщик»). Но Дмитрий Николаевич стал «мотором» работы комиссии, ее организационным лидером, вначале неформальным, а затем и формальным, возглавив ее в 1915 г. после смерти Корша. Комиссия провела большую работу по сбору диалектного материала, по созданию карт и атласов. Благодаря стараниям Ушакова комиссия сохранилась и в годы революции и гражданской войны, продолжала деятельность в 20-е гг., но была закрыта по требованию последователей всесильного тогда Н. Я. Марра в 1931 г. Через нее прошло, получив навыки научной работы, несколько поколений русистов.

Другой областью, в которой проявились способности Ушакова, стала педагогическая. Особенно значимой здесь его деятельность оказалась после революции, когда его старшие коллеги умерли или эмигрировали и он стал ведущим профессором МГУ по русскому языку. Продолжал он деятельность и в 30-е гг., когда из состава МГУ исключили гуманитарные факультеты, взамен которых был создан Московский институт философии, литературы, истории (МИФЛИ), где все время существования института Дмитрий Николаевич заведовал кафедрой русского языка. Он создал целую школу блестящих ученых, в большинстве занимавшихся не только русским языком, но и теоретическими проблемами языкознания. Его учениками были Н. Ф. Яковлев, Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур, П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров, Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский и другие. Они внесли значительный вклад в отечественное языкознание, а некоторые из них, как Якобсон, и в зарубежное. Все они всегда сохраняли верность учителю при его жизни и тепло вспоминали

его после его смерти.

Ученики любили своего учителя, хотя в чисто научном плане далеко не всегда ему следовали, идя дальше его. К тому времени теория языка во всем мире активно развивалась, ведущее положение заняли направления, в наши дни объединяемые историками науки под общим названием структурализма (во времена Ушакова у нас этот термин еще не был в ходу, но суть была именно такой). И наиболее крупные из учеников Дмитрия Николаевича пошли по этому пути, а их учитель остался в эпохе Фортунатова. Как считал один из его учеников Р. И. Аванесов, «Д. Н. Ушаков, мало понимая по существу, чутьем мудрого человека понимал, что за новым будущее».

Непонимание, проявлявшееся в сфере науки, не распространялось на человеческие взаимоотношения. О дружбе учителя с учениками, которые часто приглашались в гостеприимный дом на углу Сивцева Вражка и Плотникова переулка, сохранилось немало свидетельств. «В. Н. [Сидоров] подчеркивал простоту и доступность Д. Н. Ушакова, дома у которого ученики нередко собирались за вечерним чаем (и это было продолжением воспитательного и образовательного процесса)». Обстановка была веселой и непринужденной. Вот что вспоминал А. А. Реформатский: «Все мы имели прозвища. Общее для нас было: “Ушаковские мальчики”, выдуманное какими-то зоилами, но нам это нравилось, и мы с гордостью носили кличку “ушаковские мальчики”. Сам Дмитрий Николаевич назывался ШЕР-МЕТР, причем обе половины сего наименования склонялись: Шер-Метр, Шера-Метра, Шеру-Метру и т. д., а ударение притом – наконечное». И еще: на одном из вечеров «Ушакова ждал текст из И. Ф. Богдановича: “Во всех ты, Душенька, нарядах [нам] хорош!”. Почтенный профессор, нежно, прозываемый учениками Душенька, был представлен в девичьем платье с оборками и в кружевных панталонах. В правой руке его (ее) находилась игрушка в виде бюста любимого ученика Г.О. [Винокура]». Рисунок сохранился и воспроизведен в современном издании.

Но не всегда веселым было то время. В конце 1933 – начале 1934 гг. сфальсифицировали «дело славистов», затронувшее многих коллег Ушакова. Был арестован его давний друг, «большой ребенок» Н. Н. Дурново, которого больше никто никогда не видел (лишь через много лет выяснилось, что его расстреляли в местах заключения в 1937 г.). Вслед за ним «изъяли» группу видных русистов и славистов, среди которых были его коллега по МГУ А. М. Селищев (см. очерк «Крестьянский сын»), один из авторов словаря Ушакова В. В. Виноградов и любимый его ученик В. Н. Сидоров. Этим троим повезло больше,

чем Дурново: они вернулись еще при жизни Дмитрия Николаевича, и тот им всегда старался помочь. Он добился того, что Виноградов мог работать над словарем и в вятской ссылке, а Селищеву и Сидорову после их возвращения дал возможность работать в МИФЛИ и других местах, хлопотал о получении ими разрешения жить в Москве (его ходатайства, в том числе на имя И. В. Сталина, сейчас опубликованы).

А в конце 80-х гг., когда открылись архивы ОГПУ, стало известно, что и над самим Дмитрием Николаевичем тогда сгущались тучи. В протоколах допросов арестованных постоянно фигурировало его имя как одного из руководителей «контрреволюционной фашистской организации», это означало приготовление к аресту. Однако в какой-то момент вдруг в показаниях начала записываться фраза: «Ушаков – антисоветски настроенный человек, но мне неизвестно, был ли он членом организации»; на понятном лишь посвященным диалекте ОГПУ это значило: Ушаков более не разрабатывается. Причина спасения остается неизвестной. Одна из возможных гипотез: Дмитрия Николаевича кто-то (например, сам Сталин, не давший по этому же делу санкцию на арест В. И. Вернадского) счел нужным специалистом, особенно в связи со словарем, работа над которым в 1934 г. была в разгаре.

И действительно, в течение трех десятилетий Ушаков был не только крупным педагогом, но и виднейшим деятелем в области практического применения науки о русском языке. В первую очередь речь шла о поддержании и совершенствовании русской литературной нормы в трех ее аспектах: орфографическом, орфоэпическом (произносительном) и лексикографическом (словарном).

Еще до революции ученый активно выступал как сторонник реформы русской орфографии. Этому была посвящена его книга «Русское правописание», издававшаяся дважды. Когда же в 1917–1918 г. реформа состоялась, Ушаков занял ведущее место в ее пропаганде и распространении. В течение многих лет он возглавлял Орфографическую комиссию Наркомата просвещения. Выше упоминался его знаменитый «Орфографический словарь», многократно издававшийся при его жизни (впервые в 1935 г.) и после его смерти (к 1990 г. 41 издание) и известный не одному поколению школьников. Вопросы нормы, в том числе орфографической, именно в 20–30-е гг. были очень актуальны. Хотя новая орфография была проще старой и усваивалась легче, но после революции русский литературный язык значительно распространился вширь, включив в число своих носителей массы рабочих и крестьян, часто овладевавших языковой нормой не

полностью. Возникла угроза размывания нормы, против этого при поддержке власти предпринимались активные меры, особенно с начала 30-х гг., и главным научным экспертом здесь стал Ушаков.

Те же проблемы еще острее стояли в области литературного произношения. Здесь нормы были разработаны гораздо хуже, чем для орфографии, а к тому же здесь писаные нормы всегда недостаточны, большую роль играет непосредственное слуховое восприятие правильной речи. Ушаков писал руководства и справочники по этим вопросам, а распространение правильной устной речи получило к этому времени мощное средство: радио. С середины 30-х гг. Дмитрий Николаевич начал сотрудничать с Радиокомитетом, сам неоднократно выступал по радио, его ученики участвовали в подготовке дикторов. Сохранилась запись чтения им рассказа А. П. Чехова «Дачники», признанная эталоном «настоящего московского» произношения. И если еще в середине 30-х гг. интеллигенты жаловались на некультурность речи дикторов, то к концу 30-х гг. это было преодолено.

Но, конечно, вершиной деятельности ученого стал его словарь. Работа над ним начиналась (уже тогда при участии Ушакова) еще в начале 20-х гг. во исполнение личного указания В. И. Ленина, но не хватило средств. Лишь с 1928 г. стало возможным приступить к такой работе.

Словарь должен был решить сразу несколько задач. Во-первых, он имел нормативный характер: его читатели должны были получать информацию о том, как можно и как нельзя сказать, как правильно употреблять то или иное слово. Во-вторых, большой по объему словарь должен был отразить все лексическое богатство современного русского языка. А так получилось, что с середины XIX в. в России не появилось ни одного законченного толкового словаря русского языка, более же ранние словари, включая словарь В. И. Даля, уже не могли отражать его современное состояние: язык сильно изменился. В-третьих, за прошедшие годы ушла вперед и наука о языке, и словарь должен был быть составлен на современном уровне.

Для работы над словарем Ушаков привлек сильнейший по составу коллектив русистов, включив в него и своих учеников (Г. О. Винокур), и ученых иных школ (В. В. Виноградов, С. И. Ожегов). Все делали общее дело, а руководитель коллектива умело их направлял. Трудностей было немало, и не только научных. Надо было считаться с требованиями власти, интересы которой представлял «комиссар» Б. М. Волин (его имя стоит в части томов рядом с именем Ушакова), уметь ради дела идти на компромиссы, но стоять на своем в наиболее принципиальных вопросах. Здесь также основная тяжесть падала на долю Ушакова.

А он еще был и одним из составителей словаря. И в 1940 г. последний том словаря Ушакова вышел в свет. В любом словаре есть недостатки и приметы своей эпохи, но высокий его научный уровень бесспорен, а последующие словари русского языка составлялись с его учетом. Позже появлялись и другие словари, в том числе более обширные, но до сих пор, пожалуй, нет русского словаря, равного словарю Ушакова по научному уровню. Словарь потом неоднократно переиздавался (последнее издание в 2000 г.).

Все эти годы Ушаков со своей большой семьей (одна из его дочерей вышла замуж за известного авиаконструктора А. А. Архангельского) жил там же, где и в дореволюционное время, по адресу: Сивцев Вражек, 38, квартира 1. Быт и обстановка там резко отличались от обычных советских. Е.Н. Шор, дочь Р. О. Шор (тоже ученицы Ушакова), вспоминает, как в детстве была с матерью в этом доме. «Он [Ушаков. – *В. А.*] – удивительное дело – жил со своей семьей в отдельном доме – особнячке. Такая жизнь представлялась мне верхом блаженства… Я… наслаждалась лицезрением рыжего сеттера и двух котов, присутствие которых в этом доме увеличивало удовольствие здешней жизни». Точнее, семья Ушакова занимала не весь особнячок, а первый его этаж, деля его с известным пианистом К. Н. Игумновым. Для именитого ученого такая «старорежимная» жизнь тогда допускалась. Всем своим устойчивым бытом, всем своим обликом ученый олицетворял связь времен, сохранение старомосковских традиций, уже исчезавших в то время.

В предвоенные годы Дмитрий Николаевич имел большую известность и всеми признавался крупнейшей фигурой в области русистики. Он совмещал две должности, заведуя кафедрой русского языка МИФЛИ и возглавляя сектор славянских языков Института языка и письменности АН СССР. В 1939 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Коренной москвич, редко выезжавший из любимого города, Ушаков говорил: «В других городах мне как-то не по себе». Но ему не было суждено закончить жизнь в Москве. Если репрессии обошли его стороной, то общая беда, постигшая страну в 1941 г., задевала каждого. Ученому пришлось эвакуироваться в далекий Ташкент, где его силы быстро иссякли. Позже С. И. Ожегов рассказывал, что Ушаков сказал ему на Казанском вокзале при прощании: «Я вряд ли вернусь. Сделайте новый словарь, который мы собирались делать вместе». Г. О. Винокур писал в мае 1942 г.: «17/IV умер на 70-м году Дмитрий Николаевич Ушаков, мой и Ромин [имеется в виду Р. О. Якобсон. – *В. А.*] учитель, к которому я был привязан как к родному отцу. Он тоже долго хворал, но… понемножку еще работал. И тем не менее его смерть нанесла мне

ужасную рану, от которой все не могу оправиться». Похоронен Дмитрий Николаевич также в Ташкенте. А словарь С. И. Ожегова впервые вышел в 1949 г.

Ушло из жизни поколение учеников Ушакова, но память о нем жива, остались словарь и другие книги. А дом на Сивцевом Вражке стоял еще долго, но в лихие 90-е пострадал от пожара и некоторое время оставался в полуобгоревшем состоянии. А потом на его месте появилось здание в современном духе не то в четыре, не то в пять этажей с кафе «Дежа вю» внизу. Об Ушакове оно не напоминает ничем. На Сивцевом Вражке много мемориальных досок, но доски в память Ушакова нет, да и вешать ее уже некуда.

«Никуда не годный заговорщик» *(Н. Н. Дурново)*

Любая революция меняет судьбы людей, кого-то возносит, кого-то низвергает. И нельзя судить о ней однозначно. У нас после 1917 г. тоже все бывало по-разному, в том числе и среди лингвистов. Кто-то благодаря революции получил возможности для реализации своих способностей (см. очерки «Выдвиженец» и «Первая женщина»). Кто-то, как Е. Д. Поливанов, герой очерка «Метеор», блеснул и погиб. Кто-то, пройдя через те или иные жизненные испытания, нашел место в новом мире. А кому-то фатально не повезло. Одной из самых печальных оказалась жизнь талантливого ученого Николая Николаевича Дурново. Неприятности, житейские беды и страшная гибель.

А начиналось все очень благополучно. Известный старинный род «одного происхождения с Толстыми» (как сказано в словаре Брокгауза и Эфрона), основатель которого имел прозвище Дурной. Много поколений помещиков, генералов, сенаторов. Двое из Дурново уже при Николае II занимали пост министра внутренних дел и, как было положено при такой должности, отличались крайне правыми взглядами. Но бывали и другие Дурново. Елизавета Дурново, по мужу Эфрон (свекровь М. И. Цветаевой) всю жизнь помогала народовольцам, а потом эсерам. Отец будущего ученого, тоже Николай Николаевич, не был ни царским слугой, ни революционером. Не был он и хорошим хозяином: имение в Рузском уезде Московской губернии давало все меньше дохода, и под конец в его владении оставался лишь небольшой хутор. Младшему Николаю Николаевичу в студенческие годы приходилось ездить из Рузы в Москву на пролетке, что тогда считалось унизительным. Старший Николай Николаевич потратил состояние на политическую публицистику, на издание за свой счет книг по казавшемуся столь актуальным «восточному вопросу». Кабинетный стратег строил планы того, как водрузить русский или на худой конец греческий флаг над Константинополем, и обличал происки «римской курии и англо-американской пропаганды» (последний термин, оказывается, существовал еще в 1890 г.). Его идеей фикс была борьба с Болгарией, власти которой в то время ориентировались на Австрию, а не на Россию; он даже доказывал, что болгарский народ – «мучитель и ненавистник других народов» и вообще болгары – не славяне, а предки их до прихода на Балканы были «магометовой веры» (!). Впрочем, яростен Дурново-старший был лишь на словах, в жизни он был мирным, добрым и очень непрактичным человеком. Сын отличался от отца тематикой и уровнем своих публикаций, но по характеру оказался, видимо, очень к нему близок.

Сам Николай Николаевич родился 23 октября (4 ноября) 1876 г. в Москве. В 1895 г. он окончил с серебряной медалью 6-ю московскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Его учителями были крупнейшие русские ученые того времени: по общему языкознанию и индоевропеистике Ф. Ф. Фортунатов, по русистике А. А. Шахматов, по древнерусской литературе М. Н. Сперанский. С самого начала его увлекла наука, и он не унаследовал от отца ни правые взгляды, ни интерес к политике. Взгляды его вряд ли были особенно определенными, но скорее он был умеренным либералом, чуждым крайностей; вступив в 1906 г. в партию октябристов, что-то не принял в ее программе и через год вышел.

Лишен он был и квасного патриотизма. Вот такие слова находим в одной из его ранних книг: «Культурная зависимость русского народа от германского никогда не прекращалась и не могла не отражаться на языке». Отец его никогда бы такого не написал.

Дореволюционная биография Дурново – исключительно его научно-педагогическая деятельность. Университет он окончил с дипломом первой степени в 1899 г. и был оставлен на кафедре русского языка и литературы, а в 1904 г. сдал магистерские экзамены и стал приват-доцентом. Как было положено дореволюционному ученому, главным его делом было преподавание. По отзывам учеников, Дурново в целом не был блестящим лектором, но как только речь заходила о предметах его собственных научных поисков, он сразу загорался и мог зажечь и свою аудиторию.

В то время профессора и приват-доценты в России, как и в ряде других стран, не сидели всю жизнь в одном университете, а переезжали из одного университетского города в другой, что способствовало карьерному продвижению. Вот и коренной москвич Дурново после нескольких лет преподавания в родном городе переехал в 1910 г. в Харьков, но в 1915 г. вернулся в Москву. За быстрым карьерным ростом он не гнался и к моменту революции не успел ни защитить докторскую диссертацию, ни стать профессором, что потом скажется.

Но научную известность он уже успел приобрести. До 1917 г. включительно он опубликовал, включая литографированные издания, 90 работ. Его научная деятельность сосредоточилась в те годы на трех больших темах: древнерусская литература, история русского языка, русская диалектология.

Первоначальной областью интересов Дурново стала древнерусская литература и русская литература вообще. Еще студентом он получил золотую медаль за сочинение на тему «Повесть об Акире Премудром», потом опубликованное. Писал он про сказания о животных в старинной русской литературе, про легенды о заключенном бесе и об Авдакее святой мученице, о житиях Конона Исаврийского и Марины Писидийской, но также и о народных переделках Пушкина, и о рифме в русской поэзии XVIII–XIX вв. А самое крупное его сочинение по данной тематике – издание «Приветства брачного» царю Федору Алексеевичу Сильвестра Медведева, одного из образованнейших людей XVII в., западника по образованию и склонностям. «Бывают странные сближения»: Николаю Николаевичу тогда не могло бы прийти в голову, что судьба издателя и комментатора памятника через два с лишним столетия повторит трагическую судьбу его автора.

Но скоро центр научных интересов молодого филолога стал

сдвигаться в сторону истории русского языка и диалектологии. После отъезда А. А. Шахматова в Петербург к нему перешли обзорные курсы истории русского языка, которые он много лет читал в Москве, Харькове и опять в Москве. Среди студентов, слушавших эти курсы, были Н. Ф. Яковлев (см. очерк «Дважды умерший») и Р. О. Якобсон. Именно эти самостоятельно им разработанные курсы стали образцом для позднейших курсов исторической грамматики русского языка, в том числе для курса П. С. Кузнецова, изданного в виде учебника. Если до Дурново история русского языка имела сильный филологический уклон, сосредоточиваясь на особенностях отдельных памятников, то он старался внести сюда идеи Ф. Ф. Фортунатова, стремившегося описывать историю фонетики и грамматики в системе, искать причинно-следственные связи в переходах звуков и грамматических изменениях. Одним из важнейших источников для выяснения истории русского языка (наряду с письменными памятниками) являются современные диалекты, часто сохраняющие очень архаические явления. Но диалекты тогда были изучены плохо, много хуже, чем памятники. Дурново указывал, что еще в 80-е гг. XIX в. не существовало ни истории русского языка, ни русской диалектологии. И если основы истории языка уже заложил его учитель А. А. Шахматов, то диалектология как дисциплина в составе русистики создавалась самим Николаем Николаевичем вместе с его старшим тремя годами другом Д. Н. Ушаковым, героем предыдущего очерка. Они создали в 1904 г. уже упоминавшуюся Московскую диалектологическую комиссию. Если в постановке дела ведущую роль играл Ушаков (Дурново никогда не показывал себя хорошим организатором), то душой и научным мотором всей этой деятельности стал Николай Николаевич. Существовала даже версия о том, будто все идеи трудов комиссии принадлежали ему одному (что, конечно, было преувеличением). В итоге появились выпуски трудов комиссии и несколько книг, написанных Дурново самостоятельно или в соавторстве. В их числе курс русской диалектологии, выпущенный в Харькове, первая подробная «Диалектологическая карта русского языка в Европе» с приложением классического «Очерка русской диалектологии» (карта и очерк совместно с Д. Н. Ушаковым и Н. Н. Соколовым), программа для составления диалектологических карт (с Н. Н. Соколовым), учебные хрестоматии по русским и украинским диалектам, наконец, фундаментальный сводный очерк восточнославянских диалектов. Увы, вышли только два первых выпуска этого свода, один в 1917 г., другой в начале 1918 г., потом все прекратилось.

Дурново сумел создать первую и до сих пор общепринятую (при небольших уточнениях) классификацию русских, украинских и белорусских диалектов, основанную, прежде всего, на звуковых различиях. Все группировки «умеренно-диссимилятивно якающих» и «ассимилятивно якающих» диалектов, которые и поныне заучивают студенты-русисты, как и сами термины, введены в науку Николаем Николаевичем. При всех злоключениях их создателя они не выходили из употребления никогда.

25 октября 1917 г. ученому только что исполнился 41 год. Он был известен, занимал, казалось, прочное положение. У него была семья: жена и трое маленьких детей (два сына и дочь). Мы мало знаем о его взглядах к тому времени, но, судя по всему, он принадлежал к той части интеллигенции, которая не предчувствовала никаких катастроф и была удовлетворена сложившимся жизненным укладом. Среди ученых таких было больше, чем среди людей искусства, более чутких к «шуму времени» и предчувствовавших «неслыханные перемены». А люди науки жили в спокойном и уютном мире, где можно было сосредоточиться на решении интеллектуальных вопросов вроде классификации русских диалектов. У них были проблемы: как получить кафедру в лучшем университете или как уязвить статьей научного противника (для Дурново привычным оппонентом был Е. Ф. Будде), но это были проблемы внутри того же уютного мира. Мир политики для них существовал где-то далеко, можно было его не замечать, можно было им интересоваться на уровне застольных бесед или профессорских кружков. Кто-то мог стать октябристом, кто-то кадетом, кто-то сочувствовать левым, некоторые даже баллотировались в Думу, но это было скорее игрой, чем настоящей жизнью. Материальные проблемы могли иногда казаться значительными: кому-то не хватало жалования в связи с увеличением семьи, для кого-то оказывалась слишком дорогой квартира, но представить себе голодное в прямом смысле слова существование или совместную жизнь нескольких семей в одной квартире они не могли. Это люди, конечно, знали, что не все в России живут так, как они, они обычно сочувствовали бедным и несчастным, но их образ жизни оставался точкой отсчета. Казалось, что их уютный мир будет существовать всегда.

И вдруг этот мир неожиданно и быстро рухнул. Февраль они в большинстве встретили сочувственно, но скоро стали замечать, что уходят и привычный и милый уклад, и вся организация общества. Жить стало трудно еще до Октября, но и потом становилось все тяжелее. И скоро приват-доцентам, адвокатам,

врачам пришлось испытать голод, холод, уплотнения, бандитизм, войну. Старая жизнь осталась светлым воспоминанием, исчезнувшим, скорее всего, безвозвратно. Оставалось надеяться лишь на то, что все как-то образуется (в 1934 г. в лагере ученый напишет, что всегда жил по пословице «Перемелется – мука будет»), и прежний уклад, пусть в несколько ином виде, возродится в России. Для многих в стране тогда идеал, понимавшийся по-разному, лежал в будущем, для этой социальной группы он был в прошлом. В литературе мироощущение таких людей ярче всего отразил Михаил Булгаков. Среди них многие не могут не вызывать сочувствия и уважения. Только из наших публикаций двух последних десятилетий часто выходит, что тогда вся Россия (или, по крайней мере, вся ее культурная и заслуживающая внимания часть) состояла из этих людей. А это не так.

Вели себя такие люди по-разному: одни шли воевать за белых, другие уезжали. Дурново не пошел ни по тому, ни по другому пути. Ему хотелось одного: продолжать свое дело и при этом прокормить семью. Но жизнь постоянно ставила его в ситуацию выбора. А человеком он был столь же непрактичным и не приспособленным к реальной жизни, как и его отец, умерший как раз в эти тяжелые годы. Лингвист младшего поколения Р. И. Аванесов, знавший Николая Николаевича уже в начале 30-х гг., назвал его «большим ребенком». И постоянно в ситуации выбора Дурново принимал решение, оказывавшееся неудачным.

В 1918 г. в Москве жить становилось все труднее, а тут пришло приглашение из Саратова, где перед революцией был основан университет. Там ученому, так и не защитившему докторскую диссертацию, предложили должность профессора, и он принял приглашение. В Саратове собрались неплохие научные кадры: Н. К. Пиксанов, Г. А. Ильинский, ненадолго Н. Ф. Яковлев. Город всю Гражданскую войну оставался советским, бои его обошли, но жизнь и там становилась все труднее. Рассказывая позднее на допросе о том периоде жизни, Дурново ограничился одним словом: «Болел». За три года он смог опубликовать лишь одну статью. И самое плохое: в 1919 г. «во время кочевий в Нижнее Поволжье», как он выразился, пропали все его материалы по диалектам, собиравшиеся два десятилетия. Продолжить сводный очерк восточнославянских диалектов из-за этого стало невозможно.

А в 1921 г. случился знаменитый голод Поволжья. Профессор не выдержал и бежал из Саратова, где у него хотя бы было постоянное место работы, в Москву, где к тому времени голодали меньше, но не было вакансий. На какое-то время его устроил Д.

Н. Ушаков в комитет по составлению «общедоступного словаря русского языка», созданный для реализации известного предложения В. И. Ленина. Но словарь тогда не получился: не хватило ни людей, ни средств; спустя десятилетие Ушаков сумеет-таки составить авторский коллектив и выпустить прославивший его словарь, но Дурново не сможет в нем участвовать. В 1923 г. комитет распустили, и в течение года Николай Николаевич оказался без постоянной работы, живя вместе с семьей на немногочисленные гонорары. Он продолжал оставаться товарищем председателя Московской диалектологической комиссии, но денег там не платили.

Жизнь в Москве оказалась все же лучше жизни в Саратове возможностями научного общения и публикации работ. Самым удачным в этом смысле для него оказался 1924 г., когда он издал сразу три важные книги. Это первая часть учебного «Повторительного курса грамматики русского языка», крупнейшая его работа по современному языку, выполненная в духе школы Ф. Ф. Фортунатова, обобщающий «Очерк истории русского языка» (переизданный за рубежом в 1959 г.) и «Грамматический словарь». Словарь стал первым в отечественной науке словарем лингвистических терминов, содержащим толкование более ста терминов, преимущественно из областей русистики и общей фонетики. Словарь был выполнен на передовом для своего времени уровне, а в разработке словарных дефиниций Дурново вслед за своим учителем Ф. Ф. Фортунатовым стремился к максимальной, почти математической строгости. Потом у нас долго подобным словарям не везло: словарь Е. Д. Поливанова не был своевременно издан (о нем в очерке «Метеор»), словарь Л. И. Жиркова выпустили мизерным тиражом, и только в 1966 г. появился словарь О. С. Ахмановой.

Но хотя в годы НЭПа и общая, и научная ситуация постепенно улучшалась, Дурново по-прежнему особо не везло. За три года в Москве он никак не мог вписаться в существовавшие там структуры, где тон все больше задавала молодежь. Особенно для него, вероятно, тяжела была невозможность преподавать после двух с лишним десятилетий педагогической деятельности. Но здесь и старый друг Д. Н. Ушаков, к тому времени ведущий профессор по русскому языку в МГУ, помочь не мог. Надо думать, сама аристократическая фамилия Дурново мешала его устройству. И слишком явны были его «старорежимные» привычки: еще в 1923 г. он печатал свои статьи с ятями и твердыми знаками (правда, в «Грамматическом словаре» их уже нет). Но, похоже, что и сам Дурново не очень умел самостоятельно устраиваться.

В августе 1924 г. Дурново, наконец, получил сравнительно большой гонорар сразу за «Очерк истории» и за «Повторительный курс». И он принял решение, перевернувшее его жизнь, но в итоге мало что ему давшее. Он добивается четырехмесячной командировки в Чехословакию и уезжает один, без семьи, а через четыре месяца переходит на положение «невозвращенца». Это тогда еще не означало обрыва всех связей с родиной: весь период жизни в Чехословакии ученый продолжал печататься в СССР и переписываться с советскими коллегами. И уже после отъезда, в декабре 1924 г. ученого за его труды избрали членом-корреспондентом Российской академии наук (через несколько месяцев она будет преобразована в Академию наук СССР).

Опять-таки полная непрактичность «большого ребенка»: Дурново приехал в Прагу без предварительных договоренностей, лишь с остатками гонорара за книги и с надеждой на помощь тогда уже жившего в Чехословакии ученика Романа Якобсона. Тот взялся помогать учителю. Ему удалось выхлопотать для Дурново пособие от чехословацкого министерства иностранных дел, а затем и лингвистическую командировку в Закарпатье, тогда принадлежавшее Чехословакии. Выдающийся диалектолог в последний раз смог заняться любимым делом: полевым изучением говоров, на этот раз русинских. Однако мало что из собранных материалов ему потом удалось издать.

Якобсон в смысле деловых качеств был полной противоположностью учителю, что он за свою долгую жизнь еще не раз продемонстрирует. Но и он не был всемогущ. Постоянной работы у Дурново не было. Лишь на один весенний семестр 1926 г. Якобсон устроил ему в качестве «профессора-гостя» курс истории русского языка в университете города Брно имени тогдашнего чехословацкого президента Т. Масарика (оказывается, в это время учреждениям присваивали имена живых представителей власти не только у нас). Этот курс удалось издать в следующем году в виде книги, ставшей для ученого итоговой в данной области исследований. Точнее, это был лишь первый том предполагавшегося двухтомника, включавший обзор диалектов и обзор письменных памятников, содержащих материалы по истории русского языка; последний обзор не имеет равных до сих пор. Именно с советского издания этой книги в 1969 г. начнется возвращение имени Дурново в нашу науку. Второй том должен был содержать анализ языка праславянской эпохи и историю развития церковнославянского языка русской редакции. Был ли этот том написан, а если написан, то какова судьба его рукописи?

Контакты Дурново с Якобсоном были не только деловыми. Через ученика Николай Николаевич установил связи с начавшим

тогда формироваться Пражским лингвистическим кружком, его научным лидером, помимо Якобсона, был другой знаменитый эмигрант из России Н. С. Трубецкой (постоянно живший в Вене, но часто приезжавший в Прагу). В России Трубецкой мог бы быть учеником Дурново, но его студенческие годы пришлись на время, когда Дурново жил в Харькове, и встретились они только теперь. Трубецкой и Якобсон вместе с еще одним учеником Дурново Н. Ф. Яковлевым, оставшимся на родине (см. очерк «Дважды умерший»), работали над созданием фонологической теории. Эта теория сводила многообразие звуков речи к ограниченному количеству единиц – фонем, используемых для различения смысла. Дурново, как большинство ученых его поколения, сначала не принимал теорию фонем, что отражено в «Грамматическом словаре». Вероятно, ему в то время не хотелось отказываться от богатого опыта диалектолога, имеющего дело с очень тонкими звуковыми различиями, не нужными для фонологии (в близких друг к другу диалектах часто система фонем одинакова, но их звуковые реализации могут различаться). Но позже Трубецкому и Якобсону удалось обратить старшего коллегу в свою веру, и он принял их фонологию. Впоследствии уже упоминавшийся Р. И. Аванесов, фонолог по основной специализации, скажет: Д. Н. Ушаков, «мало понимая по существу, чутьем мудрого человека понимал, что за новым будущее», еще один его учитель А. М. Селищев (см. очерк «Крестьянский сын») «не понимал и не принимал все новое в лингвистике», включая фонологию, а Дурново «и понимал и принимал все новое». И добавит: «Н. Н. Дурново мог бы быть нашим учителем. Но в наши студенческие годы он был в Праге».

Н. С. Трубецкой, как известно, занимался не только фонологией: он стал теоретиком до сих пор вызывающего интерес евразийства. Он рассказывал Дурново и об этом, но тот, приняв его лингвистические идеи, отверг историософские. Как он будет в 1934 г. рассказывать в «исповеди» на Соловках, он был согласен с тем, что «демократическая монархия или республика… являются формами отжившими, на что указывают перманентные правительственные кризисы во всех парламентских странах». Здесь, видимо, на Дурново повлиял Трубецкой. Но там же Николай Николаевич писал, что его не устраивали в евразийстве недостаточный демократизм, отстаивание решающей роли государства и однопартийной системы; теория Трубецкого слишком напомнила ему коммунизм, который он отвергал.

Здесь отвлекусь на другую эпоху. В начале 90-х у нас идеи Трубецкого и других евразийцев стали на какое-то время модны, но наряду с серьезными их исследователями (см. очерк

«Нестандартный человек») появились и спекулянты на этой теме. Занимавший в то время (1994) высокие должности С. Шахрай устроил дискуссию на тему «Наследие евразийцев и развитие демократии в России». Я с трудом получил три минуты на выступление, где сказал, что идеи Трубецкого и демократия в западном, сейчас у нас преобладающем понимании этого слова абсолютно несовместимы, вспомнив и оценки Дурново.

Но в Чехословакии при всех возможностях интеллектуального общения было много более прозаических проблем. Сначала благополучная страна нравилась «невозвращенцу». В следственном деле есть показания о том, что Дурново «ел демонстративно где только возможно только белый хлеб, ссылаясь на голод в Советской России и на тяжелое положение в ней ученых». Но скоро пошла полоса неудач. Семью к нему не пустили. Как писал ему Якобсон, чешский славист М. Мурко, приезжавший в СССР в 1925 г., спрашивал у Д. Н. Ушакова, нельзя ли выпустить к Дурново жену и детей. Ушаков отвечал: «Мы ничего не можем сделать, так как Н.Н. остался сверх срока». Постоянной работы не было: Дурново чехи сочли, по выражению Якобсона, «нерепрезентативным». Жить приходилось, выражаясь современным языком, на «гуманитарную помощь» от МИДа Чехословакии и эмигрантских организаций.

И тут, в конце 1927 г. ученый получил приглашение, показавшееся заманчивым, но в итоге ставшее началом еще больших бед. Белорусские коллеги, среди которых особо активен был П. А. Бузук, приглашали его на выгодных условиях в Минск. 2 ноября 1927 г. Дурново писал в Ленинград академику Б. М. Ляпунову: «Из Минска письмо получил вчера. Сегодня послал телеграмму о согласии… Минску я, конечно, предпочел бы Москву или Петроград, потому что смолоду привык работать только по источникам, а в Минске их нет». Но выбора не было, а домой хотелось. И в начале 1928 г. Дурново уехал на родину, как оказалось, навстречу гибели, пусть не немедленной.

Обстановка тогда, в самом конце НЭПа, казалась стабильной. Материально ученым было хуже, чем до революции, но Дурново был к этой стороне жизни равнодушен, а голода, во всяком случае, уже не было. Научная жизнь более или менее восстановилась, а где-то и превзошла прежний уровень, как в Минске, превратившемся из рядового губернского города в столицу союзной республики. Белорусская культура до революции не признавалась, а теперь оказалась в привилегированном положении. Дурново вначале приняли хорошо, впервые после 1921 г. (и, как оказалось, в последний раз) он получил возможность регулярно преподавать, вскоре его

выбирают академиком только что образованной Белорусской академии наук. Он успевает издать второй том «Повторительного курса» и ряд статей, начинает изучение белорусских диалектов. Казалось, все утряслось, жаловался он в 1928–1929 гг. лишь на белорусских коллег: «Они безграмотны, не понимают настоящей науки и только роняют имя белорусской “Академии наук”… Их белорусский патриотизм часто выливается в форму нелепого и вредного шовинизма». Но вдруг все рухнуло опять. В стране развернулась «культурная революция».

В Белоруссии кампания началась в конце 1929 г., главный удар был (как и в других национальных республиках) нанесен против «буржуазных националистов». В Белоруссии их называли «нацдемы» (национальные демократы), и в их число попали Бузук и другие люди, пригласившие Дурново в Минск. Сам он не был белорусом, и обвинить его в «белорусском национализме» было трудно, зато можно найти другие обвинения от жизни в Чехословакии до родства с царским министром П. Н. Дурново (этот, якобы, брат был старше Николая Николаевича на 32 года!). Бузук, пытаясь спасти свою карьеру, отрекся от него (в 1938 г. и его расстреляют).

Дурново исключили из Белорусской академии (членом-корреспондентом всесоюзной академии он еще оставался). О работе в Минске не могло быть и речи, и ученый в третий раз вернулся в Москву, где продолжала жить его семья (старший сын Андрей к тому времени решил пойти по стопам отца и учился на славяноведа). Каждый переезд Николая Николаевича в родной город оказался труднее предыдущего. В 1915 г. он легко вернулся в университет. В 1921 г. он не смог найти постоянную работу, но во многом из-за неумения устраиваться. В 1930 г. на нем стояло клеймо «неблагонадежного». О преподавании в вузе нельзя было и думать. В Научно-исследовательский институт языкознания, единственный в Москве институт его профиля, его полтора года не брали, и лишь в октябре 1932 г. взяли внештатно, для чтения лекций для аспирантов. Но уже в мае 1933 г. институт был закрыт по требованию всесильного Н. Я. Марра. Московская диалектологическая комиссия во главе с Д. Н. Ушаковым в момент возвращения Дурново в Москву еще существовала и оставалась отдушиной, но через год в результате интриг она была реорганизована в Диалектографическую комиссию во главе с Н. М. Каринским. Это был серьезный специалист по древнерусским рукописям, но принадлежал к другой научной школе, а, главное, активно подлаживался к конъюнктуре, на что не был способен Дурново. Каринский приспособил комиссию под собственные нужды, изучая изменения говора подмосковной деревни Ванилово

в связи с постройкой там фабрики. Дурново назвал комиссию «Вониловской» и перестал там бывать.

Единственным постоянным заработком оставалось жалование члена-корреспондента («академическая пенсия», как тогда говорили), но платили там тогда мало. К этому добавлялись случайные работы по договорам и редкие гонорары, в основном из-за границы, за которые что-то можно было получить в Торгсине. За рубежом, более всего в Чехословакии, Дурново в 1931–1933 гг. опубликовал десять статей, в основном не очень объемистых. В СССР же вышел только «Карманный чешско-русский словарь» (на обложке составителями указаны Н. Дурново и А. Грулин, вторая фамилия была псевдонимом чешского коммуниста-нелегала, выступавшего в качестве носителя языка-информанта, его подлинную фамилию мы с Ф. Д. Ашниным так и не выяснили). В СССР это вообще был первый двуязычный словарь чешского языка. Дурново принадлежит также приложенный к словарю тщательно составленный фонетический и грамматический очерк.

Работать становилось труднее по многим причинам. Мучили бытовые тяготы: жили в большой коммунальной квартире в Трубниковском переулке, младший сын еще учился в школе, дочь имела инвалидность и не работала, как и жена, а Андрей, получив высшее образование, тоже не имел постоянной работы и выполнял различные договора, более всего в Литературной энциклопедии. Ученый чувствовал себя выбитым из колеи, его научная продуктивность стала падать: в 1931 г. шесть публикаций, в 1932 г. – три, в 1933 г. – две. Сам внешний облик отражал его состояние. Жена академика В. В. Виноградова много лет спустя (1988) вспоминала о нем: «Н. Н. Дурново был пожилого возраста, обросший бородой, вида такого, как изображают в кино “профессоров” и ученых. После его ухода на полу оставалась лужа воды, он не носил галош». А он не был так уж стар: тогда ему 54–57 лет.

Впрочем, сохранялись старые научные связи и появились новые. Продолжалась дружба с Д. Н. Ушаковым, еще одной отдушиной бывали традиционные «понедельники» дома у последнего еще живого из учителей, академика М. Н. Сперанского, где собирались русисты и слависты старой школы, вспоминали прошлое и жаловались на настоящее. Кто-то из друзей (вероятно, Д. Н. Ушаков) решил поддержать Дурново и устроил ему заказ Учпедгиза написать очерк истории русского литературного языка совместно с ранее ему не знакомым ученым иной школы, будущим академиком В. В. Виноградовым: Дурново должен был писать древний период по XVI в., а Виноградов

последние века. Они встречались и обсуждали работу, но в срок ее выполнил один Виноградов (впоследствии его часть вышла как отдельная книга), а написал ли что-нибудь Николай Николаевич, неизвестно. В Учпедгизе шла и другая работа Дурново, в отличие от предыдущей, безусловно, законченная: второе, переработанное издание «Повторительного курса». Редактором этих работ был молодой талантливый ученый В. Н. Сидоров. Дурново благодаря этому подружился с Сидоровым и его ближайшим товарищем Р. И. Аванесовым, менее тесными оказались его связи с другими основателями Московской фонологической школы: П. С. Кузнецовым (см. очерк «Петр Саввич») и А. А. Реформатским. Это было новое, ранее не знакомое поколение, изучавшее фонологию на основе идей Н. Ф. Яковлева и отчасти Н. Трубецкого и Р. Якобсона. Дурново стал связующим звеном между москвичами и Пражским кружком. По свидетельству А. А. Реформатского, лингвисты разных поколений решили совместно писать грамматику современного русского языка: Аванесов должен был писать фонологию, Сидоров морфологию, а Дурново синтаксис. Но, как пишет Реформатский, «участие Дурново не могло осуществиться». Два других автора, несмотря на беды, постигшие Сидорова, в конце концов, написали свои части (изданы в 1945 г.).

Жизнь сломала симпатичного и талантливого интеллигента. Трудно сказать, что было бы, если бы он «проскочил» годы репрессий и дожил до времени, когда звание члена-корреспондента стало давать реальные льготы. Но судьба была к нему очень жестока. Роковую роль в его жизни сыграло знакомство с неким Михаилом Наумовичем Скачковым.

Познакомились они еще в Чехословакии. Это был донской казак, белый офицер, затем эмигрант. Но в Чехословакии он связался с советской разведкой и работал с Д. Быстролетовым, одним из легендарных советских разведчиков 20–30-х гг. В 1926 г. Скачков вернулся в СССР, переводил с чешского (он первым у нас стал переводить Я. Гашека), работал в Главлите, возможно, продолжая агентурную деятельность. В марте 1933 г. он возобновил знакомство с Николаем Николаевичем и подружился с его сыном Андреем.

Андрей Дурново в отличие от скромного отца любил напоминать окружающим о дворянском происхождении, а в его молодежную компанию входили Голицыны, Бобринские, Урусовы, Трубецкие и прочие потомки старинных родов, теперь «бывшие». 17-летняя Варвара Трубецкая, племянница Н. С. Трубецкого, была то ли его невестой, то ли гражданской женой. Если старший Дурново не увлекся евразийством, то его сын оказался под

впечатлением идей дяди своей невесты и завел тетрадку под названием «Мысли для себя» с выписками из евразийских трудов. Потом она станет главным источником для следствия при составлении «программы» «контрреволюционной организации». Рассказывал Андрей про евразийство и друзьям, и, по-видимому, на горе себе и отцу Скачкову.

Осенью 1933 г. Скачков был арестован. Не знаю, попала ли семья Дурново в поле зрения Секретно-политического (следственного) отдела ОГПУ после его показаний или еще до них (Скачков в дело «Российская национальная партия» включен не был, хотя его показания там фигурировали, а в 1937 г. по другому делу он будет расстрелян). Но именно он дал первые из имеющихся в деле показаний на отца и сына Дурново; как раз он рассказал, как Николай Николаевич за границей демонстративно ел белый хлеб. По его словам, Николай Николаевич показал себя антисоветски настроенным человеком еще в Чехословакии, а в Москве в 1933 г. вместе с сыном состоял в «националистической организации, ведущей активную антисоветскую работу» (название «организации» к тому времени еще придумано не было).

Теперь можно было раскручивать московское «дело славистов», объединив его с аналогичным ленинградским делом, начавшимся несколько раньше, с сентября 1933 г. В ночь на 28 декабря 1933 г. отец и сын Дурново были арестованы. В деле имеется ордер на арест, выданный сотруднику Оперотдела ОГПУ Финкельбергу. Тогда же арестовали Варвару Трубецкую и ее отца Владимира Сергеевича, брата Николая Сергеевича Трубецкого.

Члену-корреспонденту противостояли опытные мастера своего дела, в отличие от сменивших их в 1937 г. мясников предпочитавшие не физические, а психологические методы. Они умело сочиняли страшную сказку про «Российскую национальную партию» (так в конце концов назвали «фашистскую организацию»), помещая «контрреволюционную деятельность» в контекст реальных событий, встреч, знакомств. Якобсон один раз прислал учителю письмо и деньги через сотрудника чехословацкой миссии в Москве, его иногда приглашали в миссию – «агентурные связи». Виднейший французский славист А. Мазон, будучи в Москве, заходил домой к Дурново – «получение заданий». Дурново привез в СССР евразийские сочинения Трубецкого и давал их читать – «контрреволюционная пропаганда». А вечера у Сперанского (отделавшегося благодаря хлопотам брата – кремлевского педиатра – исключением из Академии и условным приговором) – «конспиративные собрания». Отмечу, что всем «делом славистов» непосредственно руководил заместитель начальника Секретно-политического отдела ОГПУ

Генрих Самойлович Люшков, дальнейшая судьба которого любопытна. В июне 1938 г. Люшков, к тому времени начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю, перебежит к японцам, выдаст им всю известную ему информацию, затем возглавит, по некоторым данным, подготовку неудавшегося покушения на И. В. Сталина и будет убит новыми хозяевами в дни капитуляции Японии в 1945 г.

Сопротивляться подобным людям «большой ребенок» не мог, как и его сын. Они подписали все, а списки знакомых, которые их заставили написать, стали основой для дальнейших арестов. В январе – марте 1934 г. были арестованы В. В. Виноградов, В. Н. Сидоров, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев и ряд других русистов и славистов. Некоторые из них вели себя на следствии совершенно иначе, особенно Селищев, ни в чем не признавшийся. Впрочем, из числа кандидатов на арест исключили всех, кто имел неславянские фамилии (в том числе повезло Р. И. Аванесову), а Д. Н. Ушакова, вероятнее всего, спас словарь, которому придавалось большое значение. И в стороне остались все лица, не упомянутые отцом и сыном, в том числе П. С. Кузнецов и А. А. Реформатский.

Когда Дурново арестовали, находившееся в работе второе издание «Повторительной грамматики» было выброшено в корзину, но В. Н. Сидоров, арестованный на полтора месяца позже, успел спасти готовую рукопись книги, не изъятую и оставшуюся у него дома. Как свидетельствует ученица Сидорова С. Н. Борунова, рукопись хранилась у Сидорова, потом у И. С. Ильинской, потом у М. В. Панова, русисты использовали ее для работ, но так и не издали. А после смерти Панова в 2001 г. ее не нашли. «Рукописи горят» и в наши дни.

Но Сидоров, как и Виноградов, Селищев и ряд других ученых, выжили и вернулись к работе. А про Николая Николаевича осторожный Аванесов скажет в 70-е гг.: «уехал из Москвы в конце 1933 г. (с тех пор его мы не видали)». Из людей его круга последней видела Дурново, вероятно, жена В. В. Виноградова, ходившая на Лубянку на свидание к мужу перед его отправкой в ссылку. В коридоре она случайно увидела, как вели Дурново, о чем позже вспоминала: «Он был небрит, оброс бородой, произвел на меня тяжелое впечатление».

Это было, видимо, в начале апреля 1934 г. К тому времени дело уже было закрыто. В обвинительном заключении, в частности, написано: «Существовала разветвленная контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшаяся “Российская национальная партия”, ставившая своей целью свержение Советской власти и установление в стране фашистской диктатуры. “Российская национальная партия”

объединяла в своих рядах различные националистические элементы для борьбы с Советской властью. Контрреволюционная организация НРП была создана по прямым указаниям заграничного русского фашистского центра, возглавляемого князем Н. С. Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и другими. Оформление организации относится к первой половине 1930 г., после возвращения из-за границы и переезда в Москву профессора Дурново Николая Николаевича». Перечислялся «политический центр» «партии» из девяти человек, включая Н. Н. Дурново. Отметим, что четверо из этой девятки, включая великого ученого В. И. Вернадского, вообще не были арестованы, а «руководитель фашистского центра» П. Г. Богатырев в 1940 г. вернулся в СССР, где ему подобные обвинения не предъявлялись.

29 марта 1934 г. был вынесен приговор. Дурново получил максимальный по данному процессу срок: 10 лет заключения в Соловецких лагерях. Апрель его держали в Москве, поскольку еще шло отдельное следствие по М. Н. Сперанскому. В середине мая он прибыл на Соловки. 8 июня там на него составили «Учетно-статистическую карточку», где имеются фотографии в профиль и анфас, анкетные данные (отмечено владение пятью языками), пустые графы о лагерных зачетах и свиданиях и зловещее заключение: «Необходимо агентурное освещение настроения и связи с волей. Ограничения: содержать в изоляции от участников организации в одиночке». Андрей, получивший пять лет лагерей, как и еще четверо, проходивших по делу, тоже оказался на Соловецких островах, но они не должны были ничего знать друг о друге. Андрея, впрочем, через некоторое время отправили в другой лагерь под Ташкент.

Сохранилось несколько писем Н. Н. Дурново из лагеря брату и племянникам. В первом из них он писал: «25 дней пробыл на северном берегу Большого Соловецкого острова среди природы, а с 11 июня живу в монастыре (теперь Кремль) в южной части острова. Заниматься здесь гораздо удобнее, но только бы были книги, но зато собирать грибы и ягоды и ловить рыбу здесь нельзя. Здесь масса чаек. Кричат день и ночь. Мое здоровье пока сносное. Припадки пока что не повторялись». Уже в первом письме ученый просит прислать ему бумаги в надежде заниматься научной работой.

Бумага ему скоро понадобилась с другими целями. В августе 1934 г. в Соловецкие лагеря прибыл с инспекционной поездкой генеральный прокурор СССР И. А. Акулов. Он заинтересовался рядом наиболее известных заключенных, в том числе Н. Н. Дурново, и велел им дать письменные показания. Обширные показания Дурново сохранились и уже дважды публиковались.

Они очень искренни и могут быть названы исповедью их автора.

Дурново писал: «Я не отрицаю своего несогласия с идеей коммунизма и с тактикой Советской власти, своих связей с профессорами Якобсоном и Трубецким, некоторыми русскими политическими эмигрантами в Чехословакии и Югославии и членами чехословацкого дипломатического корпуса; признаю, что я не только лично отрицательно относился к Советской власти, но и не скрывал своего отношения в разговоре с другими лицами, не только гражданами СССР, но и с иностранными учеными… Но я решительно заявляю, что ни о какой организации, ставившей своей целью свержение Советской власти, никаких разговоров не было… Не помню, чтобы кто-либо возлагал какие-нибудь надежды на интервенцию. Лично считая интервенцию изменой не только Советской власти и пролетариату, но и нации, я бы непременно стал возражать и должен был бы это запомнить». И далее: «Что касается моих взглядов и убеждений, они не отличаются ясностью вследствие того, что, будучи погружен в свои научные занятия, я всю жизнь мало интересовался политическими, социальными и экономическими вопросами. Могу сказать, что, хотя и признавал, что бывают моменты в развитии общества, когда революция неизбежна, я все же вообще всегда был противником революционных методов борьбы с существующим строем и таким остаюсь и в настоящее время, почему отношусь отрицательно и к попыткам свержения Советского строя, носящим революционный характер. К идее коммунизма и принудительного коллективизма я относился отрицательно; но не менее отрицательно относился я к фашизму, не говоря уже о той форме, в какую он вылился в Германии… Фашизм… меня пугает, а коммунизм угнетает. Поэтому я страшно боюсь всяких переворотов… Капитализм, по крайней мере в той форме, в какую он вылился в буржуазных странах, – а в другой форме я его не знаю, – представляется мне явлением ненормальным, и я не сомневаюсь в том, что он переживает кризис, которого он не переживет, но и к коммунизму, как я уже сказал, я отношусь отрицательно. А возможно ли что-нибудь третье, я не знаю».

Высказал Дурново мнение и по национальному вопросу: «Я признаю примат нации над классовостью… приветствую развитие всякой национальной культуры и языка во всей их самобытности, что не мешает мне сознавать себя русским и желать успеха и самобытного развития прежде всего для русской культуры и языка… Я всегда был против подавления одной национальности другою, против той русификации и германизации, какая проводилась имперскими правительствами России, Германии и

отчасти Австрии, или полонизации в современной Польше… и я находил, по крайней мере до 1930 г., что национальный вопрос в СССР разрешен в общих чертах верно. Но в то же время мне как русскому больно было видеть, как творцы украинского и белорусского литературных языков часто заботились не столько о том, чтобы они были действительно украинским и белорусским, сколько том, чтобы они не были похожи на русский, и наводняли их полонизмами, чехизмами и даже германизмами, неизвестными живому языку». Осудил он и антисемитизм некоторых коллег.

В показаниях Дурново подробно рассказывал о жизни в Чехословакии, о «понедельниках» у Сперанского, о евразийстве и многом другом. И в итоге: «Я не теряю надежды, что ОГПУ или заменивший его судебный орган [за месяц до написания документа ОГПУ было преобразовано в НКВД. – *В. А.*] учтет тот факт, что, если верить в мою активную попытку свергнуть Советскую власть, я оказался никуда не годным заговорщиком и потому не могу считаться опасным элементом».

Крик души «большого ребенка», надеявшегося на то, что его оставят в покое! Дурново даже не понял (в отличие от других узников, писавших аналогичные объяснения Акулову), что требовалось сказать. Надо было подтвердить следственные показания и заявить: «Я осознал свои заблуждения, идеологически перестроился и встал на путь исправления». Этим поведением можно было бы рассчитывать на смягчение участи вплоть до замены лагеря ссылкой. Но в отношении Николая Николаевича был вынесен вердикт: «Соловки на его убеждения не повлияли», и его оставили в лагере.

Как выяснил Ф. Д. Ашнин, в силу возраста и слабого здоровья Дурново не попал на общие работы и был зачислен в инвалидную «сторожевую роту», исполняя иногда функции сторожа, но большую часть времени оставаясь в камере № 6 Святительского корпуса монастыря. Такой режим, как ни показалось бы это странным, давал даже возможность работы по специальности. В письме родственникам он просил прислать «белой бумаги (на первое время несколько листьев), перьев, список моих книг и рукописей, оставшихся в Москве, и книги!». Надеялся он получить и рукопись «Повторительного курса» для доработок, но после ареста В. Н. Сидорова ему было некому помочь. Судя по названиям книг, которые ученый просил прислать, он хотел работать над историей русского языка, но потом от этих планов отказался: в последнем дошедшем до нас письме от 22 марта 1935 г. он жалуется: «Под руками нет ни источников, ни пособий». Правда, Соловецкий лагерь, где еще сохранялись традиции 20-х гг., был единственным в стране местом подобного

типа, где оставалась возможность что-то делать на месте: силами интеллигентных заключенных существовал даже музей, где оставалась часть рукописей былой монастырской библиотеки. В том же письме Дурново писал: «Здесь я описываю рукописи здешнего музея, но, кажется, посмотрел их все. Занимаюсь научной работой, но не знаю, какой из этого выйдет толк, потому что никак не могу переслать своих рукописей в Москву». Научной работой была грамматика сербохорватского языка, для которой, видимо, материалов хватило. В документах лагерной администрации отмечено, что грамматика была закончена и передана начальству. Но, увы, в наши дни Ф. Д. Ашнин не смог отыскать ее следы.

В этом же письме от 22 марта 1935 г. ученый беспокоится, почему не пишут жена и оставшиеся на свободе дети, боится, не выслали ли их из Москвы. О себе он пишет: «Здоровье пока сносно. Но сердце начало сдавать; одно время опухали ноги; сейчас как будто не опухают или опухают мало… Доктора прописывают то одно, то другое лекарство. Хуже всего с глазами. Левый глаз видит плохо; может быть, надо пересмотреть стекло в очках; правый глаз видит хорошо, но его часто застилает; иногда из-за этого приходится бросать работу на целых полдня; третьего дня не мог заниматься всю вторую половину дня с часу. Приспособления для лечения глаз нет. Пускаю протаргол, но помогает мало». И в конце письма приписка: «Глаз сегодня начало застилать с 11 ч., как только кончил письмо. Пишу через силу, совсем слепну» (описываются признаки далеко зашедшей катаракты). И все-таки письмо содержит и фразу иного рода: «Ботвинник и Ласкер поддержали вновь традицию Стейница и Ласкера». Матч В. Стейница и Э. Ласкера за мировое шахматное первенство проходил в гимназические годы Николая Николаевича и, очевидно, был для него крупным событием; теперь, спустя сорок с лишним лет в Москве проходил крупный турнир с участием одного из прежних соперников. Что-то еще напоминало о прежней жизни!

Сохранился и еще один документ о лагерной жизни ученого: подшитые в следственном деле «докладные о наблюдении за з/к Н. Н. Дурново (не датированы, но, судя по упоминанию о чтении рукописей музея, это тоже начало 1935 г.). Там сказано: «З/к Дурново Н. Н. в письмах к своей жене предупреждает о возможности его смерти и дает указания, как поступить с научными трудами и кого следует известить о смерти… Меры тщательного наблюдения за Дурново приняты, проинструктирована охрана, личное посещение участили… Колющих и режущих предметов у Дурново не имеется, т. к. были

изъяты при его изоляции». «Дурново Н. Н. Моральное состояние без изменений. Продолжает беспокоиться о семье, что его письма и рукописи семьей не получены… Продолжает заниматься разработкой старописьменных и печатных документов Соловец[кого] музея, которые доставляются ему в камеру. Дурново переведен в камеру № 6 низ, выходящую на южную сторону. Электрическое освещение камеры усилено. По вопросу вывода Дурново для работы в Музей просим ускорить ответом на наш № 84/к от 28 января с.г.».

И все! А о второй половине 1935 г., о 1936 г. и о первой половине 1937 г. материалов нет. Письма жене пропали, знавших Дурново в лагере людей Ф. Д. Ашнину найти не удалось. Он даже писал Д. С. Лихачеву, который ответил, что высоко ценит труды Дурново, но лично его не знал, а на Соловках они были в разное время. Как жил «з/к Дурново», которому в лагере исполнилось 60 лет? Успел ли он ослепнуть или еще как-то видел? Мы не имеем данных даже о том, дошло ли до него известие о гибели его дочери Ольги. Она первой из семьи кончила жизнь нелепейшим образом: дома во время обеда сверху упала статуэтка и убила двадцатилетнюю девушку наповал.

А о самом страшном лишь сухие документы в том же деле. Это «Выписка из протокола заседания Особой тройки УНКВД по Ленинградской области от 9 октября 1937 г.», где за словом «Постановили» идет: «Дурново Николая Николаевича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее имущество конфисковать». И за ним напечатанный на ротаторе стандартный текст, в который от руки вписывались лишь фамилия, имя, отчество, номер приговора и даты приговора и его приведения в исполнение. В нем сказано, что приговор в отношении Дурново исполнен 27 октября 1937 г. Подпись капитана госбезопасности Матвеева.

Кроме того, в деле имеется справка, составленная УАО КГБ при Совете министров Карельской АССР уже в 1964 г., в период реабилитации. Вот ее фрагмент: «На лиц, находящихся в заключении в Соловецкой тюрьме или Соловецких ИТЛ, предварительное расследование по делам не производилось, а по агентурным материалам или справке по старому следственному делу [в данном случае последний вариант. – *В. А.*] выносились на заседание Особой тройки, которая и выносила свое решение». То есть для Дурново и подобных ему не требовалось никаких новых обвинений, достаточно было еще раз рассмотреть прежнее дело и заменить старый приговор высшей мерой. Даже в 1937 г. так поступали далеко не со всеми заключенными. Но со старейшими Соловецкими лагерями сложилась особая ситуация: из-за их

стратегического положения там решили создать военную базу, а лагеря закрыть. Но чтобы не перевозить в другие лагеря слишком большое число заключенных, тех из них, кто имел большие сроки, решили ликвидировать, применив упрощенную процедуру. Тогда погибло более тысячи человек (их списки сейчас опубликованы обществом «Мемориал»). Среди них, помимо Николая Николаевича, были, например, знаменитый ученый и богослов П. А. Флоренский, украинский режиссер Лесь Курбас, украинский писатель Микола Зеров, большая группа интеллигенции поволжских республик, а также еще трое пострадавших по «делу славистов». Объяснения требует большой разрыв между датой приговора и датой его исполнения. Оказывается, заключенных по каким-то причинам не стали расстреливать на островах, а повезли в Ленинград, но по дороге решили на них не тратиться. Известно, что Дурново и многих других казнили где-то у Медвежьегорска в Карелии. Есть и не подтвержденная документами версия, что жертв даже не расстреливали, а забивали железными палками, как скот. Впрочем, в деле есть и документ о том, что организаторы побоища начальник Соловецкой тюрьмы И. А. Апетер и его помощник П. С. Раевский вскоре «уволены из органов в связи с арестом».

Снова вспомним Сильвестра Медведева. До деталей похожая судьба: арест, несколько лет заключения в монастыре, потом жестокая казнь. Но Медведев активно участвовал в политической борьбе на стороне противников молодого Петра I и проиграл, а Дурново всю жизнь пытался стоять подальше от политики. Однако обстоятельства времени не давали это делать и ставили перед выбором, где Николай Николаевич постоянно принимал не то решение.

Страшной оказалась судьба и всей его семьи. Обоих сыновей расстреляли вслед за ним. Андрея в лагере под Ташкентом обвинили в причастности к «террористической организации» и казнили 5 января 1938 г. (в лагере находились еще два его «подельника», но расстреляли лишь его, а те дожили до освобождения). В том же году расстреляли и последнего из младших Дурново Евгения, до 1937 г. находившегося на свободе. Из-за ареста отца и брата он не стал поступать в вуз и работал затейником в Парке культуры и отдыха, но и это не помогло. Андрею было 27 лет, Евгению 22 года. Не интересовала органы лишь жена Николая Николаевича, «домохозяйка с домашним образованием», как она обозначена в деле. Несчастная женщина, пережив мужа и детей, осталась одна в той же коммунальной квартире и умерла во время войны от водянки. Судьба, неожиданно сходная с судьбой жены Н. Я. Марра. Пусть в семье

Марра никто не был расстрелян, а материально две вдовы были устроены по-разному, но все равно терять всех детей – страшная трагедия. Одна женщина потеряла четверых, другая троих.

Тяжело пострадала и связанная с семьей Дурново семья Трубецких. Отец Варвары Владимир Сергеевич не имел склонностей к науке в отличие от отца, дяди и брата, зато он был боевым офицером и способным литератором. Но еще с 20-х гг. он находился на положении «бывшего», жил случайной работой и несколько раз подвергался арестам, тогда еще недолгим (несмотря на то, что Гражданскую войну прошел на стороне красных). По «делу славистов» его и Варвару сослали в Андижан, куда уехала вся большая семья: у него было девять детей. А той же жестокой осенью 1937 г. Владимира Сергеевича и 21-летнюю Варвару там расстреляли, уже во время войны погибли его жена и еще одна дочь.

«Первые» стали «последними». Вспоминается слово А. Блока: «Возмездие». Поколения Дурново и Трубецких помыкали крепостными (сама фамилия Дурново говорит за себя), а копившаяся злоба, как часто бывает, настигла совсем не тех, а самых безобидных и полезных для общества представителей рода. Впрочем, не стоит думать, как это сейчас бывает, что гибли все родовитые дворяне, не успевшие эмигрировать. Семья Николая Николаевича погибла, а семья его брата Михаила Николаевича, педагога, уцелела (его дети были живы еще в 80-е гг.) и сохранила письма с Соловков. И часть детей В. С. Трубецкого выжила и преодолела трудности, с одним из его сыновей, Владимиром Владимировичем, ныне покойным, я работал в Институте востоковедения. Все складывалось по-разному.

Еще при жизни, в 1934 г. Дурново был исключен из состава Академии наук вместе с М. Н. Сперанским. Имя ученого, разумеется, упоминать не любили, но все-таки полного запрета на него не было: за ссылками на пострадавших до 1937 г. так строго не следили, как за упоминанием арестованных позже. И многие русисты, включая его бывших «однодельцев» В. В. Виноградова и В. Н. Сидорова, ссылались на его труды до официальной реабилитации. Часть его идей жила и использовалась, хотя многое зависело и от тематики. Если русская диалектология была сравнительно спокойной областью, то изучение древнерусской церковной литературы не всегда приветствовалось.

Лишь в конце 1964 г. (уже после снятия Н. С. Хрущева) осужденных по московской ветви «дела славистов», включая обоих Дурново, реабилитировали (в большинстве посмертно). Впрочем, судьбы выживших оказались разными: В. В. Виноградов задолго до формальной реабилитации стал главой советских

филологических наук, а Николаю Николаевичу даже после этого не везло. Издание его книги в 1969 г. долго оставалось единственным. Короткие статьи о нем в Большой советской энциклопедии (3 издание) и энциклопедии «Русский язык» изобилуют ошибками (в БСЭ стоит дата смерти: 1936). А Академия наук, в 1957 г. восстановив исключенных из ее состава в конце 1930-х гг. ученых, не сделала этого для тех, кого исключили раньше, включая Дурново, посчитав, что в эти годы «нарушений социалистической законности», как тогда говорили, еще не было (впрочем, в обеих энциклопедиях он обозначен как член-корреспондент). Справедливость восстановили лишь в 1990 г.

Сейчас труды Дурново уже несколько раз переиздавали, его научной деятельностью много занимались В. М. Живов и другие русисты. Но хочется вспомнить о нем и как о человеке. Нельзя не пожалеть этого симпатичного человека, доброго, мягкого, честного, непрактичного, погруженного в науку, слабого и в то же время верного принципам, не по своей воле попавшего под колеса истории.

Крестьянский сын
(А. М. Селищев)

Русист и славист, член-корреспондент АН СССР Афанасий Матвеевич Селищев (1886–1942) своей биографией отличался от большинства ученых своего поколения. Тогда в науку чаще шли интеллигенты уже не в первом поколении, нередко дворяне. Массовый призыв в эту сферу молодежи рабоче-крестьянского происхождения, так называемых «выдвиженцев», начался уже после революции, о чем будет рассказано в очерках «Выдвиженец» и «Об отце». А раньше «снизу» в ученую касту пробивались редко, циркуляр министра Делянова о «кухаркиных детях» действовал почти три десятилетия и был отменен только перед самой революцией. Но все же исключения бывали, и об одном из них

пойдет здесь речь.

Афанасий Матвеевич родился 11 (23) января 1886 г. в селе Волово Орловской губернии, теперь это Липецкая область, в крестьянской семье. А о дальнейшем он впоследствии рассказывал: «Я вышел из бедной крестьянской семьи. Только благодаря случайности (земской стипендии) я получил среднее образование (высшее образование было уже легче получить мне). Связи со своей социальной средой я не порывал и не порываю. Мне чужды утонченные манеры в обиходе». Мальчику удалось попасть в реальное училище в городе Ливны, после его окончания для получения права поступить в университет он держал экзамены по древним языкам в гимназии в Курске.

Будущий ученый поступил в Казанский университет и окончил его в 1911 г. с дипломом первой степени. Уже в студенческие годы он проявлял самостоятельность во взглядах. Университет, где он учился, в 70–80-е гг. XIX в. получил всемирную славу в языкознании благодаря деятельности выдающихся научных новаторов И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. Правда, к моменту поступления Селищева Крушевский умер, а Бодуэн давно не работал в Казани, однако их традиции продолжал их ученик В. А. Богородицкий. Однако Селищев, хотя и учился у Богородицкого, но своими учителями называл совсем других своих профессоров, далеких от теоретической лингвистики и гораздо более традиционных. Новые идеи, обобщения, теоретизирование не привлекли его ни тогда, ни позже. Для Селищева интересно было другое: скрупулезный анализ фактов, изучение объекта во всех деталях.

Афанасий Матвеевич был оставлен при университете, после сдачи магистерских экзаменов в 1913 г. начинает преподавать в качестве приват-доцента, ведет один из основных курсов «Введение в сравнительную грамматику славянских языков». Уже тогда его отличали большая основательность во всем и преданность делу. Работавший тогда в Казани историк Н. П. Грацианский позже рассказывал: «Я как-то попал на его лекцию, посвященную истории ятя. Сюжет от моих интересов весьма далекий. Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса о яте в жизни ничего нет».

Молодого слависта посылают на стажировку в изучаемые славянские страны. Его особо интересует Македония, тогда только освободившаяся от турецкого владычества. Он успевает туда попасть и собрать часть материала. Но на дворе 1914 г., начинается война, и командировка преждевременно заканчивается через два с половиной месяца. Больше Селищев не поедет за границу. Однако материала хватило на магистерскую

диссертацию «Очерки по македонской диалектологии», в 1918 г. он ее защищает и издает книгой.

Но в том же году все обстоятельства жизни меняются: Селищев переезжает из Казани в Иркутск. С чем это было связано? С 7 августа по 10 сентября этого года Казань захватывали белые, затем там окончательно установилась советская власть. Иркутск в это время находился в белогвардейском тылу, новая власть установится там лишь в начале 1920 г. Похоже, что приват-доцент эвакуировался с белыми, что потом, конечно, ему надо было скрывать. Если дворяне Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев, Л. П. Якубинский оказались на красной стороне, то крестьянский сын Селищев большую часть времен гражданской войны провел на территории белогвардейцев, принимая их власть.

В Иркутске в это время только что организовался университет, где Селищев занял кафедру русского языка. Его интерес к сбору и обработке фактов мог здесь найти хорошее применение: русские диалекты Сибири были к тому времени описаны слабо. Особенно любопытны были диалекты забайкальских старообрядцев (так называемых «семейских»), переселившихся на территорию нынешней Бурятии в XVIII в., по обычаям и языку отличавшихся от других русских переселенцев того региона. В мае-июне 1919 г. Афанасий Матвеевич осуществил экспедицию к этим старообрядцам, собрав материал не только по языку, но и по этнографии и культуре. В 1920 г. книга «Забайкальские старообрядцы. Семейские» вышла в Иркутске. Лишь в 2003 г. она переиздана в Москве.

Экспедиция проходила в крайне тяжелых условиях, и не случайно книге предпослан эпиграф из «Плача Иеремии»: «Вспомни нищету мою и гонение мое. Я вспоминаю горечь и желчь мою, – стеснена во мне душа моя». Селищев пишет: «Я должен был по возможности принять меры к более или менее безопасному странствованию по местности, где еще недавно происходили полные ужасы экзекуции карательных отрядов». «О бурных наездах карателей, действовавших именем полковника Семенова, о их разнузданной вольности мне рассказывали в каждом селе». В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) и его окрестностях «настроение было напряженное: столкновения “семеновцев” с американцами, привоз бурятского “царя” и его министров, разговоры о разных “конфликтах” сгущали городскую атмосферу». К тому же «иркутские газеты не допускались к обращению в Верхнеудинске». И это даже не столкновения белых с красными: разные силы белого лагеря враждовали между собой. В старообрядческих деревнях, когда-то зажиточных (о чем сказано

даже в «Дедушке» Н. А. Некрасова), теперь «есть заболевания голодным тифом… трезвость шатается, на подати ропщет народ, суд творит присланная милиция». «Печальную картину представляет нравственное состояние старообрядческого общества. В особенности пошатнулось молодое поколение… Выход молодежь нашла бы – в школе, в образовании. Этого нет, и молодежь пьянствует, развратничает, хулиганствует». Но не может одобрить Селищев и «заплесневелые формулы» старшего поколения: «От всех болезней там лечат знахарки. Обратиться к врачу – большой грех, по Писанию».

Крестьяне, обследованные Селищевым, жаловались на местную белую власть, а, как он пишет, «отношение к “большевизне” сочувственнее. Эти села только слышали программные речи большевиков и видели их бегущими после своего падения. По местам с благодарностью вспоминают, что большевики разрешили воспользоваться крестьянам спорной бурятской землей. Вернувшиеся военнопленные своими рассказами о голодающих деревнях Европейской России несколько поколебали надежды на большевицкое благополучие». В этих фразах видны и неприязнь их автора к большевикам, и представление о необратимости их падения.

Селищев подробно описывает и костюм старообрядцев, и содержание их книг, и их духовные стихи, и фонетические и грамматические особенности их диалекта, устанавливая, что они переселились из старообрядческих районов Черниговской и Могилевской губерний (это как раз те места, где сходятся Россия, Украина и Белоруссия). Многое из того, что успел зафиксировать ученый, скоро будет безвозвратно утрачено. При всей тяжести обстановки экспедиция достигла важных научных результатов.

В Иркутске Селищев работает и над более обширным по охвату материала исследованием, подготовив первый выпуск «Диалектологического очерка Сибири», оставшийся единственным. В нем описывается фонетика и морфология русских говоров Сибири и частично Дальнего Востока, выявляются их происхождение от говоров исходных местностей, взаимовлияние и результаты контактов с аборигенными языками. Книга вышла в 1921 г., когда ее автора уже не было в Иркутске.

В 1920 г. вопреки представлениям Селищева большевики вернулись. Второй раз с белыми он не ушел: теперь это означало эмиграцию, а, видимо, хотелось продолжать исследовательскую и преподавательскую деятельность на родине. Еще несколько месяцев он жил в Иркутске, но летом того же года решил вернуться в Казань, где стал профессором, как раз в это время он совершил еще одну важную по результатам экспедицию, изучив

бытование русского языка у неславянских народов Поволжья: чувашей и марийцев; результаты также были опубликованы. Но второй период пребывания в Казани оказался много короче первого: менее двух лет. Работы там было мало; как пишет ученик и биограф Селищева С. Б. Бернштейн, «весь цикл славистических дисциплин подвергся в это время здесь значительному сокращению». И не попрекали ли его в Казани «белогвардейством»? А, может быть, просто показалось заманчивым предложение переехать в Москву?

В конце 1921 г. Афанасий Матвеевич получил приглашение занять после смерти профессора В. Н. Щепкина кафедру славянской филологии в МГУ (тогда 1 МГУ) и в начале 1922 г. переехал в Москву, где прожил оставшуюся часть жизни с перерывом на годы заключения. Он поселился прямо в здании университета (в том корпусе, где сейчас факультет журналистики) вдвоем с помогавшей ему старой няней: семьи и личной жизни профессор никогда не имел, все время было посвящено работе.

К этому времени славистика и история русского языка в Москве испытали большие потери: одни умерли, другие эмигрировали. Молодой энергичный профессор быстро занял ведущее положение. Помимо МГУ, он работал в Институте языка и литературы РАНИОН (Российская ассоциация научных институтов общественных наук), возглавлял секцию русского языка Ученого комитета Наркомпроса. С московскими лингвистами, воспитанными в иных, чем он, традициях школы Ф. Ф. Фортунатова, он нашел общий язык. По мнению В. Н. Сидорова, видного представителя Московской школы, Селищев, «пожалуй, был ближе к московской школе, чем к казанской». Сидоров и другой крупный представитель этой школы Р. И. Аванесов были в те годы учениками Афанасия Матвеевича. Но отношение к нему оказывалось у склонных к теории его учеников неоднозначным, о чем много лет спустя скажет Аванесов. «Главный учитель», «наш любимец», пример в науке и жизни, но «не понимал и принимал все новое в лингвистике», включая уже не раз здесь упоминавшуюся фонологию. Рубен Иванович вспоминал, что однажды он даже грубо ответил учителю, когда тот «резко выступил против нашего метода», за что потом себя винил.

Тематика исследований у Селищева в эти годы имела три направления: славистика, в основном в историческом плане, русская диалектология, социолингвистика. Славистикой, однако, становилось заниматься все труднее и не только потому, что нельзя стало ездить в славянские страны: в эпоху «санитарного

кордона» вокруг СССР изучение языков враждебных государств не очень поощрялось. Три написанные ученым книги он смог издать лишь в Болгарии в 1929–1933 гг. на русском языке (тогда публикации за границей еще допускались). Это «Полог и его болгарское население», «Славянское население в Албании», «Македонские кодики XVI–XVIII вв.». Из диалектологических работ наиболее крупная – «Русские говоры Казанского края» (1927).

Но наибольший резонанс из всех работ Селищева имела вышедшая в 1928 г. книга «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)». На эту тему писали и другие видные языковеды тех лет, в том числе Е.Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»), а также А. М. Пешковский. Но книга Селищева, уступая работам этих ученых с теоретической точки зрения, намного превосходит все, что тогда было написано по данной тематике, по богатству и разнообразию собранного материала.

Позиция ученого была точно определена им самим. В Институте востоковедения РАН сохранился экземпляр книги с дарственной надписью автора видному тюркологу: «Владимиру Александровичу Гордлевскому от летописца». Взгляд летописца отразился и в лингвистической, и в идейной позиции Селищева.

Книге предпослано краткое, занимающее всего восемь страниц теоретическое предисловие, составляющее самую слабую ее часть: не разграничение «функций языкового процесса» интересовало автора. Он не ставил, как Е. Д. Поливанов, задачу построить теорию изменений в языке под влиянием социальных факторов. Цель «летописца» заключалась в максимально точной и подробной регистрации фактов, которые затем получали первичную обработку. Если Поливанов стремился быть марксистом, то Селищев, по воспоминаниям С. Б. Бернштейна, даже в 30-е гг. избегал самого слова «марксизм». Тем не менее, рецензия Поливанова на книгу была положительной.

Идейная позиция Афанасия Матвеевича – также позиция «летописца», «добру и злу внимающего равнодушно». Если Поливанов смотрел на все происходящее как участник событий, «языковой политик», то Селищев смотрит на это с позиции извне. «Язык революционной эпохи» – не революционная и не антиреволюционная книга. Если ее автор когда-то и принимал какое-то участие в белом движении, то теперь для него прошедшие события – данность, с которой надо считаться, объект научного анализа, по возможности лишенного оценок, хотя иногда они и прорываются.

Впрочем, оценочный подход у него есть в одном пункте: в

отношении к русской литературной норме. Он пишет, например: «Элементы, без необходимости для разных речевых функций внесенные в общерусский (литературный) язык, плохое владение этим языком вызывают резкие протесты со стороны тех деятелей, которые не утратили чутье норм общерусского литературного языка». Очевидна солидарность автора с этими деятелями.

Селищев равно далек и от идей о «созидании» совершенно нового языка после революции (что утверждали последователи Н. Я. Марра), и от идей о полном «разрушении» русского языка (что любят говорить в последние двадцать лет). Сравнивая языковые изменения во время французской и русской революций, он пишет: «Французских революционеров не удовлетворяла изящно-изысканная речь аристократической эпохи: чувствовалось сильно ее несоответствие действительности революционного времени (ср. его же слова о нелюбви к “утонченным манерам”. – *В. А.*). Такого резкого расхождения между языком русской интеллигенции дореволюционного времени и языком революционных деятелей на русской почве не было». А язык революционных деятелей, как показывает Селищев, лежал в основе многих явлений, получивших широкое распространение после революции. Другой процесс – распространение вширь через язык революционных масс диалектных, просторечных и арготических явлений.

Как показывает Селищев, изменения в русском языке после революции связаны в основном с лексикой и отчасти со словообразованием, тогда как фонетика не изменилась совсем, а грамматика незначительно (потом это наблюдение использовал Е. Д. Поливанов). Не очень систематично отмечены также стилистические особенности языка революционной эпохи: ораторские приемы вроде повторов, вопросно-ответная (катехизисная) форма речи и др.

Автор книги показывает, что источники пополнения лексики могли быть разнообразными. Одни из них связаны с происхождением тех или иных активных участников революционного процесса: иногда социальным или профессиональным (матросы, выходцы из духовенства), иногда этническим (поляки, евреи). Отсюда появление, с одной стороны, ранее узкопрофессиональной лексики (чаще в переносных значениях), с другой стороны, заимствований и калек из польского, немецкого, идиша. Скажем, оборот *извиняюсь* как «словесный знак вежливости», по мнению Селищева, появился под влиянием польского *przepraszam*, а слово *штрейкбрехер* идет из идиша. Но происхождение того или иного языкового явления и его внедрение в общий язык могут иметь разные источники. Так,

вульгаризмы могли распространяться не только необразованными людьми, но и выходцами из образованных слоев, особенно из студенчества, для которого характерна «независимость от общественных норм и форм бытового уклада и общепринятого этикета».

Другая причина распространения языковых новшеств связана с самими обстоятельствами жизни. Так, широкое распространение канцеляризмов идет от «воздействия множества канцелярий» после революции, богатство лексики военного происхождения – от «самого характера программной деятельности» революционеров. С необходимостью воздействия на массы Селищев связывает повышенную эмоциональность революционного языка. В то же время он отмечает и постепенное снижение этой эмоциональности, превращение некогда ярких и броских эпитетов в штампы.

Особые разделы книги посвящены изменениям в речи рабочих и крестьян. Показано, как они, с одной стороны, стараются освоить литературный язык, с другой стороны (особенно крестьяне), искажают и часто переосмысляют элементы этого языка. Еще один раздел книги рассматривает изменения в речи нерусских народов РСФСР, в большей степени, чем раньше, осваивающих русский язык.

Помимо речи рабочих и крестьян, особое внимание исследователя привлекают язык партийных деятелей (в основном владеющих литературной нормой) и язык молодежи, особо восприимчивой к новому в языке. В социальном анализе, однако, бросается в глаза отсутствие одного слоя: сформировавшейся до революции нереволюционной интеллигенции, к которой относился и сам автор. Как бы предполагается, что здесь после революции ничего не изменилось, но это было не совсем так, и изменения «интеллигентского языка» несколько позже изучал Е. Д. Поливанов. Но отсутствие такого анализа закономерно: оно нарушило бы чистоту позиции извне.

Еще один вопрос, почти не затронутый Селищевым: о степени устойчивости тех или иных явлений языка революционной эпохи. К 1928 г. многое из зафиксированного им уже исчезло из языка, другое закрепилось в нем надолго, но узнать об этом из книги нельзя. Цель автора – зафиксировать как можно больше явлений, многое из собранного им материала уникально.

Книгу «Язык революционной эпохи» не одобрили ученые старой школы. Пожилой академик Б. М. Ляпунов считал: «При всем уважении к эрудиции и умению живо и интересно излагать, невольно приходит мысль, что автор, выбирая тему, руководствовался практическими соображениями». Но наверху

книга первоначально была встречена хорошо, была премирована и включена в списки литературы для студентов. Однако вскоре ситуация изменится.

В начале 1929 г. Селищев был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Но после спокойных годов НЭПа начались годы «культурной революции», и работать становилось все труднее. Как-то Селищева вызвал тогдашний ректор МГУ А. Я. Вышинский и предъявил две претензии: на занятиях по старославянскому языку используются религиозные тексты, и кафедра Селищева не следует «новому учению» Марра. По поводу текстов удалось объяснить ректору, что ничего другого на этом языке просто нет, но требование о внедрении марризма осталось. Однако Афанасий Матвеевич и его не выполнил: он всегда был противником «нового учения», хотя, в отличие от Е. Д. Поливанова, не выступал против него с трибуны.

Но скоро произошла реорганизация университетского обучения: из состава МГУ исключили гуманитарные факультеты, взамен создали Московский институт философии, литературы, истории (МИФЛИ), где ряд традиционных специальностей был ликвидирован. В том числе прекратилось на несколько лет обучение славянским языкам (кроме, естественно, русского), и Селищеву стало негде преподавать. Примерно тогда же закрылись и институты РАНИОН. Правда, в начале 1931 г. взамен лингвистической части Института языка и литературы РАНИОН открылся Научно-исследовательский институт языкознания (НИЯз) при Наркомпросе, в исторический его сектор был зачислен и Афанасий Матвеевич.

Но спокойно там работать оказалось невозможно. Директором нового института стал эмигрировавший в СССР румынский коммунист М. Н. Бочачер, «брошенный» на науку, он оказался мастером интриги. Впоследствии, вспоминая о НИЯзе, тюрколог Н. А. Баскаков говорил: «Тогда был порядок, что директор должен быть не специалистом». Бочачер следил за «политической линией», а другие ведущие должности занимали языковеды – коммунисты и комсомольцы, организаторы группировки «Языкофронт», в том числе совсем еще молодой Т. П. Ломтев (см. очерк «Выдвиженец»). Они спорили и с Марром, но били наотмашь и представителей старой, «буржуазной» науки. В институте их главной мишенью стал Селищев.

4 января 1932 г. Бочачер, «считая его дальнейшую работу в НИЯзе вредной», постановил: «Исключить Афанасия Матвеевича Селищева из состава действительных членов Института; довести об этом до сведения Сектора науки Наркомпроса». За увольняемого попытался вступиться его аспирант С. Б.

Бернштейн, его тоже выгнали из института, заодно и исключив из «Языкофронта» (который, правда, на том же заседании самораспустился). 12 марта 1932 г. в НИЯз состоялось заседание методологического сектора с разоблачениями уже уволенного Селищева. Докладчиком выступал сам директор (в связи с чем говорили о том, что «мы присутствуем при рождении нового лингвиста» Бочачера). Вот выдержки из доклада: «Профессор Селищев в этой борьбе за Македонию стал… сторонником болгарского империализма… Нужно уметь разглядеть за «ученными» выкрутасами политическое лицо царско-буржуазного разведчика». Любопытно, что о пребывании Селищева у белых Бочачер не вспомнил, зато его поездка в 1914 г. в Македонию превратилась в выполнение разведзадания. Далее: «Перейду к книге “Язык революционной эпохи”. Эта книга очень талантлива. В этой книге очень тонко и умело скрыта клевета на нашу революцию». Вывод: «Работы Селищева – это работы идеологического интервента. Не только великодержавного шовиниста, но и капиталистического реставратора… Наше слово будет словом разоблачения идеологического интервента (Аплодисменты)».

Однако дело приняло иной оборот. За члена академии вступились, и через полгода после увольнения нарком просвещения А. С. Бубнов восстановил на работе и Селищева, и Бернштейна. Бочачер к тому времени из института исчез (в 1939 г. он будет расстрелян). Но и после этого институтские «вождята», как их называл В. Н. Сидоров, не давали покоя. Однако и «вождятам» (и вместе с ними всем сотрудникам института) дорого обошлись их выступления против Марра. Из-за этого весной 1933 г. НИЯз был закрыт, а его сотрудники разбрелись кто куда, некоторые долго оставались без работы. Селищев не имел работы около полугода, потом он добился зачисления в Институт славяноведения АН СССР, только что открывшийся в Ленинграде, куда он теперь должен был периодически ездить.

Но худшее было впереди. Скоро поездки в новый институт объявят «связью между московским и ленинградским центрами», институт менее чем через год закроют, а большинство его сотрудников арестуют. Сам Афанасий Матвеевич будет арестован в ночь на 8 февраля 1934 г. по одному делу с героем очерка «Никуда не годный заговорщик» Н. Н. Дурново и взятым в одну ночь с Селищевым будущим академиком В. В. Виноградовым.

Поведение подследственных оказалось различным. Если мягкий интеллигент Н. Н. Дурново сдался сразу, то у Селищева проявилась его крестьянская натура: он выдержал все допросы (бить тогда еще не полагалось, но психологические методы

воздействия были очень тяжелыми). 29 марта 1934 г. был вынесен приговор: для Селищева – пять лет лагерей.

Срок заключения ученый (остававшийся все это время членом-корреспондентом Академии наук) отбывал в лагере около Караганды. Ему удалось попасть в сравнительно спокойную обстановку на метеорологическую станцию, он вел какие-то преподавательские занятия в лагерном учебном комбинате, считался ударником. Тогда еще существовала отмененная в 1938 г. система зачетов: при хороших работе и поведении можно было рассчитывать на досрочное освобождение. Учитывалось и «социальное происхождение», в данном случае оборачивавшееся в пользу заключенного. В итоге менее чем через три года, 11 января 1937 г. Селищева освободили.

Но выход из лагеря не означал восстановления в правах. И вся последующая жизнь ученого почти до последних дней – борьба за право считаться полноправным членом общества. Жить ближе 100 км от Москвы не полагалось, но Афанасий Матвеевич не мыслил жизни без работы в столице, где комнату в здании университета и библиотеку все три года хранила старая няня. А помимо этого, травля «буржуазного ученого» не закончилась. Когда Селищев был в лагере, в марте 1935 г. в «Правде» появилась разгромная статья о вышедшей семью годами раньше книге «Язык революционной эпохи» (автором был один из членов уже не существовавшего «Языкофронта» К. А. Алавердов). Там было сказано: «Что представляет собой книга Селищева? Это от начала до конца гнусная клевета на партию, на наших вождей, на комсомол, на революцию». Селищев отмечал, что в речи революционеров много грубых слов, – следовательно, он «классовый враг». Селищев указывал на обилие славянизмов в речи революционеров, – следовательно, он «черносотенец». Селищев говорит о влиянии идиша и слов «юго-западного происхождения» на речь ряда лидеров, – следовательно, он «махровый антисемит». К тому же в книге встречались цитаты из Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева. Особо отмечено, что «книгу эту можно найти почти во всех рекомендательных списках литературы к программам вузов по языку». Об аресте автора Алавердов не пишет, но он не мог не знать об этом. Тогда самую известную книгу Селищева до конца 80-х гг. изъяли из свободного доступа библиотек (другие его книги, правда, не изымались). А вот японские русисты в 70-е гг. переиздали ее фототипическим способом ввиду ее ценности (впервые я прочел ее в Токио).

Приехав в Москву, где ему не полагалось появляться, Селищев без разрешения живет в прежнем помещении и пытается прописаться у няни, пишет об этом Н. И. Ежову. Но няня,

заменявшая ему мать, через месяц умерла, комната в МГУ вскоре была отобрана. Селищев прописался у знакомых в Калинине (ныне Тверь), но фактически жил в Москве и продолжал писать ходатайства наверх, то в НКВД, то в ЦИК СССР, прося хотя бы временной прописки. Он заявлял в мае 1937 г.: «Меня угнетает судимость. Мне тяжело и то, что я не могу возобновить свои научные работы, которым я отдал всю жизнь… Я не могу пользоваться библиотеками Московского университета и имени В. И. Ленина, а также и своею, находящейся в моей квартире». В лагере надежды на будущее помогали выстоять, теперь опускались руки.

Вопрос о прописке в столице затягивался, и в то же время в разгар репрессий ученого не тронули, из Москвы не выслали. Удачнее получилось с устройством на работу. Помогли коллеги, особенно Д. Н. Ушаков (см. очерк «Человек-словарь»). Помог опальному ученому и преемник уже умершего Н. Я. Марра академик И. И. Мещанинов, в мае 1937 г. написавший в Наркомпрос положительный отзыв о научной его деятельности, в том числе и о запрещенной книге «Язык революционной эпохи» (хотя Селищев и Мещанинов во всех отношениях были далеки друг от друга). Ушаков тогда заведовал кафедрой русского языка в МИФЛИ, где постепенно начали восстанавливать преподавание славянских языков. С осени 1937 г. Селищев начинает там работать, одновременно Р. И. Аванесов устраивает учителя на свою кафедру в Московский городской педагогический институт (МГПИ). Литературовед Г. А. Соловьев, тогда студент МИФЛИ, будет вспоминать: «Нас знакомил с польским языком высокий, сутулый, седой и подслеповатый старик Афанасий Матвеевич Селищев, обаятельный и трогательный в свой бесконечной любви к польской поэзии. И мы твердили по-польски стихи (А. Мицкевича. – *В. А.*) о Будрысе и его трех сыновьях». А ведь «старику» было едва за пятьдесят.

Но беды все не кончались. Селищев даже в лагере оставался членом-корреспондентом, и «академическое жалованье» ему начислялось. Но в апреле 1938 г. Общее собрание Академии наук вместе с расстрелянными и осужденными академиками и членами-корреспондентами исключило из своего состава живого и уже преподававшего в московских вузах Селищева. В постановлении было сказано, что пребывание его и других исключаемых в составе Академии «позорит звание советского члена-корреспондента». Дело было не в потере небольшого в то время жалования: как пишет С. Б. Бернштейн, Селищев «вел спартанский образ жизни, был совершенно безразличен к пище, к вещам». Но моральный удар был тяжелым. Восстановят Афанасия

Матвеевича в Академии наук лишь посмертно в 1957 г.

Следующий 1939 г. оказался для ученого связан и с радостными, и с нерадостными событиями. Смена Н. И. Ежова Л. П. Берией внушала надежды. Селищев возобновил ходатайства о прописке и на этот раз ее получил по личному распоряжению Л. П. Берии 8 апреля 1939 г. Одновременно такое же разрешение получил и его товарищ по несчастью В. В. Виноградов. Однако Афанасию Матвеевичу выделили лишь комнату в общежитии МГПИ.

Но в том же году над Селищевым сгустились тучи в МИФЛИ. Летом он сам подал заявление об уходе, объясняя причины в письме Д. Н. Ушакову: «Мне казалось, что для Вас не подлежит сомнению обоснованность моего отказа от ИФЛИ. До сих пор мне тяжело вспомнить о некоторых моих обстоятельствах работы там. ИФЛИ – это НИЯз с несколько утонченными манерами… Нет, не могу я работать в этой атмосфере».

Однако ученый продолжал преподавать в МГПИ, начал он работать и в Московском государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина. Возобновилась и активная научная работа. За предвоенные годы Селищев написал учебник старославянского языка, значительно переработал и расширил написанное в конце 20-х гг. и не изданное из-за господства марризма «Введение в изучение славянских языков», из одного тома получилось три, первый том успел выйти перед войной. Пытался он и переработать и дополнить «Язык революционной эпохи», написав большую статью «О языке современной деревни».

Началась война. Селищев отказался эвакуироваться и остался в Москве. С. Б. Бернштейн вспоминал, что его учитель был настроен очень патриотично и верил в победу. Его общественное и научное положение в это тяжелое время стало улучшаться: война вновь поставила и сделала актуальным вопрос о славянском единстве. Бывший «фашист», как его именовали на следствии, теперь пишет для нового журнала «Славяне» об «извечной борьбе славян против немецких варваров», выступает на иностранном вещании на Польшу, начинает писать брошюру «Гитлеризм и славяноведение». Он пишет докладную записку в ЦК об усилении изучения славянских языков и литератур, записка одобряется. Селищев заведует кафедрой славяно-русского языкознания в Пединституте им. Ленина и принимает поручение организовать кафедру славяноведения на воссозданном филологическом факультете МГУ. В лагере он уже имел звание ударника, а теперь свидетельство ударника получил на первомайском митинге 1942 г. в своем институте.

И одновременно с этим придирки и обиды со стороны

милиции. С началом войны под подозрение попали все москвичи с неснятой судимостью. По этой причине В. В. Виноградов в августе 1941 г. был выслан из Москвы. Селищев избежал этой участи, но ему несколько раз отказывали в перерегистрации паспорта, дважды он посылал заявления на имя Л. П. Берии.

Афанасий Матвеевич остался до конца в Москве, но к прочим бедам прибавилась новая, от которой уже не могло быть спасения: рак. Еще в октябре 1942 г. он оппонировал на защите диссертации, а 6 декабря его не стало. Ему было 56 лет. Кафедра в МГУ открылась уже без него, ее возглавил его ученик С. Б. Бернштейн.

И на этом беды ученого еще не закончились. Оставшиеся на квартире одинокого холостяка рукописи, в том числе два неизданных тома «Введения в изучение славянских языков», пропали. Учебник старославянского языка при жизни автора был сдан в издательство и сохранился, но был признан противоречащим «новому учению» Н. Я. Марра, что опять задержало его издание. В 1948–1949 гг., во время последнего наступления марристов на своих противников в число «менделистов-вейсманистов-морганистов» от языкознания посмертно попал и Селищев, в том числе за то, что до конца жизни отстаивал родство славянских языков. А В. В. Виноградова и Р. И. Аванесова обвиняли, в числе прочего, в том, что опубликовали теплые слова его памяти. Лишь выступление И. В. Сталина в 1950 г., где прямо говорилось о родстве славянских языков, изменило оценки ученого, а учебник старославянского языка вышел в свет в 1952 г. и переиздается до сих пор.

Ученые-русисты и слависты всегда ценили Афанасия Матвеевича. Вот даже такой пример: во втором издании БСЭ соблюдалась табель о рангах: статьи об академиках украшали портретом, который члену-корреспонденту не полагался. А Селищеву (том вышел в начале 1956 г.) дали статью с обозначением его членом-корреспондентом, хотя он еще не был восстановлен в этом звании. И с портретом!

Сейчас о Селищеве часто вспоминают, особенно много делается в Ельце, городе, расположенном недалеко от его родины. Переиздаются его труды, в 2003 г. в издательстве «Языки славянской культуры» наконец-то издан том трудов по теме «Язык и общество», где переизданы и «Семейские», и «Язык революционной эпохи». А в истории науки остается настоящий подвижник, поднявшийся из крестьян до научных высот, не имевший семьи и личной жизни, живший только своей работой, по-крестьянски основательный, не искавший неизведанных путей, ко всему относившийся с заметным консерватизмом, не

принимавший ничего на веру и стремившийся во всем дойти до сути. Вечная ему память.

Метеор
(Е. Д. Поливанов)

О Евгении Дмитриевиче Поливанове (1891–1938) я никогда ничего не слышал до университета, зато уже в первом семестре впервые услышал о нем дважды в один день. Наш профессор Петр Саввич Кузнецов, рассказывая об устройстве голосового аппарата, упомянул, что нормально люди разговаривают во время выдоха, но можно говорить и на вдохе, хотя это неестественно. Он показал нам это на собственном примере (действительно оказалось очень странно), а потом добавил: «А вот был очень крупный лингвист Поливанов, он был репрессирован, он говорил о том, что в детстве в Швейцарии наблюдал ряженых, которые говорили на вдохе, чтобы их не узнали». Сразу запомнились и

фамилия (мы уже были знакомы с учившейся курсом старше Аней Поливановой, как позже оказалось, действительно дальней родственницей Евгения Дмитриевича), и то, что он был репрессирован. И в тот же день преподаватель японского языка рассказал нам про японскую грамматику Плетнера и Поливанова. Кто-то из студенток даже переспросил фамилию. Неужели тот же самый? Поначалу мы все время ощущали, что наше лингвистическое образование и курс японского языка совсем не соприкасаются друг с другом, но вот, оказывается, был человек, занимавшийся тем и другим. Сразу личность привлекла внимание.

С тех пор я многое узнал о Евгении Дмитриевиче, читал немало его работ, писал о нем не раз. И в галерее отечественных лингвистов советского времени никак нельзя пройти мимо него. Фигура была яркая и необычная, еще при жизни окруженная легендами, нередко распространявшимися им самим (он был выдающийся мистификатор, из ученых, которыми я занимался, с ним здесь может сравниться лишь М. М. Бахтин). Многие легенды и байки вошли в книгу В. Г. Ларцева «Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности», изданную в 1988 г. Рассказывали, что Поливанов умел гипнотизировать. Рассказывали, что Поливанов, не имея кисти левой руки, поднимался на лекции к студентам на второй этаж по водосточной трубе. Рассказывали, что когда Поливанову отказали в авансе за еще не написанную работу, он сел на стул в коридоре издательства и за несколько часов написал весь текст. Рассказывали, что Поливанов с листа, без подготовки переводил Гёте с немецкого на узбекский язык. Где тут правда, где выдумка, разобраться трудно. На недавнем Поливановском коллоквиуме в Париже один из докладов был посвящен Поливанову как литературному персонажу: хорошо его знавший писатель В. А. Каверин сделал ученого при жизни героем двух произведений.

За яркой личностью нередко теряется научное содержание. Но у Поливанова и лингвистическое наследие, даже притом, что дошло не полностью, впечатляет. Работы по японскому, китайскому, корейскому, тюркским, иранским, индоевропейским и многим другим языкам, по фонетике, грамматике, диалектологии, компаративистике, социолингвистике и многому другому. На следствии он запишет в анкете, что владеет шестнадцатью языками. Многие его идеи продолжают обсуждать.

Жизнь ученого оказалась короткой, но богатой событиями. Он постоянно странствовал, обстоятельства его бурной жизни гнали его из одного города в другой; как метеор, он залетал в разные места, накалял обстановку, оставлял о себе память и

улетал дальше. Побывал он, помимо Петрограда и Москвы, и в Японии, и на Дальнем Востоке, и почти во всей Средней Азии, не раз по дороге теряя рукописи и имущество. Оказывался он то в академической среде, то среди высоких руководителей государства, то в притонах и курильнях опиума. То он вершил судьбами государств, то, по выражению В. А. Каверина, «годами бродил по стране, как дервиш». Одни боготворили его, другие относили к «отбросам общества», но все отдавали должное его научным талантам. И никого он не оставлял равнодушным.

Родился будущий ученый 28 февраля (12 марта) 1891 г. в Смоленске в родовитой, но небогатой дворянской семье. Отец служил на железной дороге, мать печатала в журналах статьи и переводы. Настроения в семье были либеральными и умеренно-оппозиционными, как положено было тогда среди интеллигенции. Потом семья жила в Риге, где Евгений в 1908 г. окончил Александровскую гимназию. В том же году в том же городе окончил гимназию и его ровесник Николай Конрад, тоже в скором будущем японист, герой очерка «Трудное плавание по течению». Однако, по свидетельству Конрада, они встретились лишь в Практической восточной академии.

Оба они в том же 1908 г. уехали учиться в Петербург и больше никогда не жили в Риге. Поливанов поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета (славяно-русское отделение), где его главным учителем стал замечательный лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ, создатель фонологии, новой тогда лингвистической дисциплины, о которой я упоминаю в нескольких очерках. Учитель передал ученику не только передовые для того времени научные идеи, но и общий демократический настрой «интернационалиста-радикала», как его назовет Поливанов, политическую активность (через год после окончания Поливановым университета почти семидесятилетний Бодуэн будет изгнан из него и несколько месяцев проведет в тюрьме). Одновременно Евгений Дмитриевич учился на японском разряде в Практической восточной академии. После Русско-японской войны почти не изученная в России Япония стала популярной. Практическая академия была в Петербурге единственным местом, где можно было выучить современный японский язык. Чаще его учили студенты восточного факультета: однокурсник Поливанова Н. И. Конрад, учившийся двумя курсами позже Н. А. Невский и другие. Поливанов был почти единственным, кто пришел в японистику не из классического востоковедения, а из лингвистики.

И еще в студенческие годы (во всяком случае, не позже 1913 г.) с юношей случилось несчастье: он потерял кисть левой

руки. При каких обстоятельствах это случилось, так и не ясно. В Японии Поливанов рассказывал, что руку ему отрезал казак во время разгона демонстрации, это явная мистификация. В других случаях он говорил, что положил руку на рельсы перед приближающимся поездом для испытания воли, что также сомнительно. Но есть и версия, правда, исходившая от недоброжелателей: студент лишился руки, неудачно спрыгнув с поезда в нетрезвом виде. Увы, уже в те годы он отличался не только громкими успехами, но и громким поведением.

После окончания в 1912 г. университета молодой ученый был оставлен при кафедре сравнительного языковедения, которую тогда занимал И. А. Бодуэн де Куртенэ, одновременно он начал преподавать на Женских педагогических курсах. Но в конце 1913 г. его учитель был привлечен к суду, без него кафедра не представляла интереса, и Поливанов решил заняться японским языком. Он использовал ситуацию, когда на восточном факультете не было преподавателей-японистов, кроме носителя языка Ёсибуми Куроно, и стал добиваться, чтобы его допустили к работе на факультете. А восточный факультет тогда был очень замкнутой структурой, весь его преподавательский состав формировался исключительно из собственных выпускников, Поливанов оказался первым, кто бросил вызов факультетской кастовости. Но его поддержал декан восточного факультета, желавший повысить лингвистический уровень преподавания. Это был не кто иной, как Н. Я. Марр. Тогда академик помог начинавшему ученому, позже он сыграет в жизни Поливанова плохую роль.

В 1915 г. Евгений Дмитриевич становится приват-доцентом восточного факультета. Коллеги с самого начала плохо приняли чужака. Далеко не самый консервативный из них, ведущий китаист факультета В. М. Алексеев, писал в письме, что Поливанов не может считаться полноценным востоковедом. Но преподавание шло успешно, появились первые публикации. В эти же годы молодой приват-доцент сблизился с группой столь же молодых литературоведов и лингвистов, в большинстве тоже бывших студентов И. А. Бодуэна де Куртенэ (Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, О. М. Брик и др.), создавших знаменитый ОПОЯЗ («Общество по изучению поэтического языка»). И в это же время Поливанов совершает в 1914, 1915 и 1916 гг. три поездки в Японию.

Об этих поездках сохранились отчеты самого Поливанова и воспоминания японцев, с которыми он общался. Одним из них был языковед Сакума Канаэ, впоследствии один из лидеров японской лингвистики. Сакума был на три года старше русского

коллеги, но он и другие встречавшиеся с Поливановым ученые сразу признали его превосходство в ряде отношений. Загадкой и для западных японистов, и для самих японцев долго оставался характер японского ударения. А 23-летний русский ученый определил, что в этом языке имеется так называемое музыкальное ударение в более или менее чистом виде; как он писал, «констатирование указанных японских фактов можно сравнить с открытием новых видов в ботанике и зоологии». Характер японского ударения он и объяснял носителям этого языка.

А уже в 70-е гг. японские исследователи посетили деревню в пригороде Нагасаки, где Поливанов когда-то первым изучал местный диалект, и записали воспоминания пожилой женщины, единственной, кто там в это время оставался из знавших Поливанова. Она запомнила абсолютно белого «Пори-сан», лежавшего на местном пляже. Она рассказала и о том, какую ошибку он допустил. Способный к языкам, Поливанов быстро обучился диалекту деревни, но затем решил поговорить с местными жителями на нем. И сразу они замкнулись и перестали с ним общаться вообще. Молодой японист не учел, что диалект для японцев – средство общения со «своими», а человек другой расы не мог восприниматься как «свой» и поведением вызвал подозрения.

Как бы то ни было, Поливанов во время поездок собрал значительный материал по четырем диалектам: Токио (к тому времени он уже лег в основу нового литературного языка), Киото, Нагасаки и Тоса, два последних изучались вообще впервые, а у двух первых впервые были изучены фонология и ударение. Им были написаны четыре очерка, часть из которых ему вскоре удалось опубликовать в виде нескольких статей и первой (если не считать ранее изданного конспекта лекций на Женских педагогических курсах) своей книги «Психофонетические наблюдения над японскими диалектами» (1917). Психофонетикой он вслед за своим учителем называл фонологию. В это же время ученый разработал и опубликовал в том же 1917 г. очень удачную и построенную на научных принципах кириллическую транскрипцию для японского языка, которую японисты с тех пор всегда (включая годы, когда Евгений Дмитриевич считался «врагом»), называли «поливановской».

Научная карьера удачно складывалась, но к моменту выхода в свет описания диалектов и статьи о транскрипции их автор уже был с головой в политике. Она интересовала его и до Февраля: в 1937 г. на следствии он будет рассказывать, что во время поездок в Японию выполнял разведывательные задания российского Генштаба. И это было правдой, в отличие от показаний о его

«вербовке» в это же время японскими спецслужбами. Японист Я. А. Шулатов нашел в архиве Военно-морского флота документ об использовании командируемых в Японию и Корею Е. Д. Поливанова и Н. И. Конрада «для производства ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, и одновременно для подготовки почвы к будущему расширению СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ». Поливанову вменялось в обязанность «ознакомиться с существующими ныне в Японии научно-политическими обществами, изучающими страны, лежащие по побережью Тихого океана… Его исследование должно показать, какие политические цели поставило себе каждое данное общество и в каком (политическом) направлении эта работа совершается».

Во время травли Поливанова в 1929 г. его противники распространяли версию о его связях до 1917 г. с «Союзом русского народа», то есть с черносотенцами. Так это или нет, но в 1917 г. он сдвинулся резко влево. Это случалось тогда с молодыми интеллигентами нередко, но Поливанов зашел здесь дальше большинства других.

Не оставляя работу в университете, он сотрудничает с Кабинетом военной печати при Всероссийском Совете крестьянских депутатов, публикует статьи в газете «Новая жизнь». В это время Поливанов связан с левыми меньшевиками, но в первые дни после Октября, когда новая власть призвала специалистов к сотрудничеству с ней, одним из немногих откликнувшихся оказался Евгений Дмитриевич, в том числе он стал единственным в университете. Еще беспартийный, он попадает в Наркомат иностранных дел, который тогда возглавил Л. Д. Троцкий. Вместе с большевиком И. А. Залкиндом он становится одним из заместителей первого советского наркома.

О дальнейшем пишут авторы биографического очерка о Поливанове А. А. Леонтьев, Л. И. Ройзензон, А. Д. Хаютин: «В октябре-декабре 1917 г. Поливанов вел в министерстве (ставшем вскоре НКИД) большую и многогранную работу. Он занимается, в частности, всеми связями со странами Востока, являясь «уполномоченным народного комиссара по иностранным делам», т. е. заместителем наркома по Востоку, и заведуя соответствующим отделом. Особенно велика роль Е. Д. Поливанова в опубликовании тайных договоров царского правительства». Во всем этом пригодился полиглотизм. На следствии Поливанов говорил, что его деятельность не ограничивалась Востоком: в частности, ему принадлежал первоначальный вариант Брестского мира с Германией (потом переделанный Троцким). А на факультете, где «чужака» и раньше не любили, ему не подавали руки.

Однако работа в НКИД продолжалась недолго. Независимо державшийся Поливанов быстро поссорился с не терпевшим возражений Троцким, тот обвинил его в «получении корзины с подношениями» от персидского посольства и отдал под суд, который, правда, кончился оправданием (в 1937 г. Поливанов укажет, что до того это был единственный случай, когда он оказывался под следствием). Позже Троцкий даст в воспоминаниях уничтожающую характеристику Поливанова, назвав «мелким чиновником». В начале 1991 г., как раз в дни столетия со дня рождения ученого, эту характеристику в «Правде» пересказал без ссылок на Троцкого историк В. Т. Логинов. Тогда я единственный раз в жизни организовал коллективное письмо в газету, собрав в защиту памяти Поливанова подписи ряда видных лингвистов, письмо не напечатали.

Вместо этого с февраля 1918 г. Поливанов занимался политработой среди петроградских китайцев, создал «Союз китайских рабочих», позже, уже вступив в партию, организовал китайскую ячейку РКП(б). Один из его китайских подопечных впоследствии вспоминал: «Ответственный работник – товарищ Поливанов, говоривший по-китайски, часто проводил с нами, китайскими рабочими, беседы на политические темы, обучал русскому языку. С помощью товарища Поливанова и китайской коммунистической ячейки я понял глубокий смысл свершившейся революции». Есть данные и о том, что с отрядами красных китайцев он (без руки!) воевал на фронтах гражданской войны. Но, по одной из версий, именно работа с китайцами привела к пороку, осложнявшему потом всю его оставшуюся жизнь: он стал наркоманом (по другой версии, он пристрастился к наркотикам еще раньше). Об этом ходило много устных рассказов, а следственное дело, к сожалению, их подтверждает. В него подшит и такой документ, составленный на следующий день после ареста: «З/к Поливанов, страдающий наркоманией, нуждается ежедневно в 2-х кратной инъекции героина. Врач Зайцева». При этом порок не разрушил интеллект ученого, никогда не прекращавшего деятельность.

В 1919 г. Поливанов стал членом РКП(б), и в этом же году 28-летний ученый становится профессором, продолжает собираться и ОПОЯЗ. О том времени позже вспоминал В. А. Каверин: «Поливанов приходил в солдатской шинели, слегка прихрамывая, вежливый, спокойный, говорящий тихим голосом и слушающий собеседника с глубоким интересом… Изумление взыскательного Тынянова, несомненно чувствовавшего в Поливанове человека необыкновенного, поражало меня. Не понимая сущности их разговоров – я был тогда студентом первого курса, я чувствовал,

что полушутя, между прочим Поливанов высказывает необычайные по глубине и значению мысли. Об этом нетрудно было судить – не по Поливанову с его изысканностью и небрежностью, а по Тынянову, у которого взволнованно загорались глаза. Он приходил и оставался иногда надолго, на несколько часов, устраиваясь в холодном кабинете хозяина и утверждая вполне серьезно, что лучше всего ему работается, когда в комнате не более восьми градусов тепла… Словом, он был фигурой странной, загадочной и, естественно, вызывавшей у меня, студента, глубокий интерес… У меня всегда было ощущение, что научные факты, о которых он говорит, это не просто факты, а события, и что среди этих событий он чувствует себя, как дома». Таким его изобразит Каверин под именем профессора Драгоманова в романе «Скандалист, или вечера на Васильевском острове».

Были, однако, и другие оценки. Монголист Н. Н. Поппе, также знавший Поливанова в этот период, а впоследствии ушедший с немцами и вторую половину жизни проведший в США, в воспоминаниях, изданных в 1983 г., относит Евгения Дмитриевича к категории «человеческих отбросов». Имеются в виду и наркомания, и странные поступки, и переход на сторону большевиков. В другой поздней публикации Поппе сравнивает его с раздвоенным героем повести Р. Л. Стивенсона «Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда», интеллигентом и преступником в одном лице. Но и Поппе при этом высоко оценивал научную деятельность Поливанова. И в неблагоприятные для публикаций 1918 и 1919 гг. ученый продолжал печатать статьи по японистике.

Но весной 1921 г. профессор Поливанов навсегда покинул Петроград. Сначала он переехал в Москву, получив новое назначение: заместитель заведующего Дальневосточным отделом Коминтерна. В Москве он также преподавал в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). Но уже через несколько месяцев новый поворот судьбы: он по заданию Коминтерна надолго уезжает в Среднюю Азию. Долгую там задержку он впоследствии объяснял «болезнью жены», поехавшей вместе с ним, что явно выглядело неубедительно. И лишь недавно стало известно, что его послали в Синьцзян с заданием организовать там революцию. Но не получилось. С тех пор его административная карьера пошла вниз. Впрочем, в Ташкенте, где Поливанов задержался до 1926 г., он поначалу еще занимал ряд постов, в том числе был руководителем Узбекского Главлита, то есть цензуры. Сейчас у многих интеллигентов само слово «Главлит» вызывает аллергию. Но из песни слова не выкинешь,

как и не уберешь из биографии Н. Ф. Яковлева то, что он именем революции закрыл старейшую «профессорскую», как ее называли, газету «Русские ведомости». Эти люди служили делу, в справедливости которого не сомневались и которому были беззаветно преданы.

Но постепенно Поливанов был отставлен от всякой административной деятельности, оставшись лишь «красным профессором» в Среднеазиатском государственном университете, основанном после революции в Ташкенте. Поливанов стал одним из его создателей. А в 1926 г., незадолго до отъезда (как потом выяснится, не окончательного) из Узбекистана, он перестал быть членом партии со странной, не предусмотренной ее уставом формулировкой: «Выбыл с правом восстановления». Причиной была не какая-то «идейная незрелость» или фракционная борьба, а наркомания. Как раз об этом периоде его деятельности имеются свидетельства. В письме ведущего ташкентского арабиста А. Э. Шмидта академику А. Н. Самойловичу от 10 декабря 1922 г. упомянуто о «психическом заболевании Поливанова», видимо, связанном с наркоманией. А академик В. В. Бартольд, побывавший в Ташкенте в 1925 г., писал 22 июня этого года тому же Самойловичу:

«В университете успехам научной туркологии по-прежнему больше всего содействуют работы Поливанова, но неизвестно, надолго ли его хватит; и физически, и нравственно он все больше опускается». Академик ошибся в прогнозе: пожалуй, самый научно насыщенный в жизни Поливанова московский период деятельности еще был впереди.

Но и в ташкентские годы Поливанов много сделал для науки, число его публикаций в это время велико. Попав в Узбекистан, он, не оставляя японистики и китаистики, активно начинает заниматься тюркологией, особенно изучением узбекских диалектов, многое, но далеко не все удалось напечатать. По мнению ведущего сейчас московского тюрколога А. В. Дыбо, его работы по узбекским диалектам намного превосходят все, что было сделано в этой области и до, и после него. Кроме того, 20-е гг. по всей стране были периодом активной работы по языковому строительству, включая создание или реформу письменностей народов СССР (подробнее см. очерк «Дважды умерший»). Поливанов стал активнейшим участником этой деятельности, он выступает на съездах и конференциях, создает первый проект узбекской письменности на латинской основе, издает в Москве брошюру «Проблема латинского шрифта в турецких письменностях» (турецкими языками тогда часто называли тюркские). Он указывал, что новые алфавиты необходимо

создавать на латинской основе. Дело не в каких-то особых свойствах: как указывал Поливанов, латинский алфавит сам по себе не лучше и не хуже кириллицы. Но «эпоха – недоброй памяти – русского колонизаторства оставила такую ненависть в турецких народах (сужу по туркестанским) к русификации и ее орудию – миссионерским русским транскрипциям, что само напоминание о русском шрифте болезненно, как тревожащее недавние раны от национального гнета; и потому попытки отстаивать (для каких-либо теоретических соображений) возможность пользоваться русской транскрипцией отнюдь нельзя рекомендовать». Такой взгляд преобладал в стране до второй половины 30-х гг.

В 1926 г. Поливанов уезжает из Ташкента и оказывается на несколько месяцев во Владивостоке, где читает лекции в Дальневосточном университете; есть также сведения о том, что он с каким-то заданием ездил в это время в Китай и Японию. Из Владивостока он в том же году переезжает в Москву. Политическая его деятельность уже окончена, но московский период становится пиком его научной деятельности. К сожалению, он продолжался лишь три года.

В Москву Поливанова пригласил В. М. Фриче, старый революционер, литературовед-марксист, руководивший в это время литературным отделом Коммунистической академии и курировавший в Москве все филологические науки. Для него ташкентский ученый был «красным профессором», далеким во всех отношениях от традиций «буржуазной» Московской школы Ф. Ф. Фортунатова и его учеников, который мог бы возглавить борьбу против господствовавшего в московском языкознании «формализма». Поливанов некоторое время колебался между Москвой и Ленинградом, по поводу своего возвращения на Неву он вел переговоры с Н. Я. Марром, тогда их отношения еще оставались хорошими. Но в результате он предпочел Москву, где стал заведующим лингвистической секцией Института языка и литературы РАНИОН (Российской ассоциации научных институтов общественных наук). Фактически он возглавил московское языкознание.

О работе Поливанова в РАНИОН сохранились воспоминания вышеупомянутого П. С. Кузнецова, тогда аспиранта этого института. «Человек он был необычный. У него были две жены, с которыми он жил по очереди, слуга-китаец и собака…. Периоды оборванного и аккуратного состояния Е. Д. (в связи с тем, с кем он жил. – *В. А.*) я наблюдал сам. Моральные принципы и стыд для Е. Д. не имели никакого значения, но был он человек добрый и отзывчивый. Р. О. Шор (см. очерк “Первая женщина”. – *В. А.*) однажды так охарактеризовала его: “Он с вас рубашку снимет, а

когда нужно, с себя за вас снимет”. Когда у него не было денег, ему ничего не стоило встать на углу улицы и просить милостыню». О том, как Евгений Дмитриевич изображал из себя нищего, рассказывали еще про его японские командировки.

Кузнецов также вспоминает, как Поливанов в качестве начальника беседовал с ним в связи с экзаменом по латинскому языку, который аспирант должен был сдать. «Он меня поразил своими познаниями в области италийских языков (он ведь был по основной специальности японист). Он пожелал все же побеседовать немного со мной (неофициально) о том, что же я все-таки делал в области латинского языка… Он был удовлетворен, и тогда я стал его спрашивать, каково, по его мнению, было качество латинского ударения классической эпохи… Е. Д. развивал свои идеи, по которым это ударение такое, каким будет через двести лет в японском языке, кажется, в токийском диалекте». Одной из особенностей концепции Поливанова был интерес к лингвистическим прогнозам, к изучению будущего языков, унаследованный им от И. А. Бодуэна де Куртенэ.

И кто еще мог тогда в Москве равно компетентно рассуждать о японском и латинском языках? Языковеды традиционного типа были либо славистами, либо индоевропеистами. Ученые передовых для того времени взглядов почти всегда специализировались по русскому языку, лишь немногие по западным языкам (А. И. Смирницкий), совсем немногие занимались и русским, и западными языками (Л. В. Щерба). И среди них чуть ли не один Поливанов мог квалифицированно рассуждать о языках, по строю далеких от русского.

Помимо РАНИОН, Поливанов снова начал преподавать в КУТВ, где в эти годы заведовал кафедрой родных (то есть восточных) языков, стал профессором учебного Московского института востоковедения, действительным членом Института народов Востока. Он по-прежнему активно выступает и печатается по вопросам языкового строительства, теперь уже во всесоюзном масштабе, выступая здесь в качестве теоретика и практика. Он отстаивал активный, преобразовательный подход к языку: «Современные факты важны для нас не сами по себе, а как исходный пункт для языкового будущего, т. е. как основной материал для выводов в области языковой политики». Однако он и определял границы возможного вмешательства в язык: если графика языка «может быть декретирована», то «фонетику и морфологию… декретировать нельзя, ибо они усваиваются в том возрасте, для которого не существует декретов». Важно было и такое его указание по поводу создания литературной нормы:

«Никогда, в борьбе за роль литературного диалекта, язык деревни или вообще экономически менее развитого коллектива не выходит победителем над языком города или вообще более развитого в экономическом отношении района». Здесь ученый исходил из опыта деятельности в Узбекистане, где отстаивал создание литературного языка на основе городских, а не кишлачных диалектов. По многим вопросам позиции Поливанова были близки к позициям другого моего «героя» Н. Ф. Яковлева, несмотря на их принадлежность к разным научным школам, но их личные отношения не сложились: они считали друг друга конкурентами и боролись за первенство.

В московские годы Евгений Дмитриевич, всегда отличавшийся огромной работоспособностью, много пишет, хотя не все из написанного успевает напечатать. Из того, что удалось издать, особо надо отметить три книги. Прежде всего, это первый том «Введения в языкознание для востоковедных вузов», фундаментального труда, совмещающего учебник, специально ориентированный на студентов-востоковедов, и изложение последовательной теоретической концепции. В первый том вошли теоретическое введение к предполагавшемуся двухтомнику и разделы, посвященные фонологии и ударению, богато проиллюстрированные материалом значительного числа языков. Затем это две грамматики конкретных языков: та самая «грамматика Плетнера и Поливанова», о которой мы узнали на первом курсе, и китайская грамматика совместно с А. И. Ивановым. Последняя фактически содержит под одной обложкой две книги: Иванов, китаист старой школы, написал учебную грамматику в духе XIX в., а Поливанов подошел к китайскому языку совершенно по-новому. В японской грамматике О. В. Плетнер, знакомый Поливанова со времен Практической восточной академии, наоборот, находился под его сильным влиянием, и обе части близки друг к другу, хотя в некоторых новаторских идеях соавтора и Плетнер не разобрался. Грамматика стала первой у нас, да и в Европе, научной, а не чисто практической грамматикой японского языка. Продолжал Поливанов и публикацию материалов, собранных в Японии.

С «формалистами» Поливанов сумел, как показывают мемуары П. С. Кузнецова, найти общий язык. Но все более влиятельным становилось «новое учение о языке» академика Н. Я. Марра. У Поливанова до 1929 г. не было с ним личных конфликтов, но он не мог принять это учение из-за недоказанности его положений, противоречий фактам и просто недостаточного профессионализма в области лингвистики академика и его адептов. В его институте марризм не принимали

многие, но только революционер по биографии и по духу Поливанов решился вызвать академика на бой публично.

4 февраля 1929 г. в Коммунистической академии состоялся публичный диспут с докладом Поливанова против Марра, его обсуждение заняло еще два заседания. Сам Марр, правда, находился за границей и в диспуте не участвовал. Однако из Ленинграда приехала целая бригада его сотрудников во главе с будущим его преемником И. И. Мещаниновым. Из москвичей выступали герои двух других моих очерков Н. Ф. Яковлев и Р. О. Шор, ближайший сотрудник Яковлева Л. И. Жирков, а также русист старой школы Г. А. Ильинский. Председательствовал В. М. Фриче, в том же месяце ставший одним из первых академиков-коммунистов.

Доклад Поливанова был опубликован только в 1991 г. Марр подвергся в нем острой критике, прежде всего, за непрофессионализм. Поливанов говорил: «Когда человек говорит: бросьте вашу сравнительную грамматику индоевропейских языков, – я вам объясню все слова индоевропейских языков из четырех элементов, – это же все равно, что какой-нибудь человек пришел на собрание химиков и сказал: “Забудьте, что вода – H_2O. Вода – это нечто другое, это смесь азота с аммонием, – поверьте мне на слово, и я из этого объясню вам весь мир”. Это то же самое. Мы можем потребовать объяснения, мы можем потребовать доказательства: докажи эти четыре элемента. Доказательств, однако, нет» (другие цитаты из доклада приведены в очерке «Громовержец»). Опроверг Поливанов и декларации Марра о его марксизме, показав несоответствие марризма марксизму.

Дальнейшая часть диспута превратилась в публичное избиение Поливанова. Только «старорежимный» Г. А. Ильинский, противник всего нового в науке о языке, поддержал «красного профессора» против Марра, что пошло во вред и Поливанову, и самому Ильинскому (через пять лет он будет арестован по одному делу с Н. Н. Дурново, а в 1937 г. расстрелян). Все остальные, включая Н. Ф. Яковлева, Л. И. Жиркова и Р. О. Шор, поддержали (иногда, как Яковлев, с некоторыми оговорками) Марра и осудили Поливанова. Многим участникам дискуссии, среди которых были и люди, далекие от лингвистики, не нравилось даже то, что Евгений Дмитриевич писал на доске множество примеров из мало кому известных языков, вдавался в частности. Но главный фактор отметил он сам в заключительном слове: «Имею дело здесь с верующими – это прежде всего. Было бы смешно мне ставить своей задачей переубедить верующих». Итог подвел В. М. Фриче: «Научная репутация Марра вышла из диспута незапятнанной».

Началась борьба с «поливановщиной», ученого обвиняли не только в «травле академика Марра», но и во всех грехах вплоть до черносотенства в переносном и даже в прямом смысле. Обвинили его и в подлоге: Поливанов упомянул, что к числу противников учения Марра относится крупный французский лингвист, коммунист М. Коэн. В ответ было заявлено, что Коэн членом Французской компартии не является. Но этот ученый был-таки членом данной партии, что отмечено в 3-м издании Большой советской энциклопедии. Так что подлог совершили как раз противники Поливанова. Евгений Дмитриевич пытался им ответить, но, дав ему один раз слово, потом в публикациях отказали, а статья против Марра «Программно-методологический экскурс», уже набранная, будет изъята; корректура сохранится в архиве в Праге, и статью удастся опубликовать только в 1991 г.

Травля Поливанова стала первым, но далеко не последним примером «аракчеевского режима в языкознании», который осудит И. В. Сталин лишь спустя два десятилетия, когда Евгения Дмитриевича давно не было на свете. А в 1929 г. он оказался один, в Москве ему нельзя было рассчитывать ни на чью поддержку. У него, как ему казалось, остались покровители лишь в Узбекистане, где в первой половине 20-х гг. его ценило местное руководство. Иногда его возвращение туда интерпретируют как ссылку или высылку, но это не так: ученый покидал Москву добровольно. Летом 1929 г. Поливанов уезжает в Узбекистан в научную экспедицию, там договаривается о работе и осенью возвращается в столицу лишь для ликвидации дел. В конце того же года Поливанов становится сотрудником Узбекского государственного научно-исследовательского института, тогда находившегося в Самарканде, в начале 1931 г. он вместе с институтом переезжает в Ташкент.

Евгений Дмитриевич продолжает бороться, и в 1931 г. ему удается в Москве выпустить в свет книгу (точнее, сборник статей) «За марксистское языкознание», наиболее развернутое выражение программы развития марксистского языкознания среди публикаций ученого. Затронуты здесь и еще две темы, занимавшие его и ранее: развитие русского и других языков СССР после революции и полемика с марризмом.

Проблема создания марксистской лингвистики в 20-е гг. и в начале 30-х гг. ставилась у нас многими: можно назвать имена Н. Ф. Яковлева, Л. П. Якубинского, Р. О. Шор, Я. В. Лоя, Г. К. Данилова, В. Н. Волошинова, Т. П. Ломтева и других, части из них я посвящаю очерки. Даже И. И. Презент, вошедший в историю нашей науки как один из ее «антигероев», в 40-е гг. близкий соратник Т. Д. Лысенко, в конце 20-х гг. издал вполне серьезную

книгу об этом. Но к 1931 г. все стало вытесняться «новым учением» Марра, самым неудачным из всех вариантов, имевшим, однако, поддержку сверху. Идеи Поливанова были одними из наиболее интересных, хотя сама задача в целом (исключая такие дисциплины как социолингвистика) была нереальной, что в 1950 г. поймет И. В. Сталин.

Полемизируя с марристами, Поливанов заявлял: «Для разработки марксистской лингвистики недостаточно благонамеренности и советской лояльности, а нужно обладать известной лингвистической и методологической подготовкой». Марристы отказывались от всего наследия «буржуазной науки», а он писал: «Я вовсе не думаю отрицать буржуазный характер всей прошлой истории нашей науки. Всякая наука, созданная в буржуазном обществе, может именоваться буржуазной наукой и может обнаружить в себе внутренние признаки этой своей социальной природы. Но ведь никакой другой науки, кроме буржуазной, вообще не существовало, а на Западе не существует и до настоящего времени. И это относится и к лингвистике, и к астрономии, и к теории вероятностей, и к орнитологии и т. д. и т. д. Наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что такая-то и такая-то научная дисциплина сумела установить ряд бесспорных положений; и раз мы в этом убеждаемся (для чего необходимо, впрочем, наличие известных данных в данной специальности), то мы не только можем, но и должны считаться с этими бесспорными достижениями буржуазной науки, как должны… считаться и с наличием микроскопа, и с наличием всей той бактериологической фауны, которая этим микроскопом была открыта, несмотря на то, что изобретатель микроскопа (А. Левенгук. – *В. А.*) был голландский торгаш – существо насквозь буржуазное и идеологически вполне, быть может, нам чуждое. Если же мы, под тем предлогом, что это – “продукты буржуазной науки”, будем строить свою науку без всех указанного рода буржуазно-научных достижений или просто отметая (т. е. не желая знать) их или же отрицая их (потому, что они – продукт буржуазного мира), мы не только не создадим никакой новой, своей науки, но превратимся просто в обскурантов». Выше всех Поливанов ставил своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ: книга Ф. де Соссюра, по его мнению, «не содержит в себе буквально ничего нового в постановке и разрешении общелингвистических проблем по сравнению с тем, что давным-давно уже было добыто у нас Бодуэном и бодуэновской школой».

Но, разумеется, надо идти дальше и создавать науку на марксистской основе. Программа должна была быть обширной и масштабной. Лингвист, согласно Поливанову, слагается из

четырех сфер деятельности. Во-первых, он – «строитель (и эксперт в строительстве) современных языковых (и графических) культур», «для чего требуется изучение языковой современной действительности, самодовлеющий интерес к ней и – скажу более – любовь к ней». Во-вторых, он – «языковой политик», прогнозирующий языковое будущее «в интересах утилитарного языкового строительства». В-третьих, он – «лингвистический историолог». В-четвертых, он – историк культуры. Первая сфера связана с изучением настоящего, вторая – с изучением будущего, две последние – с изучением прошлого. В отношении прошлого и настоящего наука о языке уже имела прочные традиции, а о будущем обычно даже не задумывалась, лишь И. А. Бодуэн де Куртенэ и Е. Д. Поливанов (и еще Н. Я. Марр, но на основе явной фантастики) ставили эту задачу. И очевиден активный, связанный с практикой подход к объектам исследования. Надо отметить, что опирался здесь Поливанов не только на марксизм: редкий термин «историология» взят из исторической концепции академика Н. И. Кареева, друга семьи Поливановых, отнюдь не марксиста (Кареев разделял историю как фактологическую науку и историологию, выявляющую исторические закономерности).

Из идей марксизма всерьез у Поливанова использовалась лишь одна: отражение в истории языка законов диалектики, особенно законов борьбы противоположностей и закона перехода количества в качество. Последний проявляется, в частности, в том, что фонетические изменения накапливаются постепенно, звучание как-то меняется при сохранении прежней фонологической системы, а потом происходит скачок и система фонологических единиц – фонем – становится иной. Проблема, постоянно волновавшая ученого, – причины языковых изменений. В противовес марристам, все сводившим к прямому влиянию экономических скачков и революций, он отстаивал роль внутренних причин, воздействующих на развитие языка. Одна из них в книге «За марксистское языкознание» именуется: «лень человеческая». Человеку не хочется тратить силы на произношение сложных звуков, длинных слов, на запоминание спряжения неправильных глаголов, поэтому в истории языков постоянно происходят упрощения в фонологии и грамматике. Латинское название месяца *augustus* во французском произношении сократилось до одного звука *u*. Но происходит и борьба противоположностей, в данном случае, интересов говорящего и слушающего: «минимальная трата произносительной энергии» должна быть «достаточной для достижения целей говорения», при слишком большой экономии речь становится для слушающего непонятной. Позднее эти идеи,

уже независимо от марксизма, развили Р. Якобсон и французский лингвист А. Мартине.

Приверженность марксизму, помимо использования законов диалектики, проявилась в постоянном интересе Поливанова к социальному функционированию языка. Он указывал, что внешние, в том числе социальные, причины, в отличие от внутренних, непосредственно не влияют на языковые изменения, однако их косвенное влияние может быть существенным: возникают или прекращаются контакты между языками, которые как-то изменяют языки (прежде всего, на уровне заимствований, но контакты могут повлиять и на строй языков), меняется число и состав носителей языка или языкового образования, по выражению Поливанова, их «социальный субстрат».

Особенно этот вопрос был актуален в связи с современной ситуацией в СССР. Марристы утверждали, что революция привела к формированию нового русского языка (точка зрения, парадоксальным образом возродившаяся у нас в конце 80-х гг., только с обратными оценками). Но Поливанов показал, что русский язык, в том числе русский литературный язык, остался таким же, каким был до революции, испытав лишь некоторые изменения в лексике. «Словарь, и только словарь, делает современный язык… непонятным для обывателя с языковым мышлением 1910–1916 годов», – писал Поливанов еще в 1928 г., ссылаясь на А. М. Селищева. Но расширился «социальный субстрат». Стандартный (литературный) русский язык, до революции остававшийся «классовым или кастовым языком узкого круга интеллигенции», теперь стал осваиваться «массами, приобщающимися к советской культуре», в том числе людьми, ранее вообще не знавшими русского языка.

Но здесь ученый сделал прогноз, который не оправдался: «Через два-три поколения мы будем иметь значительно преображенный (в фонетическом, морфологическом и прочих отношениях) общерусский язык, который отразит те сдвиги, которые обусловливаются переливанием человеческого моря – носителей общерусского языка в революционную эпоху». Этого не произошло: Поливанов не учел значительного ужесточения и внедрения в массы литературной нормы с 30-х гг., о которых уже шла речь в очерке «Человек-словарь».

В книге «За марксистское языкознание» затрагивались многие проблемы: и фонетика «интеллигентского языка», и «славянский язык» революции, и «блатная музыка», арго «воров в законе» (статья называется «Стук по блату»). Одна из статей названа «И математика бывает полезной», в ней ставится проблема использования математики в лингвистике. Обо всем этом сказано

немало интересного, нередко автор улавливал тенденции, значимые и позднее. В связи со «славянским языком революции» отмечено, что еще недавно яркий и эмоциональный язык революционных лозунгов, использовавший много славянизмов, начал становиться мертвым, штампованным. «Нельзя употреблять мертвые слова», это губительно для страны (об этом писал и А. М. Селищев). Тогда этот процесс только начинался, к каким последствиям он привел в 60–80-е гг., мы знаем. А в отношении «блатной музыки» он с тревогой отмечал, что она проникает в язык обычных людей, особенно подростков, что наблюдалось и до, и после революции. Он спрашивает: почему «наши дети хронически хотят корчить из себя хулиганов?». Проблема, увы, актуальна и сейчас.

Но современники больше всего обращали внимание на по-прежнему резкие оценки Марра и его последователей, названных в книге «любителями хорового пения». Эти оценки определили отношение к книге, которая вызвала новый всплеск борьбы с «поливановщиной», книгу объявили «антимарксистской». Н. Н. Поппе, который спустя полвека осудит Поливанова за «большевизм», тогда обвинял его в «протаскивании буржуазных идей и теорий». В том же 1931 г. в статье «Яфетическая теория» в первом издании Большой советской энциклопедии (автор скрыт за тремя звездочками, но, по-видимому, это маррист В. Б. Аптекарь) о взглядах Поливанова сказано: «Прямые враждебные выпады, идущие под знаком апологии буржуазной науки и империалистической политики капитализма». В этом же томе статья самого Поливанова «Японский язык» подписана Е. П., полная подпись уже была невозможна. Статью все же опубликовали (видимо, писать в энциклопедии о японском языке больше было некому), но набор второго тома «Введения в языкознание для востоковедных вузов» был рассыпан, не вышли и подготовленные Поливановым (одним или в соавторстве) в годы работы в Москве грамматики азербайджанского, казахского, калмыцкого, эрзя-мордовского языков. Рукописи всех этих книг до нас не дошли. С 1931 г. Поливанов больше не мог печататься в Москве или Ленинграде. В 1932–1937 гг. публикации у него были, но либо в Средней Азии, откуда они мало куда доходили, либо изредка за границей, куда Евгений Дмитриевич посылал рукописи другу со времен ОПОЯЗ Р. Якобсону.

И в Узбекистане оказалось гораздо тяжелее, чем раньше, марризм пришел и туда. В университет, одним из основателей которого когда-то был Поливанов, его не взяли за «антимарксистские взгляды». Преподавание в Узбекской государственной педагогической академии оказалось недолгим, в

последние годы работы в Узбекистане он не преподавал в вузах вообще. Он работал в Узбекском государственном научно-исследовательском институте культурного строительства, но и там обстановка оставалась тяжелой. В 1933 г. ученый заявлял: «Если сказать, какая часть из моих работ опубликована, это, должно быть, двадцатая часть, и особенно в настоящее время мне очень мало приходилось публиковать».

Работа все-таки продолжалась. По-прежнему проходили экспедиции для изучения узбекских диалектов. Новыми сферами деятельности стало изучение каракалпакского языка (тюркская семья) и распространенного тогда в Узбекистане, а сейчас практически исчезнувшего языка бухарских евреев, относящегося к иранской семье языков. По обоим языкам была напечатана лишь небольшая часть сделанного. А по узбекскому языку удалось все-таки издать две важные книги: «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком» (1933) и «Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам» (1935).

Сохранились воспоминания о Поливанове его ташкентского знакомого П. А. Данилова, относящиеся, видимо, к 1933 или 1934 г.: «Одет он был бедновато, в каком-то плохоньком стареньком костюмчике. На голове у него была такая же старенькая кепочка… Пожаловался, что ему приходится преподавать русский язык в начальной национальной школе; что ему не дают работать в научных учреждениях и вузах и не печатают его статей в научных журналах. И чтобы как-либо удержаться и продолжать научную работу, он вынужден посылать свои статьи в зарубежные научные журналы. Там его охотно печатают и по его просьбе гонорар высылают на Торгсин. Это и позволяет ему как-то сводить концы с концами». Так жил тогда бывший заместитель наркома иностранных дел, определявший отношения страны со многими государствами.

Впрочем, воспоминания не во всем точны. По три-четыре публикации в год у него все-таки были; с другой стороны, за границей его печатали не так уж охотно. За шесть лет четыре небольшие публикации, а в Литературном архиве памятников народной письменности в Праге, куда после войны попал пражский архив Якобсона, неизданных рукописей Поливанова нашлось потом немало, а том числе целая книга по японской фонетике (более полное ее описание, чем в изданной в 1930 г. книге). Как показывает переписка Н. Трубецкого с Р. Якобсоном, сейчас опубликованная, эти ученые, хотя и считали Поливанова одним из наиболее близких к себе советских ученых, но отвергали многие его идеи; Трубецкой считал, что Поливанов, находясь вне основных научных центров, стал деградировать.

Вероятно, все же дело было в другом: Трубецкой и Якобсон, как и Н. Ф. Яковлев, пришли к новому этапу развития фонологии, связанному с выработкой объективных критериев для выделения фонем, а Поливанов сохранил верность «психофонетике» своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ, казавшейся им старомодной.

В 1934 г. Поливанов переехал из Ташкента во Фрунзе (ныне Бишкек), город, оказавшийся последним на его творческом пути. Там он работает в Киргизском институте культурного строительства и вновь получает возможность преподавать, став профессором Педагогического института (в университет он будет преобразован уже после войны). К этому времени борьба с «буржуазной лингвистикой» стала утихать, в том числе в связи со смертью Н. Я. Марра в том же 1934 г. Во Фрунзе до 1937 г. было спокойнее, чем в Ташкенте, в одной из анкет 1935 г. Поливанов называет себя кандидатом в члены партии. Видимо, он старался вступить туда заново. Однако в следственном деле он будет именоваться беспартийным. В 1937 г. друг юности Н. И. Конрад даже похвалил Поливанова в книге о синтаксисе японского языка, кажется, это единственное его положительное упоминание в печати в те годы (впрочем, по свидетельству ученицы Конрада А. Е. Глускиной, он тогда уже не поддерживал отношения с Поливановым). Но запрет на публикации в Москве и Ленинграде сохранялся.

В этот период двумя основными направлениями его деятельности становятся изучение киргизского и дунганского языка. По киргизскому языку он ездит в экспедиции по изучению диалектов, переводит и исследует киргизский эпос «Манас». Однако в этой области он почти ничего, кроме отрывков из перевода «Манаса», не успел напечатать. Больше Евгений Дмитриевич смог довести до печатного вида по языку дунган, потомков китайцев-мусульман, бежавших в Среднюю Азию из Китая в XIX в. после восстания. Совместно с дунганским просветителем Юсупом Яншансином он составил изданную в двух частях в 1935 и 1936 гг. дунганскую учебную грамматику, а весной 1937 г. вышла небольшая книга «Вопросы орфографии дунганского языка», фактически последняя прижизненная монография Поливанова: ему принадлежит вся книга, кроме совместного с Ю. Яншансином проекта дунганской орфографии. Это был последний в стране проект письменности на латинской основе, скоро все начнут ускоренно переводить на кириллицу; тем не менее, эта письменность у дунган действовала более десяти лет. Книгу автор успел послать Р. Якобсону, ее оценка Н. Трубецким оказалась наиболее резкой.

Но ученый работал и над проблемами теоретической

лингвистики. Во Фрунзе он составил «Словарь лингвистических терминов». Эту работу он послал в Ленинград в Институт языка и мышления имени Марра, надеясь, что если она будет одобрена, он сможет вернуться во всесоюзную науку. Однако ученица Марра С. Л. Быховская дала отрицательный отзыв (рукопись будет опубликована лишь в 1991 г.). Отзыв, датированный 22 сентября 1937 г., резок, но не содержит политических обвинений. Очевидно, Быховская не знала, что рецензирует рукопись автора, уже почти два месяца находящегося в заключении.

Дата ареста Поливанова долго приводилась неточно или предположительно, даже у А. А. Леонтьева, Л. И. Ройзензона и А. Д. Хаютина в 1968 г. стоит март 1937 г., хотя в мае Евгений Дмитриевич еще переписывался с Р. Якобсоном. В следственном деле, с которым впервые удалось ознакомиться Ф. Д. Ашнину в 80-х гг., указана точная дата: 1 августа 1937 г.

В 1937 г. бурная биография Поливанова оставляла ему мало шансов уцелеть. Особенно опасными были два эпизода: работа с Л. Д. Троцким (даже притом, что они поругались) и связи с Японией (пусть давно оборванные). Так и случилось. Первый по времени документ, зафиксированный в следственном деле, опубликованном Ф. Д. Ашниным при моем участии, датирован 25 июля 1937 г. и подписан заместителем наркома внутренних дел СССР М. П. Фриновским. В шифрограмме сказано: «Немедленно арестуйте востоковеда Поливанова Евгения, находящегося в Казахстане. Спецконвоем направьте 3 отдел Москву». На другой день снова: «Немедленно сообщите арестован ли Поливанов Евгений». Но арестован ученый еще не был: в Москве точно даже не знали, где он живет, и послали шифрограмму в Алма-Ату вместо Фрунзе, что подарило ему еще несколько дней свободы. Но все образовалось, и в деле подшиты «постановление» и «ордер № 477» на арест от 1 августа. В постановлении сказано о «контрреволюционной троцкистской деятельности»; видимо, поводом к аресту послужила информация о работе Поливанова с Троцким в 1917–1918 гг.

Но когда Евгения Дмитриевича доставили в Москву (зафиксировано его помещение в Бутырскую тюрьму 16 августа), обвинение в «троцкистской деятельности» исчезло из дела, заменившись «шпионажем в пользу Японии». Именно эту линию следствие выдерживало теперь вплоть до суда. Ученого обвинили в том, что еще в 1916 г. в Японии он был завербован японской разведкой и с тех пор вел «шпионскую деятельность». Отмечу, что среди прочего Поливанов обвинялся и в шпионаже против царской России. Такое обвинение еще несколько лет назад было немыслимо, а теперь оно встречалось и в других делах, например,

в параллельно шедшем деле академика А. Н. Самойловича. Преемственность СССР по отношению к дореволюционной России, ранее отрицавшаяся, теперь все более утверждалась.

Единственные показания, содержащиеся в деле, принадлежат сотруднику НКИД Н. К. Кузнецову и по существу не говорят ничего о «шпионаже». Кузнецов, в 1916 г. находившийся одновременно с Поливановым в Японии, а потом работавший вместе с ним в НКИД, лишь повторяет рассказы о его поведении: в наркомате «вокруг него вращались восточники и особенно японцы, образ жизни вел крайне безалаберный: пьянство, связь с публичными женщинами, кокаинист». В том же духе описана и его жизнь в Японии, из чего делается вывод: «все эти факты дают повод подозревать его не в простой связи, а как человека, связанного с японцами по шпионажу, иначе японцы не допустили бы такого безобразия и могли поднять скандал». И все (после первого отъезда Поливанова в Среднюю Азию Кузнецов его никогда не видел).

Но заставили признаться в шпионаже и самого подследственного. Как это делалось, ясно из документа, которого в деле нет, но отрывки из которого приводятся в реабилитационной его части. Это заявление Поливанова от 1 октября 1937 г.: «Прошу о прекращении тяжелых приемов допроса (физических насилий), так как эти приемы заставляют меня лгать и приведут только к запутыванию следствия. Добавлю, что я близок к сумасшествию».

В итоге 15 октября был составлен пространный «протокол допроса обвиняемого», в котором Поливанов рассказал многое о своей жизни, но в то же время признавался в связях разных лет с японцами Яманаси, Макусэ и Умеда (реальными или мифическими?) и явно вымышленным корейцем Кимом «без особых примет», дававшим в 30-е гг. в Ташкенте ему задания «по изучению каналов возможного проникновения японского влияния в Среднюю Азию». Этим смертный приговор уже был подписан. Единственный путь к спасению в той ситуации заключался в том, чтобы выдержать все пытки и ничего не подписать. Такие случаи были, пример – друживший с Поливановым в годы его работы во Фрунзе киргизский писатель Аалы Токомбаев: два года он ни в чем не признавался и в 1939 г. был освобожден с полной реабилитацией. Но вынести «физические насилия» могли лишь немногие.

Дальше – рутина. 31 декабря 1937 г. было составлено обвинительное заключение с обвинением по трем статьям: шпионаж, терроризм и принадлежность к контрреволюционной организации, две первые статьи были расстрельными. 25 января

следующего года состоялся суд. На нем Поливанов отказался от своих показаний на следствии и виновным себя не признал. Но это уже не имело никакого значения, последовал приговор к «высшей мере уголовного наказания», подлежавший «немедленному исполнению». В тот же день выдающийся ученый был расстрелян. Жена его Бригитта Альфредовна Нирк (эстонка), сопровождавшая его во всех скитаниях, была арестована как «агент польской разведки» в апреле 1938 г. и умерла в лагере в 1946 г.

Дальнейшая судьба научного наследия Поливанова – целый роман со многими поворотами сюжета, я однажды написал особую статью на эту тему. Разумеется, после ареста и расстрела этот ученый надолго перестал упоминаться. Но все-таки, как выясняется, даже при жизни И. В. Сталина запрет на это имя выдерживался не до конца, по крайней мере, в послевоенные годы. Правда, о нем не упоминали в связи с вопросами общего языкознания; даже когда Сталин осудил учение Марра, никто не вспомнил о том, кто критиковал его двумя десятилетиями раньше. А вот лингвисты-востоковеды, особенно специалисты по языкам, которыми занимался Евгений Дмитриевич (японский, китайский), не могли обойтись без его трудов и нередко ссылались на них. В послевоенные годы считалось важным подчеркивать приоритет русской науки по тем или иным вопросам. И в 1950 г. японистка Н. И. Фельдман (жена Н. И. Конрада) писала в послесловии к вышедшему немалым тиражом русско-японскому словарю: «Вопросы (японского. – *В. А.*) ударения были подняты впервые русским японоведением – Е. Д. Поливановым – около 30-ти с лишним лет назад, и в самой Японии стали изучаться, под влиянием работы Е. Д. Поливанова, только с этого времени». В отличие от некоторых других публикаций тех лет здесь русский приоритет обозначен вполне справедливо.

Как допускалось такое в отношении «шпиона» и «террориста»? Тут мог играть роль, в данном случае положительную, недостаток информации, иногда сознательно использовавшийся. Ленинградский профессор-китаист А. А. Драгунов утверждал, будто Поливанов был осужден не по политической статье, а за наркотики, потому его можно упоминать. Эта версия имела хождение и в 50-е гг. попала даже в японскую энциклопедию. А учивший нас профессор В. А. Звегинцев, видевший Поливанова в 30-е гг. в Ташкенте, даже в 1967 г., когда судьба ученого была достоверно известна, утверждал, будто он на самом деле повесился из-за того, что его книгу отвергло местное издательство. Вероятно, такая версия

тоже имела распространение.

Когда началась массовая реабилитация, Поливанов долго не подпадал под нее по той причине, что некому оказалось о ней хлопотать: жена погибла, детей, братьев и сестер не было. Но писать о нем стали все больше. В 1955 г. герой одного из моих очерков, японист Н. А. Сыромятников, кажется, первым упомянул в печати о его противостоянии Н. Я. Марру. Но наиболее важной была публикация в «Вопросах языкознания» в 1957 г., еще до официальной реабилитации ученого, статьи В. В. Иванова, ныне академика, «Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова», где впервые было сказано о значении его трудов не только для японистики и китаистики, но для языкознания в целом. С конца 50-х гг. возобновилась и публикация его работ, в том числе ранее не печатавшихся. А В. А. Звегинцев в 1960 г. включил одну из статей книги «За марксистское языкознание» в хрестоматию по истории мировой лингвистики наравне с работами признанных классиков советской науки.

Но реабилитация была необходима. За отсутствием родственников просьбу о пересмотре дела на имя Генерального прокурора СССР направил в конце 1962 г. Институт языкознания АН СССР. Показания в пользу Поливанова дали его друзья и коллеги разных лет: В. Б. Шкловский, В. А. Каверин, Ю. Яншансин и др. В частности, Шкловский, не обошедший и наркоманию, вспоминал, как на его глазах во время Февральской революции Евгений Дмитриевич «с группой людей строил баррикаду, перевернув трамвайный вагон и омнибус», а «во время Кронштадтского восстания водил на лед китайские и корейские отряды». В конце его показаний сказано: «Считали, что он идет во главе мировой лингвистики, ища ей общие законы. Прошло много десятков лет. Вероятно, многое открыто другими, но для славы советской науки, для истории марксистского языковедения и для исследования социальных вопросов литературы Востока, думаю, работы Евгения Дмитриевича не прошли [даром]». В итоге 3 апреля 1963 г. произошла реабилитация.

После этого наследием ученого стали заниматься активнее. В 1964 г. благодаря усилиям Л. И. Ройзензона в Самарканде состоялась первая конференция его памяти, тогда же А. А. Леонтьевым был составлен сборник его избранных трудов, включивший как издававшиеся при жизни, так и неопубликованные работы. К нему были приложены статья А. А. Леонтьева, Л. И. Ройзензона и А. Д. Хаютина – первая биография Поливанова и библиография его работ. Его публикация шла с трудом: против нее выступил заведующий отделом языков Института востоковедения (тогда Института народов Азии) АН

СССР Г. П. Сердюченко, в прошлом видный маррист. Большую роль в издании тома сыграл авторитет Н. И. Конрада, к тому времени академика. Книга вышла в 1968 г., вызвала большой интерес, в 1974 г. появилось ее английское издание.

В это время о Поливанове много говорили и писали и на Западе, и в Японии. На Западе его особенно ценили ученые левых взглядов, интересовавшиеся построением марксистской лингвистики. В 60-е гг. в Париже некоторое время существовал Поливановский кружок. А в Японии, где обычно игнорируют иностранные исследования по их языку, на работы Поливанова всегда обращали внимание, особенно их пропагандировал профессор Мураяма Ситиро (кстати, ученик так не любившего Поливанова Н. Н. Поппе), Мураяма подготовил изданный в 1976 г. на японском языке сборник японистических работ ученого.

У нас в 70-е гг. и в первой половине 80-х гг. труды Поливанова, разумеется, не исчезали из научного оборота, но кое-кто из начальства, особенно в провинции, считал его «неудобной фигурой». Во Фрунзе в 1981 г. не дали проводить заседание, посвященное 90-летию со дня его рождения, хотя в Москве в Институте востоковедения аналогичное заседание прошло без всяких трудностей. Но и в Москве после книги 1968 г. публикация работ Поливанова почти прекратилась, а подготовленное переиздание первого тома «Введения в языкознание для востоковедных вузов» много лет лежало без движения.

Все же и в это время Поливанова изучали. Первую монографию, посвященную его деятельности, издал в 1983 г. А. А. Леонтьев. А самаркандский литературовед В. Г. Ларцев в это же время написал большую книгу «Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности», во многом основанную на архиве, который долгие годы собирал Л. И. Ройзензон. Книга интересна большим количеством фактического материала, содержит немало воспоминаний о Евгении Дмитриевиче. Интересы автора сказались в том, что в ней впервые рассказывалось о Поливанове как литературоведе и поэте.

Эта книга, несколько лет доводившаяся до окончательного вида в издательстве, вышла в 1988 г. и оказалась ко времени. «Пошел маятник», и как раз на этапе «социализма с человеческим лицом» фигуры вроде Поливанова или Н. И. Бухарина оказались созвучны эпохе, книга самаркандского автора имела неплохой резонанс. Но маятник двинулся дальше, и к моменту столетнего юбилея ученого в 1991 г. в центре внимания находились уже другие лица. Ситуация оказалась прямо противоположной той, что была десять лет назад. В Киргизии (уже не во Фрунзе, а в

Бишкеке), где процессы развивались с опозданием, в сентябре 1991 г., несмотря на всю непростую обстановку того месяца, прошла большая конференция памяти Поливанова. В Москве же ни одной конференции не было, а когда я подготовил юбилейную статью для «Вестника Академии наук», ее сначала приняли, но потом отказались публиковать на том основании, что не надо пропагандировать коммунистов. Статья, правда, вышла в журнале «Азия и Африка сегодня» благодаря М. С. Капице (см. очерк о нем).

В 1991 г., впрочем, сделали самое важное: издали новый том трудов ученого, куда вошли не только «Введение в языкознание для востоковедных вузов», но и впервые увидевшие свет «Словарь лингвистических терминов» и выступления против Н. Я. Марра. Подготовил издание Л. Р. Концевич.

Но два тома 1968 и 1991 гг. включают в себя лишь небольшую часть из написанного Поливановым. В. А. Каверин говорил, что ему «удалось напечатать лишь двадцатую часть своих работ», и эта цифра близка к реальности. К книге В. Г. Ларцева приложен составленный Л. Р. Концевичем список: «Ненайденные работы Е. Д. Поливанова», занимающий тринадцать страниц. Трудно найти другой аналогичный пример в истории мировой лингвистики. И арест ученого был здесь не единственной причиной: много рукописей Поливанов потерял еще за время своих скитаний (он довольно небрежно относился к научному архиву), очень много его текстов пропало, когда в начале 30-х гг. марристы выбрасывали из печати его «антимарксистские» работы.

Однако кроме ненайденных или безусловно уничтоженных работ до сих пор существуют и сохранившиеся, но не опубликованные. Теперь уже вроде бы нет непреодолимых препятствий, но «не доходят руки». Выше говорилось, что в Праге сохранилась та часть научного архива Поливанова, которую он послал Р. Якобсону. Кое-что из нее (письма Поливанова Якобсону) печаталось еще в 80-е гг., а в январе 1990 г. мы с Л. Р. Концевичем были в этом архиве и успели сделать ксерокопии некоторых работ, которые затем были напечатаны. Однако затем связь с Прагой прервалась, и все остальное, включая книгу по японской фонетике, пребывает под спудом до сих пор. А во Фрунзе еще в 70-е гг. видели рукопись большой дунганской грамматики, известно также, что сохранился перевод «Манаса». Но все это лежит без движения, и что-то за прошедшие десятилетия могло пропасть. Чувствую здесь и собственную вину.

Сейчас центром изучения наследия Поливанова стала его родина – Смоленск, где усилиями преподавателей Смоленского

университета (особенно надо отметить роль И. А. Королевой) проведено уже девять Поливановских чтений. В Смоленске в 2003 г. наконец переиздали книгу «За марксистское языкознание». А за рубежом после спада интереса к Поливанову (во многом связанного с кризисом левых идей в 80–90-е гг.) снова им стали заниматься, свидетельство чему уже упоминавшийся коллоквиум в Париже в июне 2009 г. Вот неполный перечень его тем. Общий обзор деятельности Поливанова. Поливанов как тюрколог. Поливанов как японист. Теоретические вопросы в трудах Поливанова: фонология, эволюция языка, диалогическая речь. Проблемы социолингвистики у Поливанова. Деятельность Поливанова в области языковой политики и разработки алфавитов (три доклада). Поливанов как исследователь поэтики. Поливанов – поэт. Поливанов – литературный персонаж. История Поливановского кружка в Париже. В силу обстоятельств жизни и особенностей характера Поливанов не создал научную школу, не подготовил известных учеников, но его научные идеи по-прежнему в центре внимания.

Фигура огромная, выбивавшаяся из любого ряда, пусть не во всех чертах вызывающая симпатии. В. Б. Шкловский писал в 1984 г. В. Г. Ларцеву: «Поливанов был обычным гениальным человеком. Самым обычным гениальным человеком».

Трудное плавание по течению *(Н. И. Конрад)*

Когда я начал заниматься японским языком, я уже знал, что крупнейший у нас специалист в этой области – академик Николай Иосифович Конрад, тогда еще здравствовавший. Имя его было окружено почетом, на публике он появлялся редко. Словом, живой классик. Впрочем, его лингвистические публикации (другие я тогда еще редко читал) не вызвали у меня теплых чувств: с первого взгляда видны были противоречия, недостаточная логичность, да и написано скучновато. Конрада никак нельзя было сравнить с такими блестящими японистами как Е. Д. Поливанов или А. А. Холодович. И мой учитель аспирантских лет И. Ф. Вардуль, сам ученик Конрада, отзывался о

нем с уважением, но почти ни в чем с его «Синтаксисом японского национального литературного языка» не соглашался. Японское языкознание еще при жизни Николая Иосифовича ушло далеко от его воззрений.

Однако его почитали все, и «левые», и «правые». При жизни и особенно после смерти Конрад стал явно мифологической фигурой, что, однако, из его «Синтаксиса», главной лингвистической работы, никак не следовало. Разумеется, я знал, что этот ученый занимался не одной лингвистикой, а чуть ли не всеми японскими сюжетами, и его работы по литературе были написаны ярче, чем лингвистические. Но какое-то недоумение оставалось.

К концу 80-х гг., начиная с книги о Н. Я. Марре, я все больше стал уходить из области морфем и грамматических категорий в историю науки. А это было время так называемой перестройки, когда началось «срывание всех и всяческих масок» в отечественной истории, включая научную. Возрождалась норма 20–30-х гг., когда ниспровергались авторитеты, а в бранных эпитетах не стеснялись; только знаки менялись на противоположные, поскольку разоблачалась уже не «буржуазная», а «тоталитарная» наука. Одновременно шло «восстановление справедливости» и «возвращение имен», иногда действительно достойных, иногда не очень. Конрад, впрочем, не входил ни в одну из категорий: к концу советской эпохи он не был ни забыт, ни запрещен (хотя и он в сталинские времена на три года был «изъят из обращения»), а разоблачать его не стали, хотя можно было бы при желании кое-что найти и у него. Но такого желания у перестроечных авторов не возникло, и, как мы дальше увидим, не случайно.

Я тоже оказался захвачен общим поветрием. Открывались новые интересные факты, ранее замалчиваемые или вообще неизвестные. А я и раньше не любил возобладавшую в позднесоветское время традицию, когда после погромов и разгромов предыдущих лет кинулись в другую крайность: в нашей историографии персоналии любых ученых стали сводиться к перечислению их трудов и стандартно высоким оценкам. Востоковеды или лингвисты разных научных и политических взглядов, при жизни споривше, а то и враждовавшие друг с другом, оказывались на одно лицо, критики избегали. Новая эпоха, казалось, дает возможность отделить зерна от плевел, показать сложность и неоднозначность научного процесса. Однако быстро оказалось, что место одних мифов заняли другие, история советской науки, как и вся история советского общества, снова окрасилась в черно-белые тона, лишь темное превратилось

в светлое и наоборот. Впрочем, Конрад остался светлым.

Покончив, как мне казалось, с Марром, я в 1990 г. захотел рассмотреть в свете новой эпохи и, безусловно, значительную, но, как выяснилось, мало изученную фигуру академика Конрада. О нем, конечно, писали, в том числе и крупные ученые вроде В. В. Иванова, но это были панегирики. Я, правда, еще в конце 70-х гг. сделал критический разбор его лингвистических работ, которые и тогда считал, и сейчас считаю слабыми; разбор долго оставался в столе (один из моих старших коллег сказал: «Не лягайте мертвого льва!») и лишь в 1988 г. в сокращенном виде вошел в мою книгу «Изучение японского языка в России и СССР». Но я, конечно, понимал, что фигура Конрада шире, и стоит рассмотреть его жизнь и деятельность в целом. А тут оказалось сразу два стимула: готовилось к печати издание неопубликованных работ и писем Николая Иосифовича, для которого мне предложили написать предисловие, и приближалось 100-летие со дня его рождения. Я одновременно писал предисловие и статью к юбилею в журнал «Восток». Статья вышла в срок, еще до гибели СССР, а мемориальное издание, давно уже готовое, из-за недостатка средств появилось лишь в 1996 г. Дальше Конрад, как и Марр, меня уже не отпускал, у меня было еще несколько публикаций о нем, и вот еще одна.

Николай Иосифович Конрад родился 1 (13) марта 1891 г. в Риге. Его отец был крещеным евреем, мать происходила из духовного звания, родом из Орла. Со стороны матери семья была связана с семьей Позднеевых, а один из Позднеевых, Дмитрий Матвеевич, был ведущим дореволюционным японистом в России. Это могло повлиять на выбор профессии, но сам Конрад позже указывал и на другую причину, значимую для него и на его друзей, включая Н. А. Невского, которому посвящен очерк «Колоссальный продуктор». За несколько лет до того Россия потерпела жестокое поражение в Русско-японской войне, одной из причин было незнание Японии (Николай II, по воспоминаниям С. Ю. Витте, называл японцев «макаками»). Япония стремительно ворвалась в число мировых держав, а в области ее изучения было сделано, особенно в России, очень мало. Почти любой проблемой надо было заниматься впервые, перед молодым человеком, решившимся обратиться к Японии, открывалось очень широкое поле деятельности. И в течение нескольких предреволюционных лет в России сформировалась замечательная когорта специалистов по Японии, тогда совсем молодых, в том числе Конрад и герои еще двух моих очерков: Е. Д. Поливанов и Н. А. Невский. И не только они, например, С. Г. Елисеев, эмигрировавший из России после революции, стал основателем

научного изучения Японии сразу в двух странах: Франции и США.

В 1908 г. Конрад поступил на восточный факультет Петербургского университета, окончив его по китайско-японскому разряду в 1912 г. Одновременно он, как и другие его коллеги-японисты, учился в Практической восточной академии, только там тогда можно было выучить разговорный язык. Руководителем Практической восточной академии был Д. М. Позднеев, крупный знаток языка, но более практик, чем ученый, а в университете тогда еще значительных японистов не было. На китайско-японском разряде лидером среди преподавателей был выдающийся китаист В. М. Алексеев, которого и Конрад, и Невский всегда считали главным своим учителем. Спустя много лет, в 1945 г. Конрад напишет Алексееву, к тому времени академику: «Я же, как Вы знаете, при всем своем официальном звании “японiста”, вообще говоря, всегда был и остаюсь китаистом». Но к китайским сюжетам ученый обратится много позже, в самый тяжелый период своей жизни. А после окончания университета Конрад сосредоточил свою деятельность на японистике.

В 1912 г. молодой ученый провел несколько месяцев в Японии. Первой его научной темой стало изучение японской системы школьного образования. Сама тема отразила новые тенденции в русском востоковедении. Впоследствии Конрад писал об эпохе, которую он еще застал в студенческие годы: тогда «начинающий ученый мог рассчитывать на самую активную поддержку своих учителей, когда они видели его сидящим над средневековой… рукописью»; среди востоковедов упорно держалось убеждение, что наука и современность – «вещи несовместные». Но уже В. М. Алексеев начал обращаться к современности, а для Конрада и Н. А. Невского эти проблемы стали приоритетными. Позже Конрад будет заниматься и древними памятниками, но и здесь его сферой деятельности будет анализ, комментирование и перевод текстов, уже изданных в Японии или Китае. И ни одного памятника он не издаст по рукописи, хотя именно это считалось главным делом для востоковедов старой школы. А первая его работа о системе образования, большая статья, опубликованная в 1913 г. в трех номерах «Журнала Министерства народного просвещения», целиком посвящена современной Японии.

Начинающий ученый показал себя дотошным наблюдателем. Он подробно изучил японскую школу времен европеизации страны, когда власть стремилась одновременно перенять научно-технические достижения Запада и сохранить «японскую душу», «дух Ямато». Оценка японской системы образования у Конрада

далеко не однозначна. С одной стороны, им отмечены значительные достижения Японии в этой области всего за четыре десятилетия, с 70-х гг. XIX в. Отмечено, что к 10-м годам XX в. в Японии было 98 % грамотных, и все они умели пользоваться своей грамотностью на практике. Программа японской начальной школы «на первый взгляд… представляется безукоризненной и составленной так, что не остается желать ничего лучшего», в Японии «чужое здание приспособили к национальному фундаменту» очень успешно. Велики успехи в распространении по всей стране единых языковых норм, в преподавании сложной иероглифической письменности и др. Сам облик японской школы явно симпатичен автору исследования: «В больших городах начальные школы – огромные, частью каменные здания с массой свежего воздуха. В деревнях же школа обычно – самое лучшее здание», в котором поддерживается «полная чистота». Нередко у Конрада ощущается скрытое сопоставление с родиной, где тогда больше половины населения не знало грамоты, а при высоком уровне университетского и гимназического образования приходские школы и народные училища часто не отличались ни качеством обучения, ни чистотой и порядком.

Однако многое в японской школе было неприемлемо для Конрада. «То обстоятельство, что начала нравственного учения определяются не религией, не этической системой, а императорским манифестом, с трудом поддается пониманию иностранца, но для японца это почти само собой разумеется, нисколько не удивительно, не странно». «Эта идея величия, важности и почетности военной службы, унаследованная от времен старой Японии… идет в сильной степени вразрез со взглядами Европы». «В центре всего обучения начальной школы стоит родина – Япония, а весь внешний мир рассматривается лишь постольку, поскольку имеет к ней отношение». В японской школе господствовали культ предков и культ императора, восходившие к глубокой древности. В целом Конраду нравится в японской школе то новое, что появилось там под европейским влиянием, и не нравится то, что осталось от старой Японии.

Общий вывод ученого, достаточно любопытный, также содержит двойственность: «Вся система доведена до такого однообразия, что положительно можно сказать, что именно в данный момент, т. е. день и час, говорится во всех школах по данному предмету учителями в классе. Происходит, в сущности, не что иное, как последовательное отливание всех японцев в одну и ту же строго выработанную форму, снабжение их одним и тем же миросозерцанием и одними и теми же мыслями, чувствами, привычками, вкусами и пр… Все остальное приносится в жертву

этому принципу однообразия, создающему, с одной стороны, удивительную монолитность народа, с другой же – делающему одного японца в значительной степени похожим на другого».

Труд о японской школе характеризует и его автора, западника, сторонника «идей народовластия и свободы, стремления к представительному строю», противника национализма, милитаризма и культа любого императора. Конрад показывает себя и верующим, и в то же время веротерпимым человеком: «Если брать буддизм как единое цельное явление, то между его добродетелью и добродетелью христианства, в сущности, слишком огромной разницы не найдется. И в том, и в другом вероучении главную роль играет чувство милосердия, сострадание и любовь».

Все это – типичная позиция либерального интеллигента того времени. В политике эта позиция выражалась партией кадетов. Конрад, кажется, не был ее членом, в отличие от своего коллеги С. Г. Елисеева, но в письмах он упоминал о своем «милюковствующем и кадетствующем сердце». И так было у большинства столичных интеллигентов, в том числе преподавателей и студентов восточного факультета, тогда возглавлявшегося Н. Я. Марром. Никто не мог предугадать, что через некоторое время многие из них вынужденно покинут родину, зато их декан вступит в партию большевиков, до 1917 г. находившуюся в подполье.

Работа 22-летнего ученого обращала на себя внимание. Но потом ни одной публикации в течение восьми лет: сначала командировка в Японию, потом революция и гражданская война.

По окончании университета Конрад год преподавал в Коммерческом институте в Киеве, а в 1914 г. вернулся в Петербург, чтобы сразу уехать на три года в Японию. Факультет послал на стажировку в изучаемую страну перспективных выпускников: Конрада, О. О. Розенберга, а годом позже и Н. А. Невского. Темой первого из них стало влияние китайской культуры на традиционную японскую. Стажировка рассматривалась как завершение процесса обучения и возможность сбора материала для дальнейших работ, подготовка публикаций не предполагалась. Конрад интенсивно работал, жил в Токио вместе с факультетскими друзьями Невским и Розенбергом, общался с приезжавшим туда товарищем по Практической академии Е. Д. Поливановым. Ездил он в Корею, недавно захваченную Японией, где собрал уникальный этнографический материал. Этот материал он позднее готовил к печати, но так за много лет и не закончил его обработку, издан он будет лишь в сборнике неопубликованных работ в 1996 г. Зато в

лагере он приобретет авторитет среди уголовников рассказами про корейских шаманов.

Но в Японии и Корее Конрад, как и Поливанов, имел и иные обязанности. В документе, уже цитированном в очерке о Поливанове, сказано: «Во время пребывания в Японии г-н Конрад должен, по возможности, ознакомиться с положением корейцев на Японских островах. Выяснить приблизительное число проживающих здесь корейцев и общие условия их жизни… По приезде в Корею выяснить, в чем заключаются сильные и слабые стороны японского владычества в Корее, как продвигается японская колонизационная деятельность. Войти в непосредственное сношение с туземцами, чтобы выяснить отношение широких корейских масс к японскому владычеству, постараться выяснить, какие именно слои корейского народа более всего пострадали от японского господства и враждебно к нему относятся. В случае если удастся познакомиться с представителями корейской интеллигенции и вообще более или менее выдающимися корейцами, описать их характеристики с точным указанием занимаемого ими положения, рода деятельности и мест жительства». Типичное разведзадание, включая обработку «агентов влияния». Но применить эти сведения царский Генштаб уже не успел.

Стажировка ученого подходила к концу, когда с родины пришли известия о Февральской революции. Если Невский, чей срок стажировки еще не истек, надолго задержался в Японии, то Конрад весной 1917 г. отправился домой. В Петроград он вернулся как раз в июльские дни, попав из небогатой, но спокойной Японии в центр политической борьбы. Как он потом вспоминал, в день его приезда на улицах стреляли. В июле 1917 г. он пишет из Петрограда Невскому: «Представьте себе человека, который схвачен водоворотом и мчится к пучине; он сознает, что нужно спасаться, но уж этого сделать не в состоянии. Таковы и мы, и таков, в частности, Ваш друг». Конрад, убедившись, что университет уже нормально не функционирует, решил спасаться и, не пробыв и месяца в Петрограде, уезжает к родителям, к тому времени владевшим имением под Орлом. Настроения его меняются: в письмах Невскому он то жалуется на разруху, то надеется на то, что мы перенесем «ужасную болезнь» и «еще с гордостью будем говорить, что наша республика – передовая в мире». Меняется и политическая ориентация: еще в мае он жалел, что из Временного правительства удалены «наиболее одаренные и умные люди» Гучков и Милюков, а сентябре уже называл себя «склоняющимся в сторону социалистов-революционеров». Это тоже было тогда типично для интеллигентов, особенно молодых:

кадеты, умело обличавшие царскую власть, не справились с управлением страной, и еще до Октября стали сходить с политической сцены, а молодежь нередко склонялась влево. Одни шли к большевикам, как Поливанов, другие к эсерам или анархистам.

В 1918 г. Конрад вернулся в Петроград, где Е. Д. Поливанов привлекал его к работе с красными китайцами, но через год снова уехал в Орел. Там он вместе с группой оказавшихся в этом городе интеллигентов создал университет, став его первым и единственным ректором. Самыми яркими личностями в нем были сам ректор и М. И. Каган, интересный философ, повлиявший на знаменитого М. М. Бахтина в начале его пути. Но между собой они не ужились, и Каган вскоре покинул университет. Сейчас опубликовано письмо Бахтина Кагану, где он выражает сочувствие своему другу и с его подачи осуждает Конрада, которого тогда не знал. Но вскоре университет прекратит существование, будучи преобразован в пединститут, а Конрад вслед за Каганом навсегда уедет из Орла (в наше время университет воссоздадут).

Уже после закрытия университета вышел единственный выпуск его «Ученых записок», где Конрад опубликовал перевод японского памятника XIII в. «Записки из кельи» и статью о нем, это первая его публикация после 1913 г. Выбор именно этого памятника явно не случаен. Его автор Камо-но Тёмэй, придворный, ставший монахом, жил в эпоху, когда власть в Японии перешла от утонченного императорского двора к суровым и малообразованным воинам – самураям. В статье Конрада впервые проявилась черта, свойственная ему и позже: говоря о минувших эпохах, иметь в виду и современность: «Наступали мрачные и величественно-ужасные времена японской истории… Вместо усвоенной и претворенной культурности, широкой просвещенности и гуманитарной образованности – огрубение, одичание, упадок… А кругом достойный фон: разоренная страна, поредевшее население, всеобщее огрубение и распад привычных уже моральных, общественных и политических устоев». Очевидно, что речь идет не только о Японии начала XIII в.

Уход от мира автора «Записок» явно импонирует Конраду: «Пусть это знаменует, влечет за собою отказ от привычных условий, жизненных удобств, даже от многих потребностей, зато свобода, независимость, отсутствие необходимости или укладываться в общее русло, в общие рамки жизни, или влачить жалкое существование лишнего человека. Свобода и независимость, последование только одному себе». Случайно ли из Орла Николай Иосифович ездил в Оптину пустынь, где

разбирал бумаги умершего в годы гражданской войны монаха-востоковеда (статья «Синолог из Оптиной пустыни» также будет опубликована лишь в 1996 г.)? Но уход от жизни для себя был отвергнут: слишком живым и деятельным человеком был Конрад.

Рассуждения про «Записки из кельи» также типичны для настроений русских либеральных интеллигентов тех лет. Вслед за коротким периодом увлеченности кадетами или эсерами наступило полное разочарование во всем, а в окружающем виделись, прежде всего, «всеобщее огрубение и распад устоев». Тут, однако, могло начинаться и различие во взглядах. Одни интеллигенты видели только «огрубение и распад», такая точка зрения означала либо эмиграцию, либо «существование лишнего человека». Конрад не хотел ни того, ни другого, да и некоторые его высказывания и 1917 г., и более поздних лет свидетельствуют о наличии у него исторического оптимизма. И он, как и та часть интеллигенции, которая хотела работать на своей родине, уже в 1921 г. писал о временах, не только «мрачных» и «ужасных», но и «величественных», а про самураев (власть которых продержалась в Японии с 1192 по 1868 гг.) сказано: «Здесь – сила, зато сила первобытная, неудержимо бьющая, обещающая много, но пока еще такая варварская». Оставалась надежда на уменьшение варварства, тем более что обстановка в стране по окончании Гражданской войны давала для этого основания.

В 1922 г. Конрад вернулся в Петроград и работал в этом городе до ареста в 1938 г. Одновременно после закрытия Орловского университета уехала туда доучиваться студентка Конрада Наталья Исаевна Фельдман, которая через несколько лет станет его женой. Брак окажется очень удачным: Н. И. Фельдман сама стала видным японистом и много помогала мужу в трудные его годы.

К моменту возвращения Николая Иосифовича в Петроград там почти не осталось японистов: кто умер, как О. О. Розенберг, кто оказался за границей, как Н. А. Невский и С. Г. Елисеев, кто жил далеко, как Е. Д. Поливанов, заброшенный судьбой в Ташкент. Конрад сразу же занимает главное место в этой дисциплине: уже в 1922 г. он стал заведующим двумя японскими кафедрами в университете и учебном Институте востоковедения имени А. С. Енукидзе (в последнем вузе он одно время был и проректором); после создания в 1930 г. академического Института востоковедения он там заведовал японским кабинетом. В 1934 г. он первым среди японистов стал членом-корреспондентом АН СССР.

Все публикации ученого в 20–30-е гг. посвящены Японии, в основном литературе и истории до XIX в., с середины 30-х гг.

и языку. Первой его публикацией в Петрограде становится перевод памятника X в. «Исэ-моногатари» с комментариями к нему. Однако в отличие от ряда других востоковедов он начинает осваивать и культуру «варварской силы», как он еще недавно выражался. Конрад оказался одним из немногих авторов, кто одновременно печатался в двух ведущих тогда изданиях: альманахе «Восток» в Ленинграде и журнале «Новый Восток» в Москве. В альманахе появлялись его переводы, а в «Новом Востоке» в 1923 г. вышла статья «Вопросы японского феодализма». С нее начался переход Конрада к марксизму. У многих интеллигентов, отказавшихся от эмиграции и внутренней эмиграции, в те годы появился интерес к марксизму, безусловно, искренний (принудительное освоение марксизма к 1923–1925 гг. еще было впереди). Особенно марксизм вызывал интерес у ученых, которые, как Конрад, не удовлетворялись изучением фактов и стремились к обобщениям. А Япония совсем не была изучена с марксистских позиций, Конрад здесь был первым, по крайней мере, среди японистов-профессионалов. Если востоковеды старшего поколения уже не могли выйти за пределы привычных с дореволюционных времен методов, то еще молодой и чуткий к веяниям времени Конрад усвоил «социальный заказ» вполне органично. Все его работы тех лет социологичны и опираются на учение о формациях. Это относится к публикациям не только по истории, но и по литературе и даже языку. Уже заголовки его литературоведческих статей тех лет красноречивы: вся японская литература им рассматривалась как «феодальная», «буржуазная», либо «пролетарская». А в книге 1937 г. «Синтаксис японского национального литературного языка» все функционирующие в то время в Японии языковые образования определялись как «классовые языки»: старописьменный язык – «феодальный», современный литературный язык – «буржуазный», деревенские говоры – «крестьянские», городские говоры – «мещанские». Сложности вызвал только «язык японского пролетариата». Признавая, что «в складывающемся пролетарском языке» «ведущую роль играет, безусловно, национальный язык» (т. е. «буржуазный»), он мог лишь говорить о том, что система понятий этого языка «перерабатывается в духе того классового сознания, носителем которого является пролетариат». Направленность исследований Конрада была хорошо видна современникам. Е. Д. Поливанов в рецензии на главный труд Конрада тех лет по литературе «Японская литература в образцах и очерках» (1927) отмечал, что японскую литературу уже изучали в разных аспектах, а теперь ее рассмотрели и в аспекте социологическом. И действительно: сейчас социологический

анализ литературы может казаться безнадежно устарелым, но когда-то и он был новым словом.

Менялась научная парадигма, менялись и оценки. О любимом им когда-то Камо-но Тёмэе, авторе «Записок из кельи», в книге «Японская литература в образцах и очерках» уже говорится: «Писатели из отмирающего… сословия в социальном смысле – последыши, на жизненной арене – лишние люди, они в сфере культурной были типичными эпигонами. Ярким представителем этой литературы побежденных является… Камо-но Тёмэй, автор «Записок из кельи». А положительная оценка «литературы победителей» – самураев в той же книге усиливается: «В их произведениях, несмотря на всю, нередко большую неискусность формы, бьет ключом энергия, воля к власти, стремление к творчеству, деятельности». Так можно было характеризовать и «пролетарских писателей» в СССР.

Говоря о системе образования в Японии, Конрад изменил прежние неоднозначные оценки на подчеркнуто отрицательные: «буржуазная политграмота», «пропаганда собственнической идеологии». Однако одна из прежних идей сохраняется: осуждены традиционные компоненты японской культуры, а вестернизация Японии – все-таки прогресс. К этим выводам Конрад особенно четко пришел в статье, написанной по впечатлениям своей третьей поездки в Японию в 1927 г. Поездка была для Конрада и его молодой жены свадебным путешествием, но для него она оказалась последним, а для Натальи Исаевны единственным посещением изучаемой страны. Новые впечатления Конрад характеризует так: «Культура техническая идет вперед быстрейшими шагами, культура же духовная (в широком смысле этого слова) в общем, как правило, плетется позади… Рядом друг с другом – “Форд” и “Бедная Лиза”, небоскреб и Загоскин».

Концепции ученого могли меняться с годами; Конрад, безусловно, всегда старался исходить из господствующей в данный момент точки зрения, избегая, однако, крайностей. В 20-е гг., когда применение марксистских концепций в истории допускало индивидуальные вариации, он, вслед за некоторыми японскими историками, рассматривал японское общество до XVI в. как сословное, а не классовое, и лишь с начала эпохи Токугава (первая половина XVII в.) вел отсчет японского феодализма. Но когда стала господствовать теория формаций в ее наиболее догматическом варианте (так называемая «пятичленка»), Конрад в 1928 г. отнес возникновение японского феодализма к XII в., а в последней и самой большой по объему исторической работе, книге «Очерк японской истории с древнейших времен до революции Мэйдзи» (1937) – и к VII в. Но

даже тогда он рискнул отрицать в Японии рабовладельческую формацию. В связи с этим книга вышла с подстрочным примечанием: «От редакции. Точка зрения, отрицающая существование рабовладельческой формации в Японии, является дискуссионной».

Но нельзя всю деятельность Конрада 20–30-х гг. сводить только к освоению марксизма и социологизма. Именно тогда он создал первую в нашей стране школу японистов, его учениками были А. Е. Глускина, Е. М. Жуков, Е. М. Колпакчи, Н. И. Фельдман, А. А. Холодович и другие видные ученые. Некоторые области своей деятельности Конрад передал ученикам; в частности, в 20-е гг. он много сам переводил с японского, а с 30-х гг. в основном руководил переводческой деятельностью учеников.

Важно и то, что после революции возросло стремление к просветительству, к распространению «вширь» всевозможных знаний. Это проявилось еще в первые послереволюционные годы, когда развернулась деятельность созданного М. Горьким издательства «Всемирная литература». В ней участвовал и Конрад («Исэмоногатари»). А в 1928 г. в СССР впервые приехал театр Кабуки, и целая серия статей Конрада того года была продиктована необходимостью объяснить не очень подготовленному советскому зрителю особенности этого театра. И созданная Конрадом школа перевода ориентировалась не на узкого специалиста, а на достаточно широкого читателя. Поэтому он заботился не о филологической точности, а о литературных качествах перевода. Этому он учил и своих учеников, некоторые из которых работали долгие десятилетия. Конрад пытался и пробить дорогу для японской драматургии на советскую сцену, сотрудничал с В. Э. Мейерхольдом и С. Э. Радловым, но не получилось.

Вершиной просветительской деятельности ученого стала в 1935 г. знаменитая хрестоматия «Восток. Литература Китая и Японии», включавшая фрагменты из многих выдающихся произведений классической японской и китайской литературы. Среди переводчиков Н. А. Невский, японисты – ученики Конрада, В. М. Алексеев, китаисты его школы и сам Николай Иосифович. Он же был ответственным редактором и автором вступительной статьи. Статья стала для него первой попыткой выйти за пределы Японии: он сопоставляет японскую литературу с китайской и даже со средневековой европейской. С одной стороны, в Китае или Японии нет аналога Данте. Но, с другой стороны, «полноценный художественный реалистический роман» существовал в Японии («Гэндзи-моногатари»), но не в Европе. А

героический эпос, рыцарский роман, интимная лирика, религиозная драма и др. существовали там и там, что подтверждает закономерности исторического развития. Статья, как и хрестоматия в целом, направлена против европоцентризма: «В Стране Советов нет места буржуазной ограниченности, которая ничего не хочет видеть, кроме Запада и античного мира. Мы хорошо сознаем, что культура человечества слагается не на одном Западе…. Пусть, наконец, в общий ряд принимаемого нами и критически усвояемого наследия вступят и великие произведения Востока. Обстановка для этого у нас создана». И тут дух эпохи!

Уважение и внимание к средневековой японской культуре никак не противоречили приведенным выше словам об архаичности и даже реакционности сохранения ее традиций в современной Японии: в конце концов, и «Бедная Лиза» – классика, но культура должна развиваться. И уважению к культуре стран Востока Конрад всегда учил своих учеников.

В 90-е гг. я слышал много рассказов бывшей сотрудницы Института востоковедения АН СССР Фанни Александровны Тодер (1911–2000), в начале 30-х гг. студентки восточного факультета Ленинградского университета (ее воспоминания я использую и в очерках о Н. А. Невском и Б. Г. Гафурове). Она вспоминала, как поначалу ходила на занятия и по Китаю, и по Японии, не зная, что выбрать (тогда постепенно усиливалась узкая специализация, и китайско-японского разряда уже не было). Решающую роль в выборе сыграли личности ведущих профессоров. В. М. Алексеев (сам вовсе не аристократ по происхождению) на первой же лекции заявил, что овладеть Востоком может только человек, обладающий наследственной культурой. Это резко противоречило духу тех лет, в словах Алексеева ощущалось барство, а Конрад никогда ничего такого не говорил, был очень демократичен и внимателен ко всем студентам независимо от их происхождения. И лектором Конрад был блестящим. Выбор студентки оказался в его пользу.

Ф. А. Тодер вспоминала и то, как ее учитель постоянно говорил студентам, что главное для востоковеда – изучение культуры исследуемого народа во всех ее проявлениях. Здесь Николай Иосифович продолжал культуроведческие традиции классического русского востоковедения, хотя в осовремененном виде. У традиционного востоковедения был сильный филологический уклон, к тому же господствовало представление о том, что вся слава Востока в его великом прошлом. Современная Япония больше, чем какая-либо другая восточная страна, опровергала такие предрассудки, пусть Конрад и его

современники и находили там множество «феодальных пережитков». Отсюда постоянный интерес ученого к современности. Другим отличием Конрада от предшественников было усиление специализации: не только филология традиционного типа, но и лингвистика, литературоведение, история. Но в 20–30-е гг., отчасти просто из-за недостатка кадров, Конраду, как и ряду его современников, приходилось заниматься всем этим; уже в поколении его учеников таких синтетических фигур не было. Никто после него не занимался и одновременно Китаем и Японией (разве что С. А. Старостин, но только как лингвист).

Впоследствии Конрад в статье о своем старшем коллеге арабисте И. Ю. Крачковском напишет: «Настоящий филолог не имеет права быть только лингвистом. За явлениями языка он должен видеть самый язык, а через него – мышление, ум. За романом или стихотворением он должен уметь разглядеть творческий гений народа. Филолог должен быть и историком, но таким, который видит в истории всю целостность жизни, борьбы и творчества». Речь здесь не только о покойном ученом, но и о себе.

Сосредоточенность на вопросах культуры «от противного» видна и в работах Николая Иосифовича по лингвистике, прежде всего, в уже упоминавшемся «Синтаксисе». Можно посмеяться над упрощенным его социологизмом при выделении «классовых языков», но именно эта часть книги, посвященная общественным функциям языка в Японии, оказывается самой живой и интересной. Большую ее часть составляют не очень яркие и зачастую нелогичные описания грамматических структур, идеи книги несамостоятельны и взяты из разных источников: это и русисты, особенно А. А. Шахматов, и Е. Д. Поливанов, и грамматики японских ученых. Кроме того, заметна русификация японского языка. Не буду повторять критику, опубликованную в моей книге «Изучение японского языка в России и СССР». Важно разобраться в причинах неудачи добросовестной монографии, по охвату материала до последнего времени самой подробной в отечественной японистике. Представляется, что дело было именно в культуроведческом подходе автора. Конечно, язык – важнейшая часть культуры, но такие его области как фонетика и грамматика слишком удалены от всех остальных ее частей. Именно поэтому на них направлялись усилия структуралистов, боровшихся за чистоту строго лингвистического подхода, но культурологу в фонетике и грамматике трудно было найти «мышление, ум», и получалась сухая компиляция. А вот жена Конрада была прирожденным лингвистом, с ее работами по

японскому языку я всю жизнь спорю, но читать и критиковать их всегда бывало интересно.

Но, говоря о Конраде как лингвисте, нужно отметить, что как раз в этой области он, хоть и не был особенно самостоятелен, но сумел так и не подпасть под обаяние идей своего бывшего декана. Тезис о классовости языка после выступления И. В. Сталина в 1950 г. стал однозначно связываться с Марром, но в 30-е гг. его использовали любые лингвисты, старавшиеся идти «в ногу с веком», вплоть до активного противника марризма Е. Д. Поливанова и даже Н. А. Невского. Вокруг Конрада увлекались марризмом многие, а самый талантливый из его учеников, специализировавшихся по лингвистике, А. А. Холодович, поссорившись с учителем, ушел от него прямо к Марру. Но у самого Николая Иосифовича даже упоминаний знаменитого академика мало, а источники идей в «Синтаксисе» совсем другие. Подверженность Конрада научной моде все же имела пределы. Впрочем, к лингвистике он обратился уже после смерти Марра, когда влияние его учения стало постепенно ослабевать.

1937 г. был едва ли не самым богатым публикациями в жизни члена-корреспондента: сразу несколько солидных работ, в том числе две большие книги. Кое-что еще есть за 1938 г., а потом второй провал в публикациях: после 1913–1921 гг. новый перерыв до 1944 г. Я обнаружил это еще в студенческие годы, просматривая опубликованный к юбилею Конрада список его трудов. Причина была очевидна даже студенту, хотя ничего о бедах в жизни ученого вокруг меня не говорили. А потом, вскоре после смерти академика, у нас дома побывал старый товарищ моего отца Николай Иванович Воротынцев. За полвека до этого они вместе обучались на учительских курсах в станице Митякинской, потом потеряли друг друга из виду и вновь встретились. Оказалось, что Николай Иванович долго был в заключении, а теперь живет в Киргизии. И он весь вечер рассказывал о совместных бедах с Николаем Иосифовичем Конрадом. Он, прочитав в газете о награждении ученого японским орденом, написал ему письмо, но не знал адреса, а потом оказалось, что Конрад уже умер. Воротынцев теперь просил передать письмо Наталье Исаевне (он помнил, как звали жену Конрада), я письмо взял, но, каюсь, не передал адресату, поскольку после смерти мужа Н. И. Фельдман скоро стала болеть, и я побоялся ей напоминать о временах, о которых, как мне рассказали, ни муж, ни она не любили вспоминать. Письмо до сих пор у меня. В 1971 г. ни отцу, ни мне не пришло и в голову попросить Воротынцева записать его рассказы, но в иную эпоху, в 1987 г., когда отца уже не было, я написал об этом Воротынцеву и

получил текст с припиской: «Эх, раньше бы! Теперь я уже многого не помню». Издать воспоминания мне удалось только в 1999 г.

Аресты среди ленинградских востоковедов начались с весны 1937 г. Одним из параметров, влиявших на вероятность ареста, оказывалась изучаемая страна. Япония считалась (как выяснилось, справедливо) вероятным противником в войне, поэтому в обстановке всеобщей шпиономании всех японистов стали подозревать в «шпионаже в пользу Японии», а поскольку Япония начала тогда войну в Китае, то же стали приписывать и китаистам. Именно за «шпионаж в пользу Японии» осудили на смерть Е. Д. Поливанова, арестованного в Киргизии. Погиб и совсем уже пожилой Д. М. Позднеев. А в Институте востоковедения (тогда в Ленинграде) к лету 1938 г. не осталось ни одного японист а, а среди китаистов уцелел только В. М. Алексеев. Пострадали и сотрудники, связанные с Монголией, видимо, в связи с массовыми репрессиями в МНР, а ближневосточная часть института почти вся сохранилась.

Первым арестовали ученика Конрада Д. П. Жукова (не путать с более известным однофамильцем Е. М. Жуковым), одного из немногих тогда востоковедов-коммунистов (именно за дружбу с ним погиб и известный поэт Н. М. Олейников). 3 октября пришли за Н. А. Невским, вернувшимся в Ленинград в 1929 г. благодаря уговорам Конрада (подробнее см. очерк «Колоссальный продуктор»). В итоге из одиннадцати переводчиков хрестоматии «Восток» арестовали семерых (из четверых оставшихся один жил в эмиграции), трое погибли. Среди избежавших ареста оказалась Н. И. Фельдман.

Конрада арестовали последним из всех 29 июля 1938 г. Поздняя дата, вероятно, спасла ему жизнь: сотрудники Института востоковедения, арестованные в 1937 г., пошли под расстрел, а пострадавшие в 1938 г. либо были довольно скоро освобождены (Е. М. Колпакчи, А. Е. Глускина), либо оказались в лагерях. Николай Иосифович более года находился под следствием в Ленинграде, а в конце 1939 г. осужден на пять лет и отправлен в лагерь около города Канска (Красноярский край). В эшелоне, а затем в самом лагере он и встретился с Н. И. Воротынцевым. Тот вспоминал, что заключенные, еще не зная, кто их спутник, окрестили его «профессором». Политические жалели «профессора», защищали его от уголовников, а во время тяжелых работ Воротынцев (звеньевой) вспоминал фразу Наполеона в передаче Е. В. Тарле «Ослов и ученых в середину!» и ставил профессора в середину группы рабочих, где было полегче. Потом ему нашли физически не трудную, но ответственную работу: очищать пешней от снега и мусора железнодорожную стрелку.

Лежа на нарах, член-корреспондент (как позже выяснилось, этого звания его не лишили) говорил: «Эта работа мне внутренне импонирует. Во-первых, я один. Никто не мешает поразмышлять. К тому же не слышно блатного жаргона. А во-вторых, и это главное, я с пешней, эмблемой трудового процесса, направленного на расчистку путей».

Но в лагере ученый пробыл лишь несколько месяцев. Наталья Исаевна хлопотала за него, по ее просьбе к хлопотам подключился президент Академии наук В. Л. Комаров, и в апреле 1940 г. участь заключенного была смягчена. Его перевели в Москву во Внутреннюю тюрьму НКВД (Лубянка), пообещав пересмотреть дело. А до того ему дали работу по специальности. Прежде всего, он должен был переводить перехваченные японские и китайские военные тексты. Но оставалось время и для науки. Лишенный всего остального, заключенный ушел в работу. За год и четыре месяца удалось сделать больше, чем когда-либо за тот же срок на свободе. Такой парадокс!

В заключении Конрад выполнил самую большую по объему переводческую работу, причем с древнекитайского языка, которым он со студенческих лет не занимался. Это два знаменитых военных трактата VI–V вв. до н. э. Сунь-цзы и У-цзы. Переводы и исследования Конрада впоследствии (1950 и 1958) были опубликованы. Тогда же он вчерне, по собственной оценке, написал очерки классической японской и классической китайской литературы (к китайской литературе он также обратился впервые). Эти очерки, видимо, не вполне удовлетворяли автора, не издавшего их при жизни. Часть очерка японской литературы вышла посмертно в 1974 г., а очерк китайской литературы лишь в 1996 г. На одной из страниц рукописи по китайской литературе сохранилась помета: «1 августа 1941 г. Внутренняя тюрьма НКВД». Работал Конрад в заключении и над картотекой начатого еще в Ленинграде большого японско-русского словаря, впоследствии карточки войдут в словарь, который будет издан в год смерти Николая Иосифовича.

Пересмотр дела шел более года, возможно, органы НКВД ждали, пока будет выполнен предусмотренный объем переводческой работы. 6 сентября 1941 г. заключенный Конрад был освобожден со снятием судимости, но без реабилитации, которая произойдет лишь посмертно. Ему выплатили академическую зарплату за три года. Сразу же он был назначен заведующим японской кафедрой Московского института востоковедения, вместе с которым вскоре эвакуировался в Фергану. Как он писал в 1942 г. В. М. Алексееву, «мне постарались полностью воссоздать то положение, которое было

до всего, полностью. И я это очень ощущаю. Никто и ничто мне не напоминает, не смеет напомнить о чем-нибудь». Когда в 1960 г. в Москве проходил всемирный конгресс востоковедов, где Конрада очень ждали, но он не явился, сославшись на болезнь, то коллеги объясняли это страхами, сидевшими в нем с тех лет.

Больше Николай Иосифович никогда не жил в Ленинграде, во время войны его квартира была разбомблена. В 1944 г. он переехал из Ферганы в Москву, где жил до конца своих дней, вскоре получив квартиру в академическом доме на Большой Калужской улице (с 1957 г. Ленинский проспект). В первые послевоенные годы он продолжал активно преподавать и занимать административные посты, помимо заведования кафедрой, он возглавлял Московскую группу Института востоковедения АН СССР (который еще находился в Ленинграде).

Публикации Конрада, возобновившиеся с 1944 г., отражают изменение ситуации в советской науке. Показательны названия некоторых из них – «Чехов в Японии», «Белинский и японская литература»: проблема влияния русской культуры на мировую культуру стала приоритетной. В публикациях по языку тех лет уже нет никакой «классовости языка» (еще до осуждения ее Сталиным), зато, опять-таки в духе еще не написанной сталинской брошюры, говорится о «языковом единстве народа», обеспечивающем «национальное единство».

Но начиналась «борьба с космополитизмом». Конрад переживал ее тяжело, даже несмотря на то, что его самого публично не прорабатывали и прямо «космополитом» не объявили. Однако гонениям подверглись люди из его окружения: Я. Б. Радуль-Затуловский, Т. И. Райнов и др., а из Московского института востоковедения в 1949 г. была уволена Наталья Исаевна (родители которой во время войны погибли в гетто). Видимо, Конрад боялся повторения прежних несчастий и, не дожидаясь увольнения, решил уйти сам. С осени 1948 г. он навсегда прекращает преподавание, а с 1 апреля 1950 г. ученый, еще даже не достигший пенсионного возраста, оформляет себе пенсию по состоянию здоровья, сохранив за собой только руководство аспирантами. В это время, 13 марта 1950 г. он писал Б. Н. Заходеру: «Мне трудно было говорить со своими друзьями все это время…. С 1913 года я работаю как вузовский работник, как научный работник – и вот, приходится все оборвать».

Впрочем, обрыв оказался недолгим. В последующий год обстановка в филологических науках стала лучше, и ведущую роль в этом сыграло, как бы это ни показалось в наши дни невероятным, выступление И. В. Сталина против марризма. И весной 1951 г. Конрад соглашается вернуться в академический

Институт востоковедения, ставший с тех пор до конца жизни его единственным местом работы, там он уже не занимал административных постов. Общественная его деятельность, впрочем, продолжалась и дальше: новый руководитель филологических наук академик В. В. Виноградов привлек его к разработке программ по перестройке языкознания после низвержения марризма, он активно работал в редколлегии журнала «Вопросы языкознания», позже возглавлял академическую серию «Литературные памятники». В 1958 г. Конрад стал академиком.

Но главной сферой его деятельности окончательно стала научная работа. По-прежнему Конрад был чуток к веяниям времени, что проявлялось даже в тематике его публикаций. Во-первых, в 50-е гг. он больше всего публиковался по вопросам языкознания, хотя и не писал уже столь крупных по объему работ как «Синтаксис»: тогда оно после публикаций Сталина неожиданно стало чуть ли не самой актуальной из гуманитарных наук, где к тому же самим вождем был полностью снят запрет на использование дореволюционных идей. Во-вторых, у него заметно усиление китайской тематики за счет японской: революция 1949 г. и начало «великой дружбы» с Китаем подняли общественный интерес к этой стране, а Япония, уже не противник в войне, но еще не страна «экономического чуда», ушла на время в тень. Правда, главная работа Конрада тех лет по Китаю, Сунь-цзы, была выполнена раньше, но выход ее в 1950 г. оказался очень ко времени, тем более что этот трактат высоко ценил Мао Цзэдун, считавший, что его наставления помогали китайским коммунистам в их вооруженной борьбе. И в лингвистике Конрад начинает все больше писать о китайском языке, впрочем, не оставляя и японский. И здесь у него лучше получались те работы, в которых он обращался к роли языка в культуре: две статьи о литературном языке в Китае и Японии, очищенные от прежнего социологизма, и сейчас не потеряли значения. А вот статья «О китайском языке», посвященная в основном его грамматике, может быть, худшая из работ Конрада. Опять-таки в духе времени он призывал описывать китайский язык по образцу русского, находя в нем словоизменение и русские грамматические категории. А статья члена советской Академии наук была переведена на китайский язык и воспринята в Китае как директива.

Но главным для ученого в 50-е гг. стала разработка широких концепций развития мировой культуры (хотя академиком его избрали по лингвистике). Этим он также отличался от русских востоковедов классической школы. Он писал о И. Ю.

Крачковском, что тот «не был склонен к широким обобщениям. Это был мастер скрупулезных специальных исследований». Сам Конрад занимался скрупулезными исследованиями лишь в самом начале деятельности, потом от них отошел (может быть, поэтому у него так и не дошли руки до полной обработки полевых материалов из Кореи). На него могла влиять невозможность для советского японист сбора свежих фактов: в Японию ездить тогда было нельзя, а в СССР японских памятников культуры слишком мало. Но, разумеется, влияла и советская система ценностей, в которой обобщения ценились выше фактов, а «фактография» и «мелкотемье» считались недостатками. Правда, для Конрада еще долго действовал «кодекс чести» востоковеда, упоминавшийся в очерке о Н. Я. Марре: не рассуждать о предметах, которыми не владеешь в совершенстве, в том числе о культурах, языков которых не знаешь. Поэтому в 20–30-е гг. он избегал выходить за пределы Японии, а первую попытку сравнения культур, еще краткого, произвел лишь в 1935 г. в предисловии к хрестоматии. Теперь барьеры были для него сняты, что проявилось в самой знаменитой теоретической концепции Конрада – концепции «восточного Ренессанса», впервые высказанной им в печати в 1955 г., но в переписке заявленной тремя годами раньше.

Согласно этой схеме, Ренессанс – не европейское явление, а мировой процесс, начавшийся в Китае эпохи Тан (VII–X вв.), затем распространившийся на Ближний Восток и Среднюю Азию и к XIII–XIV вв. достигший Европы. Концепция стала популярной, хотя никогда не была общепринятой. Разумеется, ее автор ссылался на марксистскую теорию формаций, но все-таки трудно при любом понимании формаций приравнять Китай эпохи Тан и Европу во время зарождения капитализма. Не соответствовала концепция и тогдашним представлениям об особой роли русской культуры, причудливо отразившимся у Конрада в статье о китайском языке: культура Древней Руси с трудом вписывалась в «восточный Ренессанс». Но все-таки влияние времени проявлялось и здесь. Ощущаются в «восточном Ренессансе» и традиционная для советской науки борьба с «европоцентризмом» и преувеличением исторической роли Запада, и особое подчеркивание исторической роли не только русской культуры, но культур всех народов СССР (тогда Низами считали азербайджанским поэтом, а Фирдоуси – таджикским), и актуальное для начала 50-х гг. такое же подчеркивание мировой роли Китая. Но к середине 50-х гг. добавился и еще один фактор. В эпоху, которую теперь называют «оттепелью» (а придуманная ранее концепция обнародована была как раз тогда), появилось желание пересмотреть надоевшие схемы и догмы вроде

«пятичленки», предложить что-то новое (такое желание вновь на некоторое время повысило ценность проблемных, а не «фактографических» исследований), но к восприятию западных концепций общественное сознание в СССР тогда не было готово. Поэтому концепции вроде «восточного Ренессанса» или (не у Конрада) «азиатского способа производства», не порывавшие с представлениями, вошедшими в плоть и кровь советских гуманитариев, но дававшие ощущение новизны, оказались к месту.

Однако к концу 50-х гг. и особенно в 60-е гг. ситуация в советской науке стала меняться. Кто-то еще пытался улучшать советский строй и марксистскую науку, но часть ученых стала разочаровываться и в строе, и в его базовой теории, хотя большинству из них еще не было ясно, чем заменить то и другое, многие искали «третий путь». Одни возвращались к ранее непопулярной «фактографии», другие уходили от современности в древность, в изучении которой легче было обходиться без признаков официальной идеологии. Характерно, что «восточный Ренессанс», от которого сам Конрад никогда не отказывался, еще при его жизни стали забывать (о недолгом всплеске внимания к нему в 1970 г. я скажу ниже). Но вдруг именно Конрад, к тому времени уже пожилой и далеко не столь активный, как в молодости (сказывались болезни, и Наталья Исаевна очень его берегла), стал одной из центральных фигур среди советских гуманитариев. С ним можно сравнить в те годы только М. М. Бахтина, хотя Бахтин, имевший лишь степень кандидата наук, был подчеркнуто неофициальной фигурой, а академик Конрад никогда не терял официального статуса. И Бахтин, когда-то, не зная Конрада, согласившийся с его резкой оценкой М. И. Каганом, теперь оценивал его работы высоко, как и Конрад работы Бахтина (притом, что тематикой исследований они не были близки).

Обе эти фигуры еще при жизни стали мифологизироваться, но Бахтин сам активно мифологизировал свой образ и мистифицировал своих молодых друзей, что вряд ли можно сказать про Конрада. Но части интеллигентов очень уж хотелось найти «живую связь времен». А из ученых еще дореволюционной выучки оставались немногие. Из блестящей плеяды японистов, о которой я говорил в начале очерка, в СССР остался один Конрад: одни погибли или рано умерли, другие жили далеко. Сам Николай Иосифович в одном из писем последних лет писал, что из петербургских студентов, для которых А. Блок писал свои стихи, остались только трое: В. В. Виноградов (русист), В. М. Жирмунский (западник) и сам Конрад (востоковед), поэтому он очень дорожит каждым из оставшихся, пусть они не близкие

друзья. Все трое в 30-е гг. отведали тюремной похлебки, но всем удалось вернуться к работе и получить признание. И ушли они почти в одно время. Помню чьи-то слова на похоронах Конрада: «Год назад Конрад выступал на похоронах Виноградова, теперь Жирмунский выступил здесь, а кто скоро выступит на похоронах Жирмунского?». И действительно, быстро не стало и его.

Но отношение молодежи к этим людям было неодинаково. Виноградова многие не любили, относясь к нему, как я сейчас считаю, излишне резко. А отношение к Конраду было иным. Виноградову не прощали высказывания против структурализма, а Конрада, также не структуралиста, ценили. Видимо, дело было все в том же умении шагать в ногу с эпохой. Не будучи «шестидесятником» по возрасту, он вполне вписывался в шестидесятническую парадигму в том виде, в каком она существовала в те годы (куда пришло большинство шестидесятников позже – другой вопрос).

В 60-е гг. Конрад уже не писал книг, специализируясь в жанре проблемной статьи, посвященной общим вопросам культуры и литературы, отчасти истории (от лингвистики он отошел). Впрочем, из этих статей разных лет сложилась его последняя, самая известная книга «Восток и Запад» (1966; 2-е издание посмертно в 1972). В статьях проявились постоянные черты подхода ученого: культуроведческая направленность, связь с современностью, проблемность. В это время интерес к культуре возрос, придя на смену прежнему увлечению социально-экономическими проблемами, а проблемность и выход отовсюду в современность были ведущими принципами, например, «Нового мира» времен А. Т. Твардовского. Конрад там также печатался. Знак качества!

Едва ли не главным ключевым словом у академика в те годы становится гуманизм: «Гуманизм существовал и в древности и в средние века, притом повсеместно». Он «существует ровно столько времени, сколько существует человеческое общество; и будет существовать ровно столько же, сколько будет существовать человек». В гуманисты Конрад зачислял любого достойного человека, о котором писал. Такой подход трудно назвать материалистическим, гораздо больше он согласуется с конфуцианским «верховным законом человеческой природы – человечностью», с которым прямо сопоставлял свои взгляды Конрад в одной из статей.

К тому времени слово «гуманизм» в официальном советском языке уже имело (в отличие от первых лет после революции) положительную окраску, но принято было противопоставлять «классовый» гуманизм «абстрактному», который осуждался. А

гуманизм, существующий «столько времени, сколько существует человеческое общество», уже не абстрактный, а «сверхабстрактный». Здесь уже проявлялось расхождение Конрада с официальной идеологией. Но читателям это нравилось.

И вновь, как когда-то, явные параллели если не с современностью, то с актуальным недавним прошлым. «В этой обстановке усиленного установления новых порядков вполне в стиле всех вообще действий новой власти была та форма борьбы с защитниками “старых порядков”, да и вообще с критиками, к которой обратилось правительство: физическое их истребление, а их писаний – уничтожение». Речь идет о борьбе китайского императора Цинь Ши-хуанди с конфуцианцами, отстаивавшими «человечность» и «долг», в конце III в. до н. э., но трудно отделаться от впечатления о том, что здесь, как и в давней статье о «Записках из кельи», говорится не только о старых временах. И в статье 1961 г. академик одним из первых у нас употребил ставший позже столь популярным термин «тоталитарный режим».

Типичные для нашей интеллигенции тех лет размышления отражены и в таком высказывании: «Устранять нужно и стремление оправдывать антигуманистические действия некими “высокими” целями, как будто эти цели действительно могут быть достигнуты недостойными человека средствами, особенно теперь, когда человек поднялся до невиданных высот познания и морали». И в другой статье: «Прогрессивно то, что сочетается в гуманизме». Пусть остается неясным, что такое гуманизм, но подобный взгляд давал возможность отрицать прогрессивность и деятельности объединившего Китай Цинь Ши-хуанди, и сталинизма. Но в каждой такой работе присутствуют и идеи, более традиционные для того времени. Везде упоминается теория формаций, пусть не всегда согласующаяся с другими пунктами его концепции; в той же статье, где упоминается «тоталитарный режим», сказано о коренном отличии социалистической революции, ведущей к отмиранию классов и социального антагонизма, от всех прочих революций, лишь заменяющих одни классы другими. И концепция гуманизма увязывается с тем, что было принято: «В нашу эпоху в гуманизме выступает прежде всего мысль о том, что основным источником всякого зла в жизни человеческого общества являются именно эксплуатация человека человеком и война».

Сейчас часто считают, что такие высказывания могли быть написаны либо цензором, либо для цензора, поскольку в начале 60-х гг. каждый умный и образованный человек якобы понимал, что, например, эксплуатация человека человеком – не источник зла, а естественное состояние общества и двигатель прогресса. Но

такой взгляд неисторичен. «Шестидесятники», отвергнув многие догмы, не могли за короткий срок полностью сменить мировоззрение. Отрицали Сталина, но почитали Ленина, уже отошли от культурного изоляционизма сталинских времен и были готовы к диалогу с Западом, но не к полному переходу к западным ценностям. А как мог Конрад объяснить, например, историю Японии без понятия феодализма?

Диалог с Западом для Конрада был важен. Еще в 1954 г. он писал Т. И. Райнову: «Следовало бы нам на год-два отложить все дела и заниматься образованием: изучением мировой науки – по крайней мере с начала 20-х годов… И уж совершенно необходимо покончить со всем зазнайством и односторонне-критическим отношением к мировой науке». А с 1966 г. до конца жизни Конрад переписывался со знаменитым английским историком А. Тойнби. Переписка началась, когда советский ученый послал в Великобританию книгу «Восток и Запад», Тойнби ответил письмом; это письмо и свой ответ Конрад напечатал в «Новом мире» (публикация текста «буржуазного ученого» вызвала затруднения, но А. Т. Твардовский смог ее добиться); последующие письма изданы лишь в сборнике 1996 г. Переписка была доброжелательной, но каждый из ее участников отстаивал свою точку зрения, и спор шел на равных.

Академик предпочитал писать о «вечном», нередко сопоставляя великие личности Востока и Запада (скажем, Полибия и Сыма Цяня), а то и совсем выходя за пределы востоковедения (статья о Шекспире), и не так часто вспоминал, например, о современной Японии. Но за два года до смерти он выступил в журнале «Народы Азии и Африки» (ныне «Восток») с важной статьей, посвященной столетию революции Мэйдзи. Как мы видели, Конрад, почитая классическую японскую культуру, и до революции, и тем более после нее был критичен по отношению к японской современности. А к 1968 г. в нашем японоведении ее оценки, несколько смягчившиеся по сравнению с эпохой японского милитаризма, оставались отрицательными, на первый план выдвигались проблемы классовой борьбы и зависимости Японии от США. В массовом же сознании тогда уже начали распространяться представления о Японии как стране «экономического чуда». И патриарх отечественного японоведения первым понял, что время требует новых оценок. «Научно-техническая революция получила свое реальное воплощение в переоборудовании и переустройстве производства, т. е. вызвала новый промышленный переворот; но она же потребовала других людей, занятых в производстве: не только с гораздо более высоким, чем раньше, образованием и общим интеллектуальным

уровнем, но и с гораздо более высокими специальными знаниями, со стремлением к собственной инициативе и самоуправлению, т. е. предпосылками демократии… Рост и усиление демократического движения заставил предпринимателей в самом управлении производством гораздо более чем прежде, считаться с интересами и нуждами рабочих и служащих, с их общественными запросами, да и просто с человеческими настроениями… Можно воздать должное инициативе и энергии этих предпринимателей». Сейчас такие высказывания могут показаться даже тривиальными (хотя кое-что здесь спорно, скажем, об «инициативе и самоуправлении»), но в 1968 г. в СССР они выглядели очень необычно. Впрочем, вразрез с этим статья завершается утверждениями о необходимости социалистической революции в Японии.

Менялись у Конрада в потоке времени и другие оценки. В 30-е гг. он, как и почти все советские японисты, был сторонником будущей отмены «феодальной» иероглифической письменности. Но в 1969 г. он писал переводчику своей книги «Восток и Запад» на японский язык: «Нет, не отменяйте у себя иероглифы!.. Берегите это национальное достояние!».

Итак, до конца жизни Конрад менялся. Но среди многих его коллег, особенно более молодых, его фигура олицетворяла незыблемость традиций классической науки. Сам облик старомодного ученого, изысканно одетого, носившего галстук-бабочку, ассоциировался со «славным прошлым». И мало кто уже помнил, что будущий академик писал в 20–30-е гг.

К этому добавлялся и другой фактор. Академик, пользуясь своим официальным положением и авторитетом, активно помогал людям из своего окружения, в той или иной степени «отклонявшимся от официальной линии». Некоторые из них под конец его жизни стали пополнять ряды диссидентов, а позже эмигрировали. Покровительствовал он не только востоковедам, например, пригласив для оформления издания Достоевского в «Литературных памятниках» Э. Неизвестного. Бывали у него и столкновения с начальством. Конрад, как показывает его переписка, несколько лет был увлечен возникшей у него идеей издать в одном томе три знаменитые «исповеди»: Августина, Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстого, развернулась работа (Августин и Руссо были заново переведены), но «инстанции» выступили против (возражение вызвали не только епископ Августин, но и, казалось бы, канонизированный Толстой), издание не состоялось. Все это поддерживало репутацию «прогрессивного ученого».

Впрочем, официальное положение академика было прочным. Он имел два ордена Ленина, а к приближавшемуся

восьмидесятилетию Институт востоковедения представил Николая Иосифовича к званию Героя Социалистического Труда, однако до юбилея он не дожил полугода. Правда, за несколько месяцев до его смерти книга «Восток и Запад» выдвигалась на Ленинскую премию и дошла до финишной прямой, но премии не дали. Но уже посмертно Конрад получил Государственную премию СССР за вышедший незадолго до его смерти Большой японско-русский словарь (он был его ответственным редактором, хотя ведущую роль в организации работы и редактировании играла Н. И. Фельдман, тоже получившая премию). А Япония его первым из советских ученых наградила в марте 1969 г. орденом Восходящего солнца, об этом сообщили в газетах, но Конрад в письмах жаловался на то, что академическое руководство его не поздравило.

Последний год жизни принес Николаю Иосифовичу две неприятности. Одна была связана с Ленинской премией, а вторая – со статьей в журнале «Иностранная литература» видного китаиста из последних учеников В. М. Алексеева, тоже сотрудника Института востоковедения Л. З. Эйдлина. Они с Конрадом были знакомы со времен эвакуации, их отношения всегда были хорошими, двумя годами раньше Конрад выступал оппонентом по докторской диссертации Эйдлина. И вдруг тот напечатал статью, где довольно убедительно спорил с концепцией «восточного Ренессанса». К тому времени академика уже давно публично не задевали. Получился эффект разорвавшейся бомбы. Сразу пошли разговоры о том, кто стоит за спиной Эйдлина, естественно, травлю «прогрессивного ученого» приписали официальным кругам, вопрос был лишь в том, каким. При этом трудно было не признать, что китаист по сути спора с академиком был прав. Рассказывали, что Николай Иосифович тяжело переживал публикацию статьи. Через два месяца в санатории «Узкое» с ним случился инсульт, а еще через две недели, 30 сентября 1970 г. его не стало. Сразу пошли разговоры о вине в этой смерти статьи в журнале, хотя такое нельзя доказать, как, впрочем, и опровергнуть.

До сих пор я ничего не писал о своих собственных воспоминаниях. Но живым я видел Конрада лишь один раз еще студентом, когда он выступал в Институте восточных языков (ныне ИСАА) при МГУ с докладом, посвященным 50-летию Октября и советскому востоковедению. Большая аудитория была битком набита, все пришли смотреть на живого классика науки, нашей группе нашлось место лишь в дверях. Потом я оказался с Конрадом в одном институте, за эти два года переименованным из Института народов Азии обратно в Институт востоковедения,

но ни разу его не видел. Зато в день, когда стало известно о его смерти, меня, еще аспиранта последнего года, как самого молодого включили в похоронную комиссию.

Меня направили помогать М. В. Софронову, которому совсем недавно Николай Иосифович оппонировал по докторской диссертации; Софронов занимался языком тангутов первым после Н. А. Невского, что привлекло Конрада (а через тринадцать лет Софронов будет оппонентом на моей докторской защите). Помню поездку с ним на деревообделочную фабрику специализированного треста бытового обслуживания населения (такой был эвфемизм), выпускавшую лишь один вид продукции. Ни он, ни я совсем не знали, как надо выбирать гроб, и оказались в большом затруднении. Помню квартиру покойного, где я впервые столкнулся с Натальей Исаевной, раньше памятной мне лишь по ярким выступлениям на конференциях по японскому языку. Кто-то ей при мне сказал, что для одевания в морге нужно передать майку, она начала кричать: «Никакой майки! Он никогда не носил маек!». Фельдман, прожив еще пять лет, так до конца и не оправилась после смерти мужа. Помню и заседание похоронной комиссии в старом здании Президиума АН, где при обсуждении даты похорон один из присутствовавших сотрудников Института востоковедения вдруг спросил: «А потечет он к тому времени или не потечет?». Когда я рассказал об этом матери, она даже не возмутилась, а грустно сказала: «Вот, такой интеллигент, а теперь так о нем говорят». И на том же заседании объявили: по завещанию покойного, будет и отпевание в церкви Ризположения.

Эта новость удивила часть собравшихся: тогда такое не было принято. Никто не возразил против воли умершего. Лишь один из присутствовавших, человек не очень интеллигентный, удивился: «Как же так, Николай Иосифович всегда писал в атеистическом духе, а оказывается…». Напомню, что в единственной дореволюционной публикации Конрад заявлял о своей религиозности. Потом, естественно, он об этом не писал даже в известной нам частной переписке, многого мы не знаем. Но в конце жизни он переписывался с М. Е. Сергиенко, переводчицей Августина (когда не получилось с «Литературными памятниками», перевод издали в журнале Московской патриархии), не скрывавшей религиозных чувств, и солидаризировался с адресатом в отношении к вере, упоминая и о том, что соблюдает церковные праздники. Так что просьба была для него естественной.

Через два дня я как член комиссии отправился в церковь Ризположения, находящуюся рядом с академическим домом, где

жил Конрад (ее злые языки называли церковью Академии наук, академики бывали среди прихожан). Войдя в переполненный храм, я оторопел. Дело было не в самой процедуре, которая для меня в том 1970 г. была уже третьей: только что я хоронил в церкви двух родственников, в том числе деда Владимира Амвросьевича. Но то были тихие семейные процедуры, на которых присутствовали и атеисты вроде моих родителей, теперь я ощутил, что нахожусь на политической демонстрации (раньше этот аспект в связи с Конрадом я себе не представлял). Вокруг я увидел из известных мне в лицо людей одних оппозиционеров и диссидентов, не только из числа востоковедов. Я не боялся каких-то последующих для себя неприятностей (которых потом и не было), но как-то стало не по себе: как это я, примерный аспирант и член комсомольского комитета института, вдруг здесь.

Тем не менее, обратно к метро я пошел с группой институтских сотрудников. С ними шел один неизвестный мне человек, это оказался А. М. Пятигорский, уволенный из института «за политику» еще до моего зачисления туда (вскоре он эмигрировал, и, хотя умер совсем недавно, я его более не видел). По дороге тепло вспоминали покойного, как он, не стреляя из пушек по воробьям, умел в главном помогать и защищать. Ругали администрацию института, вспоминали, как нарочно поставили на один день процедуру увольнения «неблагонадежных» сотрудников и защиту диссертации Эйдлина (о котором говорили вполне уважительно), понимая, что больному академику сил на два выступления в один день не хватит. Пятигорский возмущался и тем, что в Академию не был избран только что перед этим умерший В. Я. Пропп и до сих пор не избран Е. М. Мелетинский (последний дожил до 2005 г., но и в иную эпоху не стал членом АН). Еще он говорил: «А что если завтра мне на гражданской панихиде прорваться и сказать правду?». Коллеги его уговаривали этого не делать и, видимо, уговорили: на другой день в зале Института востоковедения все было строго официально, выступали в основном члены академии. Но без скандала все-таки не обошлось: Д. С. Лихачев закончил речь словами о том, что Конрада убили возмутительной статьей и ему горько оттого, что он не смог защитить своего друга. Потом было Новодевичье кладбище, наши аспирантки несли на подушечках ордена, а я был в числе тех, кто нес гроб. Спустя два десятилетия, в день столетнего юбилея мы с К. О. Саркисовым ездили на кладбище, теперь уже закрытое для публики и абсолютно пустое, и возложили венок.

Потом Конрад остался на многие годы, да и остается сейчас почетной фигурой в истории отечественного востоковедения. В

70-е гг. издали три тома его трудов по литературе и культуре, потом переиздали и «Исэ-моногатари», и «Записки из кельи» (предполагался и том лингвистических работ, но мы с И. Ф. Вардулем решили его не делать). Здесь, однако, не обошлось без конъюнктурной правки: при переиздании Сунь-цзы из вступительной статьи Конрада изъяли упоминания Мао Цзэдуна. Но грустной оказалась судьба библиотеки Конрадов. Шли разговоры о мемориальном кабинете, но сначала еще была жива Наталья Исаевна, а потом у института были другие заботы. После смерти Фельдман жившая с супругами экономка Анна Ивановна раздавала книги всем желающим, а после ее переселения и ликвидации квартиры все оставшееся выбросили в помещение медпункта во флигеле академического дома. Я зашел туда, просмотрел то, что было свалено, но везти было некуда: Отдел языков Института востоковедения был и так завален книгами. Я взял из кучи несколько реликвий: большую фотографию пагоды храма Хорюдзи в Нара, видимо, привезенную из Японии, роман японского автора «Воды Хаконе», о котором Конрад опубликовал статью, оттиск работы известного лингвиста Л. В. Щербы с авторской надписью и литографированный курс японского языка, читавшийся в 1912 г. во Владивостоке профессором Е. Г. Спальвиным, с надписью В. М. Алексееву (тот, видимо, передал книгу Конраду). Все это я храню и сейчас.

Когда участники отпевания Конрада и их единомышленники победили, они, естественно, не стали вспоминать его марксистские работы 20–30-х гг. и более поздние публикации о влиянии великой русской культуры на японскую. Впрочем, книга «Японская литература в образцах и очерках» была в начале 90-х гг. переиздана, несмотря на ее социологизм (к которому она, безусловно, не сводится: в ней немало и живых картин японской литературы). Легенда о не поддавшемся «тоталитаризму» ученом живет. С другой стороны, и в наше время бывают публикации, где Конрад трактуется как востоковед, принявший Октябрь и пришедший к марксизму (статья А. О. Тамазишвили). Трактовки прямо противоположны, но для каждой можно найти основания. Впрочем, есть и иная оценка академика, правда, больше в устной молве, чем в печати. Многолетний спор двух столиц иногда находит самые неожиданные проявления. В Москве Конрада признают и почитают, а в Петербурге можно услышать очень резкие, а то и уничтожающие его характеристики. Вспоминают о его «слишком советской» позиции в ленинградские годы, повторяют не документированные рассказы о его нестойком поведении во время следствия.

Но личность Конрада помнят, а на его научные работы

ссылаются редко (а если ссылаются, то больше на его высказывания по общим темам, а не на востоковедческие исследования). Это относится не только к лингвистам, которые давно превзошли уровень его «Синтаксиса» и статьи «О китайском языке», но и к специалистам по японской литературе, которые еще в начале 90-х гг. говорили мне, что академик для них – уже не живая фигура научного процесса. Но и те, и другие активно привлекают работы его учеников и, шире, специалистов, вышедших из его школы, да часто и сами к ней принадлежат, если даже самого Николая Иосифовича не застали.

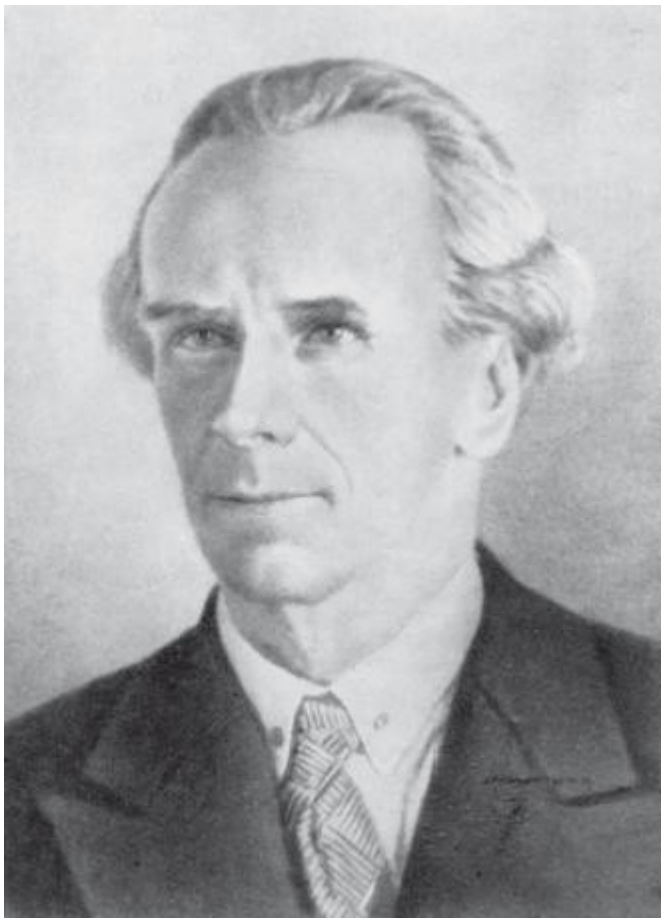
Не каждому ученому дано создать школу. Скажем, в области японистики это получилось у Конрада и не получилось ни у Е. Д. Поливанова, ни у Н. А. Невского, вероятно, не только по внешним причинам, но и в силу особенностей характера каждого из них. Из трех этих ученых, когда-то вместе начинавших, Конрад, вероятно, не был самым талантливым в науке, но превосходил двух остальных в одном: в таланте человеческого общения. И при жизни, и после смерти его вспоминали как обаятельного человека, превосходного собеседника и рассказчика, блестящего лектора и популяризатора. Как сейчас иногда говорят, экстраверт (в отличие от интроверта Невского). Многие востоковеды прошли через его влияние.

Уже создание школы японистов – культурологов, литературоведов, лингвистов, историков древнего и средневекового периода, переводчиков обеспечивает ученому почетное место в истории науки. А то, что ученики идут дальше учителя, – нормальный процесс. Важно и то, что очень многими вопросами изучения народов Дальнего Востока он в нашей стране стал заниматься первым (по некоторым из них он остается до сих пор и единственным исследователем). Важна и его роль просветителя. Сейчас у нас любят подчеркивать, что «средний интеллигент» конца советской эпохи по своей культуре будто бы деградировал по сравнению с интеллигентами до «катастрофы». Но в области знаний о Востоке соотношение все же обратно. И среди тех, кто здесь способствовал прогрессу, Конраду принадлежит одно из первых мест. И то, что он оставался «более полувека в научном строю» (так называлась юбилейная статья к его 75-летию) и к концу пути даже был востребован более всего, тоже заслуживает уважения.

Но есть и еще один итог его большой жизни. Н. И. Конрад всегда был чуток к быстро менявшемуся времени, выражал идеи и настроения, характерные для русской интеллигенции в ту или иную эпоху. Время заставляло его быть либералом (и одновременно разведчиком) в 1910-е, марксистом в 1920-е,

патриотом в 1940-е и начале 1950-х, «шестидесятником» в 1960-е, обличать «пропаганду собственнической идеологии» в довоенной Японии, а потом восхищаться «японским чудом». При этом он всегда был чужд любым крайностям. Конрад не боролся с господствующим мнением в науке и жизни, он всегда плыл по течению, хотя и такое плавание бывало трудным и опасным. И это плавание дало результаты.

«Колоссальный продуктор» *(Н. А. Невский)*



Имя Николая Александровича Невского (1892–1937) хорошо знают и помнят в Японии. Там не раз публиковались его труды и издана его беллетризованная биография. Японские студенты изучают по его записям айнский язык, еще недавно существовавший в их собственной стране. Обычно игнорирующие иностранные исследования о своей культуре японские специалисты называют его «одним из отцов японской этнографии». Английский профессор Э. Д. Гринстед считал его «великим русским ученым». А у нас имя Невского знает только узкий круг специалистов, хотя Николай Александрович оказался первым филологом, получившим Ленинскую премию. Но награда

нашла его через четверть века после страшной смерти в страшном году. И опубликовал ученый при жизни всего одну небольшую книгу.

Имя Невского связано с разными легендами. Одну из них я слышал в студенческие годы от друга моего отца, специалиста по западной средневековой истории С. М. Стама. Всю жизнь далекий от японистики, он, тем не менее, во время войны окончил курсы японского языка и служил переводчиком на войне в Маньчжурии; тогда ему кто-то и рассказал это. По словам Стама, после Русско-японской войны решили подготовить специалистов по Японии, отобрали способных детей и послали в японский буддийский монастырь впитывать культуру загадочной страны. Среди этих детей будто бы были Н. И. Конрад (герой очерка «Трудное плавание по течению») и Н. А. Невский.

На самом деле никакого десанта детей не было, а Николай Александрович (как и Конрад) впервые попал в Японию уже студентом. Детство его было совсем иным. Он родился в Ярославле 2 марта (нового стиля) 1892 г. в семье судебного следователя. Мальчик рано потерял родителей, и его взял к себе дед по матери, настоятель Рыбинского собора. В Рыбинске прошло его детство. Он учился в гимназии на казенный счет, зарабатывая репетиторством. В 1909 г. Невский поехал учиться в Петербург и поступил в Технологический институт, однако уже через год решил сменить специальность и стал студентом китайско-японского отделения восточного факультета Петербургского университета. Одновременно он учился и в Практической восточной академии, где в отличие от университета преподавали современный язык.

Как позже рассказывал сам Невский, он сначала желал стать дипломатом, но с мечтой скоро пришлось расстаться: в царской России человеку не дворянского происхождения эта профессия была недоступна. Ему, однако, не нужно было раскаиваться в выборе специальности: еще на младших курсах он увлекся наукой. Позже он напишет: «Я по своему складу более всего чувствую удовлетворение при исследовательской работе».

Восточный факультет в те годы находился на переломе. Классические традиции русского востоковедения основывались на изучении культуры разных народов. Невский всю жизнь оставался верен этим традициям. Однако уже в его студенческие годы на факультете появлялись люди, начинавшие подходить к изучению Востока по-новому, среди них был и его главный учитель, китаист В. М. Алексеев, тогда приват-доцент, позднее академик (среди японистов факультета тогда крупных величин не было). Он в отличие от старших коллег не считал, что основа

работы востоковеда – изучение древних рукописей, а исследование современности (включая «простонародную» культуру) недостойно истинного ученого. Невский, как и другие студенты, всецело был на стороне Алексеева. И он учил не только классический, но и современный язык, изучал нетрадиционные тогда для востоковедов науки у лучших петербургских ученых: этнографию у Л. Я. Штернберга, фонетику у Л. В. Щербы.

Под руководством Алексеева студент изучал Конфуция, самостоятельно пытался расшифровать сложнейший памятник «Шицзин». Дипломная работа Невского была посвящена пятнадцати стихотворениям великого поэта VIII в. н. э. Ли Бо. В дипломе студент дал их двойной (дословный и художественный) перевод и стиховедческий анализ, сопоставил со стихами других поэтов, разобрал имевшиеся к тому времени их переводы на европейские языки. Диплом получил высшую для тех лет оценку «весьма удовлетворительно». Он дошел до нас и в 1996 г. был опубликован. Алексеев уже в те годы записал в дневнике о своем ученике: «Мой двойник, только сильнее и вообще лучше».

Но при столь основательной подготовке китаистом Невский не стал, а диплом оказался единственной его работой, целиком посвященной Китаю. Это тоже было влиянием времени. И легенда о посылке детей отразила реалии тех лет: после поражения в Русско-японской войне в России резко усилился интерес к этой стране, стремительно ворвавшейся на мировую арену. Китай же не казался столь интересным.

На факультете вместе с Невским или на один-два курса старше или моложе учились Н. И. Конрад, О. О. Розенберг, М. Н. Рамминг, братья Орест и Олег Плетнеры. В Практической восточной академии учил японский язык студент историко-филологического факультета Е. Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»). В те же годы первым иностранцем, окончившим Императорский университет в Токио, стал С. Г. Елисеев. Это было блестящее поколение (рождения от 1888 до 1893 гг.), быстро превзошедшее старших коллег-японистов, в основном практиков.

И тогда, и позже Невский оставался скромным, довольно замкнутым человеком, с утра до ночи погруженным в научные занятия. Но он любил и литературу, искусство, что видно из его диплома, которому предпослан эпиграф из Ф. И. Тютчева. Н. И. Конрад вспоминал, как Невский впервые познакомил его в студенческие годы с «Камнем» тогда еще не слишком известного О. Э. Мандельштама. А вот политика его не интересовала в отличие от его товарища Поливанова. Про Невского нет данных о какой-либо работе на разведку.

Еще студентом, в 1913 г. Невский ездил на три месяца в

Японию, а после окончания университета его выпускникам, заслуживавшим, как тогда говорили, «подготовку к профессорскому званию», была положена стажировка в изучаемой стране «для усовершенствования знаний и приобретения необходимых навыков в разговорном языке». Получив университетскую стипендию, Николай Александрович через год после окончания университета, в ноябре 1915 г. отправился на стажировку. Он ехал на два года, не предполагая, что проведет в Японии большую часть оставшейся ему жизни.

Невский поселился вместе с товарищами по университету Н. И. Конрадом и О. О. Розенбергом, приехавшими туда раньше его, в уютном доме в токийском квартале Хаяси-те. Его темой стало изучение синтоизма, системы традиционных японских верований, традиций и ритуалов. До Невского не только в России плохо знали, что это такое, но и в самой Японии синтоизм не был изучен. Лишь Николай Александрович показал, что надо разграничивать официальный синтоизм, искусственно созданный японскими книжниками XVII–XIX вв. на основе толкования древних памятников и ставший государственной религией, и народный синтоизм, продолжавший жить в сельских районах страны. Если официальный синтоизм был как-то известен, то народный синтоизм только начинал изучаться. Невский, к тому времени блестяще овладевший японским языком, включая диалекты, много ездил по стране, иногда в одиночку, иногда в компании первых японских этнографов, забираясь в отдаленные деревни, где никогда не видели белого человека. Он дотошно изучал похоронные обряды, песни при исполнении танца льва, обряд постановки магических фигур, предохранявших от воров и от насекомых-вредителей, начал переводить «Норито» – синтоистские заклинания VIII в., слегка подражая в переводах любимому Мандельштаму. И беседы о науке с Конрадом, Розенбергом и приезжавшим в командировку Поливановым. Невскому было хорошо.

Внезапно из России пришли сообщения о свержении монархии. У Конрада и Розенберга весной 1917 г. кончился срок стажировки, и они вернулись на родину, еще раньше уехал Поливанов. Невский, чей срок истекал 1 декабря 1917 г., остался в Токио один, продолжая изучать танцы льва и другие обряды. В конце 1917 г. выплата стипендии из Петрограда прекратилась, а из России доходили вести одна хуже другой, особенно от Алексеева. В библиотеке университета Тенри в Японии, где сейчас сосредоточена японская часть архива Невского, сохранилось любопытное письмо учителя ученику от 2/15 ноября 1917 г.: «Не ездите в позорную страну до окончания его судеб…

Каждый чувствует себя как бы накануне своей погибели. Россия перестала быть государством. Здесь черт знает что происходит. Кроме насилия, ничего. Жду бесславной, глупой смерти от солдата-хулигана и махнул рукой на работу». Алексеев радовался тому, что хотя бы Невскому ничего не угрожает, и передавал ему научную эстафету: «Вы – лучший из моих учеников. В Вас горит энтузиазм и свет науки. Вам принадлежит будущее. Со способностями Вы соединили редкую любовь к труду и знанию, окрашенную в идеальный колорит, бескорыстный, честный, молодой и яркий… Если больше не увидимся, обнимаю Вас крепко, и желаю Вашей жизни большего смысла и большего успеха, чем то, что выпало на долю мне, но я счастлив был и остаюсь тем, что Вы были моим учеником».

Людям не дано предугадать будущее. Все получилось как раз наоборот: в жизни Алексеева было немало неприятностей, но он уцелел во всех бурях, всегда работал по специальности, стал академиком, дожил до старости, а пуля в затылок досталась его лучшему ученику, которого учителю было суждено пережить на четырнадцать лет.

Но это будет позже, и Невский с Алексеевым все-таки еще увидятся. А в конце 1917 г., взвесив все «за» и «против», Николай Александрович решил остаться в Японии. Он никогда не считал себя эмигрантом и надеялся, что наступят лучшие времена, и он сможет вернуться на родину.

Более года Невский искал работу, которая в Токио так и не нашлась. Но в 1919 г. удалось получить место преподавателя русского языка в Высшем коммерческом училище в городе Отару на северном японском острове Хоккайдо. Тогда это был небольшой город в японской глубинке, мало европеизированный. Там ученый прожил три года.

В России шла гражданская война, а Невскому было хорошо. В письмах тех лет он рассказывал: «Ярко печатает меня солнце в моем новеньком чистеньком домике. Лежу на татами [соломенный пол в японском доме. – *В. А.*] возле камелька и подставляю то лицо, то спину веселому печатнику. Тепло! Хорошо!.. Правда, по вечерам здорово холодно, но веселый домик с потрескавшимися угольками… скрадывает наружную стужу». «Из окна видно красивое голубое небо и осенние побуревшие горы. Иногда тянет взять посох и отправиться в глубь этих гор и с их вышины петь гимны солнцу». «На днях ездил в курортную местность Дзодзанкэй (около 5 часов от Отару) и одиноко бродил среди узорчатой парчи гор, умытых золотом и киноварью. Пил утреннюю росу, дышал солнцем и свежей прохладой». Углубленный в себя по натуре, Невский легко переносил

одиночество. Но именно в Отару он встретил Исо Мантани, ставшую его женой.

Переезд на Хоккайдо изменил научные интересы ученого. Там жили айны, загадочный во всем народ, ни на кого не похожий, особенно на японцев (айнов называют «самым волосатым народом в мире», чего про японцев не скажешь). Происхождение айнов и генетическая принадлежность их языка до сих пор не известны. Мирные и беззащитные охотники и рыболовы вызывали презрение у японцев, которые из-за звукового сходства названия народа *Ainu* и японского слова *inu* ‘собака’ считали их результатом смешения людей и собак. Айнская бесписьменная культура и айнский язык к началу 20-х гг. были очень мало изучены (японские ученые всерьез займутся ими в 50-е гг., как раз тогда, когда они быстро начнут исчезать). И Невский отложил изучение синтоизма ради айнов. За три года он записал десятки айнских текстов, многие из которых сейчас известны только благодаря нему, изучал быт и верования айнов.

Здесь проявились черты характера Николая Александровича, вызывающие симпатию, но не всегда помогавшие его научной деятельности. Он не был честолюбив, и его сам процесс научного творчества интересовал больше, чем результат. Он был азартен, увлекался все новыми темами и, обычно не бросая совсем старые сюжеты, погружался во что-то другое. Это не способствовало ни доведению его работ до законченного вида, ни тем более публикации его немалых достижений. В Японии к этому добавлялись трудности с изданием сочинений никому не известного иностранца: к моменту отъезда из Отару у Невского не было ни одной печатной работы. Несколько лет трудов мирового значения по синтоизму вылились лишь в наброски, черновики и еще в служебный «Отчет о занятиях в Японии с 1 декабря 1915-го по 1-е декабря 1916 года», посланный в Петроградский университет и сохранившийся там в архиве. Позже, вернувшись в Ленинград, ученый сумел опубликовать лишь фрагменты перевода «Норито», а отчет и наиболее законченные черновики изданы вместе с его дипломом только в 1996 г. А из всего сделанного по айнам он опубликовал в Ленинграде три фольклорных текста с краткой вступительной статьей. Потом, в 1972 г. Л. Л. Громковская издаст все его законченные записи айнских текстов, именно этой книгой пользуются в Японии.

В 1922 г. Невского пригласили на должность профессора в Университет иностранных языков в Осаке, где до сих пор о нем сохраняется память. Он стал, наконец, прилично зарабатывать, наладился быт. В Осаке у Невского родилась дочь Елена. В эти же годы, наконец, стали появляться его первые публикации в

японских журналах. Много времени уходило на преподавание русского языка, но Невскому удавалось изучать национальную живопись и брать уроки театрального искусства «гидаю». Основные силы по-прежнему уходили на науку, и здесь снова Николая Александровича влекли неизведанные темы.

Первой из них стало изучение культуры и языка уже не крайнего севера, а крайнего юга Японии – островов Рюкю. В отличие от айнов население этих островов родственно японцам, но диалекты тех мест резко отличаются от остальных настолько, что невозможно взаимопонимание, а древняя религиозная система, остатки которой еще сохранялись на самых южных островах Мияко, имела значительную специфику. Невский ездил на Мияко и некоторые другие острова трижды (1922, 1926, 1928 гг.). Для ученого это был совершенно нетронутый край, куда раньше не приезжали специалисты. На нерегулярно ходивших катерах или на рыбачьих лодках, которые легко могли перевернуться, Невский изъездил многие острова, подолгу задерживаясь из-за частых тайфунов. Результатом были многочисленные записи фольклорных текстов, словарь говоров Мияко объемом 596 страниц, материалы по другим диалектам Рюкю, множество записей и набросков, посвященных местным обрядам, религиозным представлениям, народной медицине. Лишь немногое ученый тогда опубликовал в Японии (но и это составило ему славу крупнейшего специалиста по данной проблематике) и вовсе ничего в Ленинграде. Только в 1978 г. появится небольшая книга «Фольклор островов Мияко», включающая в себя только часть фольклорных записей.

Летом 1925 г. Невский съездил в Китай, и эта поездка послужила толчком к началу занятий еще двумя темами, принесшими ему, в основном уже посмертно, наибольшую известность. Это изучение аборигенов Тайваня и тангутика.

На Тайвань, тогда принадлежавший Японии, ученый поехал в 1927 г. На этом острове, помимо преобладающих сейчас, но поселившихся совсем недавно китайцев, живут потомки древнейшего населения, в то время еще говорившие на языках австронезийской семьи, в том числе на языке цоу. Большинство исследователей, в том числе Невский, считали цоу народом, родственным древнейшему населению Японии (культура Дземон), позднее смешавшемуся с пришедшими с материка алтайскими племенами. В 20-е гг. освоена была лишь прибрежная часть Тайваня, а внутренние районы, где жили аборигены, оставались совсем диким краем. Добираться надо было по узкоколейке, где пассажиров предупреждали: «Данная узкоколейная дорога предназначена исключительно для перевозки леса, и если

компания берет немного пассажиров, то последние должны быть ей благодарны за такую милость и не жаловаться, если из-за аварии или по каким-нибудь другим причинам они окажутся на лоне природы, т. е. среди глухого тропического леса, населенного медведями, пантерами и кишащего ядовитыми змеями». Поездка, впрочем, оказалась благополучной, снова был собран большой улов, причем на этот раз более всего по языку. Именно эти результаты в наибольшей степени Невский издал при жизни: в 1935 г. в Ленинграде вышла книга «Материалы по говорам языка цоу», включившая в себя тексты с переводами и фонетический очерк языка. Знания, полученные от Л. В. Щербы, очень пригодились и на Рюкю, и на Тайване.

В 1991 г. те же места на Тайване посетил по следам Невского современный исследователь Б. Л. Рифтин. За это время туда дошла цивилизация, молодое поколение уже стало говорить только по-китайски. Тайваньские ученые, начавшие изучать язык цоу лишь с конца 50-х гг. и до приезда Рифтина ничего не знавшие о Невском, отнеслись к его работе с большим интересом, поскольку составленный им словарь языка цоу, по заключению Рифтина, «не «перекрыт» последующей работой тайваньских ученых. Он зафиксировал определенную стадию развития языка цоу и может служить не только для изучения эволюции лексики этого языка, но и для понимания ряда этнографических деталей, так же как и для изучения, например, этнологии и верований этого народа». Словарь, впервые изданный в СССР в 1981 г., решили перевести на китайский язык, раздав затем каждой семье национальности цоу. Но судьба основного помощника Невского в его исследованиях на Тайване, местного учителя из аборигенов, оказалась столь же трагической, что и судьба его самого: в 1954 г. он был казнен по подозрению в сочувствии коммунистам.

И в те же годы появилось новое увлечение, определившее всю дальнейшую жизнь ученого. В Пекине Невский встретил бывшего преподавателя по восточному факультету А. И. Иванова, в то время драгомана советского полпредства. Он рассказал своему ученику о тангутских находках и передал имевшиеся у него фотокопии некоторых документов.

Еще в 1909 г. известный русский путешественник П. К. Козлов побывал в мертвом городе Хара-Хото, принадлежавшем Си-Ся (X–XIII вв.), государству тангутов, ныне не существующего народа, язык которого родствен тибетскому и бирманскому. Об этом языке до того было известно очень мало, но Козлов открыл обширную библиотеку тангутских текстов, перевезенную им в Петербург. Однако эти тексты оставались не расшифрованными, несмотря на усилия Иванова и ряда других ученых. Невский

заинтересовался этой проблемой, и уже первые его публикации в Японии, основанные на ограниченном числе текстов, доступа к оригиналам которых он еще не имел, заставили считать его ведущим специалистом по данной проблеме.

Но жизнь Невского в Японии, в первые годы счастливая, постепенно становилась все тяжелее, несмотря на интересную работу и преданность жены. Политическая ситуация в Японии ухудшалась, усилились милитаризм и недоброжелательство к русским в связи с напряженными отношениями между Японией и СССР. Хотелось заниматься тангутикой, а главные материалы находились в Ленинграде. А жизнь в традиционно закрытом японском обществе, вдали от привычной культурной и языковой среды, создавала немало проблем, причем великолепное знание языка и обычаев не только не помогало, но, наоборот, усиливало подозрительность к «нарушению границ» со стороны белого человека. Соотечественников же было мало: Япония, где иностранцу трудно было натурализоваться, не входила в число центров русской эмиграции. В Осаке у него, правда, оставался друг со студенческих лет, русский японист Орест Плетнер, также там преподававший. И изредка встречи с востоковедами из СССР, начавшими приезжать с середины 20-х гг.

В 1925 г. тетка Невского В. Н. Крылова (во многом заменившая ему в детстве рано умершую мать) писала из Рыбинска в Ленинград В. М. Алексееву, желая узнать о судьбе племянника, который «пропал в Японии». Тот ответил, что Невский жив и работает, но ему не стоить возвращаться, пока жизнь дома не наладится. Но скоро мнение друзей Невского изменилось, и роль в этом сыграла поездка Н. И. Конрада в Японию летом и осенью 1927 г. На пристани в Осаке Николай Александрович встретил старого друга и поселил в своем доме. Его вид не понравился Конраду, к тому времени возглавившему ленинградское японоведение. Он писал В. М. Алексееву о Невском: «Он, конечно, здесь закис… Николай Александрович – без вмешательства со стороны – не обойдется»; «Невский требует притока целеустремленной, живой, бодрой энергии; притока интереса со стороны»; «Ему нужно возвращаться, и я приложу все усилия уговорить его. Ужасно горько будет его оставлять опять одного». Алексеев, раньше не хотевший, чтобы Невский возвращался, теперь согласился с Конрадом. В следующем 1928 г. в Японию приезжал еще один ленинградский востоковед, принадлежавший к молодому, пока не знакомому Невскому поколению, Ю. К. Щуцкий (он разделит впоследствии судьбу Николая Александровича). Он тоже будет уговаривать ученого вернуться. И Невский в итоге согласился. С конца 1928 г.

начались хлопоты по оформлению переезда в Ленинград, затянувшиеся из-за проволочек японской бюрократии. Лишь в конце лета 1929 г. он смог покинуть Японию, причем без семьи, которую обещали пустить в СССР позже. В Осаке пришлось оставить часть материалов и всю переписку, которые ныне хранятся в университете Тенри.

Закончился четырнадцатилетний период жизни ученого в Японии, давший ему так много материалов и не принесший особой научной известности. Невский покидал мирную и скучноватую Осаку, ручную обезьянку Масико и тишину храмов и возвращался в страну «суровой и однообразной природы», как он назвал Россию в одной из японских публикаций, сравнивая ее с Японией. В 1929 г., когда ленинградское востоковедение в основном восстановилось после гражданской войны и разрухи, возвращение в привычную научную среду казалось заманчивым. Но теперь мы понимаем, что ученый ехал навстречу новым интересным исследованиям, но и навстречу гибели. Конрад одновременно звал домой и Ореста Плетнера, но тот предпочел не рисковать и остался в Японии. Он дожил до 1970 г., но за четыре последующих десятилетия жизни в чужой среде сделал меньше, чем Невский за восемь ленинградских лет.

Поначалу казалось, что надежды Невского оправдались. В Ленинграде его приняли хорошо. Алексеев (как раз в 1929 г. избранный академиком), Конрад и другие старые знакомые его ценили. Алексеев помог ему и с жилплощадью самым простым путем, отдав ему часть своей большой квартиры (Конрад жил в другой квартире того же дома). К тому времени состав ленинградских востоковедов успел сильно измениться. Из плеяды замечательных японистов предреволюционных лет к моменту возвращения Невского там остался только Н. И. Конрад. О. О. Розенберг и Олег Плетнер умерли, Е. Д. Поливанов скитался по Средней Азии, а С. Г. Елисеев, М. Н. Рамминг и Орест Плетнер оказались разбросаны судьбой по разным странам. Но в Ленинграде подросло новое поколение: китаисты Ю. К. Щуцкий и Б. А. Васильев, монголист Н. Н. Поппе и др. Между всеми ними установились дружеские отношения. Дочь В. М. Алексеева нашла в бумагах отца конверт, надписанный его рукой: «Сатирикон Щуцкого и Васильева – вечер моих учеников в честь Н. А. Невского 25 сент[ября] 1929». Очевидно, вечер был связан с возвращением Николая Александровича на родину. Среди «юмористических куплетов» находим куплет в честь Невского и Конрада: «Два самурая, два Николая и тут и там, ученым саном и стройным станом пленяют дам!».

Сразу по приезде Невский начал преподавать японский язык в

университете и Ленинградском институте живых восточных языков им. А. Енукидзе (до 1936) и работать в только что образованном академическом Институте востоковедения, с 1934 г. он работал также в Эрмитаже. В 1935 г. Невский без защиты диссертации получил докторскую степень, имел и звание профессора.

Работы было много, творческой и рутинной. Алексеев в докладе 1935 или 1936 г. «Стахановское движение и советская китаистика» с грустью отмечал: «На наших глазах хиреет и погибает колоссальный продуктор Н. А. Невский (пишет собственноручно учебник – азы)». Но большая педагогическая нагрузка для ученого – проблема, существующая и на Западе, и в словах академика имелось все-таки преувеличение. Невский добросовестно отдавал любой нужной работе все время, нигде не бывая, кроме мест службы, и отказывая себе в простом человеческом общении (полная противоположность активному Н. И. Конраду). Правда, лучше стало, когда в 1933 г. из Японии приехали, наконец, жена и дочь. Дочь пишет: «Обычно я вспоминаю отца за работой, сидящим в кабинете за письменным столом, обложенного книгами, бумагами, карточками, в клубах табачного дыма. Работал он очень много, время черпая за счет своего сна и отдыха, спал по 4–5 часов в сутки, стараясь ежедневно сделать как можно больше. Создавалось впечатление, что он торопился, боялся не успеть завершить начатое. Такой же режим был у него и во время отпуска. При выезде на дачу основной багаж составляли те же книги, рукописи, карточки». На всех местах работы Невский считался «ударником».

Кроме немногих друзей, Николай Александрович более всего общался со студентами, которые его любили. Скромный и доброжелательный, он, казалось, не имел врагов. Мне в 90-е гг. удалось записать воспоминания уже упоминавшейся в связи с Конрадом его бывшей студентки в ЛГУ Ф. А. Тодер, позднее сотрудницы академического Института востоковедения в Москве. Она вспоминала, как Николай Александрович поражал всех знанием Японии и японской культуры. Если другие преподаватели, включая Конрада, знали лишь книжную культуру и литературный язык, то Невский знал и диалекты, и народную, «низовую» культуру, и старался научить этому студентов. Лишь он на факультете мог перевоплощаться в японку, по-женски хихикать и двигать руками, сопровождая это женскими частицами и междометиями, всему этому он учил студенток. И когда Тодер на практике в качестве переводчицы могла по-женски говорить с японскими инженерами, это по достоинству оценили ее собеседники. Погруженный в научные размышления, Невский не

был таким блестящим лектором, как Конрад. Но Николай Иосифович, по воспоминаниям Тодер, всегда говорил: «Невский как ученый на несколько голов выше меня».

Однако Конрад уже в 1934 г. стал членом-корреспондентом АН СССР, а попытка Алексеева на следующий год провести в академию Невского не удалась. Возможно, были и иные причины, но официально против него выдвинули аргумент, с которым трудно было спорить: малое число публикаций. За восемь лет при огромном количестве произведенной работы издал он немного, и главной причиной были не внешние препоны, а отсутствие у него желания заниматься отделкой работ и подготовкой их к печати.

Единственной его прижизненной книгой стали упомянутые выше «Материалы по говорам языка цоу», включившие в себя далеко не все им сделанное по этому языку. В очень ценной хрестоматии по литературе Китая и Японии «Восток» (см. о ней в очерке о Н. И. Конраде) Невский опубликовал небольшие фрагменты многолетних трудов по двум темам: синтоизму и айнскому фольклору. Еще были упомянутый Алексеевым «учебник – азы» (совместно с Е. М. Колпакчи), вышедший в свет в 1936 г., две предварительные публикации по тангутике и две статьи по японскому языку. Одна из них, «От “Московии” к СССР» была посвящена заимствованиям из русского языка в японский в разные исторические периоды, причем большая его часть описывала лексику, специфическую для группового подъязыка японских коммунистов. Тема в наши дни выглядит экзотично, но поражает великолепное знание даже таких языковых реалий; это опять-таки небольшой фрагмент тех знаний самых разных видов японского языка, которыми обладал Николай Александрович; он знал и как говорят женщины, и как говорят коммунисты. Другая статья «Представление о радуге как о небесной змее» – совсем узкая по теме и посвящена этимологии одного японского слова. Опять вершина айсберга! Но эта статья дала заглавие вышеупомянутой японской биографии Невского: «Небесная змея». Символичное название!

Все же Алексеев был не прав, говоря о том, что Невский хиреет. Ученый оставался «колоссальным продуктором» во всем. Продолжал он трудиться в той или иной степени над всеми темами, когда-то начатыми. Он уже не мог вести полевые исследования, но оставалась обработка гигантского по объему материала, собранного в Японии, а в области тангутики в его распоряжении имелась обширная коллекция, привезенная Козловым. Появились и две совсем новых темы: историческая фонетика японского языка, включая диалекты Рюкю (он успел сделать по этой теме доклад, тезисы которого сохранились и

теперь изданы), и подготовка к печати первых в России рукописных грамматики и словаря японского языка, составленных при Анне Иоанновне японцем Гондзой (после крещения Демьян Поморцев). И еще разные темы от иероглифики до перевода «документов японских пролетарских партий».

Но главной темой все-таки была тангутика. Сохранился любопытный документ: «карточки рабочего времени», составлявшиеся Николаем Александровичем для рационального распределения труда (тоже знак эпохи). В них на работу по тангутоведению отводилось от шести до десяти часов в сутки без выходных и отпусков. Эта работа была разнообразной. Прежде всего, нужно было разобрать и каталогизировать коллекцию Козлова, столь обширную, что за восемь лет эту работу не удалось довести и до половины. Все-таки самые ценные памятники ученый успел обработать. Параллельно шло составление словаря, включавшего все имеющиеся в текстах знаки, Невский успел учесть около 95 % знаков. Но тексты оставались нерасшифрованными, и собственно к дешифровке Николай Александрович смог приступить лишь с 1936 г. Наконец, он и готовил памятники к печати.

Сохранился план работы Невского по тангутике на третью пятилетку (1938–1942 гг.) с росписью по годам, по которому предполагалось издание двух памятников с переводами и комментариями и исследование третьего памятника, продолжение каталогизации коллекции, а в 1942 г. «издание тангутско-русского идеографического словаря на три-четыре тысячи иероглифов». Все было оборвано стуком в дверь поздним вечером 3 октября 1937 г. Ученый еще работал за письменным столом. Уходя, он просил: «Не убирайте на столе, через несколько дней вернусь». Он не вернулся. Через несколько дней арестовали и его жену, тогда преподававшую японский язык в ленинградских вузах. Не вернулась и она.

До того судьба скорее щадила Николая Александровича, особенно по сравнению с другими учеными, возвращавшимися из-за границы, например, с Н. Н. Дурново (см. очерк «Никуда не годный заговорщик»). Его считали уникальным специалистом, а с «белоэмигрантскими кругами» он в отличие от Дурново не был связан уже потому, что в Японии их практически не было. Япония с 20-х гг. считалась вероятным противником в будущей войне, и подготовке кадров японистов придавалось большое значение, поэтому преподавателей этого языка, даже «старорежимных», до середины 30-х гг. старались не трогать. Во Владивостоке, где подготовка японистов и китаистов велась с дореволюционного времени, была дана специальная команда не подвергать

проработкам преподавателей японского языка ввиду нужности их дела. Мне неизвестны и какие-либо кампании против «ударника» Невского до 1937 г. А потом все быстро изменилось. В период массовых репрессий и всеобщей шпиономании люди, знающие японский язык, стали почти поголовно рассматриваться как «японские шпионы». Как только следователи узнали, что Е. Д. Поливанов занимался Японией и был в этой стране, в его деле на второй план отошла даже работа под руководством Л. Д. Троцкого: все свелось к «шпионажу в пользу Японии». А почти вся японская кафедра во Владивостоке в 1938 г. была расстреляна, тогда как параллельная китайская кафедра почти не пострадала. Невскому, четырнадцать лет прожившему в Японии и женатому на японке, трудно было на что-нибудь надеяться.

Оставшаяся без родителей в девять лет и воспитанная родственниками отца, Елена Николаевна еще в конце 40-х гг. получила справку о том, что Николай Александрович Невский «умер от миокардита 13 февраля 1945 г.». Такая дата в 50–80-е гг. фигурировала в публикациях и встречается даже сейчас. В зале ученых советов Института востоковедения РАН долго висел портрет Невского, где был обозначен 1945 г. Но на самом деле все было иначе.

Первые реальные сведения о последнем периоде жизни ученого пришли в 1963 г. Когда в газетах сообщили о присвоении Невскому Ленинской премии, откликнулся его бывший сокамерник В. М. Титянов, тогда живший в Сызрани. Ровно месяц, с 11 октября по 11 ноября 1937 г., они были вместе в переполненной камере № 54 дома предварительного заключения в Ленинграде и спали на одной постели. Титянов писал о Невском (сохраняю особенности стиля этого, видимо, не слишком образованного, но очень искреннего человека): «У этого человека был выпуклый вперед высокий лоб, тонкие плотно сжатые губы, глубоко посаженные умные и внимательные глаза. С обросшей небольшой бородой. Волосы на голове седые, аккуратно заброшенные назад и немного сзади вьющие. Волосами напоминал или художника или священного служителя». Они много разговаривали, но о Японии Невский вспоминать не любил и о японцах после всех бед отзывался плохо. Рассказывал он о детстве в Рыбинске, о сокровищах Эрмитажа, но больше всего о тангутах. Из всего сделанного он выделял тангутские исследования, сокрушаясь о том, что не завершил свой труд. И еще одно: «Будучи в тюрьме, его очень это дело беспокоило, что труды могут исчезнуть бесследно. При его аресте, как он говорил, очень небрежно отнеслись к его рукописям, что вызывало сомнение в их сохранности. Это одна сторона. Второе, что его

смущало, он боялся того, что его труды могут прибрать некоторые “люди” и издать их за свои труды».

Невский был очень доброжелателен: когда Титянов вернулся в камеру после трехсуточного допроса, профессор делал ему массаж ног. Потом ночью на допрос взяли самого Николая Александровича. Вернувшись, он сказал, что стал «японским шпионом». Как пишет Титянов, «его седые волосы в каком-то беспорядке, под глазами мешки опухли. Сидит почему-то разувши и ноги тоже опухшие». На вопрос, били ли его, ученый ответил: «Зачем им меня бить, я им все подписал». И картина через некоторое время: «Брюки задраны были выше колен. Ноги по-прежнему были опухшими. Голова и плечи почему-то сверх обычного были завернуты в мое истершее кожаное пальто». Невский твердил: «Ну, зачем меня обманули, привезли сюда в Россию. Эх, Майский, Майский». Известный дипломат И. М. Майский во второй половине 20-х гг. был полпредом СССР в Японии и, видимо, что-то обещал Невскому перед его возвращением. Но что было с Невским после того, как Титянов 11 ноября 1937 г. попал в лазарет, оставалось неизвестным.

В конце 70-х гг. японский рецензент первой в СССР книги о Невском Л. Л. Громковской и Е. И. Кычанова высказал единственное критическое замечание: в книге не сказано о восьми последних годах жизни ученого в заключении. Затем он добавил: «Может быть, это и не нужно». Но лишь в 1990 г. из справки УКГБ по Ленинградской области впервые стало известно, что никаких восьми лет не было, а после вынужденных признаний Невский не прожил и трех недель.

Следственное дело, основные материалы которого теперь опубликованы Е. Н. Невской, стереотипно и похоже на тысячи других. Три протокола допросов, признания в вербовке японской разведшколой перед отъездом в СССР, обвинительное заключение, изобличавшее почти нигде не бывавшего Николая Александровича в передаче японцам материалов «о состоянии и мощи боевых единиц Балт. флота, о численности и вооружении Ленинградского гарнизона, о политических настроениях и боевой подготовке комсостава Лен. Военного округа, о мощи авиации и состоянии аэродромов», приговор к высшей мере и, наконец, акт о приведении приговора в исполнение от 24 ноября 1937 г. Тогда же казнили его жену (она единственная из всех не признала себя виновной), блестящего китаиста Б. А. Васильева, маньчжуриста П. И. Воробьева, японист Д. П. Жукова и еще несколько человек, среди которых оказался известный поэт Николай Олейников, попавший в эту группу из-за дружбы с Жуковым.

Человека погубили, а наследию его повезло больше. Погибла

лишь та его сравнительно небольшая часть, которая находилась в печати. Рукописный же архив ученого не заинтересовал НКВД и в итоге попал в Институт востоковедения Академии наук; теперь его петербургская часть стала Институтом восточных рукописей, где в Архиве востоковедов он хранится и сейчас. Опасения Невского в отношении тангутской части архива, к сожалению, подтвердились: один из ленинградских востоковедов их «прибрал», однако, в конце концов, не без труда их удалось вернуть.

В 1957 г. Невского и всех погибших вместе с ним реабилитировали. Первым вопрос об издании его архива поднял Н. И. Конрад, сам пострадавший за связи с «резидентом разведки» Невским. Вероятно, он чувствовал свою косвенную вину в гибели друга, которого уговорил вернуться на родину, и хотел хоть чем-то ее загладить. Из всего, что сохранилось, Конрад решил в первую очередь издавать работы по тангутике. В 1960 г. книга «Тангутская филология» вышла в свет, а через два года, тоже при активном участии Конрада, получила Ленинскую премию, награду, которой удостаивались очень немногие (сам Конрад ее так и не получил). Но в нее вошли далеко не все работы ученого по данной тематике, в частности, словарь из 4201 знака не издан и поныне.

Долгое время книга оставалась единственной посмертной публикацией трудов Невского. Поэтому у многих создалось ошибочное мнение, согласно которому ученый был исследователем тангутов по преимуществу. Например, в третьем издании Большой советской энциклопедии статьи о Невском по каким-то причинам нет, во всех статьях о Японии и японистике он не упомянут ни разу, и говорится о нем только в статье о тангутах. Роль Н. И. Конрада в восстановлении памяти о погибшем друге была значительна, но не было ли у него в какой-то степени стремления поддержать эту память лишь там, где она не влияла на его репутацию «первого японист страны»?

В дальнейшей публикаторской деятельности нельзя не отметить ныне покойную Л. Л. Громковскую. Она вместе с Е. И. Кычановым написала изданную в 1978 г. биографию Невского. Она же (сама или в соавторстве) подготовила к печати четыре книги его трудов: «Айнский фольклор», «Фольклор островов Мияко», «Материалы по говорам языка цоу. Словарь диалекта северных цоу» (фототипическое воспроизведение книги 1935 г. плюс впервые изданный словарь) и опубликованную уже после ее смерти книгу «На стеклах вечности». Последняя книга включила в себя большое число работ разнообразного содержания от студенческого дипломного сочинения до тезисов одного из

последних докладов 1936 г. «Фонетика Мияко в японо-рюкюской фонетической системе».

Однако за пределами всех этих изданий осталось многое. Давно был готов к печати обширный словарь говора Мияко, но напечатали его лишь недавно в Японии. А многое издать очень сложно, поскольку оно дошло до нас в виде черновиков и набросков. Некоторые области исследований Невского нашли в отечественной науке хорошее продолжение: тангутика (Е. И. Кычанов, М. В. Софронов и др.), изучение «Норито» (Л. М. Ермакова), японская историческая фонетика (С. А. Старостин). Айнами недавно занялась А. Ю. Бугаева. Но аборигены Тайваня, этнография Рюкю и многое другое пока продолжения в нашей науке не получило.

В конце 1990 г. в библиотеке Университета иностранных языков в Осаке мне удалось получить ксерокопии писем Невского из Ленинграда к японскому специалисту по тангутике профессору Исихама. Хотели их издать к столетнему юбилею ученого, отмечавшемуся в 1992 г., но оказалось, что письма записаны принятой в те годы в переписке между японцами скорописью. В Москве эти письма никто не смог прочитать, они не изданы по сей день. Как много традиций нами утеряно и продолжает теряться!

Дважды умерший
(Н. Ф. Яковлев)

Когда я в 60-е гг. начинал заниматься лингвистикой, Николай Феофанович Яковлев воспринимался как какая-то мистическая фигура. Научное имя было авторитетным, но неясно было, существует ли еще этот человек или нет.

Впервые я услышал это имя от профессора П. С. Кузнецова (см. очерк «Петр Саввич»), который говорил о нем много и хорошо, но почти при каждом его упоминании добавлял: «Он плохо кончил». Эту фразу он применял ко многим им упоминавшимся советским ученым, причем плохой конец мог иметь разные варианты от расстрела до принудительного увольнения на пенсию. Петр Саввич говорил, что Яковлев

обладал неуживчивым характером, был уволен с работы, заболел и неизвестно, жив он или нет. Другие преподаватели МГУ тоже ценили труды Яковлева, но ничего о нем давно не знали. Уже в аспирантуре академического Института востоковедения я слушал лекции Ю. В. Рождественского, который высказывался определеннее: «Он жив, но безумен». В научных журналах о Яковлеве писали почтительно, тоном, которым пишут о покойниках, но дата смерти не называлась. И так было еще долго, пока я, уже будучи кандидатом наук, не прочитал в свежей «Вечерней Москве» ставившее все на место извещение о его смерти.

О Яковлеве написано достаточно много, писали о нем А. А. Реформатский, М. В. Панов, Г. А. Климов, В. К. Журавлев и др., в 80-х гг. специально издали небольшой содержательный сборник. Долго, однако, интерес вызывали в основном его труды, а также практическая деятельность по составлению алфавитов. В тени оставалась яркая и очень противоречивая личность Николая Феофановича. Лишь начиная с 1992 г., когда, несмотря на все сложности того времени, удалось отметить столетие со дня его рождения, начали говорить и о ней. Здесь особо надо отметить деятельность его учеников Ф. Д. Ашнина, много лет собиравшего документальный и мемуарный материал, который он при моем участии публиковал в 90-е гг., и Л. Р. Концевича, одного из немногих, кто общался с учителем в его трудные годы. Без их помощи данный текст не был бы написан.

Сохранившиеся документы о Яковлеве начинаются со «Свидетельства» «в том, что в метрической книге за тысяча восемьсот девяносто вторый (1892) год Аткарского уезда села Краишевки Троицкой церкви в первой части о родившихся, под № 50, записано: рожден девятого Мая, а крещен 19 Июня Николай. Родители его Курской губернии города Путивля дворянин Феофан Васильев Яковлев и законная жена его Александра Константинова, оба православного вероисповедания. Восприемники были Города Киева дворянин Анатолий Григорьев Ракачи, дворянка вдова Мария Иоаннова Волосатова. Совершил таинство крещения: священник Михаил Краснов».

Однако местом рождения Яковлев считал не Краишевку, где его лишь крестили, а хутор Булгурин Хоперского Округа Области Войска Донского (ныне Еланский район Волгоградской области). Там он провел детство, в семье были еще младшие сын и дочь. Через несколько лет родители фактически разошлись и разделили детей; Николай с отцом, врачом, переехал в Москву. Затем он учился в Первой московской гимназии, где его соседом по парте был будущий известный пушкинист Д. Д. Благой.

В 1911 г., окончив гимназию, Яковлев поступил на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Среди его учителей в области языкознания были В. К. Поржезинский, Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков. Студентом он колебался в выборе профессии между языкознанием, фольклористикой и этнографией, точно так же как его однокурсник Петр Богатырев и учившийся на младшем курсе Роман Якобсон; втроем они зимой 1915 г. ездили в Верейский уезд Московской губернии «для собирания этнографических и диалектических материалов». В итоге Яковлев и Якобсон предпочтут лингвистику, а Богатырев фольклор, хотя первой публикацией Яковлева станет статья о женской одежде донских казаков.

Уже тогда будущий ученый стремился к лидерству. При поддержке Д. Н. Ушакова он сформировал студенческий кружок, получивший наименование Московского лингвистического кружка. Кружок существовал с 1915 по 1924 гг., Яковлев был его первым руководителем, однако вскоре ему эту деятельность пришлось прервать.

В 1916 г. окончен университет, но шла мировая война, и вместо подготовки к профессорскому званию предстояла военная служба. Яковлев год учился в артиллерийском училище, которое кончил перед самым Октябрем. В дни революции прапорщик Яковлев добровольно явился в штаб Московского военного округа и предложил себя на работу. Он был зачислен в Информационное бюро политотдела штаба, а затем стал заведовать этим бюро. В начале 1918 г. он вступил в Коммунистическую партию. В таком выборе, возможно, сыграла роль его первая жена Валентина Ильинична Вегер, член партии большевиков с 1912 г.; видными коммунистами были ее отец и брат. А семья самого Яковлева, как многие другие, раскололась. Мать, по семейным преданиям, вскоре после революции как помещица была живой закопана в землю крестьянами; брат Павел воевал на белой стороне и эмигрировал (позже служил таксистом в Париже), а сестра вышла замуж за коммуниста.

В это время Яковлев выполняет ряд ответственных поручений. Сохранились свидетельства о том, что он доставил из Петрограда в Москву миллион рублей «для организации революционного штаба Южного фронта в связи с первым выступлением казацких банд против советского правительства» (видимо, борьба с Калединым в начале 1918 г.). Одно задание особо любопытно: Яковлев «выполнял задание штаба о фактическом подчинении редакции «Русских ведомостей» распоряжениям правительства и о ликвидации этого издания».

«Русские ведомости» – популярная в течение полувека среди интеллигенции «профессорская» газета, в которой печатались Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Короленко, с начала XX в. кадетская. Потом пришел комиссар с маузером и ее закрыл за «контрреволюционную агитацию» (в марте 1918 г.). Сейчас принято считать, что такими комиссарами всегда бывали малограмотные плебеи, но любая схема упрощает: тут в этой роли оказался дворянин и будущий основатель структурной фонологии.

Но комиссарство Яковлева продолжалось недолго: в том же 1918 г. он уходит из штаба, снимает военную форму (в военном билете 1948 г. стоит «без звания») и навсегда выбывает из партии. Его деятельность в 20-е гг. не свидетельствует о каком-либо изменении взглядов по сравнению с 1917–1918 гг. Дело было, видимо, в другом: Яковлеву захотелось вернуться к профессии, а добиться этого можно было, лишь положив партбилет. Уже в 1930 г. он попытается вновь вступить в партию (именно для этого он собрал свидетельства о перевозке денег и закрытии «Русских ведомостей»), но получит отказ, в том числе из-за дворянского происхождения.

Но в науку он попал тогда не сразу. В 1918–1919 гг. он оказался в Наркомпросе в качестве заведующего секцией гуманитарных наук Отдела реформы школы (секретарем секции был тот самый П. С. Кузнецов, только что кончивший гимназию). А подотделом эстетического воспитания (видимо, тоже подчиненным Яковлеву) некоторое время заведовал О. Э. Мандельштам. По свидетельству Кузнецова, отдел выполнял цензорские функции, рассматривая, что соответствует или не соответствует новой идеологии в существующих букварях и учебниках, какую учебную литературу можно или нельзя переиздавать и пр.

А затем новый поворот. В 1919 г. он оказывается в Саратове (по рассказам его дочерей, спасаясь от голода) и работает на кафедре русского языка и словесности недавно организованного университета (там же в это время был и Н. Н. Дурново). По данным его автобиографии, он в первое время после возвращения в науку занимался полевыми диалектологическими и этнографическими исследованиями, рассылал этнографические анкеты, делал доклад по русской народной драме «Лодка» в семинаре известного литературоведа Н. К. Пиксанова. То есть он продолжал следовать традициям студенческих лет. И ничего похожего на темы его будущих работ.

По возвращении в Москву в следующем 1920 г. – новый поворот, который в отличие от предыдущих определит

деятельность Яковлева на долгие десятилетия. Позднее он об этом писал так: «Я решил переменить специальность и заняться языками и этнографией народов Северного Кавказа, изучением которых русская наука к этому времени почти перестала заниматься. Для этого я начал изучать с зимы 1919 г. кабардинский и чеченский язык, а летом 1920 г. по предложению акад. Шахматова и акад. Марра был командирован… на Северный Кавказ». Замечу, что в работах о Яковлеве 60–80-х гг. упоминалось лишь о А. А. Шахматове, а одиозное имя Н. Я. Марра опускали. Но отношения Яковлева и Марра – отдельный вопрос, к которому я еще вернусь.

Языкам Северного Кавказа в русской науке долго не везло. Академическая наука мало обращала на них внимания уже потому, что почти все они – не индоевропейские (кроме осетинского языка, довольно хорошо изученного благодаря В. Ф. Миллеру). Больше их изучали непрофессионалы, среди которых, однако, оказался настоящий самородок – генерал П. К. Услар, в 60–70-е гг. XIX в. написавший семь блестящих грамматик кавказских языков, совершенно самостоятельно предвосхитив в них идеи структурной лингвистики XX в., особенно фонологии. Но труды его не получили известности (их открыл для науки лишь Яковлев), а учеников и последователей Услар не оставил. Лишь перед революцией к этим языкам обратился знакомый Яковлева по университету (учился тремя курсами старше) Николай Сергеевич Трубецкой. Но тот мало что успел опубликовать до революции, потом эмигрировал, а собранные им материалы оставил во время Гражданской войны в Ростовском университете, где они затерялись (вернется к этим языкам он в эмиграции, когда Яковлев уже активно их изучал). Возможно, именно Трубецкой заинтересовал младшего коллегу этими языками, а теперь, когда тот был далеко, Яковлев решил сам заняться ими.

С тех пор все 20-е и 30-е гг. Яковлев почти ежегодно ездил на Кавказ. Первоначально он пытался совместить новые сюжеты с прежними: в 1921 г. записывал песни знаменитой архангельской сказительницы М. Д. Кривополеновой. Но вскоре Кавказ захватил ученого целиком. Поле деятельности было обширным и почти всем надо было заниматься впервые. Он, правда, сразу отказался от изучения языков, входившие в лучше изученные индоевропейскую и тюркскую семьи, но оставались Адыгея, Черкесия, Кабарда, Ингушетия, Чечня, наконец, Дагестан, «рай для лингвистов», где на небольшой территории сосредоточено более двадцати языков. Абхазия находится за Кавказским хребтом, но ее язык и культура сходны с северокавказскими, и

она тоже вошла в сферу изучения Яковлева.

Экспедиции начались, когда в горных районах Кавказа Гражданская война еще не кончилась, в горах скрывались вооруженные отряды, не признававшие советскую власть. Позже бывший начальник Терской группы войск Беленкович писал о Яковлеве: «Всю работу проводил, буквально, в боевой обстановке, неоднократно рискуя жизнью… Яковлев, безусловно, храбрый человек – так я, содействуя ему добраться в намеченные районы, обычно считал возвращение его безнадежным». Но Николаю Феофановичу всегда везло.

По рассказам родных и знакомых, экспедиции сыграли в его жизни дурную роль в другом отношении: экстремальные нагрузки, бесконтрольность в его положении начальника экспедиций, кавказское гостеприимство – все это привело к тому, что уже в те годы Яковлев стал пить. Впоследствии порок будет усиливаться и многое испортит в его жизни (когда мы с Ф. Д. Ашниным печатали в 1994 г. статью о Яковлеве в «Известиях РАН» серии литературы и языка, по требованию главного редактора пришлось убрать все упоминания об этой стороне его жизни; думается все же, что не надо ничего приукрашивать).

Для руководства кавказскими экспедициями в 1924 г. при Главнауке Наркомпроса был создан Комитет по изучению языков и этнических культур Северного Кавказа во главе с Яковлевым. Современным сотрудникам академических институтов русского языка и языкознания трудно себе представить, что их учреждения ведут свое начало от этого комитета, включавшего в себя всего несколько человек. Среди сотрудников Яковлева самым заметным был выпускник Лазаревского института Лев Иванович Жирков, они образовали с Николаем Феофановичем удачный тандем, распределив между собой работу на основе единых планов (Дагестан в итоге перешел к Жиркову). Хотя Жирков был на семь лет старше, ведущим в тандеме был Яковлев: он подавал идеи, которые Жирков умел более тщательно разрабатывать. И, как рассказывают, лидерство Яковлева проявлялось и в человеческом плане: иногда он мог быть бесцеремонным по отношению к ближайшему сотруднику.

Деятельность Николая Феофановича на Кавказе была разнообразной и охватывала не только лингвистику: он изучал быт, материальную и духовную культуру разных народов, собирал фольклор, консультировал учителей и начинающих писателей, составлял первые буквари и учебники. О его алфавитной работе дальше я скажу отдельно. И его публикации не только лингвистические. Особо надо отметить капитальный очерк «Ингуши» (1925). В Дагестане он издал брошюры о местных

кустарных промыслах, в том числе о знаменитой кубачинской художественной обработке металла (Яковлев помог сохранить это искусство, существующее до сих пор) и о красках для кустарного производства. Одним из первых у нас Яковлев заинтересовался использованием кино для этнографии, ему принадлежит предисловие к книге Ан. Терского «Этнографическая фильма». В нем ученый сформулировал свое кредо: «Этнограф должен изучать прошлое в современном и современное в прошлом. Он должен одновременно фиксировать и то, что отступает и исчезает под натиском современного нам строительства, и самое это строительство и его влияние на исчезновение отсталых сторон сельскохозяйственной жизни».

Но все-таки языковые аспекты все более становились для Яковлева главными. Первая его крупная публикация в этой области появилась в 1923 г. под скромным названием «Таблицы фонетики кабардинского языка». Однако ее значение выходило за пределы кавказоведения, на нее сразу откликнулись и живший в Вене Н. Трубецкой, и лидер французской лингвистики А. Мейе. Молодой советский ученый выступил как теоретик новой тогда научной дисциплины – фонологии. В те годы это был передний край теоретической лингвистики, и мне приходится в нескольких очерках касаться фонологических проблем, разумеется, в самом упрощенном виде.

Фонология изучает не всякие звуковые различия в речи (их изучает другая дисциплина – фонетика, с конца XIX в. уже имевшая в своем распоряжении акустические приборы, фиксирующие и звуковые различия, не осознаваемые человеком), а только существенные для носителей языка. Скажем, носитель русского языка отличает *а* от *о*, а разнообразные оттенки звука *а* не замечает, хотя прибор их различия будет фиксировать. Основы фонологии заложил крупнейший русско-польский ученый И. А. Бодуэн де Куртенэ, его дело продолжили ученики Е. Д. Поливанов (см. очерк «Метеор») и Л. В. Щерба (один из учителей Н. А. Невского). А Яковлев предложил перейти на следующий этап развития фонологии, использовав не только идеи этих ученых, но и замечательные догадки П. К. Услара. Бодуэн и Поливанов считали фонологию «психофонетикой», а главную единицу этой дисциплины – фонему – отпечатком звуков в психике человека. Само по себе это было правильно, но способов проникновения в человеческую психику не было (мало их и сейчас), подход оказывался слишком субъективным и непроверяемым. Требовалось найти строгие критерии, которые были бы чисто лингвистическими. И Яковлев в 1923 г. нашел такой критерий: смыслоразличение. «Все гениальное просто». Возьмем ряд слов:

дом, том, ком, лом, ром, сом. У всех слов разное значение, а звучание отличается только первыми звуками. Стало быть, эти звуки относятся к разным фонемам, их различие фонологично. Если же звуковое различие не связано с различиями в значении, то оно – не фонологическое, а лишь фонетическое (я, конечно, все излагаю очень упрощенно).

Подобные идеи, вероятно, восходили к Московскому лингвистическому кружку 1915–1916 гг., где их совместно обсуждали Трубецкой, Яковлев и Якобсон. Потом судьба их развела, они оказались в разных странах, но шли в одном направлении. И у Николая Феофановича оказался исторический приоритет: «Таблицы фонетики кабардинского языка» вышли в 1923 г., Трубецкой в печати высказал сходные идеи в 1925 г., Якобсон в 1927 г. Когда в 50–70-е гг. Якобсон стал приезжать на родину, он говорил о заслугах Яковлева.

В те годы переписка с заграницей допускалась, и Яковлев продолжал заочное общение с Трубецким, Якобсоном, Богатыревым. Трубецкой в ныне изданной переписке с Якобсоном часто упоминает Яковлева и в течение 20-х гг. чаще положительно, в одном из писем упоминая о рекламе, которую создал ему во Франции. Кроме того, Яковлеву в 1926 и 1928 гг. дважды удалось побывать за границей, где он общался со старыми друзьями.

1928 г. стал, пожалуй, пиком деятельности Яковлева как теоретика языкознания. Он успешно съездил за рубеж, получил международную известность, и в том же году появилась самая знаменитая из его теоретических статей «Математическая формула построения алфавита». О самой формуле я скажу ниже, но здесь же Яковлев кратко, но емко сформулировал свои фонологические идеи. И А. А. Реформатский впоследствии, составляя хрестоматию по истории отечественной фонологии (1970), открыл ее перепечаткой этой статьи. Но дальше Яковлеву пойти по этому пути не удалось. Есть данные о том, что в 1928–1929 гг. была принята к изданию его рукопись «Теория фонем» объемом 6 листов, если бы она была своевременно издана, она могла бы иметь для науки не меньшее значение, чем всемирно известные «Основы фонологии» Трубецкого, появившиеся позже. Но рукопись признали недостаточно актуальной, дальнейшая ее судьба неизвестна, а Яковлев переключился на другую проблематику. И как фонолог он уже не двинулся дальше, о чем свидетельствуют соответствующие разделы его позднейших кавказских грамматик. Дальнейшее развитие данного направления в фонологии выпало целиком на долю Трубецкого и Якобсона, которым досталась и вся мировая слава.

Впрочем, дел у Яковлева хватало и без этого. Со второй половины 20-х гг. он становится научным руководителем создания алфавитов для языков народов СССР. Эта широкомасштабная деятельность не имела аналогов в мире ни до, ни после этого. После революции в стране была поставлена задача развить все языки, функционировавшие в стране, до уровня европейских языков, решение этой задачи получило название языкового строительства. Центральным компонентом такого строительства стало создание письменностей для бесписьменных языков или языков, обладавших лишь неадекватным письмом, например, арабским. В ходе языкового строительства ликвидировалась неграмотность, распространялось элементарное образование, создавались условия для дальнейшего культурного роста, формировалась новая интеллигенция. Объективно шел процесс сближения культур разных народов с мировой культурой. Но одновременно жесткими методами форсировался разрыв со всеми традициями, а в задачах языкового строительства имелось много утопического. Ставилась задача дать возможность каждому гражданину СССР читать Шекспира и Ленина на родном языке, но оказывалось, что одним такое чтение не было нужно вообще, а другие предпочитали это делать по-русски.

Но научное обеспечение языкового строительства оказалось высококлассным. Здесь мы видим пример успешного «госзаказа», когда цели государства оказались направленными в ту же сторону, что развитие науки. Создание алфавитов – прикладная фонология, что отмечал и сам Яковлев. Только те звуковые признаки, которые различают смысл и ощущаются носителями языка, должны (не обязательно взаимно однозначно) отражаться на письме, а создатели алфавитов еще в древности были, по выражению Яковлева, «стихийными фонологами». Но теперь на основе разработанной научной теории можно было создавать рациональные системы письма, этим целям служила и упомянутая выше «математическая формула построения алфавита», уменьшавшая число букв.

Вокруг Всесоюзного центрального комитета нового алфавита (1925–1937) сложился коллектив из крупных языковедов, специалистов по разным языкам и языковым группам, в большинстве молодых, хорошо образованных и знающих фонологию. Им помогали интеллигентные носители языков, для которых готовились алфавиты. В работе комитета некоторое время участвовал и Е. Д. Поливанов, но у него с Яковлевым началась борьба за первенство (осложнявшаяся принадлежностью к разным фонологическим школам), закончившаяся поражением

Поливанова. Однако на ее исход повлияет появление третьей мощной силы в лице академика Н. Я. Марра.

Яковлев в комитете был председателем Технографической комиссии, то есть он возглавлял его научную часть. Он был и основным докладчиком на многочисленных совещаниях по языковому строительству. Как писал впоследствии М. В. Панов, «многообразным было его участие в общей работе. В создании одних алфавитов он был главный работник, других – помогал совершенствовать, консультировал на разных этапах их готовности. Принимал участие в “доводке” третьих. Четвертые алфавиты строились с учетом конкретного опыта Н. Ф. Яковлева, его достижений. Наконец, создатели пятой группы алфавитов не следовали конкретному опыту Н. Ф. Яковлева, но принимали во внимание его теорию». Ученый оставил после себя «фирменный знак» – букву I для передачи гортанных фонем, существующих в кавказских языках, именуемую «яковлевской палочкой».

Создание алфавитов определялось не только фонологией. Яковлев и его сотрудники получили большие полномочия в рамках строго определенного круга вопросов. Надо было решать много сложных проблем: для каких народов создавать свой алфавит, а какие обучать грамоте на языке более крупного соседа, какой диалект считать опорным, на каком языке достаточно начального обучения, а на каком надо создавать среднее, а то и высшее образование и пр. Яковлев выступал и с теоретическими публикациями об этом. И многоаспектным был вопрос о самом выборе системы письма. Традиционные системы письма (арабская, старая монгольская), были отвергнуты как разобщавшие народы и связанные со старой культурой, а кириллица тогда прочно ассоциировалась с царским временем и политикой обрусения. Поэтому самой нейтральной была признана латинская письменность, сближавшая народы СССР и между собой, и с «трудящимися Запада и Востока» (в это время перешли от арабского к латинскому алфавиту не только в СССР, но и в Турции). И к 1936 г., по подсчетам самого Яковлева, был создан 71 новый алфавит на латинской основе. Это впечатляло.

Латинизация, однако, имела одно препятствие. Как заявлял Яковлев в публикации 1929 г., «клином» между Западом, давно пользующимся латинским алфавитом, и Востоком, переходящим на него, лежат области распространения русского, украинского и белорусского языков, где сохранялась кириллица. Яковлев, как и Поливанов, подчеркивал, что дело не в качествах самого алфавита (с фонологической точки зрения кириллица не хуже и не лучше латиницы), а в том, что кириллица в отличие от латиницы не является мировым алфавитом. Поэтому Яковлев

добился создания при Наркомпросе комиссии под своим председательством для латинизации русского письма. В комиссию входили и другие квалифицированные ученые: Л. И. Жирков, А. М. Сухотин, В. И. Лыткин. В начале 1930 г. проект русской латиницы был готов и опубликован. Точнее, были предложены даже три варианта, различавшиеся начертанием некоторых букв, но составленные по единому принципу.

В качестве примера того, как выглядит латиница Яковлева, запишем ею две фразы: *Программа развития малых языков СССР обычно не встречала прямого противодействия. Однако для ее реализации имелось два препятствия* (использован вариант латиницы, наиболее близкий к буквенному составу алфавитов для западных языков): Programma razvitija malyh jazykov SSSR obycno ne vstrecala protivodejstvija. Odnako dlä ejo realizaçii imelosj dva prepätstvija.

Проект с чисто научной точки зрения был хорошо продуман и вполне удачен, соответствуя фонологическим принципам и перенося на латинский алфавит ряд привычных для нас особенностей кириллической орфографии (латиница Яковлева куда лучше той русской латиницы, которая сейчас стихийно появляется в Интернете). Но проект явился не ко времени. Если бы он был предложен сразу после революции, может быть, у него имелись бы шансы. А в 1930 г. идея мировой революции уже была оставлена, курс на построение социализма в одной стране вел к повышению роли русского языка и его атрибутов, главнейшим из которых была кириллица. Переход на всемирный алфавит перестал казаться актуальным, что не понимал Яковлев, еще живший в старой системе координат. И сменить алфавит легче, если старым алфавитом владели немногие, как это было тогда у многих народов СССР. А переход русского языка на латиницу был бы слишком болезнен, заставив десятки миллионов взрослых людей переучиваться. Вопрос об алфавите был рассмотрен на высшем уровне. 26 января 1930 г. за подписью И. В. Сталина было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О латинизации» (оно лишь недавно опубликовано в 17-м, дополнительном томе собрания сочинений Сталина): «Предложить Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита».

Неудача с русской латиницей обозначила предел, дальше которого уже нельзя было заходить, хотя языковое строительство в 1930 г. еще не закончилось. А в итоге ни один алфавит из 71 не сохранился, и для многих народов письменность вообще не закрепилась.

Но первое заочное столкновение профессора Яковлева с

вождем еще не имело для него особых последствий. Все 20-е и отчасти 30-е годы «красный профессор» (пусть беспартийный) был на хорошем счету у власти. Его очень ценил председатель Главнауки при Наркомпросе, член партии с 1896 г. Ф. Н. Петров (помню бодрого девяностолетнего старика, часто выступавшего в 60-е гг. по телевизору: Петров пережил все бури и оказался старейшим по стажу коммунистом в стране). Сохранился документ о Яковлеве за его подписью (привожу с сохранением орфографии подлинника): «Т. Яковлев является тем советским ученым, на которого партия и Сов[етская] Власть вполне может положиться в деле Культурного Строительства. Семилетняя научная работа тов. Яковлева, прошедшая на моих глазах, доказала, что я не ошибся в своем доверии к нему. Все поручения внутри СССР и за границей, которые я давал тов. Яковлеву как заведующий Главнауки, он выполнял умно, политически верно, с полным пониманием задач пролетарского Строительства». Выше упоминались две загранкомандировки Яковлева. Первый раз он возил в Германию, Норвегию и Францию выставку образцов национальной письменности СССР и выступал с докладами о языковом строительстве. О второй командировке он писал: «был приглашен Интернациональным институтом интеллектуального сотрудничества при Лиге наций (Париж) на съезд экспертов по составлению лингвистической библиографии и на 1-й Международный конгресс лингвистов (Гаага), куда и выезжал с разрешения Главнауки НКП. Однако в виде протеста против отказа Голландии выдать визу советским делегатам на международный конгресс по изучению Тихого океана, отказался участвовать на конгрессе лингвистов… несмотря на это, был выбран конгрессом членом международной комиссии по изучению малоизученных языков». Не ученый, а представитель страны! И представлял страну он достойно.

Яковлев боролся за утверждение новой науки, ниспровергал старую, не стесняясь в выражениях. Представитель старой, традиционной школы Г. А. Ильинский жаловался в 1930 г. в письме академику Б. М. Ляпунову: «Один из здешних марровских “молодцов” “кавказовед” Н. Ф. Яковлев… еще в августе напечатал в газете “За коммунистическое просвещение” возмутительную статью, призывая сторонников марксизма и яфетизма сплотиться против индоевропеистов и начать персональную атаку на них как “подкулачников” (!!!)». Тон Яковлева в период коллективизации звучал зловеще. Но Ильинский (славист по специальности) не имел оснований называть одного из крупнейших в мире специалистов по Кавказу «кавказоведом» в кавычках, а научная перспектива тогда была за

Яковлевым.

Однако к концу 20-х гг. у него в борьбе за «новую науку» оказался мощный конкурент – академик Н. Я. Марр, все более утверждавший свою монополию. И позиция Николая Феофановича оказалась противоречивой. Дело было не только в административном давлении: Яковлев умел бывать независимым и стойким. Но он (в отличие от другого «красного профессора» Е. Д. Поливанова) оказался подвержен притягательному мифу марровского «нового учения».

Еще в 1922 г., когда Марр не объявлял себя марксистом, Н. Трубецкой писал из Вены Р. Якобсону в Прагу: «Я написал длиннейшее письмо Яковлеву, но ответа не получил… Боюсь, не обиделся ли он, т. к. я очень резко отозвался о Марре и упрекал Яковлева за увлечение Марром». В другом письме тому же адресату от 1924 г. Трубецкой писал, что хочет Яковлева «еще раз попытаться оттащить от Марра».

Не помогло, хотя нельзя сказать, что Яковлев принимал все идеи Марра: он никогда не умел слепо идти за авторитетами. Наиболее независим он был в областях своих основных занятий: в фонологии и языковом строительстве. Вмешательства Марра и его последователей – «подмарков», как тогда говорили (И. К. Кусикьян, Б. М. Гранде, И. Д. Дмитриев-Кельда), в языковое строительство были крайне некомпетентными, и Яковлеву приходилось все время с ними бороться. Ситуация осложнялась тем, что Марр еще до революции придумал транскрипцию для передачи сложной абхазской фонетики и посчитал ее в 20-е гг. «прообразом всемирного алфавита», марристы потребовали ее внедрения для каждого языка народов СССР. Марр не только не знал фонологии, но даже не понимал разницы между научной транскрипцией и практическим алфавитом. Его транскрипция, стремившаяся передать с помощью сложных надстрочных и подстрочных знаков самые тонкие оттенки звуков, не имевшие фонологического значения, была крайне трудна; в Абхазии ее ввели в качестве алфавита под влиянием авторитета Марра, но через два года от этого отказались, поскольку освоить новый алфавит не могли даже учителя. В борьбе против этого алфавита Яковлев был последователен и принципиален, и это оказался тот редкий случай, когда марристам пришлось уступить.

Но в других вопросах оказалось иначе. Яковлев увлекся марровскими теориями происхождения языка и его развития от «диффузных выкриков» и «четырех элементов» до наших дней. Вслед за Марром он утверждал, что нет языковых семей: «родство» языков есть вторичная надстроечная над экономикой общность, социальная, но никак не расовая». О марровских

произвольных построениях в области языковой доистории он писал: «Его сила и проницательность по отношению к ранним общественным формациям может быть сравнима с силой спектрального анализа».

Печальным эпизодом биографии Яковлева стало участие вместе с марристами в избиении Е. Д. Поливанова в начале 1929 г. (подробнее см. очерк «Метеор»). Николай Феофанович заявил, что у него есть расхождения с академиком и его трудно назвать правоверным марристом, но «выгода не в материально добытых фактах, а в том направлении, которое Николай Яковлевич придал своему исследованию. Его живая мысль так увлекает всех окружающих лингвистов». После дискуссии Поливанов покинет Москву, а научное руководство языковым строительством сохранится за Яковлевым.

До рубежа 20-х и 30-х гг. направленность идей и интересов Яковлева соответствовала общей линии государственной политики. Но расхождение по вопросу о латинизации русской письменности было не случайным. Интернационализм сменялся национализмом. Научное новаторство, независимость характера, непризнание авторитетов – все это приходилось ко двору в первое послереволюционное десятилетие, когда шла борьба со старой наукой. Теперь стали поощряться гибкость и умение повторять последние лозунги вождей, не свойственные ни Поливанову, ни Яковлеву. А по отношению к Марру Яковлев мог быть сторонником, но не верноподданным, поэтому марристы не могли его считать «своим». Еще в 1927 г. Марр оттеснил его от руководства Комитета по изучению языков и культур Северного Кавказа: комитет был преобразован в Институт этнических и национальных культур народов Востока во главе с Марром, который жил в Ленинграде и приезжал редко. Яковлев стал там лишь вторым заместителем директора, затем только заведующим кавказским сектором. Институт несколько раз реорганизовывался, менял названия, в конце концов, превратившись уже после смерти Марра в Московское отделение академического Института языка и мышления. В 30-е гг. институт стал основным местом работы Яковлева.

С 1930–1931 гг. начинаются проработки Яковлева со стороны марристов. Целую бурю вызвала разработанная им программа для сбора словарного материала по языкам горских народов Кавказа. Он разработал словник, разбитый по рубрикам «Материальная культура» и «Духовная культура». В последнем разделе 7 % составили слова, связанные с новой эпохой, а 93 % – названия предметов и явлений традиционной культуры. В ответ московский маррист И. К. Кусикьян заявил: «93 % махровой

поповщины», а начинающий ростовский последователь Марра Г. П. Сердюченко по поводу включения политической лексики в раздел «Духовная культура» написал: «Не известно ли проф. Яковлеву, что с точки зрения марксизма-ленинизма “политика есть концентрированная экономика” (см. программу партии)? “Отрыв экономики от политики есть характернейшая черта буржуазных теоретиков и их социал-фашистских лакеев”, – говорит тов. Каганович… И на позицию этих социал-фашистских лакеев и встал Яковлев в своей статье». Вывод Сердюченко: «Программа Яковлева действительно не встретила бы возражений и у святейшего синода». Кусикьян же действовал на грани доноса, сопоставляя его работы с трудами «белогвардейского профессора бывш[его] князя Н. Трубецкого».

Тогда подобные обвинения были в порядке вещей и вовсе не вели к лишению работы и тем более к аресту, как сейчас иногда думают. Но работать в такой обстановке было трудно, а карьера Яковлева в 30-е гг. уже не была столь блестящей, как в предыдущее десятилетие. Иногда он пытался быть «святее папы». В его грамматиках кавказских языков 30–40-х гг. почти любое грамматическое явление иллюстрируется либо предложениями из газетных передовиц и партийных постановлений, либо сконструированными примерами про рабочих или колхозников. Это для того времени даже не было обязательно: преемник Марра по руководству советским языкознанием академик И. И. Мещанинов иллюстрировал свои труды изящными примерами из Поля Бурже и других французских романистов, считая излишним их переводить. Но Мещанинов был тогда вне критики, а Николаю Феофановичу надо было предупредить новые обвинения в «махровой поповщине». И некоторые его рассуждения сейчас выглядят очень упрощенными. Дважды он приводил один и тот же пример того, как логическая и грамматическая структура предложения может не совпадать с реальной: в «языке буржуазии» существует фраза: *Фабрикант изготовляет мебель*, хотя на самом деле ее изготовляют рабочие. Но не надо смеяться над ученым: по сути он излагает важное, а для того времени новаторское положение о том, что семантическая, синтаксическая и коммуникативная (логическая) структуры не совпадают ни друг с другом, ни с отношениями в реальности.

В 1937–1938 гг. «снаряды падали рядом». Был распущен Всесоюзный центральный комитет нового алфавита, а его руководители репрессированы. У Яковлева погибли муж сестры и брат первой жены, кандидат в члены ЦК и первый секретарь обкома в Одессе. Сама В. И. Вегер осталась жива, но ее выслали из Москвы вместе с двумя дочерьми от Яковлева; правда, они к

тому времени разошлись, а Николай Феофанович женился во второй раз (от этого брака была еще одна дочь). Яковлев не пострадал, но его положение в науке начало идти вниз. Со второй половины 30-х гг. в числе прочего возврата к прошлому была восстановлена система ученых степеней (с тех пор не менявшаяся). Поначалу степень доктора наук видным ученым давали без защиты (даже вернувшемуся из ссылки В. В. Виноградову и вернувшемуся из-за границы Н. А. Невскому). А Яковлев такую привилегию не получил, из-за чего он временно даже потерял имевшееся у него с 20-х гг. звание профессора. Лишь после войны он защитит в качестве докторской диссертации кабардинскую грамматику и восстановится в профессорском звании.

Менялась и языковая политика. После 1933 г. создание алфавитов пошло на спад, для некоторых языков новые алфавиты реально не вступили в действие, а образование на этих языках заменялось обучением на русском языке. А с 1937 г. недавно введенные латинские алфавиты срочно менялись на кириллические, эта работа в основном была завершена накануне войны. Она соответствовала новой политической ситуации: о выходе народов на мировую арену и интернационализме уже не думали, главным было сближение народов внутри единого государства и повышение роли русского языка. Новые алфавиты создавались не с нуля, учитывался опыт создания алфавитов на латинской основе, кое-что брали оттуда, включая яковлевскую палочку. Яковлев принимал участие и в их конструировании, но научный уровень алфавитов в целом упал: единый государственный орган после роспуска в 1937 г. восстановлен не был, а утверждение кириллических алфавитов отдали в руки местных органов власти, обычно не отличавшихся компетентностью. Началась и сознательная, и иногда искусственная русификация новых литературных языков. Часто под русский язык подгоняли даже грамматику. И Яковлеву приходилось писать, например: «Дательный падеж в марийском языке представляет собою сравнительно недавнее вторичное образование. Однако дательный падеж должен быть включен в основные падежи, исходя из перспектив всего дальнейшего развития марийского языка и его связей с русским языком».

Но в 30-е гг. Яковлев создал и пять фундаментальных грамматик кавказских языков, составивших значительный вклад в мировое кавказоведение. Из них тогда удалось издать лишь две грамматики полностью и одну частично. Вышли фундаментальная адыгейская грамматика совместно с адыгейским учеником Д. А. Ашхамафом (1941), кабардинская

грамматика сначала в кратком варианте (1938), а после войны (1946) полностью, и один том (из двух) чеченской грамматики (1938). Второй том чеченской грамматики и ингушская грамматика не вышли сначала из-за войны, потом из-за трагедии чеченцев и ингушей в 1944 г. По иным причинам не повезло абхазской грамматике. В 1935 г. она уже была сдана в набор, но вмешался директор Абхазского НИИ, ученик Марра А. К. Хашба, написавший отзыв, зачеркивавший книгу. Отзыв Хашба (без рукописи Яковлева!) послали на третейский суд в Ленинград И. И. Мещанинову, взявшему сторону абхазского коллеги. Сохранившийся ответ Мещанинова показывает, что главная вина Николая Феофановича состояла в попытках спорить с уже покойным Марром: «Вполне правильны указания А. К. Хашба на неуместные нападки проф. Яковлева на метод палеонтологического анализа… Неуместны и совершенно неправильны утверждения проф. Яковлева, ограничивающие работу акад. Н. Я. Марра по абхазскому языку только составлением алфавита». Грамматика не вышла.

Отчуждение Яковлева от научных лидеров тех лет было двусторонним, а положение Яковлева среди московских лингвистов оказывалось все более обособленным. Он был вспыльчив, неуживчив, остер на язык, имел славу человека с плохим характером. А то главное, что придавало ему научный вес, уже сходило на нет: работа по созданию алфавитов заканчивалась. Впрочем, у него было свое научное окружение. Продолжалось содружество с Л. И. Жирковым, и появился новый сотрудник: не кто иной, как Г. П. Сердюченко, когда-то побивавший ученого цитатами из Л. М. Кагановича. Перебравшись из Ростова в Москву, он сумел сдружиться с Яковлевым и использовать его в своих целях. Впоследствии эта дружба дорого обойдется Николаю Феофановичу.

Наступила война. Яковлев был призван, но не попал на фронт, а в 1942 г. демобилизовался. В военные и послевоенные годы он уже не конструировал алфавиты, в то же время усилилась преподавательская деятельность. Он был профессором двух московских вузов – Московского института востоковедения и Военного института иностранных языков, где читал курс общего языкознания (продолжалась и работа в Институте языка и мышления, где Яковлев заведовал кавказским сектором). В обоих институтах подобрался сильный преподавательский состав, но все же для языкознания они занимали периферийное место по сравнению с МГУ и даже Институтом иностранных языков, но там Яковлев не работал.

Еще живы некоторые из студентов и слушателей, посещавших

лекции Яковлева. Не будучи хорошим лектором, он производил на них сильное впечатление и многим запомнился. Попав в аудитории из московских коммуналок и фронтовых окопов, они окунались в атмосферу высокой науки, слушали рассказы о фонеме и морфеме, о Бодуэне де Куртенэ и Соссюре, о разных языках. Не избегал он упоминания и «врагов народа», включая Поливанова (в жизни они не ладили, но его работы Яковлев ценил). Но чувствовался в этом человеке надлом, не вязавшийся с его рангом профессора (в 1946 г. он баллотировался и в члены-корреспонденты Академии наук, но избран не был). На лекции, как рассказывал мне его слушатель по Военному институту Ф. Д. Ашнин, он приходил в единственном потрепанном пальто, почему-то он не мог вставить зубы, которых у него почти не осталось, из-за чего его речь бывала неразборчивой. А один эпизод навсегда остался неясным: Ашнин мне рассказывал, что слушатели (так называли курсантов этого военного вуза) посылали своего профессора за водкой; но когда мы писали с ним статью о Яковлеве и я предложил сказать об этом, Федор Дмитриевич резко ответил, что никогда такого не было и он такого не говорил. Может быть, и не было.

Однажды слушатели спросили Яковлева о Марре. В ответ он чуть не заплакал и с трудом выдавил: «Сколько я от этого человека настрадался!». Но добавил: «И все-таки он был великий ученый!». Слова, почти совпадающие с теми, которые произнес о главном критике Марра образованнейший и эрудированнейший грузинский византинист С. Г. Каухчишвили: «Сталин меня два раза сажал. Двое с шашками меня били. И все равно я скажу: Наш Сталин был великий человек!».

И отойти от Марра Яковлев уже не мог, хотя и старался проявлять некоторую независимость. Позднее не любивший Яковлева академик В. В. Виноградов обвинит его в попытках создать «московскую школу марризма». Марровской оказывалась сама проблематика его работ. Почти весь XX век наука избегала из-за отсутствия фактического материала рассматривать проблему происхождения языка (лишь с 90-х гг. XX в. наметилось оживление интереса), и только Марр объявил, что знает, как люди стали говорить. А Яковлев решил здесь конкурировать с академиком и вместе с историком первобытного общества В. К. Никольским (когда-то тоже участником избиения Поливанова) издал две брошюры, где предлагалась отличная от Марра, но столь же умозрительная концепция развития языка от обезьян через питекантропов и неандертальцев до современных людей. Брошюры в первые послевоенные годы были популярны и выдержали несколько изданий вплоть до «Научно-популярной

библиотеки солдата и матроса», их издали в нескольких странах, включая Австрию.

Неровными были и другие публикации Николая Феофановича тех лет, в большинстве по кавказским языкам. Добротный анализ фактов, умение в каждом конкретном явлении находить отражение общелингвистических закономерностей. Перспективные идеи, вроде так называемой грамматики порядков, ставшей в нашей наук популярной в конце 60-х – начале 70-х гг. (И. И. Ревзин и др.). И тут же попытки в духе Марра трактовать явную омонимию как остатки первобытной «диффузности» значения. В адыгейском языке омонимичны корни со значением *жать* и *море*, трактовка Яковлева: когда жнут, нагибаются, море для горца – внизу, значит, это один корень с единым нерасчлененным значением, восходящим к первобытности. За Яковлевым шел Сердюченко, доводя такие положения до еще большего абсурда. В целом же, как отмечает автор очерка о советском кавказоведении в международном труде «Current Trends in Linguistics», работы Яковлева предвоенных и послевоенных лет содержат интересные идеи, но уступают блестящим публикациям 20-х гг.

Относительно спокойные времена между тем окончились осенью 1948 г. Начался последний этап борьбы за «чистоту идей Марра». Марристы, среди которых особенно активен был Г. П. Сердюченко, ставший к тому времени заведующим Московским отделением Института языка и мышления, начали громить «менделистов – вейсманистов – морганистов», а затем и «космополитов» в языкознании. Били почти каждого, доставалось и Яковлеву. Кавказовед Е. А. Бокарев находил у него «грубые методологические ошибки вульгарно-социологического характера». Ленинградская последовательница Марра А. В. Десницкая вспомнила, что он в былые времена состоял в одном кружке с эмигрантом Р. Якобсоном. Орган ЦК, газета «Культура и жизнь» («Культура и смерть», как ее называл писатель Б. В. Шергин) нашла у него «смычку» с «клеветническими» заявлениями давно разгромленной группировки «Языкофронт» (см. очерк «Выдвиженец») о том, что главная заслуга Марра состоит в изучении языка «наших волосатых предков».

Но не лез в карман за словом и сам Яковлев. В 1949 г. вышли три его статьи (одна из них опять вместе с В. К. Никольским), которые оказались последними его большими по объему публикациями. Лучше бы он их не писал! Всю советскую науку после смерти Марра он охарактеризовал как замалчивание его учения. Идеи В. М. Жирмунского, А. В. Десницкой и отчасти В. В. Виноградова он сопоставлял с «милитаристской истерикой

расиста Черчилля». Невзирая на чины и звания, он обличал всех, начиная с И. И. Мещанинова, обвиненного в полном отходе от Марра, и кончая многолетним соратником Л. И. Жирковым. Яковлев дошел даже до такого обвинения, которое более не высказал никто: «Приступы травли и пароксизмы слепого бешенства против Марра со стороны реакционеров и идеалистов… повторялись периодически, часто в той же или сходной форме, пока, наконец, не привели великого ученого к преждевременной гибели». И лишь одного из коллег он не тронул и три раза в одной статье похвалил: Г. П. Сердюченко (боялся или считал другом?).

В положительной части этих публикаций Яковлев и Никольский, повторив гипотезы о питекантропах, вернулись к тогда уже отвергнутым советской наукой (в частности, И. И. Мещаниновым) идеям о связи общественно-исторических формаций с грамматическим строем языков. И во времена Марра такая связь получалась лишь для первобытного общества, а связь грамматического строя с более развитыми формациями, в частности, с капитализмом всегда была больным местом марристов. Марр просто обходил этот вопрос, а Яковлев заявил: «Капиталистическое общество не могло создать и не создало принципиально нового строя человеческой речи. Такой строй будет создан лишь в социалистическом обществе». Строй же английского языка – регресс по сравнению с древними германскими языками, «беда, пережиток отсталых условий средневековья и господства иноземцев».

Читать такое у одного из основателей структурной фонологии тяжело. Но надо отдать Яковлеву и должное. Когда была дана команда работать в духе Марра, другие ограничивались славословиями и общими фразами, а он честно попытался это сделать. Но то, что получалось у шамана Марра, не могло получиться у ученого. Он не мог не пытаться вносить логику в принципиально алогичные построения, поэтому под его пером вопиющие противоречия становились только еще более очевидными.

И даже в это время Яковлев проявлял индивидуальность. В число великих ученых он пытался включить своего любимого П. К. Услара, мало пригодного к этому из-за генеральского чина и особенно немецкого происхождения. А в одной из статей 1949 г. он проявил очень большую смелость. Перечисляя сделанное в области языкознания и языкового строительства на Северном Кавказе за советское время, он наравне с другими называл чеченский, ингушский, карачаевский, балкарский языки, которые тогда нельзя было упоминать, а среди деятелей культурного

строительства на Кавказе перечислил и представителей этих народов, тогда находившихся в ссылке. И все это вышло в свет!

В мае 1950 г. в «Правде» внезапно объявили дискуссию по языкознанию, исход которой поначалу не был ясен наблюдавшим за ней лингвистам. Яковлев следил за дискуссией, публично назвал в Институте востоковедения осторожную статью В. В. Виноградова «меньшевистской», сам написал в «Правду». Но его статья напечатана не была. А 20 июня громом среди ясного неба стало выступление самого И. В. Сталина против Марра.

Теперь Яковлев, сам долго без успеха добивавшийся причисления к марристскому лагерю, не мог не оказаться под ударом. В самом конце дискуссии ему все-таки дали слово, но только покаянное (от своего имени и имени В. К. Никольского). 4 июля он писал в «Правде», что обещает исправить свои ошибки «методологически четкой линией и научной критикой лженаучных положений акад. Н. Я. Марра в дальнейших своих работах».

Первое время после сталинского выступления Яковлев сохранял прежние места работы (правда, из Военного института к тому времени ушел сам). Но «исправление ошибок» оказалось для него уже невозможным делом. Если многие его коллеги еще до 1950 г. преодолели увлечение Марром и лишь прикрывались цитатами из него, как щитом, что давало возможность перейти под прикрытие других цитат, ничего принципиально не меняя, то Николай Феофанович действительно сроднился с рядом идей Марра. А быть конъюнктурщиком он не умел. Благодаря Л. Р. Концевичу, тогда студенту Института востоковедения, сохранилась рукопись последнего курса Яковлева, прочитанного там уже в 1950/1951 учебном году. Из этого текста видно, как трудно ему давалась «перестройка». То он повторял и без того упрощенные высказывания Сталина, иногда еще более их упрощая: по его мнению, литературный персидский язык – не язык, а жаргон, поскольку в нем более 50 % лексики составляют заимствования из арабского языка. То он сохранял уже ставшие одиозными идеи Марра, например, отрицание языкового родства и языковых семей (исключая славянское родство и славянскую семью, прямо названные Сталиным). По его мнению, индоевропейского родства никогда не было, а русский и английский языки лишь «считаются» индоевропейскими. Снова большое внимание уделено языку питекантропов (Яковлев пытался в это время переработать брошюру о происхождении языка, не понимая, что в новых условиях она негодна в принципе). Очевидно, что курс готовился в спешке, в расчете на богатую эрудицию, которая часто подводила: урду он вместо

индийских языков причислил к иранским, а «высокий штиль» М. В. Ломоносова, на котором писали торжественные оды, но в обычной жизни не говорили, назвал «жаргоном феодальной верхушки». Как всегда у Яковлева, немало интересного и разумного, но в целом это – регресс. А этот неизданный текст оказался итоговым.

И вел себя Николай Феофанович на свою беду нестандартно. Таким, как он, было положено много раз каяться, а он чередовал покаяния с явно неуместными в его ситуации обвинениями новых руководителей своего института (теперь названного Институтом языкознания) В. В. Виноградова и Б. А. Серебренникова в «неправильном понимании сталинского учения». В ответ его еще в конце 1950 г. сняли с должности заведующего кавказским сектором. Яковлев не унялся и в июне 1951 г., когда в институте отмечали первую годовщину выступления вождя, устроил скандал, напав на главного консультанта Сталина по вопросам языкознания А. С. Чикобава и его ученицу Т. С. Шарадзенидзе за высказывание о том, что язык развивается эволюционно. Для Яковлева язык и революция все еще были неразрывны, хотя окружающие языковеды так уже не думали.

В ответ дирекция института поставила вопрос о невыполнении плана. Рукопись абхазской грамматики (видимо, новый вариант несостоявшейся грамматики 1935 г.) Яковлев не смог представить из-за пропажи всех экземпляров. Здесь не лучшую роль в его жизни сыграл Г. П. Сердюченко (сам имевший неприятности после выступления Сталина, но в итоге отделавшийся временным отстранением от руководящих должностей), у которого был один экземпляр. В письме в дирекцию Сердюченко заявил, что ничего не получал, а Яковлев, «видимо, рукопись потерял или забыл, как терял книги и рукописи, свои и чужие, уже не раз». Потом Сердюченко все же вернул экземпляр, но было уже поздно: рукопись отправили, как когда-то ее прежний вариант, в Сухуми, откуда вновь поступил разгромный отзыв (дело могло быть не только в Марре: грузинские и абхазские ученые считали москвича Яковлева «нарушителем границ»). В том числе Яковлева обвиняли в «незнании кавказских языков». Этот вариант также не был опубликован.

Итог: в августе 1951 г., когда Яковлев находился в своей последней кавказской командировке (в Черкесске), появилось распоряжение № 1305, подписанное не руководителями Института языкознания, а высшей инстанцией: вице-президентом АН СССР И. П. Бардиным и ее главным ученым секретарем А. В. Топчиевым. Оно гласило: «За систематическое невыполнение

научно-исследовательского плана и за упорное нежелание включиться в коллективную работу Института языкознания АН СССР по перестройке научной работы в области языкознания освободить старшего научного сотрудника сектора кавказских и иранских языков Яковлева Николая Феофановича от работы в Академии наук СССР». Фактический основатель московской части института (с 1950 г. ставшей основной) теперь с позором изгонялся из него. Тогда же его уволили и из Московского института востоковедения.

Николай Феофанович в конечном итоге после выступления Сталина пострадал тяжелее всех (арестов не было: по-видимому, так распорядился Сталин). Почему именно он? Если исходить лишь из того, что достоверно известно, то он более чем кто-либо не вписывался в «перестройку», задирал начальство, высказывал свое мнение, настаивал на идеях в духе Н. Я. Марра, а его отношения с В. В. Виноградовым и другими новыми лидерами советского языкознания были уже давно испорчены. В жалобах Яковлев все объяснял происками дирекции. Однако рассказывают, будто были и другие причины: невоздержанный на язык Яковлев что-то говорил, по одним воспоминаниям, про Л. П. Берия, по другим, про М. А. Суслова, и это стало известно в инстанциях. Но точных данных нет.

Яковлев, еще даже не достигший пенсионного возраста, пытался бороться, подавал на дирекцию Института языкознания в суд, но безуспешно. В ноябре 1951 г. народный суд 2 участка Киевского района Москвы отклоняет иск. Ученый продолжал ходить по инстанциям и дальше, но после одного из визитов наверх оказался в психиатрической больнице. Его поведение и раньше часто бывало неадекватным, а теперь наступил финал.

Ученый-языковед Николай Феофанович Яковлев после 1951 г. не напишет ни строчки, наука его потеряла. Остался жить несчастный, больной, заброшенный человек. Вспоминается шутка физиков про Л. Д. Ландау в последние годы его жизни: «Ландау умер, но тело его живет». Ландау прожил так шесть лет и был окружен вниманием. Яковлев прожил более двадцати лет и был забыт большинством коллег. Не только Г. П. Сердюченко, но и Л. И. Жирков его не навещал. И как я отмечал в начале очерка, для многих он стал как бы живым покойником, хотя его научные идеи (и фонологические, и кавказоведческие) не были забыты и находили продолжение. П. С. Кузнецов и его друзья по Московской фонологической школе (А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, Р. И. Аванесов) постоянно опирались на его наследие.

Лишь немногие из коллег иногда навещали выпавшего из науки профессора, среди них когда-то критиковавший его Е. А.

Бокарев, преемник по заведованию сектором кавказских языков Института языкознания. Бывали у него и ученики, в том числе Л. Р. Концевич и Ф. Д. Ашнин. Яковлев не был так уж «безумен», как утверждал знавший о нем понаслышке Ю. В. Рождественский. Когда болезнь не обострялась, профессор выглядел нормальным, оставался интересным собеседником, сохранял память и эрудицию. Отношение к окружающей действительности у него стало еще более критическим, хотя от своего прошлого он не отрекался. Но сил хватало лишь на застольные беседы, к лингвистике Николай Феофанович не пытался вернуться. И в лучшие годы он не отличался ухоженностью, теперь не о чем было и говорить. И пить он продолжал. А денег в доме не хватало.

В 1960 г. произошло событие, которое не знавшим ситуацию людям могло показаться возвращением Яковлева в научную жизнь: в Грозном издали второй том его чеченской грамматики. Но на самом деле книга была написана до войны. Издание готовил ученик Яковлева Ю. Д. Дешериев, даже не скрывавший в предисловии, что автор не участвовал в подготовке рукописи к печати. Дешериев самостоятельно сократил текст, опустив теоретическое введение со следами марризма. Впрочем, он добился получения автором гонорара, единственного за многие годы. Яковлев ненадолго ожил, решил прокатиться по Волге на теплоходе. Там он быстро спустил деньги, вернулся в Москву больной и зажил по-старому.

Шли годы. Ушли почти все друзья и враги и даже многие ученики и последователи: И. И. Мещанинов, В. В. Виноградов, Л. И. Жирков, В. К. Никольский, Г. П. Сердюченко, П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров, Е. А. Бокарев и даже И. И. Ревзин. А забытый и заброшенный Яковлев все жил. Впрочем, оставались два друга его юности, один в Москве, другой в Америке. Д. Д. Благой не забывал гимназического товарища и дарил ему свои книги. А Р. Якобсон, приезжая в Москву, просил встречи с Яковлевым. Но никто не решился показать опустившегося первооткрывателя структурной фонологии знатному иностранцу; Якобсону сказали, что Яковлев болен и разговаривать не может.

Наконец, 30 декабря 1974 г. Николай Феофанович Яковлев умер в возрасте 82-х лет. Немногие шли за его гробом, правда, среди них были сотрудники кавказского сектора Института языкознания во главе с Г. А. Климовым, из которых почти никто уже лично не знал основателя советского кавказоведения.

Немало горя хлебнули и все три дочери ученого. А вот его внучка от средней дочери Л. С. Петрушевская стала очень известной писательницей. Люди, знавшие ее деда, не удивляются,

отчего так мрачно ее творчество.

Научное наследие Яковлева не собрано. После переизданной еще при его жизни «Математической формулы» его труды не выходили. Из его рукописей, как я слышал, сохранилась ингушская грамматика, но кто решится ее издать? А последний вариант абхазской грамматики имеется лишь в неисправном виде, с не вписанными примерами. И где многие другие рукописи, включая «Теорию фонем» и первый вариант абхазской грамматики?

Яковлев жил долго, не был арестован, и все-таки его судьба оказалась трагической. Сейчас любят вспоминать афоризм немецкого писателя первой половины XIX в. Г. Бюхнера: «Революция пожирает своих детей» (он стал популярнее, чем когда-то более известное другое его высказывание: «Мир хижинам! Война дворцам!»). Эти слова могут быть применены к Яковлеву, как и к другому революционеру в нашем языкознании Е. Д. Поливанову. Оба были людьми 20-х гг., но в 30-е гг. почувствовали себя неуютно. Поливанов погиб, а избежавший ареста Яковлев пережил свое время, не вписался в новую общественную ситуацию и умер как ученый за 23 года до физической смерти.

Яковлев знал яркие взлеты и катастрофические провалы, но судить о нем все-таки надо по тому, что он сделал. А он много внес и в теорию фонем, и в кавказоведение, а созданные им кириллические алфавиты для ряда языков живут, и не исключено и возрождение его латинских алфавитов. И даже русская латиница, может быть, найдет еще применение. Ученый оставил после себя немало ценного, и память о нем сохраняется.

Первая женщина
(Р. О. Шор)

Сейчас среди студентов лингвистических специальностей значительно преобладают девушки, а в числе видных лингвистов процент женщин достаточно велик. И уже трудно себе представить, что менее столетия назад языкознание, как и другие науки, было чисто мужским делом. Мы не всегда осознаем, как быстро меняется мир. В 1858 г. знаменитый английский мыслитель Генри Томас Бокль прочел лекцию «О влиянии женщин на прогресс знаний», целью которой было восславить женщин. Он говорил, что женщина естественно предпочитает дедуктивный метод индуктивному, и, поощряя в мужчинах дедуктивные привычки мышления, она оказывает, хотя, может

быть, бессознательно, громадную услугу науке. Возможность женщины самой реализовать свои предпочтения ему в голову не приходила. Потом все необратимо изменилось. И первую женщину в отечественной лингвистике звали Розалия Осиповна Шор (1894–1939).

Правда, если учитывать и смежные с лингвистикой дисциплины, в особенности области методики преподавания языков и филологического анализа памятников, то женщины появились там несколько раньше, в начале XX в. Но наука о языке в собственном смысле в нашей стране была целиком мужской до самой революции. И именно Шор первой смогла в 20-е гг. в нее пробиться.

Конечно, для этого она вовремя родилась. Как пишет ее дочь в недавно вышедших интересных воспоминаниях с неакадемическим названием «Стоило ли родиться, или не лезь на сосну с голой задницей», «не знаю, сколько и как бы мама работала, если бы не революция. Революция, безусловно, открыла ей дорогу в науке, устранив на первых порах дискриминацию женщин и евреев, но за это она потребовала подчинения себе».

Розалия Осиповна Шор родилась 12 (24) июня 1894 г. в Ковно (ныне Каунас), но когда ей было шесть недель, семья переселилась в Москву, где Шор прожила всю свою недолгую жизнь. Семья была интеллигентной: отец – врач и ученый-бактериолог, мать – зубной врач. Окончив гимназию, Розалия поступила на германское отделение историко-филологического факультета Высших женских курсов, преобразованных после революции во Второй МГУ, его она окончила в 1919 г., затем она еще год занималась на лингвистическом отделении историко-филологического факультета Первого МГУ. Еще студенткой она начала участвовать в работе Московского лингвистического общества, существовавшего в 1918–1923 гг. и объединявшего московских лингвистов, принадлежавших к школе, восходившей к Ф. Ф. Фортунатову. Шор заведовала общественной библиотекой и трижды за пять лет существования общества выступала с докладами. Одновременно она (как и ряд других лингвистов) входила и в состав другого образования: Московского лингвистического кружка (1915–1924). Там она постоянно участвовала в дискуссиях и также не менее трех раз выступала с докладами. Там и там Шор входила в ядро обоих кружков, где все, кроме нее, были мужчинами. Темы ее докладов были разнообразными, а одна из них весьма примечательна: молодая исследовательница в 1923 г. говорила о знаменитом швейцарском лингвисте Ф. де Соссюре. Его «Курс», посмертно изданный в Женеве семью годами раньше, в Москве знали еще немногие. С

этой книгой в ее жизни будет еще многое связано.

Окончив университет, Шор сначала хотела заниматься литературоведением. Из ее письма тех лет, опубликованного дочерью, следует, что она увлекалась формальной школой, идеями Брика и Шкловского. Но ей предложили остаться при I МГУ (по современной терминологии, в аспирантуре) по кафедре сравнительного языкознания. И она связала жизнь с лингвистикой, хотя иногда публиковала работы и по литературе. В 20-е гг., когда почти все ученые работали во многих местах, Розалия Осиповна преподавала в I МГУ, работала научным сотрудником I разряда Лингвистической секции Института языка и литературы РАНИОН, научным сотрудником Гос. академии художественных наук (ГАХН), Института народов Востока, выполняла работу для издательств и энциклопедий.

Р. О. Шор принадлежала к поколению Е. Д. Поливанова, Н. Ф. Яковлева, Л. П. Якубинского. Эти яркие и талантливые ученые, тогда молодые, благодаря революции заняли ведущее положение, оттеснив старую профессуру, в большинстве не хотевшую и не умевшую приспособиться к новым ситуациям. Но и это поколение лингвистов, кроме Шор, состояло из мужчин. Характерна ошибка В. Н. Волошинова (см. очерк «Грустная судьба»), не раз ссылавшегося в книге «Марксизм и философия языка» на одну из ее публикаций, именуя ее «очерком Р. Шора». Современный специалист по М. М. Бахтину посчитал эту ошибку намеренной, «карнавальной». Однако напрашивается более простое объяснение: Волошинов, зная фамилию Шор лишь по публикациям, просто не мог себе представить женщину в качестве автора солидной научной статьи.

Но Шор была женщиной, и в 1926 г., за год до публикации этой статьи, родила дочь. П. С. Кузнецов (см. очерк «Петр Саввич»), учившийся у Розалии Осиповны санскриту как раз тогда, когда у нее был грудной ребенок, вспоминал: «когда родилась Женя Шор… кто-то несведущий спросил: “А кто же отец?”. Р. О. ответила: “Знаете, в нашем племени вообще принято непорочное зачатие”». Евгения Николаевна пишет, что так никогда и не узнала, кто был ее отцом.

Рождение ребенка никак не уменьшило трудовой активности Розалии Осиповны. Как вспоминает дочь, «мама обычно проводила весь день на работе и возвращалась домой поздно… Тут же она садилась за убранный обеденный стол; она всегда работала за обеденным столом… Казалось естественным, что она работает до двух, трех, четырех часов ночи… Мама работала так круглый год, в выходные дни тоже, она не брала отпуск (кроме последних двух лет), все равно ей нужно было летом писать свое

или редактировать чужое».

В чем-то положение единственной женщины среди мужчин могло быть и выигрышным: дочь отмечает среди качеств матери умение «сочетать женственность с ученостью» и вспоминает слова одного из ее коллег: «Розалия Осиповна была обаятельная женщина»; ср. оценку П. С. Кузнецова: «Р. О. [Шор] вообще была женщина остроумная». Кузнецов отмечает и то, что еще до знакомства с ней «слышал о ней много интересного и отчасти анекдотического», что свидетельствует о ее популярности. И карьера ее была успешной.

Помимо фантастической работоспособности Шор отличала и огромная эрудиция. Она знала 16 языков (правда, видимо, только индоевропейских). Как свидетельствует П. С. Кузнецов, учившийся в разные учебные годы санскриту у нее и у М. Н. Петерсона, объяснения Петерсона бывали интереснее, но язык Шор знала лучше. Это, конечно, было связано с ее великолепной памятью: по свидетельству дочери, «до 35–36 лет у нее не было записной книжки, а номеров телефонов ей нужно было помнить очень много». Эрудиция распространялась и на знание лингвистической литературы, особенно зарубежной, в этом у нее в те годы не было равных. Когда значительно уступавший ей в этом отношении В. Н. Волошинов имел неосторожность написать, что специальных работ по истории философии языка до сих пор нет, Шор в рецензии перечислила сразу пять солидных трудов, опубликованных за рубежом.

Такие знания нашли хорошее применение: энциклопедическую деятельность. Ее вклад в первое издание Большой советской энциклопедии огромен: гигантское количество больших и малых статей на самые разные темы: по теории языка, по конкретным языкам, персоналии лингвистов. Все 1930-е гг. Шор была редактором раздела «Языкознание» в энциклопедии (сначала совместно с Н. Я. Марром, а после его смерти единолично). Велик ее вклад и в печатавшуюся в 20–30-е гг. и оставшуюся незаконченной «Литературную энциклопедию», куда включались и статьи по лингвистике.

Количество публикаций Шор очень велико, особенно для автора, деятельность которого продолжалась недолго, менее двух десятилетий. Но преобладают «малые жанры»: энциклопедические статьи, обзоры, предисловия и послесловия, комментарии, рецензии (в этом жанре Шор тоже была очень активна). А прижизненных книг, не считая литературоведческих и изданий переводов, всего две и не слишком объемистые. Одна из них посвящена социологии языка, другая историографии лингвистики.

Книга «Язык и общество» появилась в 1926 г. (год рождения дочери автора) и была издана за один год дважды. Это, несомненно, самая интересная работа Шор, удачно сочетающая научность с общедоступностью, написанная ярко, привлекающая множество любопытных и иногда забавных примеров из художественной литературы и из разговорного языка. В книге ощущается, что ее автором была «женщина остроумная». Но цель автора вполне серьезна: «изложить в доступной для русского читателя форме новейшие достижения западноевропейской научной мысли в области *социологии языка*». На первом месте среди излагаемых ученых был Ф. де Соссюр.

Однако книга далеко не сводится к простому переложению идей «социологической школы». Большая ее часть посвящена проблеме, обычно вообще не рассматриваемой лингвистами, несмотря на свою важность. Книга, обращенная к широкому читателю, исследует стереотипы массового, «наивного» сознания в отношении языка, выявляет их причины и старается отучить от них. Начинает Шор с такого примера: негр Джим из «Приключений Гекльберри Финна» М. Твена не мог даже поверить, что в мире есть не один английский язык, и повстречавшийся ему француз может самые обычные вещи называть совсем по-другому, чем он. То есть, как пишет Шор, «рефлектирующее над языковыми фактами наивное сознание» удивляется множеству языков и особенно тому, что «в различных языках для обозначения одной и той же вещи применяются совершенно различные звуковые комплексы». «Серьезная наука» редко замечает такие проблемы (впрочем, как раз Соссюр их обсуждал, говоря о произвольности знака), но они очень важны. И недаром современный лингвист В. А. Плунгян назвал популярную книгу о языке «Почему языки такие разные?». И Шор вкратце рассматривает, какими разными бывают языки, давая начатки знаний о типологии и приводя разнообразные примеры.

Другая проблема связана с тем, что «сталкиваясь с проблемой многообразия человеческих языков, наивное сознание реагирует на нее, прежде всего, своеобразным протестом» (непривычное кажется «нечеловеческим», отсюда пародии на чужое произношение, прозвища и пр.). На это накладываются замечаемые носителями изменения в языке, что «окончательно разрушает свойственное наивному сознанию представление о естественно-необходимом характере его родной речи». И несостоятельность такого представления показана на разных примерах: говорится о социальном, а не естественном характере овладения языком, о различии между природными звуками (таковыми кажутся и звуки чужой речи) и звуками, включенными

коллективом в систему фонем.

Еще один предрассудок: «примитивному сознанию слово представляется тождественным с обозначаемым им предметом», что проявляется в магии слов, табу и пр. «Но в основе этого наивного представления лежит проблема менее ясная – проблема о тождестве *значения*, как существующего в коллективном смысле слова, и *названия*, как указания на предмет». И далее рассматриваются серьезнейшие проблемы семасиологической и номинативной функций, в том числе случаи их несовпадения.

Образование само по себе не ведет к преодолению «наивного сознания», наоборот, появляются новые предрассудки, связанные с письмом: «наивному языковому сознанию основной единицей речи обычно представляется графическое слово», хотя в связной речи это не так, на что указывают народные этимологии и каламбуры. Один из примеров Шор хочется привести: строку «Интернационала» *Воспрянет род людской* кто-то (ребенок?) воспринял как: *Воз пряни[ков] в рот людской*. Последнее, против чего предостерегает Розалия Осиповна – свойственное даже некоторым лингвистам отождествление значения слова с его этимологией: «Установление этимологической связи двух слов отнюдь не раскрывает их значение, но делает это значение “образным”, наглядным».

Анализ точно подмеченных свойств «наивного сознания» играет у Шор двоякую роль. Во-первых, оно дает возможность на, казалось бы, совсем простом уровне рассмотреть серьезные и сложные проблемы языка. Во-вторых, это имело тогда и имеет сейчас и самостоятельное значение. В 20-е гг. шло активное распространение литературного языка и книжной культуры среди массы, часто сохранявшей «наивное сознание», в том числе языковое, что могло порождать те или иные коллизии. А сейчас, конечно, человек со средним или высшим образованием уже не будет рассуждать, как негр Джим, и называть любого, кто не говорит на его языке, *немцем*. Но, вспоминая совсем недавние выступления за возвращение городу «настоящего» (в отличие от *Петрограда* и *Ленинграда*) имени *Санкт-Петербург*, или же сталкиваясь в наши дни с тем, как очень уважаемые люди всерьез считают проект небольших изменений русской орфографии «покушением на русский язык», думаешь, что поднятые Шор вопросы еще долго будут актуальными.

Последняя часть книги непосредственно посвящена теме, заявленной в ее названии. В то время социолингвистика как особая дисциплина еще не существовала, а в нашей стране Шор наряду с Е. Д. Поливановым выступала в роли первопроходца. Рассмотрено на ряде примеров, как социальная дифференциация

отражается в языковой дифференциации; описываются социальные диалекты, включая тайные языки, и их соотношение с «общим языком»; обращается внимание, что таким образом в языке выражается классовое или групповое самосознание. Шор избегала заявлений марристов (см. очерк «Громовержец») о всеобщей классовости языка, говорится лишь о выражении классовой борьбы в экспрессивной окраске слова (в том числе звуковой) и об обусловленных «классовым сознанием» мерах по регулированию языка (в зависимости от ситуации это может быть поощрением или искоренением заимствований и пр.). Специально обращено внимание на редко тогда упоминавшиеся теоретиками языка «торговые жаргоны» и пиджины. В то же время Шор признает (что делали не только марристы) существование смешанных языков, к которым относит английский и современный персидский. Постоянно автор книги старается объяснить те или явления языка изменениями в обществе, причем роль экономических факторов (особенно экономического господства) считает более важной, чем роль политики. При общей разумности подхода иногда объяснения выглядят излишне прямолинейными. Процесс распада языков Шор однозначно связывает с экономическим регрессом: распад латыни и образование романских языков она объясняет регрессом после падения Римской империи.

В целом книга вполне разумна и хорошо написана; хотя современная социолингвистика далеко ушла вперед, книга выглядит не такой уж устаревшей, в 2009 г. она переиздана. А в 20-е гг., безусловно, Шор была у нас лидером в области социологии языка. Ведущий французский лингвист тех лет А. Мейе откликнулся на книгу «Язык и общество», в конце рецензии выразив удивление тем, что автор – «une dame».

Но спустя пять лет Розалии Осиповне пришлось каяться за свою книгу. Она писала, что ошибочно пыталась «материалистически переработать Ф. Соссюра», вводила экономический фактор, но сохранила основные дефекты соссюровской концепции, в результате «нечеткость социологических понятий и недиалектичность всей концепции».

Такая смена вех прошла несколько этапов и была обусловлена как усилением борьбы за марксистскую лингвистику, так и установлением между 1926 и 1931 гг. господства марризма. В книге 1926 г. при использовании иногда марксистской терминологии задача построения марксистской лингвистики еще не ставилась, а влияния Марра не наблюдалось. Уже в 1929 г. (рецензия на В. Н. Волошинова) марксистская лингвистика обсуждается, но пока еще считается возможным

использовать, пусть после «коренной перестройки», идеи Соссюра. К 1931 г. так вопрос уже не стоял.

Учение Н. Я. Марра стало активно внедряться в языкознание с 1928–1929 гг., когда оно было при поддержке видных деятелей партии (М. Н. Покровский, А. В. Луначарский) объявлено «марксизмом в языкознании». Но в Ленинграде, где жил Марр, оно и тогда, и даже позже было влиятельнее, чем в Москве, где была заметна оппозиция ему. И одной из первых в Москве под влияние марризма (никогда, впрочем, не ставшее полным) подпала (наряду с Н. Ф. Яковлевым и Л. И. Жирковым) Шор. П. С. Кузнецов, упоминая о резкой враждебности марризму М. Н. Петерсона и А. М. Селищева, пишет: «Р. О. Шор, напротив, во многом тогда склонялась к Марру». В «поливановской дискуссии» 1929 г. она выступила на стороне противников Е. Д. Поливанова, то есть за Марра. В следующей дискуссии 1931 г. между марристами и «Языкофронтом» (см. очерк «Выдвиженец») она до конца не солидаризировалась ни с одной из сторон, но в целом также была за Марра.

Вряд ли такое поведение следует объяснять, как это часто делают в подобных случаях, только страхом и влиянием проработок. В Москве Шор, что отмечает П. С. Кузнецов, стала «склоняться к Марру» сразу, еще до его полной победы. Крайние марристы иногда задевали и ее, но в основном позже. Представляется, что «новое учение» ей действительно было интересно, хотя она была слишком образована и эрудированна, чтобы отвергнуть ради него всю мировую науку. В борьбе научных партий она была за Марра, но и не вместе с ним.

У Розалии Осиповны было много качеств, ценных для ученого: работоспособность, эрудиция, умение интересно писать и четко формулировать свои мысли. Ей не хватало самостоятельности во взглядах. И часто она увлекалась теми учениями, которые были в это время популярны. Так было с Соссюром, от влияния которого она полностью не освободилась, хотя в 30-е гг. стала к нему много критичнее. И так было с Марром. Впрочем, у обоих она не приняла самые смелые и порывавшие с традицией идеи: у Соссюра отказ от обязательного историзма, у Марра отвержение компаративистики. В результате ученые, строго придерживавшиеся определенных взглядов, упрекали ее в эклектизме. Вот позднейшая характеристика А. А. Реформатского: Шор «была по природе эклектична, заигрывала с марризмом».

Разделяя со многими языковедами интерес к Марру, Шор, с блеском воевавшая с «наивным сознанием», не замечала, что именно им во многом определялись замысловатые построения

именитого академика. «Новое учение» на деле оказывалось регрессом, возвращением к наивным представлениям, давно оставленным наукой. И объективно Шор оказывалась среди тех, кто затушевывал и сглаживал его антинаучные положения.

В 1931 г. вышли в свет две важнейшие работы Шор: ее вторая книга «На путях к марксистской лингвистике» и самая объемистая из ее энциклопедических статей «Языковедение». Они близки по тематике: там и там очерк истории мирового языкознания. Только энциклопедический очерк сосредоточен на «буржуазной лингвистике» (учение Марра изложено в том же томе в статьях других авторов), а в книге речь идет и о «марксистской науке».

Книга Шор 1931 г., вышедшая с предисловием А. В. Луначарского, стояла в ряду публикаций, ставивших целью создание нового, марксистского языкознания. Об этом тогда или немного раньше писали Н. Я. Марр и его последователи, Е. Д. Поливанов, В. Н. Волошинов, Г. К. Данилов, И. И. Презент и др. Люди во всех отношениях разные, и «марксистская лингвистика» у всех получалась разной. Особенность подхода Шор естественна для человека с большой эрудицией и меньшей научной самостоятельностью: она критически разбирает «буржуазную науку», выделяя в ней наследие, которое можно использовать (такового за исключением фактического материала остается немного), дает критический обзор существующей «марксистской лингвистики», но почти не предлагает собственных идей и методов.

Оба очерка развития «буржуазной науки» показывают обширные познания автора, фактически точны, содержат интересные оценки и замечания, но жестко подчиняются принятой тогда у нас (не только в лингвистике) схеме, согласно которой мировая наука XVI–XIX вв. повторяла в своем развитии судьбу формировавшего ее класса – буржуазии. Пока буржуазия была восходящим, прогрессивным для своего времени классом, наука шла вперед, достигнув высшей точки к началу XIX в., а дальше, как и породивший ее класс, стала клониться к упадку (что не исключало прогресса в решении каких-то частных вопросов). Так тогда подходила к истории лингвистики не одна Шор. В этой схеме были положительные стороны, например, внимание к науке XVII–XVIII вв., но, как любая схема, она была слишком жесткой, а оценки современной западной науки оказывались слишком резкими.

Еще перекос: такой подход требовал акцентировать роль ученых, которых можно было с тем или иным основанием считать материалистами. В результате «буржуазный материализм»

обнаруживался, прежде всего, у мыслителей XVIII в., в частности, у Ж.-Ж. Руссо, а последующие направления рассматривались как идеалистические: «Общий путь развития буржуазной научной мысли», по Шор, – «движение от материализма к идеализму».

Приходилось учитывать и особые обстоятельства. За год до публикации данных работ И. В. Сталин резко отозвался о социал-дарвинизме, связав его с «социал-фашизмом». Но в области языкознания социал-дарвинизм проявлялся, прежде всего, у А. Шлейхера. Поэтому он осужден особенно строго: «Как всякое перенесение дарвинизма в область общественных наук лингвистический натурализм Шлейхера является объективно-реакционным учением, широко используемым идеологами империализма». И вопреки этому несколькими строками ниже: «Натурализм Шлейхера… оказался мало устойчивым». Но не стоит судить об очерках на основе лишь таких примет времени, в них присутствует серьезное содержание. «Восходящий» период развития «буржуазной» науки Шор возводит к временам, когда «начало колониальной экспансии, географические открытия и торговые путешествия создают необходимые предпосылки для широкого ознакомления европейской научной мысли с новыми языковыми коллективами, с языками иных типов, чем известный с древности узкий круг языков европейских». Завершение «восходящего» периода – В. фон Гумбольдт: «последний крупный представитель философии языка, стоящий у начальной грани XIX в.». То есть этот мыслитель связывается не столько со своими современниками и последователями, как это обычно делается, сколько с предшественниками.

В западной науке времен Шор обычно считали эпоху до начала XIX в. «донаучным» периодом, а основателями «подлинной» науки о языке называли ученых первой половины XIX в. Ф. Боппа, Я. Гримма и Р. Раска. Вопреки этому в лингвистике XIX в. Розалия Осиповна видела регресс по сравнению с предшествующим веком, усиление индивидуализма и индивидуального психологизма. Ее достижения в основном сведены к тому, что «работа собирательно-описательная значительно продвинулась вперед», и в сборе фактов живых языков, и в дешифровке древних письменностей. Это то наследство, от которого нельзя отказываться (ср. Марра, который и это отбрасывал). Но методология всей этой науки неприемлема для нас: «Индивидуализм в восприятии языкового явления, свойственное философскому эклектизму хватанье за отдельный конкретный факт и боязнь широких философских обобщений, ползучий эмпиризм, откуда – крайнее сужение разрабатываемой области, – таковы характерные черты лингвистической науки

19 в. Интересно проследить, как в процессе ее развития исчезают те зачатки социально-исторической концепции языка, которые уже намечены были революционной просветительской мыслью XVIII в.». Если в первой половине XIX в. В. Гумбольдт и даже Я. Гримм еще связывали историю языка с историей его носителей, то далее наука о языке все более замыкалась в себе. Крайним проявлением такого замыкания она считает идеи Ф. де Соссюра о разделении на внутреннюю и внешнюю лингвистику, о необходимости сосредоточения внимания лингвистов на внутренних свойствах языковой структуры в отвлечении от внешних условий ее существования. Ранее Шор принимала этот компонент учения Соссюра, теперь же она называет его «шагом назад» и отвергает резче всего.

Ф. де Соссюр по-прежнему привлекает наибольшее внимание Шор среди ученых последнего времени, но теперь его теория оценивается критически: «сведение социального к коллективно-психологическому», «отрыв» понятия языка от «реальной общественной базы», превращение личности в «некий пассивный аппарат», «дробление» предмета лингвистики и пр. В замечаниях очевидны штампы эпохи, но по сути они были серьезны и выдвигались не одной Шор. Дробление лингвистки на отдельные дисциплины, дающее возможность сузить, но и при этом углубить объект исследования, например, сосредоточившись на синхронном изучении языка – существенный компонент концепции де Соссюра, нашедший продолжение во многих школах структурализма, но нарушавший многие традиции. А превращение говорящего в «пассивный аппарат, регистрирующий только то, что ему передает коллектив», не принимали у Соссюра не только Шор, но и, казалось бы, абсолютно далекий от нее В. Н. Волошинов, а позже Н. Хомский.

И оценка Соссюра у Шор все же не однозначна. Говорится о «ценности его системы», пусть снижаемой «рядом ошибочных выводов». И школа Соссюра и Мейе «права в своем утверждении примата коллектива над индивидом, объективности и принудительности для него социального явления языка» (в наши дни на Западе Соссюра как раз за это иногда критикуют, видя в его идеях отрицание либерализма и свободы). Итак, если не «перестройка» учения Соссюра, то хотя бы учет ряда его идей.

Адептам Соссюра (М. Н. Петерсон и др.) и ученым старой школы вроде Д. Н. Ушакова и А. И. Томсона в книге 1931 г. противопоставлены сторонники марксистской лингвистики. Тогда лишь марристы полагали, что их учитель уже все открыл, а Шор, как и большинство ее коллег, не считала поставленную задачу решенной: «Лингвистика представляет собой один из наиболее

забытых, один из наименее благополучных участков на идеологическом фронте». И «никакого единства, никакой одной господствующей системы мы в современном языкознании не находим».

Идеи К. Маркса, Ф. Энгельса, П. Лафарга присутствуют в книге как данность, которой надо следовать, но их оказывалось недостаточно для создания лингвистики в целом. В книге дается обзор имевшихся в СССР работ по марксистскому языкознанию. Шор скептически относится к попыткам применить для этого теорию условных рефлексов И.П. Павлова, считает эклектикой и попыткой «примирить марксизм со старыми системами языкознания» (Бодуэн де Куртенэ) идеи Е. Д. Поливанова, резко оценивает В. Н. Волошинова («quasi-марксизм»), здесь же дана и самокритика, о которой упоминалось выше. «Наиболее серьезным и оригинальным», как было уже положено в 1931 г., признается «новое учение» Н. Я. Марра. Особо как его положительная сторона подчеркнута опора на материал игнорируемых старой наукой бесписьменных языков. Однако в очерке нет и полного принятия марризма: у Марра есть «пережитки» «естественнонаучного материализма», Марр не всегда учитывает высказывания классиков марксизма о языке и др. А многие компоненты учения Марра вроде четырех элементов Шор обходит.

Позитивные взгляды в книге сводятся к общим положениям: применить в языкознании те или иные компоненты марксистского учения, в том числе диалектику, которая уже присутствовала у лучших «буржуазных лингвистов», особенно у В. фон Гумбольдта, развивать и выдвигать на первый план семантику и пр.

В целом Шор, как и другим ученым, включая Е. Д. Поливанова, не удалось решить вряд ли осуществимую задачу построения марксистской теории языка. В 1950 г. от нее фактически откажется и И. В. Сталин, призвавший вместо этого следовать традициям русской дореволюционной науки. Но поиски в этой области не были бесплодными, стимулируя изучение ряда важных проблем, особенно социального функционирования языка. И здесь вклад в науку внесла и Шор.

А как бы Шор в начале 30-х гг. ни критиковала Ф. де Соссюра, она именно тогда добилась самого важного: русского издания «Курса», и не только его. В 30-е гг. научные связи с заграницей стали уменьшаться, а иностранной науке уделялось все меньше внимания, Но Розалия Осиповна организовала серию «Языковеды Запада», где под ее редакцией в 1933–1938 гг. вышло пять книг (после ее смерти серия прекратилась). Первым выпуском стало

первое русское издание «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра в переводе А. М. Сухотина. Затем появились книги Э. Сепира, Ж. Вандриеса, В. Томсена и А. Мейе. Лишь последняя книга была переизданием, остальные переводились на русский язык впервые. Переводчиком Сепира был тот же А. М. Сухотин, он же переработал старый перевод Мейе, до революции выполненный Д. Н. Кудрявским. Книга Томсена была переведена под редакцией Шор ее студентами. Загадку представляет собой вопрос о переводчике Вандриеса: в издании фамилия заменена тремя звездочками. Книга была сдана в печать в конце 1936 г. и вышла в свет в 1937 г., естественно предположить, что за звездочками скрыли фамилию арестованного. П. С. Кузнецов устно называл Михаила Андреевича Солонино (1885–1937), романиста и германиста, привлекавшегося Р. О. Шор и для энциклопедии, действительно ставшего жертвой репрессий. Сама Розалия Осиповна лишь написала вступительную статью к Вандриесу, а книгу Томсена дополнила «Кратким очерком истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX в.». Для датского ученого конца XIX в. В. Томсена научным языкознанием была лишь реконструкция праязыков, а всех остальных ученых, даже В. фон Гумбольдта, он игнорировал. Очерк Шор, восполнявший эти пробелы, был совершенно необходим для полноты картины развития науки.

Для перевода Шор отбирала самое существенное. Русский перевод «Курса» Соссюра был исключительно важен. А для замечательного американского лингвиста Э. Сепира (на книгу которого 1921 г. она ссылалась еще в «Языке и обществе») она стала первооткрывателем в СССР. Обе эти книги продолжают жить, не раз переиздавались по-русски.

А карьера с множеством «нагрузок по макушку», как выразился В. В. Маяковский, продолжалась. Незадолго до смерти (в 1937 или 1938 г.) Шор составила «Краткое жизнеописание», опубликованное в книге ее дочери. Вот отрывок из него: «При организации Ученого комитета по языку и литературе НКПроса назначена его членом…Зав. кафедрой языковедения в МГПИНЯ [ныне МГЛУ. – *В. А.*] с 1935/36 гг. Профессор ЛИФГИ (ныне филолог. фак. ЛГУ) с 1935/36 ак. г. Назначена профессором ИФИ [то же, что МИФЛИ. – *В. А.*] с 1934/35 ак. г. Утверждена в звании профессора НКПросом 11/IV 1934 г., утверждена в степени доктора лингвистических (филологических) наук в феврале 1936 г., в 1936/37 и 37/38 гг.

работаю в качестве члена экспертной комиссии Комитета по делам высшей школы». А далее еще и список сделанного «по линии общественной работы»: консультирование, участие в

научных советах, конференциях, организации выставок, доклады, оборудование кабинетов наглядными пособиями, работа в месткомах и т. д. Многое из этого было связано с постоянными командировками по стране (за границей Шор не была), а в последние годы жизни Розалия Осиповна ежемесячно должна была ездить в Ленинград, где у нее также было много обязанностей. Последний пункт «жизнеописания»: «Была одним из организаторов и участником Московской конференции женщин-ученых». В него не включена «редакторская и литературная работа», поскольку она отражена в «прилагаемом списке работ».

Е. Н. Шор публикует и заявление своей матери в Наркомпрос от 29 июня 1935 г., где она пыталась отказаться от «лестного для меня предложения занять кафедру общего языкознания МОПИНЯ», указывая на десять уже имеющихся нагрузок. Но из «жизнеописания» следует, что и эту должность ей пришлось взять на себя. Дела бывали самыми неожиданными. «В созданной тогда телефонной справочной по всем вопросам науки мама стала консультантом и с удовольствием, с гордостью какой-то давала [по телефону. – *В. А.*] объяснения по лингвистике». В конце жизни Шор единственный раз баллотировалась в члены-корреспонденты Академии наук, но по языкознанию выбрали не ее, а учителя многих ученых (в том числе и Шор) Д. Н. Ушакова (см. очерк «Человек-словарь»).

Если исходить из печатных работ, то можно подумать, что Шор в 30-е гг. занималась в основном историей языкознания. Но это не так, просто многие стороны ее деятельности не находили адекватного выражения в печати. Например, известно ее активное участие в многочисленных совещаниях и дискуссиях по созданию алфавитов для языков народов СССР, но в печати это отражено мало. И почти не нашла в то время печатного отражения ее обширная педагогическая деятельность. А читала она в нескольких вузах разные курсы, в основном общелингвистические.

Интересы Шор не исчерпывались лингвистикой. В том же «урожайном» для нее 1931 г. она в соавторстве издала книги о Г. Гейне (с Ф. П. Шиллером) и о Ч. Диккенсе (с А. В. Луначарским). Под ее редакцией и с ее участием в 1936 г. вышла ценнейшая хрестоматия по западной средневековой литературе, позднее переиздававшаяся. Наконец, ей принадлежит перевод двух индийских литературных памятников «Панчатантра» и «Двадцать пять рассказов Веталы», вторая книга вышла посмертно. И не было ли в ее критике замыкания языковедения в себе (свойственного самым разным лингвистам, включая Соссюра) и

отражения сохранявшейся в глубине души одновременной тяги и к лингвистике, и к литературоведению и филологии?

Среди прочих ее работ тех лет – комментарии (с Н. С. Чемодановым) к русскому изданию лингвистической работы Ф. Энгельса «Франкский диалект» (хотя «марксизмом в языкознании» тогда считалось учение Марра, следов марризма в комментариях нет). Безусловно, Розалия Осиповна (не состоявшая в партии) в те годы выглядела крупным представителем советского языкознания. Репрессии ее миновали, а проработки и обвинения в «идейных ошибках», которых тогда вряд ли кому удавалось совсем избежать, коснулись ее мало по сравнению со многими другими лингвистами. Насколько ее советский облик совпадал с тем, что она думала? Ее дочь, отмечая, что мать с ней мало говорила о политике, передает, однако, два ее высказывания. Одно из них: «Единственное, что сделала хорошего советская власть, это в национальном вопросе» (вряд ли Шор знала, что то же самое говорил в эмиграции Н. С. Трубецкой, да и Н. Н. Дурново в лагерной исповеди). Второе относится к последнему году ее жизни, когда вышел фильм «Александр Невский». Он ей не понравился, и она сказала: «Национализм».

От национализма она была далека и в научных работах. В прижизненных публикациях Шор русской науке о языке отводилось немного места. Так, в энциклопедическом очерке мирового языковедения А. А. Потебня оценен как популяризатор Х. Штейнталя, Ф. Ф. Фортунатов назван последователем немецких младограмматиков, а, скажем, А. Х. Востоков или Н. В. Крушевский проигнорированы. Это соответствовало духу времени. Впрочем, в самом конце жизни она уже критиковала В. Томсена за игнорирование русских ученых.

До эпохи, когда русской науке стало у нас отводиться главное место, Розалия Осиповна не дожила. Бурная деятельность внезапно была окончена. В конце сентября 1938 г. во время командировки в Ленинград проявились симптомы болезни, видимо, уже запущенной. Осенью был поставлен диагноз – рак груди, и сделана операция, давшая лишь временный результат. С начала нового года состояние больной стало резко ухудшаться, и 22 марта 1939 г. Розалия Осиповна Шор скончалась на 45-м году жизни.

Смерть ученого еще не означает его ухода из науки. Уже посмертно вышла самая большая по объему книга Шор, правда, сделанная не ею. Розалия Осиповна не успела осуществить мечту: издать свои общелингвистические курсы. Это сделал Н. С. Чемоданов, взявший за основу не правленую стенограмму курса введения в языкознание Шор в МИФЛИ в 1937/1938 учебном году

(то есть последнего полностью прочитанного ею курса) и дополнивший его по черновикам и публикациям, главным образом, энциклопедическим. Некоторые разделы Чемоданов вынужден был писать сам, и книга вышла под двумя фамилиями, но фамилия Шор вопреки алфавиту стоит первой. Рукопись была готова к весне 1941 г., но из-за войны «Введение в языковедение» вышло только в год Победы (переиздано в 2009 г.). В советское время это был первый учебник введения в языкознание, студентам до 1945 г. приходилось готовиться к экзаменам по конспектам лекций.

Учебник по структуре соответствует привычным для нас эталонам таких изданий: теоретическое введение, фонетика, лексика, грамматика, генетическая и морфологическая классификация языков, история языка, письмо и, наконец, «очерк истории языковедения», особо информативный. Много специально говорится о социальном функционировании языка, например, в главе о лексике многое, включая примеры, восходит к книге Шор «Язык и общество», иногда, как и в той давней книге, даются предостережения против тех или иных «наивных представлений». В учебнике используются идеи, выработанные в лингвистике уже в XX в.: вводится понятие фонемы, многое взято у Э. Сепира, с Ф. де Соссюром и здесь постоянно возникает полемика, но ряд его положений принимается. В разделе об истории языкознания отдается должное даже ведущему американскому структуралисту Л. Блумфилду, оценки которого неожиданно высокие: материалист, хотя и механистический. При этом в духе менявшегося времени заметно больше места уделено русской науке: появляются не упоминавшиеся Шор ранее А. Х. Востоков и А. А. Шахматов, а роль А. А. Потебни и Ф. Ф. Фортунатова усилена. Шор ли это или же позднейшие добавления соавтора? Недостатком учебника является влияние идей Н. Я. Марра, которые, впрочем, в большей части книги присутствуют мало. Однако постоянно те или иные его положения и цитаты из его работ достаточно механически добавлены к основному тексту.

Учебник сразу получил широкую известность. Академик Ю. С. Степанов вспоминал на заседании памяти Шор в 1994 г., как еще школьником долго мечтал прочесть в библиотеке эту книгу, и с каким удовольствием ее читал. Но ее век оказался недолгим. Если 1945 г. с точки зрения лингвистических баталий был спокойным, то через два года ситуация изменилась, и учебник вместе с авторами, одного из которых уже давно не было в живых, оказался в числе первых мишеней. В декабре 1947 г., в самом начале последнего похода марристов на своих противников, маррист Г. П. Сердюченко (см. о нем в очерке о Н. Ф. Яковлеве)

нашел в учебнике «низкопоклонство», «раболепие» перед Западом и «некритическое повторение» «старой версии» о заслугах Ф. Боппа, В. фон Гумбольдта и прочих немцев при намеренном игнорировании истинного создателя языкознания М. В. Ломоносова. Учебник попал в опалу.

Но, как теперь выясняется, как раз тогда работы Шор оказались востребованы неожиданным образом. Опубликованные историком Б. С. Илизаровым архивные данные о подготовке и написании работ И. В. Сталина по языкознанию показывают: вождь более всего опирался на статьи Шор в Большой советской энциклопедии, особенно на статьи «Языковедение» и «Язык» (последняя ею написана в соавторстве).

После 1950 г. учебник Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова не мог использоваться уже из-за похвал Н. Я. Марру и ставшему опальным И. И. Мещанинову (его ответственному редактору). Требовалась переработка книги, которая не произошла. А тем временем ее место в преподавании занял учебник А. А. Реформатского, сходный по тематике, но более современный и очень ярко написанный, хотя некоторые вопросы (например, история языкознания) у Шор и Чемоданова изложены лучше. Впрочем, иногда, особенно в провинции, ее использовали и позже, например, в работах М. М. Бахтина по лингвистике, написанных в Саранске в 50-е – начале 60-х гг., чувствуется знание этой книги, ставшей источником информации, например, по «бихевиористской лингвистике» Л. Блумфилда.

Потом имя Р. О. Шор стали забывать, а за рубежом ее, как и многих других отечественных лингвистов, мало знали и раньше. Но в 1977–1978 гг. в Москве побывал японский лингвист Сёити Окабэ, занимавшийся темой «Соссюр в СССР» (и я с ним тогда разговаривал); он работал в библиотеках и встречался с людьми, знавшими Шор. Ему удалось, в частности, установить, что единственная рецензия на первое русское издание «Курса» Соссюра принадлежала Г. К. Данилову и появилась в газете «За коммунистическое просвещение» 24–26.09.1934. Затем он издал в Японии статью, где дается высокая оценка работ Шор, особенно учебника 1945 г. Он передает слова о ней Н. С. Чемоданова: «Любимцы богов умирают молодыми». А многочисленным сейчас российским женщинам-лингвистам, думается, стоит знать, кто среди них был первым (вернее, первой).

Грустная судьба
(В. Н. Волошинов)

Впервые я узнал имя Валентина Николаевича Волошинова (1895–1936) в 1972 г., уже будучи кандидатом наук. Под грифом нашего Института востоковедения был издан сборник переводов западных лингвистических работ, куда вошла и знаменитая статья живого классика Романа Якобсона, по-английски изданная в 1957 г., а теперь впервые опубликованная на русском языке. И там упоминалась работа некоего Волошинова, посвященная «кардинальной проблеме языкознания и стилистики». В библиографии указывалась книга В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», Л., 1930. К тому времени мне казалось, что я хотя бы по фамилиям знаю всех значительных советских лингвистов, а «белых пятен» в истории советского языкознания в те годы было менее всего: бывших «врагов народа» уже

реабилитировали, выезд в Израиль только-только начинался, и даже уехавшего с гитлеровцами на Запад Н. Н. Поппе иногда упоминали. И вдруг оказывается, что столь именитый ученый хвалит книгу, об авторе которой я ничего не слышал. И еще одна загадка: Якобсон в те годы считался покровителем той части советских лингвистов и филологов, которая открыто демонстрировала свою оппозиционность строю, а тут речь идет без какого-либо осуждения о книге, название которой должно было бы эту часть шокировать (позже оказалось, что действительно шокировало). Сразу фамилия запомнилась, хотя я все же не пошел в библиотеку читать эту книгу.

Но всего через полгода, осенью того же 1972 г. я неожиданно взял ее в руки. Одна моя знакомая поступала в аспирантуру сектора социолингвистики академического Института языкознания к Ю. Д. Дешериеву. Этот ученик Н. Ф. Яковлева у лингвистического «истеблишмента» высоко не котировался, поскольку постоянно писал о «развитии языков при социализме» и «торжестве ленинской национально-языковой политики». Но именно он, человек с достаточно сложной судьбой (его как чеченца должны были выслать из Ленинграда, и он уже ждал на вокзале погрузки в эшелон, когда благодаря ходатайству академика И. И. Мещанинова пришло распоряжение его не трогать) восстановил у нас с 60-х гг. социолингвистику, до того не развивавшуюся, а близко знавшие его лингвисты отзывались о нем неплохо. И именно он заставлял для вступительного экзамена в аспирантуру читать книгу Волошинова! Я полистал книгу и, честно говоря, не стал читать внимательно. Запомнилось лишь подчеркивание марксистской проблематики, для начала 70-х гг. уже непривычное, и специальное рассмотрение проблемы несобственной прямой речи.

За 1972 годом пришел 1975-й. В очередном томе Большой советской энциклопедии (статья «Психоанализ в литературоведении») я обнаружил, что в числе авторов, предпринимавших «серьезные попытки использовать положения П. [психоанализа] в борьбе против формалистической и вульгарно-социологической методологии», был назван «В. Волошинов (М. Бахтин)». Сразу все стало ясно: Волошинов – псевдоним М. М. Бахтина, тогда только что умершего. Это имя я, разумеется, знал, а книгу его о Достоевском читал, когда учился на первом курсе (при этом книга мне показалась целиком литературоведческой, а на имеющийся в ней лингвистический фрагмент я не обратил внимания).

Более десяти лет я так и думал, и когда писал в 1988 г. первый вариант книги о Н. Я. Марре, указал, что под

псевдонимом «Волошинов» публиковался М. М. Бахтин (речь там шла лишь о том, что книгу Волошинова в числе многих других обругали марристы). И так думал не я один: мой учитель в МГУ Владимир Андреевич Звегинцев, выдающийся специалист по истории языкознания, тоже писал, что книгу «Марксизм и философия языка» Бахтин опубликовал «под псевдонимом В. Н. Волошинова». Правда, в отличие от Звегинцева я в изданном тексте выразился осторожнее: «Считается, что в написании книги В. Н. Волошинова принимал участие М. М. Бахтин» (при обсуждении рукописи другой мой учитель (по аспирантуре) И. Ф. Вардуль указал, что Волошинов существовал на самом деле).

Теперь я уже не сомневался в реальности Волошинова, однако еще не думал заниматься его сочинениями. Но в октябре 1994 г. в одной из аудиторий филологического факультета МГУ, где я вел занятие со студентами, ко мне обратился известный специалист по жизни и деятельности Бахтина и его друзей Н. А. Паньков. Кто-то ему посоветовал мою кандидатуру для написания комментариев к подготовленному им к печати «Личному делу аспиранта Волошинова». Я подумал и согласился. Паньков заодно предложил мне сотрудничать в организованном в Витебске, где он тогда жил, специальном журнале «Диалог. Карнавал. Хронотоп», посвященном Бахтину и так называемому «кругу Бахтина» (это название я поясню ниже). Вернувшись домой, я в тот же вечер подготовил публикацию, посвященную профессору А. И. Томсону (уже мелькавшему в нескольких моих очерках), у которого Бахтин предположительно учился, а на следующий день стал искать книгу Волошинова. В библиотеке Института востоковедения я нашел первое издание книги, в котором страницы оказались не разрезанными. Позже мне рассказал Л. Р. Концевич, что экземпляр принадлежал Н. Ф. Яковлеву (герою очерка «Дважды умерший»), и после его смерти перешел вместе с другими его книгами в нашу библиотеку. То есть Яковлев купил книгу, но не стал в ней разбираться, а потом двадцать лет никто в Институте востоковедения ей не поинтересовался. Впрочем, и мне разрезать большую часть книги не пришлось: сразу обнаружилось, что книга «Марксизм и философия языка» недавно переиздана и продается. Только издана она теперь была под именем Бахтина в серии «Бахтин под маской».

Статья про Томсона стала моей первой публикацией в журнале Панькова, потом их было больше десятка, входил я и в состав редколлегии журнала. Занимался я и Бахтиным, но получившуюся в итоге книгу назвал «Волошинов, Бахтин и лингвистика», поставив вопреки алфавитному порядку Волошинова на первое место. Не могу сказать, что Волошинов

был крупнее как ученый, но его судьба показалась мне не менее интересной. Если о Бахтине сейчас написано очень много и у нас, и за рубежом, то о Волошинове гораздо меньше (хотя надо отметить содержательные исследования Н. Л. Васильева и Н. А. Панькова), он остается в тени более знаменитого друга, и многие исследователи считают, что в тени ему и место. Хочется разобраться в его судьбе.

Как уже было сказано, до недавнего времени нужно было специально доказывать сам факт существования Валентина Николаевича. Еще в 1995 г. Н. Л. Васильев писал: «Волошинов был вполне реальным человеком, а не мифологемой». В ответ Н. А. Паньков указывал: «Осмелюсь утверждать, что Волошинов – несмотря на фактическую действительность своего бытия… – как раз и является до сих пор именно мифологемой». Это так, но попробую вслед за биографом ученого Н. Л. Васильевым рассмотреть его – человека.

До сих пор о недолгой жизни Волошинова известно немного, особенно о его детстве и юности. Даже в годе его рождения бывали расхождения: называли то 1894, то 1895. Теперь документально подтверждается, что родился он 18 (30) июня 1895 г. в Петербурге. В этом городе, при нем дважды менявшем название, он прожил всю жизнь с перерывом в 1919–1922 гг. По-разному называли и профессию его отца: то чиновник, то присяжный поверенный, что, кажется, вернее всего.

У меня была некоторое время еще одна гипотеза, в которую хотелось верить, хотя вроде бы она не подтверждается. Фамилия Волошинов, не слишком частая, мне встречалась еще в 70-е гг. по другому поводу: в связи с историей русской японистики. В 1898 г. в Петербурге уже вторым изданием вышел «Русско-японский переводчик», составленный полковником Генерального штаба Николаем Аркадьевичем Волошиновым. В это время в России публикации по японскому языку были наперечет. Автор «переводчика» принадлежал к разведывательному ведомству, предшественнику ГРУ, и специализировался по балканским делам. Кроме того, он издавал военные разговорники, иногда с краткими грамматическими очерками, по разным языкам, включая монгольский и японский. Двух последних языков он, правда, не знал и в японском случае пошел по пути наименьшего сопротивления: тот же набор фраз, что и для других языков, он отдал переводить случайно оказавшемуся в Петербурге японцу по фамилии Ханауда, как-то владевшему русским языком. Монгольский «переводчик» редактировал профессор А. М. Позднеев (брат японист Д. М. Позднеева), указавший в предисловии, что он опустил весь раздел о военно-морском

флоте, поскольку «монголы – не мореплаватели». Японский «переводчик» редактировать оказалось некому: этот язык тогда в Петербурге никто не знал. С мореплаванием, правда, у японцев все было в порядке, но на японский язык были переведены такие очень актуальные для приближавшейся русско-японской войны фразы как: *Сколько здесь мулов?* и *Проведи меня к англичанам*. С наукой в «переводчике» было плоховато, но его автор явно был интересным человеком. Сразу возникали гипотезы: а, может быть, Валентин Николаевич предпочитал скрывать службу отца в царской разведке? Или, может быть, два Волошиновых были не отцом и сыном, а более отдаленными родственниками? Но все же доказательств их родства нет, немного и сведений о дальнейшей судьбе родителей будущего ученого.

Вернемся на почву фактов. Несомненно, что по происхождению Волошинов принадлежал к привилегированным слоям населения. В 1913 г. он окончил двенадцатую петербургскую гимназию и поступил на юридический факультет университета. Из всего, что известно о раннем периоде его жизни, обращают на себя внимание два факта. В одной из позднейших анкет он указывал: «Имею… музыкальные композиции (фортепьянные и вокальные) в издании Иогансен (Петроград) 1913 года». То есть в восемнадцать лет Волошинов уже выступал как композитор. К сожалению, я ничего не знаю о том, где и у кого он учился музыке и композиции. Другой факт: Волошинов учился в гимназии с Б. М. Зубакиным, дружба с которым у него сохранилась надолго. Зубакин был весьма разносторонней личностью: поэтом-импровизатором, скульптором и мистиком-розенкрейцером. Он организовал в Петрограде розенкрейцерский кружок, в который входил и Волошинов. Связана с кружком также была А. И. Цветаева, сестра М. И. Цветаевой.

В 1916/1917 учебном году Волошинов оставил университет, объясняя это материальными трудностями; к этой причине могла добавляться и другая: к профессии юриста он потом никогда не пытался вернуться, и, видимо, она его перестала привлекать. Два последующих года он, как в ту пору и многие другие, менял места службы и жил случайными заработками, а в начале 1919 г. переехал из Петрограда в небольшой город Невель (теперь Псковской области). В Петрограде было голодно и холодно, и тогда многие отправлялись в провинцию, где материально бывало лучше.

Но Невель оказался подарком судьбы: там разными путями собралось сразу несколько ярких людей, составивших целый кружок. Там оказались вышеупомянутый Б. М. Зубакин, перспективный литературовед Л. В. Пумпянский, совсем молодая

М. В. Юдина, ставшая впоследствии известной пианисткой. Но более всех выделялись двое.

Одним из них был Матвей Исаевич Каган, уже упоминавшийся в очерке о Н. И. Конраде, молодой, но старший из всех по возрасту, безусловно, выделявшийся своим образованием. Каган учился в Марбурге, был любимым учеником знаменитого тогда философа-неокантианца Г. Когена. Издалека он увлекся революционными идеями и приехал в Россию творить новый мир, но скоро стал в нем разочаровываться, потом он несколько раз менял к нему отношение и умер в 1937 г. (своей смертью) в резком несогласии с происходящим. Реализовался он как специалист по экономике, но по духу был философ, мыслитель. По воспоминаниям его дочери, относящимся к более позднему времени, Каган, приходя с работы, просто сидел, курил и думал, отрешившись от повседневных забот. На первых порах он, безусловно, был интеллектуальным центром кружка.

Другой член кружка по всем данным, казалось, не мог соперничать с Каганом. Он был на шесть лет его моложе (и на несколько месяцев моложе Волошинова). С детства он болел остеомиелитом и с трудом передвигался, что ограничивало его деятельность за пределами кружка друзей. И, главное, он не только не учился в Германии, но не имел (и в отличие от Волошинова никогда не будет иметь) законченного образования. После четвертого класса он по болезни прервал обучение в гимназии, а потом никаких документов о том, что он учился где-нибудь, хотя в Одессе, а потом в Петрограде он, возможно, посещал лекции в университетах (как раз в Одессе он мог слышать лекции вышеупомянутого А. И. Томсона). Это был Михаил Михайлович Бахтин. И именно он, а не М. И. Каган, в итоге стал центром кружка, который существовал, частично меняя состав, в Невеле, Витебске и Ленинграде до конца 20-х годов. Членов кружка и называют «кругом Бахтина». Философствовали в нем все, но лучше всего это умел делать именно он.

В Невеле Волошинов заведовал музыкальной секцией в местном отделе народного образования, вел класс рояля в музыкальной школе, преподавал в школе историю литературы. Постепенно большая часть невельского кружка (кроме М. И. Кагана и Б. М. Зубакина) перебралась в соседний более крупный город Витебск, в 1921 г. туда переехал и Волошинов. Витебск на короткое время стал крупным культурным центром, где тем или иным образом оказались многие деятели искусств: получившие потом мировую известность художники К. С. Малевич и М. З. Шагал, видные музыканты. В Витебске даже основали

консерваторию, где Волошинов преподавал. Работал он также заведующим музыкальным отделом губполитпросвета, заместителем заведующего подотделом искусств губернского отдела народного образования, много выступал с лекциями, вел занятия в музыкальной студии и даже организовал камерный оркестр. В Витебске выходил журнал «Искусство», где Волошинов печатал музыковедческие статьи о Л. ван Бетховене и М. П. Мусоргском, а также стихи, одно из стихотворений было посвящено памяти А. А. Блока.

Кружок Бахтина в Витебске пополнился новыми участниками, среди которых были известный впоследствии музыковед И. И. Соллертинский и литературовед, начальник Волошинова по подотделу искусств П. Н. Медведев. Но более всего Волошинов сблизился в это время с Бахтиным, они жили в одной квартире. В этом же доме они нашли себе жен, обе свадьбы состоялись в 1921 г. Жена Бахтина Елена Александровна прожила с ним полвека и посвятила жизнь уходу за ним, а брак Волошинова впоследствии распался. По свидетельству одной из мемуаристок, Волошинов оставил на обоях стихи:

Здесь жили поэт и философ
В суровые зимние дни,
И много проклятых вопросов
Решали в то время они.

Роль мыслителя Валентин Николаевич отдавал Бахтину, а себя считал поэтом, хотя печатался он очень мало (кроме Витебска, уже в Петрограде П. Н. Медведев опубликовал еще три его стихотворения и несколько музыковедческих статей и рецензий в редактируемых им «Записках Передвижного театра»). Больше осталось неопубликованным: в анкете 1922 г. он упоминал «произведения в рукописи: книга стихов; три поэмы; драма в стихах». На склоне лет Бахтин оценивал покойного друга как «маленького поэта». Таким он, вероятно, и был. Но в то же время перечисленные стихи и статьи о музыке – единственные сочинения Волошинова, авторство которых никем, кажется, не подвергается сомнению.

В 1922 г. Волошинов вернулся в Петроград. Ему 27 лет, но у него еще не закончено образование и нет определенной профессии. Из Витебска его послали учиться в Петроградском университете, но разверстка была только на физико-математический факультет, где человек с уже определившимися гуманитарными интересами не хотел учиться, не было и желания продолжать юридическое образование. Валентин Николаевич

просил зачислить его на литературно-художественное отделение факультета общественных наук, но по каким-то причинам попал не туда, а на этнолого-лингвистическую специализацию, что потом, вероятно, определило выбор темы его главной книги. Курс он прошел за два года и в 1924 г. получил диплом. Среди его преподавателей были главный мэтр петроградской лингвистики тех лет Л. В. Щерба, самый впоследствии близкий к нему среди ленинградских языковедов Л. П. Якубинский и будущий главный идейный оппонент В. В. Виноградов.

К тому времени в Ленинград перебрался весь «круг Бахтина», к которому добавились новые участники: востоковед-индолог М. И. Тубянский, биолог И. И. Канаев, старый друг Бахтина петрограф Б. В. Залесский. Таким образом, кружок включал в себя ученых разных специальностей, даже не только гуманитариев. Но всех объединяло, по позднейшему высказыванию Бахтина, «очень глубокое… весело-критическое отношение ко всем явлениям жизни и современной культуры». Этого, по его мнению, не хватало другому известному объединению той эпохи – ОПОЯЗ, куда входили, в частности, Е. Д. Поливанов и Р. О. Якобсон. Волошинов среди «круга Бахтина» был единственным лингвистом по образованию и, по-видимому, в наибольшей степени интересовался вопросами языка. Но научные интересы каждого из участников кружка пересекались с интересами его главы. Бахтин в эти годы не имел постоянной работы, мало печатался (лишь в 1929 г. выйдет его большая книга «Проблемы творчества Достоевского») и имел ограниченные контакты за пределами своего «круга», тогда как другие его участники одновременно были связаны с теми или иными ленинградскими научными учреждениями.

С 1925 по 1930 гг. местом работы Волошинова был Институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) в Ленинграде. Там он был сначала «сверхштатным сотрудником», потом аспирантом, потом штатным научным сотрудником. Тогда система диссертаций была отменена, но аспиранты должны были отчитываться теми или иными выполненными в определенный срок работами. Его специальностью считалась «методология литературы», руководителем – литературовед В. А. Десницкий (в прошлом член ЦК РСДРП, к тому времени из-за идейных разногласий вышедший из партии, но оставшийся марксистом). Параллельно Волошинов преподавал в художественно-промышленном техникуме при Академии художеств.

В опубликованном Н. А. Паньковым «Личном деле аспиранта

В. Н. Волошинова» встречаются формулировки: «Принадлежит к числу молодых ученых, с успехом применяющих в своих работах марксистский метод», «Вполне подготовленный марксист – исследователь». И во всех публикациях Волошинова тех лет речь постоянно идет о марксизме и классовом подходе. Насколько это было искренне? Сейчас «круг Бахтина» иногда изображают как резко оппозиционное по отношению к строю объединение. Но если и можно говорить об оппозиционности каких-то членов «круга», то это никак не относится к Валентину Николаевичу. Как уже говорилось, в юности он был мистиком-розенкрейцером, и среди людей, знавших его в этом качестве, была и Анастасия Ивановна Цветаева. Сейчас опубликованы ее стихи памяти Волошинова, в которых она, сохраняя уважение к покойному, сетовала на то, что он изменил благородным идеям розенкрейцеров и увлекся «колдовским фолиантом» Маркса (имеется в виду то ли «Капитал», то ли некая обобщенная книга). Из стихов видно, что «заколдован» их адресат был вплоть до кончины. Впрочем, есть и версия, согласно которой Бахтин специально использовал преданность марксизму Волошинова для «маскировки» (об этом я еще буду говорить).

1925–1930 гг. – не только годы работы и учебы Волошинова в ИЛЯЗВ, но и годы, когда были опубликованы все его сочинения, кроме упоминавшихся выше стихов и статей о музыке. И бросается в глаза одно несоответствие: хотя он числился литературоведом, но по этой тематике он опубликовал совсем мало: статью «Слово в жизни и слово в поэзии», лишь частично посвященную литературе, и отрицательную рецензию на книгу В. В. Виноградова, также затрагивающую и лингвистические вопросы. Все остальное, включая обе книги, относится к иным темам: критике фрейдизма и теории языка.

Первой книгой, вышедшей под именем Волошинова, стал «Фрейдизм» (1927); до того на ту же тему была опубликована статья «По ту сторону социального». Вышеупомянутая характеристика взгляда «Бахтина (Волошинова)» на психоанализ в энциклопедической статье (автор М. Н. Эпштейн) мало соответствует тому, что написано в этих работах. Идеи психоанализа, выдвинутые З. Фрейдом, не используются для борьбы с чем-либо, а, наоборот, подвергнуты уничтожающей критике. Вот итоговый вывод: «Психоанализ – широкое, по-своему глубоко продуманное, органически единое учение, неразрывно связанное с основными предпосылками классового сознания современной европейской буржуазии. Психоанализ плоть от плоти, кровь от крови разлагающейся буржуазной идеологии… Марксистские апологии фрейдизма, решая свою безнадежную

задачу соединить несоединимое, принуждены разрывать это органическое единство (пусть и больного организма), вырывать из него отдельные элементы и мотивы, которые вне целого видоизменяют или теряют свой смысл». Всячески подчеркивается полная несовместимость фрейдизма с марксизмом. При этом книга довольно ярко написана (пожалуй, ярче, чем «Марксизм и философия языка»), а среди критических замечаний фрейдизму немало серьезных и обоснованных. В 20-е гг. в СССР, в том числе среди марксистов, шли споры о фрейдизме, у психоанализа были и защитники, даже среди партийного руководства (Л. Д. Троцкий), но с конца 20-х гг. точка зрения, может быть, ярче всего обоснованная Волошиновым, стала (без какого-либо его участия) официальной. Книгу, впрочем, скоро забыли. Когда в 50-е гг. Бахтин посоветовал ее прочесть одной из преподавательниц Саранского пединститута, где тогда работал, она с трудом ее нашла у книголюба.

Но наиболее существенна вторая и последняя книга, изданная как книга В. Н. Волошинова – «Марксизм и философия языка». Книга вышла в Ленинграде в начале 1929 г. (упомянутое в библиографии к статье Якобсона ее издание 1930 г. было уже вторым, потом на родине она не переиздавалась до 1993 г.). О марксизме в ней говорится довольно много, но больше в ее первой, наиболее теоретичной части из трех. А далее речь идет в основном совсем о другом: о том, как наука о языке неправильно подходит к своему предмету, и о том, как надо к нему подходить. Книга в большей части – не марксистская, хотя иногда опирается на идеи марксизма (в меньшей степени, чем «Фрейдизм»), но и не антимарксистская, как сейчас иногда ее пытаются представить. Просто тема ее иная.

Уже в нескольких очерках мне приходится касаться скучных для не лингвиста материй, которые историки науки теперь на ученом языке именуют сменой научных парадигм в языкознании начала XX в. Но все-таки хочется хоть как-то показать, о чем спорили и чем жили мои «герои» – лингвисты. А тут это особенно важно, поскольку концепция Волошинова в отличие от многих других не вписывалась в рамки той эпохи.

Наука о языке XIX в. считала, что единственный достойный предмет изучения – это история языков, выяснение того, какие звуки и слова новых языков восходят к каким звукам и словам древних, а то и «доисторических» языков. Отдельные изолированные факты ее интересовали больше, чем теории. Ученые первой половины XX в., идеи которых впервые строго сформулировал знаменитый швейцарский лингвист Ф. де Соссюр (его книга вышла посмертно в 1916 г.), наоборот, отстаивали

понимание языка как системы (структуры), где все взаимосвязано, строили разнообразные теории и обратили главное внимание на современные языки. Подходы персонажей моей книги бывали самыми разными. Одни из них приняли и развивали новые идеи и подходы: Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев, П. С. Кузнецов, отчасти Н. Н. Дурново. Другие стояли на старых позициях, при этом могли симпатизировать новому, как Д. Н. Ушаков, или не одобрять его, как А. М. Селищев. Третьи пытались совместить старое и новое, как Р. О. Шор. Наконец, можно было не стоять на месте, но идти не вперед, а куда-то вбок, в сторону от науки, так поступал Н. Я. Марр. И лишь у Волошинова отвергалась и старая, и новая наука, но при этом в отличие от марризма высказывались оригинальные, хотя и нечетко сформулированные идеи, где-то предвосхищавшие последующее развитие лингвистики. Некоторое сходство с данной книгой имеют, пожалуй, еще некоторые идеи В. И. Абаева.

Главный объект полемики в книге – Ф. де Соссюр, но подчеркнуто, что он лишь четко и последовательно сформулировал идеи, в которых нет ничего принципиально нового: так думало большинство языковедов, начиная с древних греков. Совокупность таких идей названа «абстрактным объективизмом». Язык при таком подходе рассматривается как «готовый продукт», существующий независимо от говорящих на нем людей, как «устойчивая неизменная система нормативно тождественных… форм». Язык в этом смысле описывается с помощью множества правил, примерами таких правил могут служить заучиваемые в школе парадигмы склонения и спряжения. Эти правила иногда могут быть практически полезны, особенно при обучении «чужому» языку, пока мы им достаточно не владеем. Однако когда человек говорит, он вовсе не пользуется такими правилами, а «система нормативно тождественных форм» вообще не существует и «является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом», ничего не дающей для «понимания и объяснения языковых фактов в их жизни и становлении». Совокупность «мертвых» правил фонологии и формальной грамматики «уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций». Все обвинения по адресу «абстрактного объективизма» сводятся к одному: в языковом анализе не присутствует человек, поэтому такой подход порочен.

Намного лучше оценено другое направление мировой науки о языке – «индивидуалистический субъективизм», связанный с именами великого ученого начала XIX в. Вильгельма фон Гумбольдта и современника книги Карла Фосслера. Эти немецкие

мыслители рассматривали язык как «деятельность, непрерывный творческий процесс», а «творчество языка» – как «осмысленное творчество, аналогичное художественному». Все это, согласно Волошинову, глубоко и верно, надо лишь преодолеть индивидуалистический компонент «индивидуалистического субъективизма». Язык – не множество высказываний говорящего человека, по сути монолог, как у Фосслера, а непрерывный диалог, взаимодействие говорящего и слушающего, постоянно меняющихся местами.

Подход книги был максималистским: осуждалось всякое рассмотрение языка как устойчивой системы, хотя оно все-таки составляет основу любых других лингвистических исследований, а верное положение о том, что говорящий не думает ни о каких правилах, не означает, что таких правил не существует, просто они действуют автоматически. Отмечу, что когда в 50-е гг. М. М. Бахтин в Саранске вернется к изучению языка, то он, продолжая идеи «Марксизма и философии языка», откажется от такого максимализма и признает существующую лингвистику (в том числе лингвистику Ф. де Соссюра) важной и нужной, но недостаточной. Однако в 50–60-е гг. знаменитый американский ученый Н. Хомский предъявит лингвистике Соссюра и его последователей те же самые обвинения и также будет солидаризироваться с идеями В. фон Гумбольдта о творческом характере языка. Хомский (по крайней мере, в то время) ничего не мог знать о Волошинове, книга которого предвосхищала многое из его теоретической программы.

Но в 1929 г. в противовес еще только набиравшему силы лингвистическому структурализму последователей Соссюра можно было выдвинуть лишь самые общие идеи. Умение анализировать конкретные факты всегда составляло сильную сторону «абстрактного объективизма» и не было свойственно изучению языка как «творческого процесса». Не хватало его и в данной книге. В двух ее частях из трех практически нет языковых примеров, и лишь последняя ее часть посвящена конкретному явлению – несобственной прямой речи. Имеются в виду случаи, когда в художественном тексте при отсутствии грамматических признаков прямой или косвенной речи в речи от автора начинают передаваться слова или даже грамматические конструкции, явно присущие не автору, а персонажу. Вот приводимый Волошиновым пример из «Полтавы» А. С. Пушкина: «Мазепа, в гордости притворной, к царю возносит глас покорный. *“И знает бог, и видит свет: он бедный гетман двадцать лет царю служил душою верной; его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен”*». Выделенная курсивом часть текста дана в третьем лице, но

очевидно, что она принадлежит Мазепе, а не Пушкину. Такие примеры анализируются для русского, немецкого и французского языков, подробно дана также история изучения вопроса в русской, немецкой и франкоязычной науке. Вполне убедительно показано, что «абстрактный объективизм», привыкший опираться на строгие, формальные критерии, плохо описывает подобные явления. Однако взамен мало что удается предложить, кроме чисто литературоведческого анализа, что в рецензии на книгу отметила Р. О. Шор. Но именно на эту часть книги ссылался Р. Якобсон.

После выхода книги в свет Волошинов на короткое время стал знаменит в филологических кругах, особенно в Ленинграде. Появилось несколько рецензий, в следующем году книгу переиздали, Валентина Николаевича привлекли вместе с Л. П. Якубинским к сотрудничеству в журнале «Литературная учеба», созданном в помощь начинающим писателям из рабочих и крестьян, там он издал три статьи. Но рецензии показали, что главные идеи книги не нашли отзвука. Языковеды-марксисты из группы «Языкофронт» (см. очерк «Выдвиженец») приветствовали «уважаемого коллегу и товарища по борьбе», но разобраться в проблематике книги не смогли, а автор единственной серьезной рецензии, «первая женщина» Р. О. Шор, оценила современную лингвистику противоположным образом, чем Волошинов: идеи Соссюра после «коренной перестройки» пригодны для создания марксистской лингвистики, а идеи Фосслера нам «в корне чужды». Волошинова узнали многие ленинградские ученые, О. М. Фрейденберг впоследствии вспоминала о нем как об «элегантном молодом человеке и эстете». Однако и она, и Л. Я. Гинзбург оставили о Волошинове очень неблагоприятные отзывы, Гинзбург назвала Волошинова и П. Н. Медведева «примитивными людьми».

А в «круге Бахтина» тем временем проходили необратимые изменения. В конце декабря 1928 г. его глава был арестован. Арест произошел из-за связей Бахтина вне кружка, и его другие члены тогда не пострадали. Прочие арестованные по этому делу шли как «монархисты» и «кадеты», и лишь Михаил Михайлович назвал себя «марксистом-ревизионистом» (по-моему, точное самоназвание для того времени) и так был зафиксирован. В тюрьме он пробыл недолго: по состоянию здоровья и по ходатайству Е. П. Пешковой ему разрешили во время следствия находиться дома, книга о Достоевском вышла уже в этот период. Но следствие продолжалось, и в марте 1930 г. Бахтин был выслан в Кустанай. Кружок, лишившись центра, окончательно распался. Волошинов, оставшийся в Ленинграде, больше никогда не встретится с Бахтиным, который покинет Кустанай как раз в год

смерти Валентина Николаевича. Остальные члены кружка все более расходились, в том числе и по идейным причинам: одни, как Волошинов и П. Н. Медведев, стояли на советских позициях, другие, как М. В. Юдина и Б. В. Залесский, при внешней лояльности не принимали строй.

И в том же 1930 г. с Волошиновым что-то произошло. Последняя из статей в «Литературной учебе», появившаяся в майском номере за этот год с указанием «Продолжение следует», оказалась (наряду со вторым изданием книги, почти не отличающимся от первого) вообще последней его публикацией. В том же году ИЛЯЗВ прекратил существование, и Волошинов вместе с Л. П. Якубинским перешел в Педагогический институт имени А. И. Герцена, где преподавал в качестве доцента. В 90-х гг. мне удалось найти единственного человека, его помнившего: это была известная германистка, член-корреспондент РАН В. Н. Ярцева, учившаяся в институте имени Герцена в те годы. По ее словам, Волошинов не пользовался сколько-нибудь серьезной репутацией и воспринимался как литературовед, а не как лингвист. А ведь, по документам, он вел там введение в языкознание и другие лингвистические курсы.

Если тон первых рецензий на «Марксизм и философию языка» был положительным или сдержанным, то с 1931 г. книга оказалась в числе активно прорабатываемых, тон, естественно, задавали марристы. А. К. Боровков заявил, что Волошинов скрывает «свой идеализм под марксистской фразой», а Ф. П. Филин отнес его в числе других к «маскирующейся индоевропейской лингвистике, приспособляющейся к условиям реконструктивного периода», по отношению к которой надо проявлять «особую бдительность» (и Боровков в 1958 г., и Филин в 1962 г. станут членами-корреспондентами АН СССР). По мнению Н. Л. Васильева, «резкое снижение печатной активности» Волошинова (снижение до нуля) произошло из-за «кампании критики» его книги. Но вряд ли дело только в ней: марристы одновременно громили Д. Н. Ушакова, Н. Ф. Яковлева, Р. О. Шор и многих других, которые тогда никак не снизили печатной активности. Были и какие-то другие причины, среди которых нельзя не отметить распад «круга Бахтина» и расформирование ИЛЯЗВ. За их пределами Валентин Николаевич нигде не стал своим, отзывы О. М. Фрейденберг, Л. Я. Гинзбург и В. Н. Ярцевой это подтверждают.

С 1932 или 1933 г. основным местом работы Волошинова становится ЛИПКРИ – Ленинградский институт повышения квалификации работников искусств, учебное заведение, где чтением лекций повышали культурный уровень ленинградских

художников и актеров. Там он читал курс социологии искусства. Приход в это явно периферийное по положению учебное заведение повысил его формальный статус: там он впервые получил должность профессора. Однако такое перемещение отодвинуло его на обочину научной жизни. В печати после 1933 г. его не только не хвалили, но уже и не ругали: его просто забыли. И в это время усилилась болезнь. Как пишет Н. Л. Васильев, «обострившийся процесс болезни (туберкулез), от которой Волошинов страдал с 1914 г., заставил его в 1934 г. прекратить научную и педагогическую деятельность и заняться лечением». Есть не очень ясные указания на то, что и после 1930 г. Волошинов продолжал активно работать и написал даже несколько книг. Но ничего не попало в печать ни при жизни, ни после его смерти (а это почти три четверти века). До нас дошло его письмо от 19 ноября 1935 г. из туберкулезного санатория, где он жаловался на то, что врач запретил ему «не только все существующие развлечения для больных: концерты, кино и т. п., но даже чтение книг не только научных, но и беллетристики!!!..Вынужденное безделье страшно угнетает». Спустя примерно полгода, 13 июня 1936 г. Валентин Николаевич Волошинов умер в Ленинграде от туберкулеза. Ему было 40 лет (до 41-го дня рождения не дожил 17 дней).

Прижизненная его судьба оказалась трудной, но и посмертная судьба также достаточно драматична, в ней можно выделить несколько этапов. Сначала почти полное забвение, продолжавшееся около трех десятилетий. Кажется, только бывший теоретик «Языкофронта» Т. П. Ломтев (см. очерк «Выдвиженец») в 1949 г. вдруг вспомнил книгу «Марксизм и философия языка» и целую страницу «Известий Академии наук» серии литературы и языка посвятил ее критике. Ломтев счел книгу «враждебной ленинскому учению о познании», почему-то нашел в ней последовательное выражение идей Ф. де Соссюра и назвал теорию Волошинова «странной с точки зрения здравого смысла».

Сейчас, когда данная книга широко известна на Западе, то там не могут поверить в то, что ее в СССР могли не знать или забыть, и, естественно, отсутствие ее упоминаний в печати сводят к цензуре (внешней или внутренней). Поскольку биография Волошинова была мало известна, то возникла и версия о том, что он был репрессирован, а его сочинения запрещены. Мне попалась западная публикация, где такое утверждали даже в 1993 г. А в предисловии к английскому изданию книги Волошинова в 1986 г. отсутствие упоминаний книги в хрестоматии В. А. Звегинцева по истории языкознания объяснили, конечно, официальными

запретами. Между тем Звегинцев включил в хрестоматию в 1960 г. статью еще не реабилитированного Е. Д. Поливанова, а о Волошинове, видимо, тогда и не знал. Я как выпускник кафедры, возглавлявшейся Звегинцевым, могу засвидетельствовать: эту книгу в 60-е гг. там не знали (потому и я узнал о ее существовании поздно). И это было не случайно: все развитие советской лингвистики после 1929 г. шло (кроме, разве что, марризма) в духе той или иной разновидности «абстрактного объективизма» (либо «традиционной» науки в духе XIX в., либо структурализма). И из нас на кафедре В. А. Звегинцева делали последовательных «абстрактных объективистов». Не удивительно и то, что Н. Ф. Яковлев не стал читать книгу: вероятно, и он бы мог найти ее «странной с точки зрения здравого смысла». А вот далекий от структурной лингвистики и в то же время занимавшийся социальным функционированием языка Ю. Д. Дешериев смог ей заинтересоваться.

Но наука меняется, и о книге стали вспоминать. У нас первым о ней, кажется, вспомнил в печати в середине 60-х гг. известный психолингвист А. А. Леонтьев (1936–2004). Но все же второе рождение работ «волошиновского цикла» произошло не на родине, а на Западе, и ключевую роль здесь сыграл Р. Якобсон. Как зафиксировано в его переписке с Н. Трубецким, эти два выдающихся ученых обратили внимание на книгу еще тогда, когда она вышла. Но Якобсон тогда не стал ее рецензировать или упоминать в печати: видимо, он понимал, что она появилась не ко времени. Потом, как уже говорилось, он сослался на нее в статье 1957 г. Однако актуальной ее проблематика стала лишь к началу 70-х гг., когда лингвистика после ранних работ Н. Хомского во многом становилась другой. По инициативе Якобсона в 1973 г. книга «Марксизм и философия языка» вышла в переводе на английский язык (издание 1986 г. стало уже вторым). Советские работы по гуманитарным наукам редко переводятся в западных странах, а если это в 50–70-х гг. происходило, то чаще всего благодаря Якобсону. И эти работы становились популярны.

Однако почти сразу после выхода книги за рубежом проявился фактор, подспудно существовавший и раньше. На репутацию давно умершего и мало известного Волошинова упала огромная тень еще здравствовавшего и уже всемирно знаменитого Бахтина. Я упоминал об энциклопедической статье 1975 г., но это было уже не первое указание такого рода в печати. В 1973 г., еще при жизни Бахтина, в ученых записках Тартуского университета появилась статья В. В. Иванова, ныне академика, где было сказано, что «основной текст» «Марксизма и философии языка», «Фрейдизма», еще нескольких публикаций Волошинова и

изданной как сочинение П. Н. Медведева книги «Формальный метод в литературоведении» «принадлежит М. М. Бахтину». Далее эта точка зрения стала канонической, постепенно она распространилась на все без исключения публикации Волошинова (но не Медведева) 1925–1930 гг. То есть этот автор ничего не писал, кроме, может быть, ранних стихов и статей о музыке. Законченный вид такое мнение получило, например, в каталогах РГБ (б. Библиотека имени В. И. Ленина) и Исторической библиотеки в Москве. Там под именем В. Н. Волошинова нет ничего, кроме одной карточки: «Под этим именем публиковал свои работы М. М. Бахтин». Иная точка зрения существует, но менее распространена, по крайней мере, в России.

«Марксизм и философия языка» и «Фрейдизм» за 1993–2000 гг. у нас издавались четырежды, трижды под именем Бахтина и один раз под именем Волошинова; в 2010 г. появилось еще одно издание лингвистических публикаций Волошинова с двумя фамилиями на обложке, но в предисловии все равно указано единоличное авторство Бахтина. Еще пример. В западном обзоре литературы по социальным аспектам грамотности в современном мире упомянуты четыре книги, где так или иначе используются идеи «Марксизма и философии языка», из них три называют ее книгой Бахтина, одна – книгой Волошинова (отмечу, что везде ее относят к марксистской литературе).

Такая точка зрения имеет, по меньшей мере, два варианта (иногда совмещаемых у одних и тех же авторов). В более умеренном варианте Бахтин все писал сам, но профессиональный лингвист Волошинов и профессиональный литературовед Медведев как-то ему помогали, а потом «подпольный мыслитель» Бахтин отдал авторство друзьям, имевшим какое-то социальное положение, которым было легче напечататься. Более крайний вариант отразился в названии вышеупомянутой серии изданий «Бахтин под маской». Согласно ему, «Марксизм и философия языка», «Формальный метод» и даже совсем уж советский по духу «Фрейдизм» – сочинения, глубинно антикоммунистические и антимарксистские во внешней обертке марксизма. Для их издания Бахтин нарочно использовал «примитивных», по выражению Л. Я. Гинзбург, Волошинова и Медведева, не способных подняться над уровнем марксизма, в роли «масок», то есть подставных лиц.

Однако нет никаких оснований считать какую-либо из работ Волошинова (как и Медведева) антимарксистской, авторы подобных гипотез ищут в них либо свою систему взглядов, либо систему взглядов позднего Бахтина (в 20-е гг. он был «марксистом-ревизионистом», но к 60–70-м гг., после ссылки и

многолетнего непризнания, разочаровался в марксизме). А ищущий, как правило, находит. Но вопрос о том, кто писал «волошиновский цикл» и «Формальный метод в литературоведении» (другие публикации Медведева приписывать Бахтину не принято), безусловно, требует внимания. Подробно я о нем пишу в книге «Волошинов, Бахтин и лингвистика», здесь скажу лишь совсем кратко.

Можно специально не обсуждать «доказательства» единого авторства «спорных текстов» и несомненных сочинений Бахтина: при желании здесь можно доказать что угодно и в ту, и в другую сторону, а современный уровень статистической стилистики не столь высок, чтобы здесь можно было что-то утверждать окончательно. Реальную основу идей об авторстве Бахтина составляют два класса фактов: слухи, ходившие среди ленинградских, а потом и московских филологов с 20-х гг., и противоречивые рассказы самого Михаила Михайловича в последние 10–15 лет его жизни.

Я уже упоминал, что многие ленинградские филологи в конце 20-х гг. не любили Волошинова и не принимали его всерьез. О. М. Фрейденберг в воспоминаниях, написанных в 40-е гг., называет его, пересказывая чьи-то мнения, «автором лингвистической работы, написанной для него Блохиным», и утверждает, что он и ей предлагал нечто подобное. Л. Я. Гинзбург уже в годы, когда авторство стало широко обсуждаться, говорила, что «примитивные» Волошинов и Медведев «не могли так глубоко писать». А В. В. Кожинов в 1964 г. писал Бахтину о «Марксизме и философии языка», что в Москве многие, в том числе В. В. Виноградов и В. Б. Шкловский, «знают точно, что книга написана Вами по крайней мере на 9/10». Так что слухи ходили. Но все же точных данных у тех, кто их распространял, не было (характерно, что они исходили из среды, в которой знали Волошинова, но не Бахтина), а мнения мемуаристов о Волошинове бывали и совсем иными, как у А. И. Цветаевой.

Бахтин, как вспоминают те, кто его знал в последние годы жизни, нередко говорил о том, что «спорные тексты» (их состав мог у него иногда варьироваться) писал целиком сам; версия о «маске», по-видимому, тоже восходит к его высказываниям. Но достоверность многих его рассказов тех лет спорна. Его жизнь сложилась так, что ему многое приходилось скрывать не только от властей, но и от молодых почитателей. В последнем случае ему не надо было молчать о тюрьме и ссылке (наоборот, он мог «расцвечивать» биографию, говоря, например, о том, что ссылкой ему заменили первоначальный приговор к десяти годам лагерей, чего нет в документах). Но вот, например, отсутствие высшего

(или даже среднего) образования (при полученной им позднее степени кандидата наук) он имел основания скрывать и рассказывал, у каких профессоров учился. Поэтому его устные рассказы – не достоверный источник. Важно, что о своем авторстве «спорных текстов» он ни разу не сказал ни в письменном виде, ни в магнитофонной записи. Когда за два года до его смерти В. Д. Дувакин записывал на магнитофон его устные воспоминания, Бахтин ушел от ответа, а в одном из первых писем В. В. Кожинову (единственном, где этот вопрос вообще обсуждается) дал совсем иную версию, о которой я скажу чуть дальше. Когда же через три года Кожинов решился задать вопрос об авторстве прямо, Бахтин не ответил.

Самый, может быть, существенный аргумент в пользу авторства Бахтина – прекращение публикаций Волошинова после отъезда Бахтина из Ленинграда в ссылку. Впрочем, он может быть опровергнут, если обнаружатся рукописи Волошинова последних лет жизни. Но и без них можно предложить и иные объяснения того, почему ученый замолчал: распад «круга Бахтина» мог выбить его из колеи (могла повлиять и болезнь).

Есть и аргументы в пользу Волошинова. Он подарил Медведеву «Марксизм и философию языка» после выхода с дружеской надписью; эта надпись имеет характер ответа на не дошедшую до нас надпись Медведева Волошинову на вышедшем чуть раньше «Формальном методе». Они общались друг с другом и с Бахтиным почти ежедневно и, если были «подставными авторами», то не могли бы об этом не знать. Но Волошинов здесь подтверждает свое авторство.

Наконец, вернемся к письму Бахтина Кожинову от 10 января 1961 г. из Саранска. Оно было ответом на письмо московского литературоведа, лично еще не знакомого с Бахтиным. Кожинов спрашивал у Михаила Михайловича мнение о «Марксизме и философии языка» и «Формальном методе в литературоведении», косвенно намекая на то, что адресат является их автором. И вот какой пришел ответ: «Книги “Формальный метод” и “Марксизм и философия языка” мне очень хорошо известны. В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев – мои покойные друзья; в период создания этих книг мы работали в самом тесном творческом контакте. Более того, в основу этих книг и моей книги о Достоевском положена общая концепция языка и речевого произведения… Должен заметить, что наличие общей концепции и контакта в работе не снижает самостоятельности и оригинальности каждой из этих книг. Что касается до других работ П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова, то они лежат в иной плоскости, не отражают общей концепции и в создании их я никакого участия не принимал».

Отмечу, что Бахтин здесь прямо отрицает какое-либо участие в написании «Фрейдизма» и статей Волошинова, а в устных беседах он мог и их относить к своим сочинениям.

Представляется, что это высказывание, в котором у автора не было никаких оснований мистифицировать адресата, дает нам наибольшую информацию о том, как были написаны «спорные тексты». Не надо забывать о том, что все они вышли из научного кружка единомышленников. А в таком кружке всегда бывает лидер, объединяющий всю группу и подающий идеи. Его существование совершенно необходимо, но оно не отрицает способностей других членов кружка и тем более не означает, что именно научный лидер пишет все с начала и до конца. Наоборот, лидеру часто не хватает желания, а иногда и умения претворить свои идеи в связный текст: в процессе написания книги или статьи всегда есть рутинные моменты, неинтересные для творца. А другие члены кружка или ученики могут легко браться за написание связных, готовых для печати текстов. Подобных случаев немало. Один из моих очерков, например, посвящен Петру Саввичу Кузнецову, одному из активных участников Московского фонологического кружка. Безусловно, яркий ученый, очень добросовестный, много сделавший, но все же не лидер. И во многих случаях он (как и еще более известный, чем он, А. А. Реформатский) использовал и доводил до должного уровня идеи главного теоретика своего кружка В. Н. Сидорова. Но это имя за пределами узкого круга друзей и учеников всегда было известно меньше, чем имена Реформатского и Кузнецова, поскольку Сидоров подавал идеи, но не любил писать и напечатал много меньше своих друзей.

И Бахтин был выдающимся мыслителем, а писал трудно. У него за долгую жизнь мало законченных трудов (всего две книги) и много черновиков и набросков. И вполне естественно, что «концепция языка и речевого произведения» была в основных чертах разработана им. Из этого, однако, не следует, что имя Волошинова, поставленное на книге с первого издания, надо с него снимать, как это сейчас делается в большинстве изданий. Нет никаких достоверных свидетельств того, что текст книги писал не Волошинов. Идеи, придуманные Бахтиным, там, по всей вероятности, есть, но как их выделить из текста?

Сейчас все чаще автором двух книг снова признают Волошинова, особенно за рубежом. Книга «Марксизм и философия языка», пусть отчасти благодаря ореолу, которым окружено имя Бахтина, стала известной по всему миру. Правда, используются ее концепции, особенно среди лингвистов, за рубежом чаще, чем там, где она была написана и впервые издана

(а в России чаще на периферии, чем в столице). И независимо от всех привходящих обстоятельств, актуальность книги обусловлена прежде всего тем, что ее идеи, явившиеся в 1929 г. не ко времени, предвосхитили многие идеи современной лингвистики.

Судьба книги долго не была счастливой, но потом изменилась к лучшему. А судьба ее автора грустна вдвойне. Волошинов прожил трудную жизнь, долго искал свой путь, а когда, наконец, нашел, столкнулся с непризнанием, разрывом человеческих отношений, несправедливой критикой и непониманием, долго и тяжело болел, рано умер. А после смерти его сначала забыли, а когда о нем вспомнили, он оказался лишен всего, что сделал. Грустная судьба!

Петр Саввич
(П. С. Кузнецов)

В 1963 году я, как уже упоминал в нескольких очерках, поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Еще до поступления я узнал, что на отделении большинство преподавателей молоды, но среди них есть и ученый старого поколения – профессор Кузнецов. Говорили, что это единственный из солидных профессоров факультета, принявший новые лингвистические методы, господствовавшие на открытом лишь за три года до этого отделении.

Впервые я увидел Петра Саввича Кузнецова 31 августа на встрече только что зачисленных студентов с профессорами

факультета. За столом президиума в знаменитой Коммунистической аудитории сидели моложавые, хорошо одетые лидеры факультетского литературоведения и традиционного языкознания. Среди них один человек резко выделялся своим видом. Сутулый, немного сгорбленный, с большой, почти совсем лысой головой, одетый в какую-то длинную рубаху с вышивкой и узким поясом, он странной, как бы расслабленной походкой вышел к трибуне. На вид он казался намного старше своих 64 лет, позднее мне однажды пришлось видеть, как Петр Саввич обиделся, когда его публично назвали старейшим профессором факультета, поскольку там еще работал, например, его бывший профессор С. И. Радциг. Казалось странным: как это столь старый человек, от которого веяло уже ушедшей эпохой, мог быть самым передовым из всех сидевших передо мной. Но, начав говорить, Петр Саввич оживился и как бы помолодел, в глазах появился блеск. Не помню, как он тогда напутствовал нас, но сразу было ясно: мы имеем дело со значительным и интересным человеком.

Начались занятия. За три года Кузнецов прочел нам три больших курса: введение в языкознание, фонологию и историю русского языка. Сначала мы посещали его лекции аккуратно, потом на них ходило уже не больше половины студентов (каюсь, и я часто их пропускал, особенно в тот семестр, когда они совпадали с заседаниями комсомольского бюро, куда я был избран). Это было легче, чем в отношении лекций других преподавателей, поскольку Петр Саввич абсолютно не обращал внимания на посещаемость своих занятий. Вообще, он не думал ни о воспитании студентов в традиционном смысле слова, ни о каких-либо педагогических приемах. Было видно, что преподавание не составляло сильнейшую сторону его деятельности. Лектором он был, честно говоря, неважным: по несколько раз повторял одну и ту же фразу или мысль, постоянно уходил в сторону, задерживался на частностях, в результате мы всегда за семестр проходили где-нибудь около четверти курса, а потом важнейшие темы приходилось прорабатывать самостоятельно. И в воспоминаниях Кузнецов признается, что преподавать ему, особенно вначале, было трудно. И тем не менее, это занятие он любил по-настоящему. Когда за несколько лет до его знакомства с нами по команде Н. С. Хрущева началась борьба со «злостными совместителями» и многие ученые оставили преподавание, сосредоточившись на работе в академических институтах, Петр Саввич выбрал университет.

Причина этого была ясна даже нам, студентам: профессор был переполнен знаниями и идеями, и ему очень хотелось передать их дальше. Слушать его было нелегко, рассказывать по

четкому плану он не умел (притом, что писал намного строже и продуманнее, чем говорил), но зато сколь обширной была его эрудиция! Петр Саввич приводил факты самых разных языков от саамского до африканских (он, кроме всего прочего, читал на отделении курс африканского языка суахили, но нам он не достался), демонстрировал, как надо говорить на вдохе. Помимо своей любимой фонологии он мог столь же детально рассуждать о тонкостях морфологии и лексики, лишь синтаксис он почему-то не любил (как и вся его научная школа). Не говорю уже об истории и диалектологии русского языка (предметах, которые он больше всего читал за свою жизнь), где, казалось, Петр Саввич знает все.

Отвлекаясь от главных тем, профессор рассказывал что-то интересное и о многом другом: об истории, о литературе и даже о математике, что нас, тративших основные силы на штудирование трудных математических курсов, особо привлекало. Известно было, что Петр Саввич дружен с признанным великим при жизни математиком А. Н. Колмогоровым (как я узнал позже, дружили они с раннего детства); сам он иногда вспоминал, какие проблемы они обсуждали на лыжных прогулках.

Зная массу фактов, он не принадлежал к ученым, не умевшим пойти дальше. Научившись прислушиваться к его многословным речам, выбирать из них главное, можно было понять стройность излагаемых концепций. Особенно это относилось к курсу фонологии, где профессор детально излагал идеи Московской фонологической школы, одним из основателей которой он был. И в этой области теперь мне трудно отрешиться от крепко засевших в памяти идей этой школы, сейчас уже не столь передовых, как когда-то.

И еще один аспект его лекций. Петр Саввич был живой историей советского языкознания. И в научных публикациях, и в университетских лекциях он много внимания уделял истории изучения каждого вопроса, иногда в ущерб изложению самого вопроса. И он не просто перечислял, кто чем занимался, он и рассказывал о людях и их судьбах. От него мы впервые узнали имена Е. Д. Поливанова, Н. Ф. Яковлева, Л. И. Жиркова и других ученых. Их он ставил много выше, чем тех языковедов, фамилии которых нам уже были известны из газет и журналов. Часто Кузнецов переходил к моральным оценкам. От него мы узнали о печальной судьбе труда А. М. Селищева, который после смерти автора присвоил его коллега (его имя, впрочем, названо не было). Не мог он простить и отступничества старого друга Р. И. Аванесова, с которым они создавали Московскую фонологическую школу. Он вспоминал 1949 г., когда их травили

марристы за концепцию фонемы; Петр Саввич и два его друга – В. Н. Сидоров и А. А. Реформатский – остались при своих взглядах, а Аванесов придумал иную концепцию, которую наш профессор счел излишне компромиссной. И научную и этическую оценку он строго разделял, всегда отмечая и то, и другое. И не воспитывая нас впрямую, он воспитывал нас на своем примере, демонстрируя преданность науке и строгое соблюдение нравственных норм.

Петр Саввич в те годы продолжал следить за лингвистическими новинками, несмотря на уже неважное здоровье, активно участвовал в научных конференциях и дискуссиях, в заседаниях кафедры, часто оппонировал. И в то же время он казался человеком, отрешенным от всего, выходившего за пределы научной жизни. В очерке «Никуда не годный заговорщик» я упоминал, что Н. Н. Дурново (о нем мы тоже впервые узнали от ценившего его Петра Саввича) казался похожим на традиционный тип ученого, сохранившийся лишь в кино и в анекдотах. Кузнецов не походил на Дурново внешне (в его поколении уже не было принято носить бороду), но подобный типаж обнаруживался и у него. Наш профессор отличался забывчивостью, казался неумелым в практических делах. С некоторой гордостью он рассказывал, что дома гвозди в стену забивает жена. На экзаменах он жалел студентов и особенно студенток, никогда не ставил плохих оценок (хотя и получить «отлично» у него было не так легко). Что же касается интереса к организационной деятельности, то один из наших студентов сказал про него: «Административные способности у Петра Саввича не то, что нулевые, они отрицательные». И действительно, за всю жизнь он (если не считать эвакуации во время войны, когда заведовать кафедрой, кроме него, было просто некому) ничем не руководил.

В те годы факультет еще иногда сотрясали последние бури «оттепельной» эпохи, особенно шумно отозвалось дело Синявского и Даниэля. Многие из студентов бушевали, большинство преподавателей боролись с «чуждыми настроениями», некоторые либеральничали, а В. Д. Дувакин выступил в защиту своего ученика А. Д. Синявского, за что, оставшись в университете, был отстранен от преподавания и переведен на записи устных воспоминаний ученых и деятелей культуры (чем в итоге принес гораздо больше общественной пользы). Петр Саввич держался в стороне и не высказывался публично, хотя среди студентов ходили слухи о том, что он им сочувствует. Помню, как учившаяся на нашем курсе его невестка (ученица Дувакина и впоследствии его ассистентка по звукозаписи) умоляла студентов пожалеть старого и больного

профессора и ни во что его не впутывать; ее, видимо, послушались. В политическом деле он не принял участия ни на одной из сторон. Но примерно тогда же в журнале «Вопросы языкознания» выступил известный языковед В. И. Абаев с дискуссионной статьей против новых методов в лингвистике (см. очерк «Человек-столетие»). Вот тут Кузнецов не мог молчать и высказался крайне резко.

В науке Петр Саввич был всегда независим и иногда резок в полемике, в политических вопросах никогда не проявлял никакой оппозиционности ни в речах, ни в поступках, а в житейских делах был мягким и доброжелательным человеком. На факультете, где преобладали «традиционалисты», нашу кафедру многие не любили, но на Петра Саввича это не распространялось. Его не трогали.

На старших курсах Кузнецов нам уже не читал, здоровье его, на моей памяти всегда неважное, явно ухудшалось. Кажется, последний раз я видел его в июне 1967 г., когда защищали дипломы студенты курса, предшествовавшего нашему. Завязалась дискуссия, и, не помню по какому поводу, профессор вдруг сказал: «Вот возьмите меня, я стою уже одной ногой в могиле, но по-прежнему интересуюсь всем новым в науке». В наш последний университетский год он уже не появлялся на факультете по болезни. В. А. Звегинцев на одном из осенних занятий по теории языкознания сказал: «Только через язык человек узнает о своей будущей смерти. Вот наш Петр Саввич знает, что скоро умрет». Но безнадежно больной, не вставáвший с постели профессор просил, чтобы его не увольняли на пенсию, и пытался работать. Пришла идея наговаривать на магнитофон лекции, а потом давать прослушивать студентам. Кузнецов сумел так прочесть лишь вводную лекцию своего курса, которую после его смерти можно было послушать на кафедре: она не повторяла то, что перед тем слышали мы, и содержала много новых идей. В последние два года жизни были написаны и воспоминания, о которых дальше пойдет речь.

21 марта 1968 г. Петр Саввич Кузнецов умер. Сборник, готовившийся кафедрой к его 70-летию, которое должно было отмечаться 2 февраля следующего года, вышел уже как сборник его памяти; он предварен яркой статьей его друга А. А. Реформатского.

После Петра Саввича, помимо большого количества научных работ, в основном опубликованных при жизни, остались воспоминания, названные им «Автобиографией», объемом около 170 машинописных страниц. Несколько раз ставился вопрос об их издании, но опубликованы они были лишь в 2003 г. в

«Московском лингвистическом журнале» (том 7, № 1) и то в сокращенном виде. Далее я буду опираться на их материал, учитывая и неопубликованные их разделы (сокращение в основном коснулось того, что не относится к лингвистике и лингвистам), дополняя его данными других работ ученого. Я не собираюсь пересказывать воспоминания, для меня важно лишь выявить по ним личность моего героя.

Воспоминания при некоторой отрывочности и суховатости интересны и сами по себе. Перед нами предстают то большая библиотека князей Всеволожских, находившаяся в 1921 г. вместе с трехэтажной усадьбой в ведении военного клуба («библиотекаршей была очень милая и интересная девушка, воспитанница Смольного института, дочь гвардейского полковника»), то Нило-Сорская пустынь возле Ферапонтова монастыря в 1926 г., где уже помещался дом заключения, но по соседству в лесу еще жили восемь монахов, «из них один схимник», то сразу обезлюдевшие за один 1929–1930 год архангельские деревни, куда «начали ссылать раскулаченных, а кроме того высылать разных лиц, совершивших не очень крупные уголовные преступления (проворовавшиеся бухгалтеры и т. д.)», вследствие чего появилось ранее немыслимое здесь воровство, то так и не оправившаяся от коллективизации даже в 1939 г. рязанская деревня Морозовы Борки, то принимавший эвакуированных глухой город Кудымкар, где самое большое каменное трехэтажное здание, до революции контору графов Строгановых, занимало «местное ГПУ (тогда уже НКВД. – *В. А.*)».

Но более всего мы узнаем из записок об их авторе, русском интеллигенте, кончившем гимназию через полгода после Октября, уходившем в Красную армию в девятнадцатом и уезжавшем в эвакуацию в сорок первом, пережившем многие трудные годы и умершем в спокойное время, когда казалось, что в стране уже мало что может измениться. Автора мы постоянно видим как бы в двух измерениях: и как молодого человека, которого судьба бросает из стороны в сторону, и как рассудительного старика, подводящего итоги жизни. Впрочем, периоды жизни представлены с разной подробностью: мы много узнаем о детстве и юности автора, потом все больше скороговорки, а период после 1950 г. сводится к сухому перечню основных публикаций и выступлений. Может быть, уже сказывалась болезнь, но и событий в эти годы становилось все меньше: жизнь профессора вошла в спокойные берега. Во всем, кроме одного. В 1958 г. его сын Владимир Петрович, тогда студент, был арестован за участие в нелегальном кружке. Об этом я узнал далеко не сразу (в мои студенческие годы сын уже

вернулся и женился на моей однокурснице), в воспоминаниях этого эпизода нет.

Биография самого Петра Саввича по меркам тех лет в целом оказалась скорее благополучной. Судьба не раз его берегла: в гражданскую войну получилось так, что его часть участвовала в боевых действиях всего один раз, во время «дела славистов» в 1934 г. аресты производились на основе списка знакомых, который заставили написать Н. Н. Дурново, а тот по каким-то причинам не указал Петра Саввича, в 1941 г. его не взяли на фронт по состоянию здоровья. Не сразу, но он нашел место в жизни и реализовал свои способности. Иначе получалось у многих его друзей и знакомых. Вот что он, например, пишет о своем гимназическом товарище: «Сергей Мусатов замечательный художник, но, к сожалению, родившийся слишком поздно. Он увлекался философией Владимира Соловьева. Пробить себе дорогу в жизнь он не сумел». Этот Мусатов, точнее, Ивашев-Мусатов, в итоге почти на четверть века переживший Кузнецова, если и получил известность, то лишь как прототип одного из персонажей романа А. Солженицына «В круге первом», заключенного художника-мистика. Петр Саввич не сразу выбрал профессию, но выбор оказался удачным. Его специальность – русский язык – была нужной во все эпохи, в отличие, например, от немарксистской философии. В начале 30-х гг. он встретил в Смоленске «одного из последних беспартийных философов», бывшего «образованнее наших обычных философов – знал математику и естественные науки», очень несчастного человека. А Кузнецов, поздно завершив свое образование, после этого всегда имел возможность устроиться на работу в качестве преподавателя или исследователя русского языка.

Но неприятностей в жизни хватало. Были и личные несчастья: из четырех детей двое умерли от болезней в раннем детстве (в точности, как у Н. Я. Марра). Но воспоминания фиксируют и превратности судьбы, связанные с общественной ситуацией. Проучившись год в университете, Кузнецов в 1919 г. был призван в армию и оставался в ней даже после окончания войны до 1923 г. По возвращении он должен был совмещать учебу с работой, несколько раз менял место обучения (то закрывался вуз, то Петр Саввич терял интерес) и получил диплом лишь в тридцать лет. Попав после этого в аспирантуру, он начал заниматься индоевропейским языкознанием, но оно было объявлено марристами «буржуазной наукой» и пришлось менять все планы и переходить на русистику. После аспирантуры мест в Москве не было, и пришлось ехать преподавать в Смоленск (к счастью, тогда еще можно было при этом не выписываться с

московской жилплощади). Потом удалось вернуться в Москву и устроиться в Научно-исследовательский институт языкознания (НИЯз) при Наркомпросе. Но через два года опять в его судьбу вмешались марристы: по их требованию институт закрыли, а Петр Саввич, как он пишет, «месяца полтора был вообще безработным… а затем вместе с фонетической лабораторией, переданной в I Московский государственный пединститут иностранных языков, был назначен туда заведующим, но фактически это было просто лаборантское место, с очень небольшой зарплатой и без материальных благ, полагавшихся тогда научным работникам». Потом начало преподавания в вузах, жизнь стала налаживаться, но впереди была война, Кудымкар, где надо было вытаскивать «бревна, застрявшие при сплаве, из реки и из болота» и бороться с невежественным начальством учительского института. Наконец, 1948–1950 гг., период нового наступления марристов, более года травли, о которой я еще скажу.

В таких обстоятельствах надо было жить человеку, воспитанному в традициях русской демократической интеллигенции начала века. Так получилось, что настоящих родителей будущий профессор не знал, а его приемный отец, юрист, умер, когда мальчику было четыре года. Воспитывала его приемная мать, учительница, участница подпольной работы, за что потом получала персональную пенсию. Взгляды в семье были демократическими: приемные родители не смогли дать мальчику свою фамилию, поскольку для этого требовалось прошение царю, обращаться к которому они принципиально не хотели. Еще до 1917 г. Кузнецов кое-что знал «из рассказов старших, знакомых с подпольной революционной работой и с подготовкой революции», в дни Февраля участвовал вместе с толпой в штурме Бутиковской фабрики, а в 1918 г. параллельно с обучением в университете служил делопроизводителем в Наркомпросе, где судьба его сталкивала с разными людьми от Н. К. Крупской до О. Э. Мандельштама, а непосредственным его начальником оказался Н. Ф. Яковлев, который позднее окажет на него большое влияние как лингвист. Там делопроизводителю приходилось ни больше, ни меньше как отмечать, что в старых букварях и книгах для чтения (новых еще не было) «не соответствует послереволюционной идеологии». Несомненно, юноша, никогда не стремившийся к активной политической деятельности и оставшийся беспартийным, принял революцию. В дальнейшем он всегда был лоялен к власти, что постоянно отражается в воспоминаниях, где нет никакой оппозиционности, а не всегда приглядные картины советской действительности возникают сами

собой, как фотографии.

В воспоминаниях Кузнецов пользуется привычными формулировками эпохи вроде «белофинны», «богатые крестьяне, т. е. попросту кулаки», «поляки из представителей буржуазии» (о сосланных в Кудымкар после 1939 г.), вспоминает об «известных перегибах» с коллективизацией, используя сталинское выражение «головокружение от успехов», соглашается с оценкой педологии как «лженауки». С явной неприязнью он пишет о своем командире батареи из остзейских баронов, вскоре бежавшем в Финляндию. В связи со своим неосмотрительным приказом разломать на дрова пол в пустой казарме, за который чуть не попал под суд, он восклицает: «Я не учел, что разруха кончилась, начался восстановительный период и надо строить, а не ломать». На всю жизнь ему запомнился «умный, глубоко продуманный» доклад М. Н. Покровского в 1918 г. «о степени возможности пролетарской революции в различных капиталистических странах». В одном ряду с научной деятельностью он вспоминает экспромтом прочитанный во время экспедиции в Морозовы Борки доклад о военно-морском флоте для колхозного партактива (Петр Саввич был доволен, что доклад прошел успешно), редактирование стенгазеты в Кудымкаре и др. И завершает «Автобиографию» раздел о правительственных наградах: орден «Знак почета» и медали «За доблестный труд в Отечественной войне» и «К 800-летию Москвы». Это отметить ему оказалось важнее, чем то обстоятельство, что ученый за всю жизнь ни разу не был за границей. Я не думаю, что все перечисленное было маскировкой. Человек жил в своем времени и принимал то, что служило фоном его жизни и деятельности, не слишком раздумывая о политических проблемах и избегая их, что видели и студенты.

Зато его влекло другое. Всю жизнь Петр Саввич хотел все знать, не ограничивая для себя области знаний. Частная гимназия Е. А. Репман, которую он окончил в 1918 г., давала очень много (правда, не по всем предметам). Учитель космографии был совсем молод, но уже состоял в Парижском астрономическом обществе. Учитель латыни читал школьникам отрывки из своего сочинения о санскритском памятнике. Преподавательница французского языка учила художественному переводу и вела с учениками на своем языке философские беседы. Словесник К. Г. Локс (впоследствии известный литературовед, друг Б. Л. Пастернака) однажды задал домашнее сочинение на выбор – о славянофилах или западниках (Кузнецов выбрал западников, кружок Н. В. Станкевича). Особым предметом было законоведение, где учитель знакомил учеников с основами марксизма (потом выяснилось, что он принадлежал к

запрещенной партии большевиков). К моменту окончания гимназии произошли две революции, начались нововведения, в частности, вместо выпускных экзаменов было предложено написать сочинение на любую тему с последующей публичной защитой. Петр Саввич выбрал тему «Гейне как мыслитель исторического самосознания», использовав все стихи Гейне только в оригинале. Гимназия дала немало видных ученых: уже упоминавшийся А. Н. Колмогоров, историк Л. В. Черепнин, одноклассник Кузнецова генетик Д. Д. Ромашов.

И этот фундамент сохранялся на всю жизнь. В аспирантуре, где в конце 20-х гг. еще сохранялись прежние традиции магистерских экзаменов, в том числе по латыни, Петр Саввич сдал его, пользуясь консультациями своей гимназической учительницы (такой же экзамен по древнегреческому языку сдать не пришлось: экзаменационные требования снизили до уровня, доступного для «выдвиженцев»). А в Кудымкаре он решил для местных учителей и эвакуированных интеллигентов прочесть курс «Избранные главы из истории мировой литературы», отобрав только тех авторов, каких он мог процитировать в подлиннике: это Гомер, Данте, Шекспир, Мольер, Шиллер, Гёте, Байрон и Гейне (авторы на пяти языках!). Лишь от Сервантеса он отказался, так как в оригинале его не читал.

Последний пример указывает еще на одно свойство русской дореволюционной и советской интеллигенции, почти утерянное в наше время: просветительство. Петр Саввич любил передавать свои знания не только студентам, но любому, даже не лучшему контингенту слушателей вплоть до колхозного актива. В армии красноармеец Кузнецов вел занятия с солдатами и младшими командирами, то обучая их алгебре, то читая с ними Достоевского.

Его интересы никогда не исчерпывались гуманитарными науками (может быть, поэтому он смог принять математизацию языкознания). Петр Саввич пишет: «Я на своем веку увлекался очень многим»; «Я как-то все годы моей жизни стремился к энциклопедичности». С младших классов гимназии он интересовался астрономией и мечтал о полетах на другие планеты. Тогда же он «мечтал об… изысканиях геологического и палеонтологического характера», вел дневник наблюдений за муравьями. Получив в гимназии задание написать за летние каникулы комплексное описание местности, он произвел метеорологические наблюдения, собрал образцы почв и «начертил план одного болота, произведя съемку его… при помощи рулетки и самостоятельно сделанного и рассчитанного угломерного инструмента (лишь при некоторой помощи Андрея

Колмогорова)». Уже после армии Кузнецов параллельно с обучением по гуманитарным специальностям слушал университетские курсы по математике, в частности, курсы высшей алгебры и теории функций действительного переменного у Н. Н. Лузина. Посещал он и лекции С. Н. Блажко по астрономии и даже практические занятия в обсерватории, собиравшись одно время стать астрономом. В аспирантские годы ему было несложно сделать на семинаре по философии «доклад об основных положениях диалектики, иллюстрируя их примерами из самых различных наук… в том числе из математики, физики, геологии, лингвистики». Уже в Кудымкаре, где ему кроме всего прочего пришлось вести латынь в медицинском училище, он «познакомился и с рецептурой и фармакологией». Гуманитарные интересы Петра Саввича также были широки: в разных местах воспоминаний говорится о его увлечениях археологией, демографией, фольклористикой, особенно происхождением героического эпоса (в Кудымкаре он с удовольствием взялся читать не обеспеченный кадрами курс фольклора).

Страсть к накоплению фактов и энциклопедичности проявилась у Кузнецова даже во время службы в армии. Мне не пришлось служить, но воспоминания об армии слышал от многих знакомых, в основном гуманитариев. Тон рассказов бывал разным, но почти всегда на первом месте оказывались бытовая сторона жизни и люди, с которыми приходилось общаться. И почти ничего про то, ради чего, собственно, и призывают на службу, в частности, про технику, с которой имели дело. Не то у Петра Саввича. В артиллерийском дивизионе он запоминал технические данные пушек, на которых обучался, и мог их воспроизвести почти через полвека; попав затем на бронепоезд, он стал изучать его конструкции и оборудование вместе с «элементами бронетактики и элементами железнодорожного дела». Военным он не стал, и после демобилизации все это не имело для него значения, просто это было ему интересно. И даже в 30-е гг., когда имел место общий интерес к армии и флоту, глубоко штатский Петр Саввич «знаком был с немецкими и английскими справочными книжками по флотам мира, знал силуэты судов, калибры орудий, постановку минного дела в первую мировую войну, был в курсе дела споров о том, нужен ли нам только подводный флот или крупные линкоры и крупные крейсеры и является ли целью морской войны овладение морем». А когда от аспирантов стали требовать общественной работы и Кузнецова послали организовывать стенгазету в листопрокатном цехе «Серпа и молота», он «читал порядочно технической литературы, присматривался к производству, бывал в ночных

сменах», а одно время даже хотел уйти туда работать. Я подобных людей уже больше не встречал.

Но при анализе редкой энциклопедичности Петра Саввича бросаются в глаза две вещи. Первое – очень часто его интересы определялись давлением какихлибо внешних сил. В имении Колмогоровых нашли кусок зуба мамонта – заинтересовался археологией. Через своего профессора Д. Н. Ушакова, одновременно руководившего Московской диалектологической комиссией, попал на ее заседания – начал ездить в экспедиции. Всюду, куда его заносила судьба: на артиллерийских учениях, на бронепоезде, в листопрокатном цехе, на частых в 30-е гг. военных сборах, в эвакуации, – можно было найти что-то интересное и поучительное. Может быть, тогда, когда это все происходило, Петр Саввич и роптал на судьбу, но в «Автобиографии» по любому поводу преобладает чувство умиротворенности и самоутешения. Пожалуй, единственное исключение – период разгона НИЯз и перевода в лаборанты. А в других случаях: «В некотором отношении и этот период жизни (службу на бронепоезде. – *В. А.*) я вспоминаю с благодарностью»; «А ребята на заводе (“Серп и молот”. – *В. А.*) были хорошие, и я их вспоминаю с благодарностью». Большой интерес к жизни во всех ее проявлениях был интересом пассивным, исключая профессиональные области, где Кузнецов не боялся спорить с кем угодно, включая всесильного Марра. Кузнецов явно чувствовал, что не волен распоряжаться судьбой, но оставалось находить, как говорят японцы, «счастье среди несчастья» (тем более что самых больших несчастий он избежал).

Второе – его тянуло в большинстве случаев к познанию конкретных фактов, что, вероятно, было заложено в нем изначально. В гимназии учитель истории рассказал ученикам «о двух типах историков, из которых представители одного занимаются подготовкой фактического материала, анализом письменных источников, дешифровкой надписей, папирусов, клинописи и т. д., а другие – обобщениями социологического характера». Пете Кузнецову он «предсказывал будущность первого типа» (а Сереже Мусатову – второго). Петр Саввич впоследствии видел в этой характеристике «предвестие» профессии лингвиста, хотя лингвисты ведь занимаются и обобщениями, пусть не обязательно «социологического характера». Любовь к фактам у Кузнецова была всегда, но как раз в годы его вступления в науку о языке там начало цениться умение обобщать, к этому склонны были и некоторые из его учителей, особенно М. Н. Петерсон, и ученые, так или иначе оказавшие на него влияние: Н. Ф. Яковлев, Е. Д. Поливанов, Н. Трубецкой. А в коллективе, в котором

оказался молодой ученый со времен НИЯз и который стал Московской фонологической школой, стремились именно к теоретичности. И Петру Саввичу пришлось учиться «заниматься обобщениями», возможно, вопреки своим склонностям.

В лингвистике ученого тоже привлекали самые разные темы, это свойство А. А. Реформатский в статье его памяти охарактеризовал как «разбросанность тем и интересов». В разные годы он изучал то бенгальский язык, то африканские языки суахили и ваи, а в Кудымкаре, тогда центре Коми-пермяцкого национального округа, он просто не мог пройти мимо коми-пермяцкого языка; почти по всем этим языкам у него есть печатные работы. Приходилось ему в разные годы заниматься и экспериментальной фонетикой, и психолингвистикой, и проблемой рационализации разговора телефонисток с абонентами, и подготовкой русской орфографической реформы, так и не реализованной из-за слишком большой радикальности. Много он занимался русской диалектологией, а в студенческие и аспирантские годы почти ежегодно ездил в экспедиции по изучению разных говоров (поездки в Нило-Сорскую пустынь, в архангельские и рязанские деревни были связаны с этим). К концу жизни он выступал и как активный сторонник математической лингвистки, опубликовав вместе с А. А. Реформатским и математиком А. А. Ляпуновым манифест, провозглашавший начало деятельности по машинному переводу. Но, безусловно, главной ареной его деятельности была фонология, в области которой он больше всего работал и был наиболее теоретичен.

Не выходя за пределы своей профессии, Петр Саввич не раз активно участвовал в спорах и конфликтах по вопросам языка. Упоминавшиеся выше борьба за новые методы и полемика с В. И. Абаевым, которые шли уже на моих глазах, были последним этапом этой его деятельности, а многое было и до того, в том числе в гораздо более трудные годы. Еще аспирантом он показал свою независимость от Н. Я. Марра. Его «новое учение» он не принимал со студенческих лет под влиянием своего учителя М. Н. Петерсона, показавшего ему необоснованность идей академика. Однако когда в аспирантуре его направили слушать семинар Марра, иногда преподававшего и в Москве, он подумал, что, «может быть, что-то ценное в этом учении и можно найти». Но «лекции Марра носили сумбурный характер», ценного не нашлось, и все кончилось скандалом. Аспирант Кузнецов сделал доклад о среднем роде в италийских языках, после чего Марр «кричал, что не может понять, как… молодой человек так погряз в рутине», следуя канонам «индоевропеизма». И, как пишет Петр

Саввич, «я уже думал, что мне придется бросать институт, и стал подумывать о том, куда мне идти работать», тогда и возникла идея о листопрокатном цехе. Но в тот раз академик не снизошел до какого-то аспиранта и «не написал… какую-нибудь порочащую характеристику», семинар зачли.

В эти же годы Кузнецов выступил в диспуте против другого аспиранта – С. П. Толстова (впоследствии директора академических Института востоковедения и Института этнографии), тогда марриста.

В Смоленске начинающий ученый был привлечен Г. К. Даниловым в группировку «Языкофронт» и, вернувшись в Москву, принят в НИЯз, ее центр (подробнее о «Языкофронте» см. очерк «Выдвиженец»). Здесь он встретился с теоретиком группировки Т. П. Ломтевым, с которым потом сложные отношения связывали Кузнецова до конца жизни (у обоих мне пришлось учиться). Ломтев, Данилов и другие деятели группировки, как пишет Кузнецов в воспоминаниях, «занимались диалектико-материалистической методологией языкознания, борьбой на два фронта – против буржуазного языкознания и против… “нового учения о языке”».

Кузнецов в воспоминаниях пишет о «Языкофронте» достаточно иронически, подчеркивая невежество ряда «методологов» института, один из которых назвал лингвистический термин явно латинского происхождения *агглютинативный* «монгольским словом». Даже о Г. К. Данилове, много ему помогавшем, он пишет: «Человек он был, возможно, не плохой, но не особенно умный… Пребывание его в аспирантуре особыми успехами ознаменовано не было». С иронией описано, как отправляли диалектологическую экспедицию института: «Провожали экспедицию чрезвычайно торжественно, на вокзал отправилась делегация… с речами и красными флагами. Так же и встречали». И общая оценка: «Вообще было много суетни и суматохи».

Но это вывод 60-х гг., а в начале 30-х Петр Саввич активно участвовал в «суетне и суматохе». В воспоминаниях он упоминает про свои тезисы «о борьбе против местного национализма и великодержавного шовинизма», а в единственном номере журнала НИЯз «Революция и язык» (скоро закрытом по требованию марристов) поместил рецензию на издания одного из ленинградских институтов под названием «Эклектизм, возведенный в принцип». В ней он не без остроумия полемизировал с авторами, которые «не идут далее левого крыла буржуазной лингвистики», а про сборник по Гомеру писал: «Не буду говорить, насколько актуальной в наши дни является тема о

Гомере, чтобы ей отводить целый том». Особо отмечен «буржуазный» ученый С. П. Обнорский (будущий академик), на работах которого «революция никак не отразилась». Впрочем, замечу, что Обнорского и спустя более чем тридцать лет Петр Саввич оценивал невысоко (хотя, конечно, по другим причинам), а вынесенная в заглавие статьи эклектика, прежде всего, сочетание «индоевропеизма» с марризмом, в рецензируемых работах присутствовала на самом деле. И нельзя не учитывать, что именно в НИИЯз сложилась Московская фонологическая школа.

И все-таки главным сочинением Кузнецова времен «Языкофронта» стала брошюра «Яфетическая теория», вышедшая в 1932 г. (до начала 50-х гг. единственная его книга). Она не свободна от прямолинейных формулировок и некоторых похвал Марру (любопытно, что как раз за то, за что его жестче всего будет прорабатывать Сталин: за признание языка надстройкой и за классовость языка). Но в целом брошюра была вызовом признанному наверху и уже канонизированному академику. Начинающий и мало кому известный ученый точно указывал на произвольность и неподтвержденность фактами его «учения», в котором Марр допускает «свободные изменения без каких бы то ни было причин». Как и до того Е. Д. Поливанов, Кузнецов разбирает конкретные примеры ошибок и произвольных толкований Марра. Особенно резко оценивается концепция четырех элементов, из которых, согласно Марру, складываются все слова всех языков: «Гипотеза четырех элементов уничтожает самую идею движения языка: как бы далеко ни ушел язык в своем развитии, в нем неизбежно остаются все те же элементы… И неясно даже, зачем еще работать и анализировать, раз заранее известно, что в любом, даже еще не изученном языке мы вскроем все те же неизбежные *сал, бер, йон, рош*». Ср. через восемнадцать лет у Сталина заявление о том, что марристы вместо того, чтобы учить языки, «лежат на печке» и «гадают на кофейной гуще о четырех элементах». Та же идея, только выраженная грубее. Не была ли в числе источников для вождя брошюра Петра Саввича? Прямых данных нет.

Марр, когда-то снисходительный к Кузнецову-аспиранту, теперь должен был принять меры. Он был взбешен и назвал брошюру «китайской бомбой» по аналогии с недавним советско-китайским конфликтом на КВЖД. Появилась разгромная газетная рецензия (автор – Э. В. Севортян, серьезный тюрколог). В самом НИИЯз были вынуждены публично отмежеваться от собственной публикации и осудить ее на собрании. Однако Петр Саввич пишет: «На собрании требовали, чтобы я признал свои ошибки, но

я не признал (кроме некоторых частностей) и перешел в контратаку на Севортяна». Все равно выход брошюры в свет стал одной из причин закрытия института, о последующих трудностях для Кузнецова речь уже шла. Зато ученый старшего поколения А. И. Томсон, к тому времени уволенный из Одесского университета «из-за контрреволюционности», сказал ему, что брошюра – единственное толковое из всего написанного о «новом учении», включая работы самого Марра. В «Автобиографии» Петр Саввич констатирует: «Эта брошюра принесла мне много неприятностей», и в то же время пишет: «Значительная часть положений этой брошюры соответствует и теперешним моим взглядам».

После этих неприятностей Кузнецов пошел на определенные компромиссы. В комментариях к переводу книги французского лингвиста Ж. Вандриеса (1937) он советовал иностранному коллеге учиться у Марра (отбирая, впрочем, такие компоненты его учения как происхождение языка и развитие языка в доисторические эпохи, оставляя в стороне четыре элемента) и в духе Марра призывал к «полному отказу от концепции праязыка». При этом нельзя не признать, что комментарии очень серьезны: чуть ли ни к каждому французскому примеру Вандриеса найден русский аналог, а комментарии к заметно устаревшей фонетической главе книги содержат авторскую фонологическую концепцию, которая в те годы еще редко находила печатное выражение. Но общее смягчение ситуации в лингвистике к концу 30-х гг. давало возможность, не выступая открыто против Марра, работать, игнорируя его идеи. И предвоенные, и послевоенные годы были периодом расцвета Московской фонологической школы.

Положение резко изменилось с конца 1948 г., когда Кузнецов как раз только что защитил докторскую диссертацию. Во всех науках начали искать по образцу генетики своих «менделистов – вейсманистов – морганистов», затем с начала 1949 г. добавилась борьба с «космополитами», в число которых попала и Московская фонологическая школа (притом, что все ее основатели были русскими, кроме армянина Аванесова). Ученый пытался защищаться, в опубликованной хронике одного из заседаний конца 1948 г. сказано про его выступление: «Не сошел со своих старых, порочных позиций, выступив в защиту праязыковой концепции возникновения славянских языков». Именно тогда раскололась Московская школа, и не только в университетских лекциях, но и в воспоминаниях Петр Саввич осуждал Р. И. Аванесова, который, по его мнению, «испугался критики, а затем стремился подвести теоретическую базу». Все оценки бывшего друга в воспоминаниях не очень доброжелательны, а ведь в

1935 г. именно Аванесов вытащил Кузнецова с лаборантской работы, взяв преподавателем на кафедру в Московском городском пединституте, которой заведовал. О дальнейших событиях 1949 г. говорится так: «Меня вызвали в Министерство высшего образования (не помню к кому) и предложили отказаться от идеалистических воззрений в фонологии… После этого на очередном заседании спецкурса по фонологии я сообщил, что положения, отстаиваемые мною, Министерством сочтены идеалистическими, а так как я другим положениям следовать не могу, то я чтение этого спецкурса прекращаю». Достойный ответ!

Продолжение рассказа: «Осенью 1949 г. меня вызвали в ректорат университета и сообщили мне, что… ожидают от меня признания ошибок и новых работ, свидетельствующих о том, что я действительно перешел на новые рельсы… Впрочем, я новых статей требуемого направления так и не написал». На некоторые компромиссы все-таки пойти пришлось. Он пишет для «Вестника МГУ» статью о М. В. Ломоносове как исследователе русского языка, где вынужден говорить:

«Вопрос о происхождении связей так называемых родственных языков очень сложный и в полном объеме не разрешенный и в наши дни». Их происхождение от общего праязыка, несомненное для всех ученых начиная с Ломоносова, исключая лишь Марра, отнесено к «необходимому этапу в развитии языкознания»; такая концепция, прогрессивная во времена Ломоносова, в дальнейшем привела к «расистским воззрениям в современном буржуазном языкознании» (постоянная тема Марра и марристов). Вот это Петр Саввич не мог писать искренне. И все же он пошел на компромисс не полностью, никак не солидаризируясь с позитивными идеями Марра, явно ненаучными, он как бы отступил на запасные позиции, объявив вопрос «не разрешенным». Ученый все же не обладал столь твердым характером, как А. А. Реформатский, который и в те злосчастные для нашей лингвистики месяцы не отказался от языкового родства. Но в самых важных для Петра Саввича вопросах фонологии он ни в чем не уступил.

В МГУ, как видно из воспоминаний, к Кузнецову отнеслись сравнительно мягко (профессоров русской национальности старались не увольнять). Но кампания заходила все дальше, и в начале мая 1950 г. в академическом Институте русского языка, где Петр Саввич тогда тоже работал, был подписан приказ о его увольнении. И в тот же самый день в «Правде» объявили о начале дискуссии по языкознанию, приказ решили отложить до выяснения ситуации. Дискуссия была прологом к статьям И. В. Сталина против Н. Я. Марра.

Как бы это ни показалось странным современному читателю, но эти статьи спасли Кузнецова. Приказ тут же отменили, и больше до конца жизни Петр Саввич не подвергался проработкам (за сына как будто тоже). «Праязыковая концепция возникновения славянских языков», хорошо укладывавшаяся в конъюнктуру эпохи формирования социалистического лагеря, была поддержана лидером страны. Статья, где ученый был вынужден подвергнуть ее сомнению, правда, вышла уже после выступления Сталина, в корректуре успели добавить абзац о «гениальном труде».

Петр Саввич не мог не быть благодарен вождю, и его участие в хоре славословий было, безусловно, искренним. Это показывает то, что он положительно оценивал сталинские работы не только в начале 1950-х, но и после «разоблачения культа личности», в частности, в статье против В. И. Абаева. И в воспоминаниях он пишет: «Я, впрочем, не стал и правоверным адептом сталинского учения, хотя и до сих пор считаю, что в нем было много правильного, многое было полезно для нашего языкознания».

Так что Кузнецов, пусть в самых тяжелых обстоятельствах иногда шел на какие-то компромиссы, был в своей профессиональной сфере независим и верен своим принципам. И моральные проблемы для него всегда были важны. Статья против В. И. Абаева, по его словам, «скорее на моральную тему, чем на собственно научную». В ней он отстаивает гуманизм как моральный принцип, упрекая своего оппонента в том, что тот, пользуясь словом «гуманизм», понимает его в «общеидеологическом» смысле. Осуждая призыв Абаева следовать принципам науки первой половины XIX в., он заявлял: «Любая наука не может топтаться на месте, а тем более идти вспять»; «Современный всесторонне развитый человек хочет знать все. Ему нельзя искусственно ставить преграды» (и действительно Кузнецов всю жизнь «хотел знать все»). Фактически ученый в статье, ставшей его завещанием, отстаивал деидеологизацию науки, хотя вряд ли он мыслил в таких терминах (см. об этом споре также в очерке «Человек-столетие»).

Моральные оценки постоянно присутствовали и в лекционных курсах профессора, и в его воспоминаниях. Иногда он, может быть, даже подходил слишком жестко, как в отношении Р. И. Аванесова (впрочем, бывших друзей всегда судят строже, чем даже врагов). Но и в воспоминаниях он отделял мораль от научных оценок. В начале 30-х гг. он сталкивался с Н. М. Каринским. Это был один из немногих ученых старой школы, примкнувших к марксистскому языкознанию. Петр Саввич изображает его в довольно неприглядном свете: «он во многом действовал не прямыми путями». И в то же время это был

«прекрасный палеограф, знаток рукописей». А Р. О. Шор (см. очерк «Первая женщина») изображена им по-человечески с симпатией, но осуждается за увлеченность марризмом и недостаточную самостоятельность в науке.

Этот, казалось бы, мягкий и не обидевший мухи человек мог и вступать в бой, когда необходимо. В забытом богом учительском институте в Кудымкаре (среднее между вузом и техникумом) власть захватили два проходимца – директор и лжепрофессор. Кузнецову пришлось возглавить борьбу с ними, хотя противники использовали против него все средства вплоть до обвинения в антисемитизме (один из них был евреем); в воспоминаниях отмечено, что в 1942 г. «еще такое обвинение было возможно». И далее он пишет: «Вообще сам удивляюсь, как при робости и застенчивости моей, мне удалось не только провести этот бой, но и выиграть его». Проходимцев удалили из института.

Из воспоминаний видно, что ученый, несмотря на всегда ему свойственную «робость и застенчивость», не был в молодости столь беспомощным в житейских делах, каким он выглядел в наших глазах. В детстве он сам мастерил угломерный инструмент, в экспедициях гордился тем, что научился хорошо грести: «Я, благодаря моей северной практике, сразу же вывел лодку из узкой бухточки и развернул надлежащим образом. И я слышал, как одна баба другой сказала на берегу: “Этот умеет”. И сердце мое наполнилось гордостью». И удивительно было узнать, как Петр Саввич в молодости увлекался женщинами, чему отведено немалое место в воспоминаниях вопреки его же словам: «В научной биографии не следует излагать увлечения личного характера». Ничто человеческое было ему не чуждо, что могло приводить к конфликтам с окружающей средой: он был временно исключен из «Языкофронта» за то, что, «отвлеченный некоторыми лично-любовными мотивами, не был на одном открытом партийном собрании, а предавался более веселому времяпровождению». И упомянуто, что в молодости Петр Саввич писал стихи и даже во время написания воспоминаний считал себя поэтом. Где эти стихи?

Работы Петра Саввича Кузнецова по русскому языку и теории фонем вошли в историю науки. Но история науки – не только история идей, но и история людей. И память об интересном человеке живет до сих пор среди тех, кто его знал, а до тех, кто его не знал, хочется донести то, каким он был.

Человек-столетие
(В. И. Абаев)

Василий Иванович Абаев выделялся среди отечественных лингвистов в нескольких отношениях, включая чисто формальные. Фамилия, при которой в любом алфавитном порядке он оказывался впереди всех (на одном со мной курсе в МГУ училась эстонка по фамилии Аавик, но это уж совсем экзотика, и в Большой советской энциклопедии впереди Василия Ивановича одни финны и эстонцы, чьи фамилии нередко начинаются с *Аа*). И необычайные даты жизни. Ученый родился по новому стилю 28 декабря 1900 г., почти одновременно с новым веком. А умер 17 марта 2001 г. Человек-столетие! Пока что никто из наших лингвистов столько не прожил. Но и ученым Василий

Иванович был очень своеобразным.

Лично я мало знал Абаева, хотя почти полвека жил с ним в одном квартале на Песчаных улицах. Заочно знал его со студенческих лет, и первое знакомство было не из лучших. В 1965 г. среди студентов отделения структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ пошла молва о том, что иранист Абаев в журнале «Вопросы языкознания» напечатал статью «против нас». Отделение считалось центром «передовой лингвистики», боровшейся с «традиционалистами», господствовавшими в остальной части факультета. И вот появляется статья, где вся «передовая лингвистика» смешана с грязью, названа антигуманной, а главная черта современной науки о языке – ее математизация – объявлена ненужной и вредной. Наш профессор, добрейший Петр Саввич Кузнецов (см. очерк «Петр Саввич») выступил в том же журнале с резким ответом Абаеву, назвав на одной странице его положения «клеветой», «профанацией» и «кривым зеркалом». Много позже я узнал, что статья Кузнецова первоначально именовалась «Мракобес под маской гуманиста», но редакция смягчила название. В «Вопросах языкознания» объявили дискуссию, и никто из ее участников Абаева не поддержал. Среди студентов журнал с одиозной статьей ходил по рукам, читали и возмущались.

Тогда я посещал занятия по санскриту, которые вел Андрей Анатольевич Зализняк, тогда еще не академик, но очень перспективный и популярный молодой лингвист, только что получивший докторскую степень за кандидатскую диссертацию (санскрит я так и не выучил, но узнал из курса многое). И на одном из занятий Зализняк, говоря об одном индийском божестве, упомянул, что Абаев сопоставил его имя с Вием у Гоголя, и это – очень интересная и остроумная этимология. Студенты, и я в том числе, удивились: глубоко «наш» Зализняк хвалит «консерватора» и чуть ли не «черносотенца», как тогда в наших кругах называли Абаева. Но, подумав, я уже тогда понял: «неправильная» позиция ученого по теоретическим вопросам не означает того, что все им сделанное должно быть отвергнуто. И выдающийся лингвист показал нам это на примере Абаева.

Шли годы, конфликт постепенно сгладился. Абаев после неудачной для него дискуссии в «Вопросах языкознания» редко высказывался на общие темы, занимаясь исключительно историей иранских языков, в этой области его авторитет всегда был высок. Для меня эта область далека, и я редко вспоминал об этом ученом, пока в конце 80-х гг. не занялся Н. Я. Марром. Я прочитал статью Абаева о Марре, она мне понравилась, прежде всего, своей

объективностью на фоне многочисленных панегириков и разоблачений, и я решил поговорить с последним тогда еще здравствовавшим из крупных учеников Марра. Это было мое единственное общение с Василием Ивановичем, хотя, заходя в академический Институт языкознания, иногда издали видел его и раньше. Два раза в январе 1988 г. я был в его уютной квартире на Новопесчаной улице, он дал мне почитать еще не опубликованные его воспоминания об учителе. Абаеву тогда было восемьдесят семь лет, но он был бодр, обладал ясным умом и работал. Стол его был обложен книгами.

Потом я опять долго не вспоминал про Василия Ивановича, ставшего уже живой легендой нашего языкознания. Он уже пережил всех учеников Марра (может быть, самыми яркими из них были Абаев и грузинский ученый А. Г. Шанидзе, и оба дожили до ста лет, но Шанидзе был старше и умер раньше) и всех, кроме одного, участников дискуссии в «Вопросах языкознания». Снова мне напомнил о значении Абаева японский ученый Танака Кацухико, человек эксцентричного склада, любитель советских песен 30–40-х годов (однажды он водил меня в Токио в клуб, где собираются и поют их до сих пор). Он прислал мне свою книгу о воззрениях И. В. Сталина на язык (не только в работах 1950 г., но и в ранних его сочинениях по национальному вопросу). У нас до сих пор нет подобной книги: тема еще горяча и жжет, а в Японии уже можно этим заняться. И, критически разбирая «Марксизм и вопросы языкознания», Танака утверждал, что после 1950 г. в СССР возобладала «посредственная» лингвистика, хотя раньше бывали значительные концепции, среди которых он на первое место ставил концепцию работы В. И. Абаева «Язык как идеология и язык как техника». Это меня заинтересовало. Данную работу я, сочиняя книгу о Марре, даже читал, но не придал ей особого значения, но вот, оказывается, и в Японии ее ценят. Теперь я перечитал статью, прочел некоторые другие и понял, что прошел мимо своеобразного лингвиста. К тому же я тогда занимался сначала забытой, а спустя много лет нашумевшей книгой 1929 г. «Марксизм и философия языка» В. Н. Волошинова (см. очерк «Грустная судьба»). И сходство идей этих, казалось бы, разных авторов бросилось в глаза (хотя я так ничего и не знаю о том, были ли жившие в одном городе Абаев и Волошинов знакомы).

Я захотел обо всем этом написать, тем более что как раз в это время отмечался столетний юбилей Абаева. Я даже думал, что, может быть, Василий Иванович еще это прочтет, но он вскоре умер. Через несколько лет я собрал книгу из его статей по теории и истории языкознания, а моя предполагавшаяся статья стала

предисловием к ней. Книга вышла в 2006 г. и, насколько могу судить, вызвала интерес у лингвистов.

Биография Василия Ивановича Абаева сама по себе интересна. Если можно так сказать, он поднялся к вершинам науки, спустившись с гор. Он был осетином из горного селения, сыном пастуха. Но мальчику с самого начала повезло: он попал во Владикавказскую гимназию, где тогда преподавал крупный грузинский ученый Е. С. Такайшвили. От него гимназист узнал о крупнейшем специалисте по Кавказу Н. Я. Марре, захотелось учиться у него. Но Гражданская война отдалила осуществление мечты на несколько лет, в это время Абаев учил детей на родине. Когда война кончилась, он в 1922 г. уехал в Петроград и поступил в университет, курс которого прошел за три года, потом еще три года аспирантуры. Началась научная деятельность, продолжавшаяся три четверти века. После аспирантуры молодой языковед начал работать в академическом институте, называвшемся тогда Яфетическим институтом, потом он назывался Институтом языка и мышления, еще позже Институтом языкознания. И всю жизнь этот институт был основным местом работы Абаева, сначала в Ленинграде, а с 1950 г. в Москве. Областью его деятельности всегда были иранские языки, прежде всего, родной для него осетинский язык.

Главным учителем для Абаева стал Марр. Академик принял осетинского юношу очень благосклонно, он всегда недолюбливал столичных интеллигентов и привечал провинциалов, особенно с любимого им Кавказа. Одно из свидетельств – именно по предложению Абаева он в своих поздних работах заменил термин *индоевропейцы* термином *прометеиды*. Некоторым из идей Марра его ученик остался верен до конца. Одна из них – представление о том, что главное в языке – значение, семантика; нельзя ограничиваться исследованиями формальной стороны языка. И не менее важный постулат: не сосредоточиваться на мелочах, ставить широкие, желательно глобальные проблемы. Так Василий Иванович считал всю свою долгую жизнь.

Но Абаев был самостоятелен и очень рано начал критически относиться ко многим идеям учителя. Уже в 1933 г., то есть при жизни Марра, разбирая понятие фонетического закона, определявшего, согласно влиятельной в науке школе младограмматиков (конец XIX в.), историческое развитие языков, он писал: «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены». Но за «рабскую веру» Абаев критиковал младограмматиков, которых тогда у нас относили к «буржуазной

науке», а игнорировал законы и объявлял их несуществующими Марр (прямо, правда, не названный Абаевым). И краеугольным камнем «нового учения» Марра было отрицание языкового родства и языковых семей, а Абаев задолго до реабилитации этих понятий Сталиным стал их отстаивать, объясняя, как и вся наука, кроме марристской, сходство иранских языков их общим происхождением.

Отношение Абаева к учителю после первоначального восхищения стало двойственным. Но именно за Марра он больше всего и пострадал. Ему удалось избежать крупных неприятностей в 30-е и 40-е годы, но в самом конце сталинской эпохи, уже после низвержения марризма очередь дошла и до него. В конце 1951 г. появилась жесткая статья в журнале «Большевик», началась травля. Рассказывают, что речь будто бы шла об аресте, на который не дал санкцию И. В. Сталин (документов, впрочем, об этом нет). Кампания, однако, быстро прекратилась. Обличительное собрание в январе 1952 г. в Институте языкознания в Москве, где к тому времени уже работал Василий Иванович, кончилось для прорабатываемого неожиданно мягким решением. Ему всего лишь было предписано написать для только начавшего выходить журнала «Вопросы языкознания» статью с критикой своих ошибок. Вскоре статья появилась, но в ней нет никакого покаяния, а есть лишь серьезное изложение позитивных идей автора. В разгаре тогда была его работа над «Историко-этимологическим словарем осетинского языка», а статья посвящена принципам работы над такими словарями.

И в 1960 г., когда страсти уже улеглись, Абаев изложил свои взгляды в журнале «Вопросы языкознания». Статья проходила нелегко, большую роль в ее публикации сыграл активно ее поддержавший академик Н. И. Конрад.

Положение Василия Ивановича было сложным: он за многое не мог не быть благодарным своему учителю, но не мог он и одобрить явно ненаучное «новое учение о языке», к тому времени уже окончательно отвергнутое лингвистами. И из этого положения он сумел выйти с честью, дав объективный и противоречивый образ незаурядного человека, принесшего много бед нашей науке. С одной стороны, «Марр засиял звездой первой величины» в «своего рода “могучей кучке” русского востоковедения», «находился в постоянном творческом горении, в неутомимых исканиях, был щедрым и неистощимым сеятелем идей». Даже в период «нового учения» Марр сохранял «способность всякий частный вопрос… ставить широко, комплексно, в контексте всей культурной истории народа». И важно то, что он выдвигал «на первый план *значение*».

Однако его работы в области лингвистики «с самого начала были очень неровными», а методы сравнительно-исторического анализа у него «никогда не были удовлетворительными и изобличали отсутствие настоящей школы в этой отрасли его интересов». При этом «его научная биография – неутомимое и жадное расширение материала и проблематики исследовательской работы», «неудержимая научная экспансия». Все это привело к «постепенному отходу от точных лингвистических методов». Все базовые компоненты его «нового учения» (стадиальность, единство глоттогонического процесса, классовость языка) оказались ошибочными. Поставив важные вопросы, Марр не сумел их решить, а путь, на который он встал, «мог привести только к научной катастрофе». Все очень точно. Выдержки из статьи я привожу и в очерке «Громовержец».

В той же статье В. И. Абаев высказывает интересные идеи о психологии научного творчества, применимые не только к Марру. Опираясь на положения И. П. Павлова, он пишет: «Мозговую работу ученого можно представить как постоянное сосуществование, функционирование и взаимодействие двух центров: одного, в котором рождаются идеи (творческий центр), и другого, в котором эти идеи подвергаются строгой критической проверке, контролю, селекции (центр торможения). Оба они одинаково важны и необходимы для настоящего ученого… Бывает, что творческий центр пребывает в немощном состоянии и работает по преимуществу центр торможения. Тогда мы получаем тип ученого-крохобора, выпускающего труды, где не к чему придраться, но нечем и вдохновиться… Марр был ученым противоположного склада. Трагедия последнего периода его деятельности состояла в том, что творческий центр работал у него с силой постоянно действующего вулкана, а центр торможения все больше ослабевал. Чем больше возрастал напор новых идей, рождавшихся в его мозгу, тем больше он утрачивал способность подвергать эти идеи критическому разбору». Отвергая идеи, к которым пришел «вулкан», Абаев все-таки испытывал к творцам подобного склада большие симпатии, чем к «ученым-крохоборам». О нелюбви к ним он не раз писал по разным поводам.

Уже в статье 1933 г. о фонетическом законе, первой своей теоретической публикации, Абаев противопоставлял В. фон Гумбольдта и других «основоположников» начала XIX в. их «измельчавшим» потомкам конца XIX – начала XX вв.: младограмматикам, А. Мейе, Ф. де Соссюру. «Наука основоположников – это наука восходящего класса со всеми свойственными такой науке качествами: смелостью мысли,

широтой размаха, высоко развитой способностью обобщения. Напротив, вся последующая лингвистика… это – наука нисходящего класса со свойственной такой науке неудержимой склонностью к трусливому и бескрылому крохоборству. И когда речь идет о буржуазном наследстве, для нас В. Гумбольдт и Фр. Бопп безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе, так же как в философии Гегель выше Вундта, в литературе Гёте выше Метерлинка, в музыке Бетховен выше Штрауса. При всех своих заблуждениях “старики” обладали достаточной широтой и глубиной философской мысли, чтобы воспринимать язык как некое единство… Они не боялись ставить «основные» вопросы, когда их приводил к этому ход исследования. Младограмматики же полностью испугались трудностей, и, чтобы избегнуть их, они заявили, что фундаментальные вопросы, над которыми вдумчиво и смело работала мысль основоположников, вовсе не существуют или, во всяком случае, не являются предметом лингвистики».

Свои идеи Абаев высказывал в оболочке принятого тогда социологического подхода, в соответствии с которым выделялись наука «восходящего класса» и «нисходящего класса» (об этом я уже упоминал в очерке о Р. О. Шор). Однако два взгляда на язык действительно существовали и имели философскую основу («основоположники» находились под влиянием немецкой классической философии от И. Канта до Г. Гегеля, а младограмматики были позитивистами). Абаев указывал на него и позже.

Такое же разграничение ученый проводил и в публикациях 60-х гг., включая нашумевшую статью 1965 г., о которой я говорил выше. Ср. приведенную цитату из статьи 1933 г. и сходный фрагмент из статьи 1965 г.: «Нет никаких объективных оснований ставить философию Хейдеггера выше философии Гегеля, историческую концепцию Шпенглера и Тойнби выше исторической концепции Маркса, лингвистические идеи Соссюра выше лингвистических идей В. Гумбольдта». Имена несколько другие, а суть та же. Только в связи с изменившейся обстановкой в мировом, в том числе советском языкознании по-новому расставлены акценты. Раньше Абаев более всего критиковал младограмматиков и А. Мейе, а Ф. де Соссюра упоминал лишь вскользь, но теперь, когда в советской лингвистике видное место занимал структурализм (именно в его духе воспитывали нас – студентов), он прежде всего обличал Соссюра и его наследников, структуралистов.

Впрочем, по-прежнему доставалось и младограмматикам: «отход от широких обобщений», «сосредоточение внимания на формальной стороне языка», «абстракционистские и

формалистические тенденции» и др. Но не лучше и «структурализм – детище младограмматической школы». И приговор: «Сущность структурализма – не в системном рассмотрении языка, а в *дегуманизации языкознания* путем его предельной формализации». Уже младограмматики игнорировали в своей науке человека, а структуралисты, некоторые из которых требовали «устранить» человека из науки о языке, довели этот процесс до конца. Все это лежит в русле «лингвистического модернизма».

Новым для В. И. Абаева в 60-е гг. стало включение лингвистических проблем в широкий культурный контекст; по его мнению, «лингвистический модернизм» – часть модернизма в современной культуре: «Когда общество вступает в полосу духовного кризиса, оно судорожно хвататься за все *новое*. Но так как это делается в условиях идейной опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преимущественно по линии *формы*, формальных приемов, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть модернизм». Модернизм в любой сфере, по мнению Василия Ивановича, связан с дегуманизацией, изгнанием из этой сферы человека. Он пишет: «Один из теоретиков “нового” романа, французский писатель Ален Роб-Грийе, призывает к полному изгнанию человека из художественной ткани романа… Кто хочет знать, как выглядит дегуманизованное искусство, тому достаточно посмотреть абстракционистские картины и послушать додекафоническую музыку». «Дегуманизация» лингвистики – «лишь одно звено в общем процессе дегуманизации культуры. Какую бы гуманитарную область мы ни взяли, везде наблюдаются одни и те же тенденции формализма и антигуманизма: в философии, социологии, истории, литературоведении».

Критика модернизма в литературе и искусстве за отход от гуманистических традиций XIX в., чаще скучная, иногда яркая (М. А. Лифшиц), в те годы у нас часто встречалась, но на структурную лингвистику проецировалась редко, а критика структурализма велась большей частью с позиций младограмматизма, прикрываемого поверхностным марксизмом (бывший маррист Ф. П. Филин и др.). Зато нечто похожее, опять-таки в полемике с Ф. де Соссюром, еще в конце 20-х гг. писал В. Н. Волошинов.

И еще две актуальные для своего времени проблемы затронуты в ставшей столь одиозной статье: математизация языкознания и оценка событий 1950 г. в советском языкознании. К 1965 г. для многих советских лингвистов очень важной считалась проблема использования тем или иным образом

математики в исследованиях по языку. Среди структуралистов в моде был математический аппарат, иногда сложный для понимания гуманитариями. При этом лингвистическая суть идей западной науки нередко оказывалась для СССР не такой уж новой, поскольку у нас и раньше развитие шло в том же направлении, но вот использование формул и графов и построение теорем для конца 50-х гг. казалось чем-то абсолютно новаторским, символом «современной науки». А поскольку как раз тогда в моду вошли настроения, сформулированные в известных стихах Б. Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», и научной молодежи, в том числе гуманитарной, очень хотелось быть «физиками», а не «лириками», то данный вопрос приобрел большую остроту. Среди «передовых» лингвистов господствовала идея о том, что степень развития науки прямо пропорциональна степени ее математизации, естественные науки давно уже преодолели решающий рубеж, а гуманитарии далеко позади, и только лингвистика первой из гуманитарных наук начинает этот рубеж достигать.

«Традиционалисты», наоборот, осуждали «ненужную» математизацию, отвергая ее вообще или признавая лишь там, где она уже была освящена традицией, как в экспериментальной фонетике. И Абаев, признав допустимым использование в лингвистике статистических методов, резко отозвался о выделении особой дисциплины – математической лингвистики, видя в ней лишь «скрещение псевдолингвистики с псевдоматематикой» и «способ ухода от действительности». Опятьтаки это «бегство от человеческого фактора», столь резко осуждаемое Василием Ивановичем (а ранее В. Н. Волошиновым).

Оценки Н. Я. Марра повторяют статью о нем 1960 г. Но еще резче В. И. Абаев оценивал «сталинский период» в развитии советского языкознания. В 1965 г. во главе государства уже не стоял Н. С. Хрущев, а антисталинская тематика в печати, по инерции еще встречавшаяся, сходила на нет (журнал «Вопросы языкознания» не слишком поощрял ее и раньше). Но Василий Иванович критиковал даже не столько работы И. В. Сталина, в которых он находил «много правильного», шедшего «не из каких-то глубин марксистской теории, а из элементарного здравого смысла», сколько общую ситуацию в стране. «Весь гуманитарный сектор, т. е. общественные науки, плюс литература, плюс искусство, в лице их отдельных представителей, выступал единым фронтом, под знаком культа личности». В том числе и лингвисты, которые «начинали любую статью на любую тему дифирамбами по адресу Сталина», «не имели сами никакой единой и цельной лингвистической концепции, которая могла бы

стать основой советского теоретического языкознания». Несомненно, В. И. Абаев не мог забыть собственную судьбу после сталинского выступления. В конце 80-х гг. он снова резко выступал против «сталинского периода», уже не только в языкознании, сотрудничал с «Мемориалом».

Статья о дегуманизации, как и другие статьи того же автора, не отрицала структурализм полностью. Важным достижением науки XX в. в работах самых разных лет (1936, 1960, 1965, 1986) ученый считал развивавшуюся в рамках структурализма фонологию, которая, как сказано в последней его теоретической статье 1986 г., обладает «чертами объяснительной науки в отличие от фонетики, которая занимается простым описанием звуков речи». Но перенос пригодных для фонологии идей на более высокие уровни языка, прежде всего, на изучение значения, Абаев отвергал.

Но что же, согласно Абаеву, должно быть противопоставлено «бескрылому крохоборству» и «дегуманизации»? Отвергнув марризм и не приняв две главные научные парадигмы его времени: «традиционную», основанную на младограмматизме, и структуралистскую, – он более всего уважал «основоположников». Но, конечно, не могло быть речи о повторении их идей: они жили давно, а с тех пор при теоретической «деградации» наука все-таки продвинулась вперед хотя бы с точки зрения накопления фактов. И здесь надо вспомнить об идеях, которые так понравились японскому лингвисту. Они были выражены Абаевым в статьях «Язык как идеология и язык как техника» (1934), «Еще раз о языке как идеологии и как технике» (1936) и «Понятие идеосемантики» (1948).

У языка, согласно Абаеву, две стороны: «идеологическая» и «техническая». Это различие – не то же самое, что разграничение формы и семантики: форма всегда технична, но семантика делится на «техническую» и «идеологическую». В словаре представлена техническая семантика слова, но в этимологии, в связи с другими словами и между значениями слова отражается та или иная идеология. Например, техническая семантика слова *труд* выражает «понятие о производительной деятельности», но его этимологическая связь со *страданием* и *болезнью* отражает определенную идеологию. Техническая семантика показывает, что именно выражается данным словом, а идеологическая семантика, или идеосемантика связана с тем, каким образом это выражается: при появлении нового понятия «его наречение происходит… на определенной материальной основе *мировоззрения, идеологии* данной среды». Поэтому в разных языках или в одном языке в разные эпохи одно и то же явление

может именоваться по-разному.

У каждого слова имеются «технически-эмпирическое» «ядро» и «идеологическая» «оболочка», состоящая из неустойчивых «идеологических представлений, настроений и ассоциаций». Тот или иной элемент «оболочки» может со временем перейти в «ядро», этот семантический процесс именуется технизацией. Если слово попадает в чуждую социальную среду: от него остается лишь «ядро», в которое может войти и бывшая «оболочка», но «ядро» получает новую «оболочку» на основе иной идеологии. Тем самым «сужение идеологических функций языковой системы идет параллельно с расширением ее технических функций». Процесс технизации сопоставляется с переходом от золотых денег к бумажным. Предельный случай технизации – превращение слова в грамматический элемент. Возможно и обратное развитие, при котором прежняя идеология оживает, но ведущий процесс, «*генеральная линия* языкового развития» – технизация. Именно благодаря ей «язык одной эпохи оказывается пригодным для другой… язык одной социальной группы оказывается способным обслуживать другую».

Оценка процесса технизации оказывается у В. И. Абаева двойственной. С одной стороны, этот процесс необходим и «технизация языка оказывается… истинным благодеянием: она экономит обществу силы, она избавляет общество от непосильного труда вновь и вновь переделывать сверху донизу свою речь». Но, с другой стороны, «процесс технизации несет в себе… могучую *унифицирующую* тенденцию, которой живое семантическое сознание *сопротивляется*». Как указывает В. И. Абаев, «если в процессе своего создавания язык сам по себе есть некая идеология, то с течением времени он все более становится техникой для выражения других идеологий, техникой для обслуживания общественной коммуникации». «Язык будущего человечества нельзя представить себе иначе как языком предельной технизации».

Идеи о языке как идеологии сходны с современными концепциями о картинах мира, отраженных в языке. По В. И. Абаеву, «идеосемантика начинается там, где начинаются тонкости и нюансы. Элементарное значение слова, его “малая семантика”, образует как бы скелет», а «истинное очарование всякого языка заключено в его идеосемантических тайнах». «Скелет» более или менее един для разных языков, а «мышление и мировоззрение народа, его историческое прошлое, его быт и культура» отражены в идеосемантике. То есть еще яснее выражена идея об идеосемантике как языковой картине мира.

Однако при этом встает вопрос, актуальный и для

современных исследований данной проблематики, В. И. Абаев в 1948 г. четко его сформулировал, вероятно, одним из первых. Он пишет: «Является ли вскрытая анализом идеосемантика *актуальной, живой* или же *отжившей*, т. е. отвечает ли она нынешним действенным и в данный момент нормам познания и мышления, или она отражает нормы более или менее отдаленного прошлого и до нашего времени донесла только свою форму, тогда как питавшее эту форму содержание речевых элементов уже потускнело, выветрилось? Ответ на этот вопрос оказывается далеко не легким и требует чрезвычайно интимного знакомства с языком». И в наши дни эта проблема обсуждается. Например, современный исследователь А. Я. Шайкевич указывает, что языковой материал, связанный со словом *собака* (переносные значения, фразеология и пр.), передает отрицательное отношение к этому животному. Это, разумеется, отражает традиционные религиозные представления (общие для иудеев, христиан и мусульман) о собаке как «нечистом» животном. Но соответствует ли этот материал современным русским представлениям о собаках? А исследователи национальных, в том числе русских картин мира не всегда различают «живую» и «отжившую», но закрепившуюся в языке семантику.

Структурный подход к языку отчасти даже совместим с идеями Абаева: в процессе технизации «язык приобретает с формальной стороны все более стройный, *системообразный* облик. Язык не рождается системой. Он уподобляется ей в процессе технизации». Однако во всяком языке есть известное число «злостных» элементов, которые продолжают сопротивляться обобщающим тенденциям и отстаивать свой индивидуальный облик». Итак, язык одновременно системен и асистемен, «*системообразность языка пропорциональна его технизации*», а структурные методы пригодны в своих рамках, но недостаточны, поскольку касаются техники, но не идеологии. Там, где «техника» господствует, там допустим и структурный анализ, именно поэтому Абаев принимал фонологию. Но не весь язык таков. В статье «Об историзме в описательном языкознании» (1960) сказано: «В языке переплетаются две системы: познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы с элементами объективной действительности и отражают в конечном счете структуру последней. Вторая (знаковая) система определяется внутриязыковыми корреляциями. В первой системе элементами структуры являются значения, во второй – чистые отношения. Лексика есть преимущественная сфера первых, фонетика – вторых. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимают морфология и синтаксис». Поэтому

перенесение принципов фонологии в лексику «практически почти бесплодно».

Итак, помимо критики младограмматизма, структурализма и прочего «модернизма», имелась и серьезная позитивная концепция, верность которой ее автор сохранил до конца. Но она так и не получила у нас за три четверти века какой-либо оценки (пожалуй, единственное исключение – статья Т. М. Николаевой, появившаяся в 2000 г.). А критики статьи о дегуманизации обратили внимание лишь на ее полемический компонент (отчасти по вине автора, выдвинувшего этот компонент на первый план). И все же некоторые противники Абаева не только взяли под защиту структурализм, но и поставили вопрос шире. Особенно это относится к герою очерка «Петр Саввич» П. С. Кузнецову, несмотря на всю резкость его тона.

Осуждая призыв Абаева идти «назад к Гумбольдту», Кузнецов заявлял: «Любая наука не может топтаться на месте, а тем более идти вспять… Современный всесторонне развитый человек хочет знать все. Ему нельзя искусственно ставить преграды». Петр Саввич вспомнил спор «физиков» и «лириков», относя оппонентов к защитникам позиции «лириков», но сам спор счел надуманным, поскольку научная строгость и красоты поэзии не исключают друг друга, в доказательство приводя даже индийскую легенду.

В споре Абаева с Кузнецовым можно выделить поверхностный и глубинный уровни. На поверхности суть разногласий затемнялась побочными обстоятельствами вроде борьбы партий в советской лингвистике или необходимости дать оценку марризму и «сталинскому периоду», который Кузнецов оценивал лучше, чем Абаев. Но на глубинном уровне проблема была иной. В науке о языке в разных формах постоянно борются стремление к строгому изучению своего объекта по образцу естественных наук, с опорой только на наблюдаемые факты, и желание рассматривать язык вместе с говорящим на нем человеком, с учетом интуиции, интроспекции и творческих способностей людей. Последний подход был сформулирован В. фон Гумбольдтом еще в начале XIX в., но его недостатком постоянно оказывались нестрогость и произвольность, тогда как противоположный подход, достигший максимума в структурализме, давал несомненные, но в то же время ограниченные результаты. Структурный подход в разных его формах господствовал до 50–60-х гг. XX в., хотя время от времени появлялись «диссиденты», в том числе Волошинов и Абаев. Лишь Н. Хомский предложил программу синтеза двух подходов, попытавшись соединить формализацию с тезисом В. фон Гумбольдта о языке как творчестве. Абаев в статье о дегуманизации даже упоминает имя Хомского, не увидев у него,

однако, ничего, кроме «наукообразных экспериментов над давно известным явлением синтаксической синонимии». Впрочем, у нас в то время и многие структуралисты еще не оценили его адекватно.

Как часто бывает в истории науки, в споре крупных ученых, не принимавших и даже считавших не имеющими права на существование позиции друг друга, каждый из оппонентов был в чем-то прав, абсолютизируя одну сторону единого процесса.

Я не иранист и не буду специально рассматривать иранистические труды Абаева, среди которых фундаментальный «Историко-этимологический словарь осетинского языка», книга «Скифо-европейские изоглоссы», труды по осетинскому фольклору. Но я знаю, что эти труды высоко оценены в России и за рубежом. Особенно их ценят в его родной Осетии. Однако как теоретика Василия Ивановича еще не оценили по достоинству, а иногда его работы в силу привходящих обстоятельств воспринимали излишне эмоционально, как это было со статьей про дегуманизацию. Может быть, переиздание его статей, впервые собранных воедино, что-то изменит. А память об ученом, прожившем долгую и наполненную работой жизнь, как можно надеяться, еще надолго сохранится.

Человек в трех зеркалах *(М. Ю. Юлдашев)*

С раннего детства я нередко слышал имя академика Узбекской Академии наук Мухамеджана Юлдашевича Юлдашева (1904–1985) и всегда в резко негативных контекстах. Его жизнь пересеклась с жизнью моих матери и тетки в трудные для них годы, и он для них остался беспросветно плохим человеком. И лишь позже я узнал, что не все было так однозначно.

Мои мать, тетка и бабушка (сам я тогда еще не родился) летом 1941 г. оказались в городе Бугуруслане Оренбургской (тогда Чкаловской) области, куда были эвакуированы (см. очерк «О матери»). Мой дед эвакуироваться отказался и оставался в Москве. В Бугуруслане мать и тетка начали работать в местном учительском институте (что-то среднее между вузом и техникумом); мать преподавала всеобщую историю, тетка русскую литературу. В первый военный год мужская часть преподавателей таяла: их постоянно мобилизовывали. Один за другим ушли в армию и два директора. И вдруг уже в 1942 г. в Бугуруслане появился новый директор, фигура которого оказалась необычна. Это был Юлдашев.

Сохранились письма моей тетки отцу в Москву. 15 марта 1942 г. она писала: «У нас уже новый директор, очень высокопоставленное лицо, орденоносец, член Верх[овного] Совета СССР – узбек». 9 апреля она писала уже так: «Новый директор, узбек, в прошлом работник союзного масштаба. С нами держится надменно и подозрительно. Видимо, привык к раболепству, а мы на это не идем. Потому в ин[ституту]те скучно и натянутая атмосфера. Все стараются ему на глаза не попадаться, т. к. он может грубо изругать. Благоволит зато к хорошеньким девочкам, в том числе к нашей Зине [моя мать. – *В. А.*]. Но она ужасно боится его». Письмо от 15 апреля: «В ин[ституту]те атмосфера неважная, новый директор всех запугал». Наконец, 3 мая писала мать: «Я думаю, что лично для меня все же необходимо будет по многим причинам попытаться приехать домой. К сожалению, о нек[оторых] причинах писать не могу, но они очень серьезные… Новый наш директор очень строгий, и мы его боимся. Работы много, но меня все время треплют со всеми делами, много приходится нервничать, и я поэтому даже тебе некоторое время не писала, все было некогда».

Причины, о которых нельзя было писать, связывались с Юлдашевым. Матери тогда было 24 года, в эвакуацию она попала

из аспирантуры МГУ. Она считалась красивой. Новый директор сразу же положил на нее глаз и откровенно заявил о своих желаниях (притом, что в Бугуруслане он был с женой). Она отказалась. Тогда Юлдашев начал ее преследовать. Сначала все ограничивалось мелкими неприятностями: до того институт оплачивал нашей семье жилье, теперь Юлдашев в этом отказал. Но когда ему стало очевидно поражение, он решил избавиться от непослушной молодой преподавательницы, отправив ее на фронт. Не знаю уже, как это было обставлено. Мать моя, активная комсомолка, готовившаяся в партию, была настроена патриотически, постоянно ощущая вину за то, что находится в далеком тылу. Но армии она, разумеется, боялась. Не пустила ее на войну опытная немолодая женщина, врач военкомата. Она сказала: «Девочка, нельзя тебе на фронт! С твоей красотой пойдешь там по рукам!». Найдя какие-то болезни, врач отпустила ее назад.

В конце концов, Юлдашев отстал от матери, найдя ей замену из числа студенток. Вообще за годы работы в Бугуруслане он создал небольшой гарем. Его жена, еврейка, прекрасно все знала и относилась к этому спокойно. В остальном она имела большое влияние на мужа. Она писала за него все бумаги, поскольку Юлдашев по-русски был малограмотен. Лишь однажды под его горячую руку попала машинистка института, он немедленно написал сам приказ о ее увольнении. На этот приказ преподаватели ходили смотреть: в коротком тексте была масса ошибок.

Но, надо сказать, Юлдашев заботился о материальном состоянии института, сильно запущенном за первый год войны. Пользуясь орденом и депутатским значком, он выбивал пайки для преподавателей и студентов. Благодаря ему произошло одно облегчение обстоятельств жизни: до Юлдашева студенты и преподаватели постоянно ездили за много километров на разные сельхозработы, а новый директор наладил функционирование подсобного хозяйства института в самом городе. Работали теперь там, а помимо общей барщины преподаватели могли в этом хозяйстве копать и собственные огороды. Но самый большой участок принадлежал Юлдашеву и его жене. Они были единственными, кто сам не работал; если чтонибудь там нужно было сделать, немедленно снимали с занятий студентов.

Моя мать все же установила после истории с военкоматом какие-то сносные деловые отношения с директором. Он перестал ее трогать и потому, что у нее появились защитники. Среди них был мой будущий отец Михаил Антонович Алпатов, работавший тогда в Чкаловском обкоме. Их отношения завязались на почве

общей борьбы с Юлдашевым. Я иногда думаю: не будь Юлдашева, может быть, не было бы и меня. Но все равно грубость и хамство директора мешали жить, хотелось поскорее попасть в Москву, что в разгар войны было очень трудно.

Все-таки мать летом 1943 г. сумела покинуть Бугуруслан и вернуться в Москву, через год вернулись и тетка с бабушкой. Юлдашев все это время оставался директором учительского института. О нем не хотелось вспоминать, и мои родные надеялись, что никогда больше не встретят этого грубого человека. Но мать с ним опять столкнулась в 60-е гг., когда уже занимала заметное положение в советской исторической науке. Оказалось, что он жив, здоров и стал доктором исторических наук, членом-корреспондентом, а затем и академиком Узбекской академии наук. Но восстанавливать с ним отношения она не стала. В 1964 г. в Москве мать проводила всесоюзную сессию научного совета «Закономерности перехода от одной общественной формации к другой». Юлдашев по рангу должен был получить место в президиуме, но мать, помня прошлое, не пустила его туда и всячески третировала. Юлдашев рассвирепел и досрочно покинул сессию. Реванш! Мать не верила, что столь дремучий человек мог написать две диссертации, и подозревала, что их, как и служебные бумаги в Бугуруслане, за него писала жена.

Когда занятия историей науки заставили меня вспомнить о Юлдашеве, матери уже не было, а тетка была совсем стара и не вставала с постели. Я пытался узнать от нее еще хоть какие-нибудь подробности, но она уже не могла рассказывать и сказала одно слово: «Сволочь!». Таким он и остался в памяти у нее и у матери.

Но кем все-таки был Мухамеджан Юлдашевич и как он появился в Бугуруслане? Об этом в 1992 г. я вдруг узнал из опубликованных в журнале «Восток» воспоминаний старейшего востоковеда Коки Александровны Антоновой (1910–2007), которой у меня посвящен очерк «Мемуаристка». Ее данные я буду приводить, иногда корректируя по Биобиблиографическому словарю советских востоковедов С. Д. Милибанд и Интернету.

Всякие мемуары субъективны, а мемуары Антоновой субъективны в квадрате. Она обладала острым языком и острым пером, не обходила острые углы и не стеснялась резких оценок. К тому же она, когда-то убежденная марксистка, ко времени написания мемуаров принадлежала, как тогда было принято говорить, к демократическому лагерю; стало быть, сталинской формации начальник, да еще не отличавшийся высокой культурой должен был оцениваться ею даже резче, чем моей

матерью и теткой. Но опять-таки жизнь сложнее схем.

М. Ю. Юлдашев родился 1 апреля 1904 г. в кишлаке Бешарык около Коканда. Как пишет К. А. Антонова, «он в 16 лет вступил в Красный отряд и храбро сражался с басмачами. Когда в Самарканде… стали набирать студентов в САКУ (Среднеазиатский коммунистический университет, фактически дававший образование в размере нынешних 7–8 классов школы) из узбеков рабоче-крестьянского происхождения, командир, естественно, послал туда Мухамеджана, самого младшего в отряде. В 1921 г. Пенджаб был охвачен волнениями. Тогда из Средней Азии решили послать добровольцев на помощь индийцам, боровшимся против британского колониального господства. Имена свои добровольцы не имели права называть, но, чтобы, в случае если его убьют, знали, кто он, Мухамеджан вытатуирован на наружной стороне пальцев левой руки надпись “САКУ”. Из добровольческой идеи ничего не вышло, так как Афганистан отказался пропустить эти отряды через свою территорию, но татуировка сохранилась у Мухамеджана на всю жизнь».

САКУ Юлдашев окончил лишь в 1928 г.: видимо, его отвлекали от учебы разные мобилизации. В 1934 г. его послали в Москву учиться в Институт красной профессуры. Он закончил его в 1937 г., как раз тогда, когда в Узбекистане сменилось все руководство. Арестовали и затем расстреляли прежних руководителей А. Икрамова и Ф. Ходжаева, сменивший их У. Юсупов заполнял вакансии новыми людьми, в число которых попал и Юлдашев. Возможно, играли роль земляческие связи: оба были ферганцами. Как сказано в Интернете, он в 1937 г. стал секретарем Ташкентского горкома, затем в 1938–1940 гг. был первым секретарем Ташкентского обкома, одновременно в 1937–1941 гг. он занимал должность директора республиканского филиала Института Маркса – Энгельса – Ленина. От того времени у него и в военные годы сохранились два знака отличия: орден Ленина и значок депутата Верховного Совета первого созыва (из-за войны этот созыв длился долго: с 1937 по 1946 г.).

Скоро, однако, начался конфликт Юлдашева с Юсуповым, который, как пишет Антонова, «стал выталкивать Юлдашева с постов: в 1940 г. Юлдашева назначили наркомом просвещения Узбекистана, а в 1941 г. он стал всего лишь директором Института Академии наук» (речь идет об Институте истории, языка и литературы Узбекского филиала АН). В первые месяцы войны началась эвакуация московских и ленинградских ученых в Ташкент (тогда Антонова и познакомилась с Юлдашевым), тогда он «с большим почтением принимал академиков и членов-

корреспондентов, старался их устроить получше, и они по-приятельски относились к нему». Тогда «многие узбеки еще помнили Юлдашева в славе», и на глазах Антоновой «милиционеры вскакивали со скамеек и отдавали ему честь, а в чайхане аксакалы сразу приглашали его к себе на почетное место. Юсупову эта популярность Юлдашева не давала покоя».

Дальше Антонова рассказывает: «В ноябре 1941 г. в Ташкенте началась кампания против национализма и аресты узбеков. В УзФАНе (Узбекский филиал АН СССР. – *В. А.*) был взят Маджиди, заведующий отделом литературы и близкий друг Юлдашева… В конце ноября 1941 г. Юлдашев перестал приходить в институт. Его жена сообщила по телефону обеспокоенным сотрудникам, что у него депрессия (он страдал сильной шизофренией и подозрительностью), надо лишь оставить его в покое и все будет в порядке. Когда прошла еще неделя, а Юлдашев не появлялся, сотрудники… пришли к нему домой – и обнаружили, что Юлдашевых и след простыл».

О дальнейшем Антонова и ее муж узнали только в 1946 г., когда случайно встретили Юлдашева в Москве. Оказалось, верный человек предупредил его о готовящемся аресте, надо было уезжать. «Поехать во время войны в Москву, Ленинград или Куйбышев (где тогда находилось правительство) можно было лишь по вызову. Поэтому Юлдашев приколол значок депутата Верховного Совета и отправился к начальнику Ташкентского вокзала, заявив, что ему надо быть в Куйбышеве. Значок подействовал, и он получил билет. В Куйбышеве он заявился к Берии, и сказал, что с ним – Юлдашевым – хочет расправиться Усман Юсупов.

«Мы запросим из Ташкента материалы, – сказал Берия, – и разберемся здесь». Через месяц Юлдашев опять пришел на прием к Берии. «Юсупов никаких материалов не прислал, – заявил Берия, – очевидно, их у него собрано достаточно, чтобы Вас посадить в Узбекистане, но они не выдержат разбора здесь. Поэтому можете жить спокойно, но не советую появляться в пределах Узбекистана». Вот тогда-то Мухамеджан Юлдашевич оказался в Бугуруслане, где провел большую часть войны.

Опишу вкратце дальнейшую судьбу Юлдашева. В конце войны он переехал в Саранск, став там директором уже не учительского, а педагогического института, дававшего полноценное высшее образование (к этому периоду его жизни я еще вернусь). Работая там, он в 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию. По словам Антоновой, он не появлялся в Узбекистане, пока там был Юсупов, но, по данным словаря С. Д. Милибанд, Юлдашев в 1948–1950 гг., то есть еще при Юсупове,

был директором Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. Но в 1950 г. (здесь единодушны Милибанд и Антонова) он уехал в докторантуру в Ленинград, где пробыл до 1956 г., защитив докторскую диссертацию через шесть лет после кандидатской, в 1953 г. Не знаю, насколько в написании диссертаций принимала участие жена Юлдашева, но диссертации отнюдь не лишены научной ценности. Они были посвящены отношениям России с Бухарским эмиратом (кандидатская диссертация) и Хивинским ханством (докторская диссертация), основывались на источниках из эмирских и ханских архивов и вводили в науку свежий материал. Безусловно, ему помогли ленинградские ученые во главе с А. Ю. Якубовским.

О дальнейшей жизни Юлдашева, уже не знавшей падений, рассказывает Антонова: «В 1956 г. вернулся наконец в Узбекистан, где уже не было Юсупова. Однако политической роли он уже сыграть не смог, там у власти стояли совсем новые люди. Зато он сделал научную карьеру, став членом-корреспондентом Узбекской академии наук, директором Института истории партии при ЦК КП Узбекистана, заведующим отделом исследования восточных документов Института востоковедения АН УзССР, а также членом президиума ВАКа в Москве». Добавлю, что директором Института истории партии он перестал быть в 1961 г., зато в Узбекской академии стал не только членом-корреспондентом в 1956 г., но и академиком в 1968 г. Умер Юлдашев 3 сентября 1985 г. в возрасте 81 года.

О Юлдашеве в старости Антонова пишет плохо: «Сказалась его шизофрения: он стал враждебно относиться ко всем, кого считал своим соперником, вел себя безапелляционно и нетерпимо. Так, он считал своим заклятым врагом молодого тюрколога Юрия Брегеля, тоже написавшего диссертацию на основе того же архива хивинских ханов… Когда Брегель (в 1973 г. – *В. А.*) уехал в Израиль, Юлдашев торжествовал: он всюду писал, что Брегель – человек нехороший, теперь всем видно, что он – американский шпион». Антонова называет его «брюзжащим, злобным стариком».

Но, по ее же словам, в неприятного старика превратился «романтичный юноша, готовый сражаться за революцию и умереть в чужой стране», которому Антонова скорее сочувствует. В самом начале рассказа Антонова называет «красивого ферганца» Юлдашева «самым значительным» среди узбекских ученых. То, как он сумел в 1941 г. спастись, тоже явно говорит для нее в его пользу. И подкупил ее один уже послевоенный его рассказ. Муж Антоновой спросил Юлдашева, почему он, помогая многим эвакуированным, не взял на работу одного московского

профессора. Оказывается, этот профессор, придя к Юлдашеву наниматься, рассказал следующее. Хотя в конце 20-х гг. он примыкал к троцкистам, но НКВД поручится за него, поскольку он был среди троцкистов «по приказу райкома… чтобы партия была в курсе их деятельности», а потом совершил нелегальную поездку на Принцевы острова, где жил тогда Троцкий, чтобы совершить на него покушение, правда, неудавшееся. По рассказу Коки Александровны, «Юлдашев подумал, что такого провокатора лучше не иметь при себе, и сказал, что у него нет мест, – и без того нужно сокращать штаты. “Разница между информатором и провокатором, – учил нас тогда Юлдашев, – в том, что информатор просто сообщает, что он видел и слышал, а провокатор еще придумывает, а что человек хотел этим сказать, что он намеревается делать. Поэтому от провокаторов надо держаться подальше”».

Итак, оценки далеко не однозначны. Личность, не столь простая и одномерная, как по рассказам моих родных. Но, конечно, и после воспоминаний К. А. Антоновой я бы не стал специально писать о Юлдашеве. Но вот во второй половине 90-х гг. я неожиданно для себя занялся лингвистическими идеями знаменитого ученого М. М. Бахтина и его друга В. Н. Волошинова (см. очерк «Грустная судьба»). И вдруг я встретил в довольно многочисленной литературе о Бахтине (уже появилась целая дисциплина – бахтинология) упоминание все той же фамилии М. Ю. Юлдашева. Как известно, ученый в 1945–1961 гг. работал в Саранском пединституте, и первым директором института при нем был именно Юлдашев.

Если Антонова специально пишет о личности Юлдашева, то биографы Бахтина упоминают его лишь постольку, поскольку он имел отношение к знаменитому автору. Но их оценки единодушны: Юлдашев благоволил к Бахтину, который в это время был никому не известным преподавателем из бывших ссыльных, вся его мировая слава была впереди.

Г. В. Карпунов, В. М. Борискин, В. Б. Естифеева, авторы книги «Михаил Михайлович Бахтин в Саранске», пишут, что Юлдашев встретил нового преподавателя доброжелательно, сразу дал ему квартиру, где Бахтины жили потом четырнадцать лет, и дал распоряжение посылать за преподавателем лошадь. В. Б. Естифеева в воспоминаниях о Бахтине несколько конкретизирует: «Директор пединститута М. Ю. Юлдашев встретил Бахтиных доброжелательно и в меру своих возможностей старался им помочь. Прежде всего, он предоставил им комнату в лучшем из домов, которыми в то время располагал пединститут». И она же: «Первые годы по прибытии Бахтиных в Саранск по распоряжению

директора пединститута М. Ю. Юлдашева в непогоду и гололед за М. М. Бахтиным посылали директорскую лошадку… Позже при М. И. Романове (директор с 1950 г. – *В. А.*) эта “привилегия” была отменена». С. С. Конкин и Л. С. Конкина в биографии Бахтина указывают, что Юлдашев сразу назначил его заведующим кафедрой зарубежной литературы, но Наркомпрос первоначально не утвердил его в должности под предлогом отсутствия ученой степени (позже, однако, он получил эту должность). В. Б. Естифеева пишет и о том, что после выхода в газете «Культура и жизнь», органе Управления пропаганды и агитации ЦК, статьи с упоминанием диссертации М. М. Бахтина как «отрицательного примера» «высокое начальство Саранска» потребовало обсудить статью в институте. Однако Юлдашеву «удалось убедить высокое начальство в том, что нецелесообразно обсуждать диссертацию, пока ВАК не высказал своего мнения», проработка Бахтина не состоялась.

Юлдашев мог обойтись с «и. о. доцента» с пятнами в биографии так же, как обходился с подчиненными в Бугуруслане (и Антонова вспоминает, как он в Ташкенте безжалостно уволил из института сотрудницу невысокого ранга). Но здесь все было иначе. Конечно, могло повлиять воспитанное у Юлдашева с детства почтение к старшим (Бахтин был его старше на девять лет), возможно, директору просто было жалко человека без ноги. Но, вероятно, Юлдашев чувствовал в Михаиле Михайловиче нечто значительное. Как бы ни был узбекский «выдвиженец» дремуч, какая-то интуиция у него, очевидно, была.

Итак, три облика одного человека. Когда-то в детстве я видел португальский фильм под названием «Три зеркала» (много лет картина была для меня единственным источником зрительных впечатлений о Португалии, пока в 2002 г. сам там не побывал). Там детектив искал пропавшего человека и из бесед с теми, кто его знал, выяснял его личность. И этот человек отражался в «трех зеркалах» – представлениях трех знавших его женщин; для одной он был злодеем, способным на убийство, для другой – благородным героем. И, казалось бы, не такой уж сложный как личность Юлдашев оказался в таких же трех зеркалах. У моих матери и тетки, у К. А. Антоновой и у биографов М. М. Бахтина мы видим трех разных Юлдашевых. Разумеется, каждое зеркало отражало отношение Юлдашева к нему (в случае биографов Бахтина – не к ним самим, а к их «герою»). Эвакуированные преподавательницы видели лишь грубости и оскорбления со стороны малокультурного человека, даже не освоившего русский язык (сам факт того, что узбек, плохо говоривший и почти не писавший по-русски, мог быть директором института, где

готовили учителей русского языка и литературы, вызывал естественный протест). Не знаю, изменил ли Юлдашев отношение к моей матери, когда она получила известность в кругу историков, но в 1942 г. она была для него лишь красивой девушкой, посмевшей отвергнуть его приставания. А Антоновой (почти ровеснице моей тетки) Юлдашев помог в трудные дни начала эвакуации, и она не могла это забыть, хотя позже инцидент с Ю. Э. Брегелем вызвал у нее возмущение. Бахтин же во время своих скитаний 30–40-х гг. редко встречал помощь и поддержку и вдруг получил ее от человека, от которого по всем параметрам трудно было ее ждать. Отсюда и разное отражение в зеркалах воспоминаний.

А оценивая М. Ю. Юлдашева в целом, вспоминаешь другого человека из Средней Азии, тоже оказавшегося в России начальником над коллективом, в основном состоявшим из русских. Это академик Б. Г. Гафуров (см. очерк «Мудрый директор»). Один был таджик, другой узбек, но исходные культуры у них были близки. Более важное различие – Гафуров, конечно, был крупнее как личность и летал выше. Но сходство было. Малое образование, недостаточная интеграция в русскую культуру, но глубинная восточная мудрость (пример – рассуждения Юлдашева о провокаторах), развитая интуиция. Грубость, «привычка к раболепству», но и умение помочь, когда надо. Такой человеческий тип возник на стыке культур в результате Октябрьской революции. Только в советское время узбеки, таджики, азербайджанцы могли войти в состав русской элиты и занять в ней заметное место. Но распад СССР остановил этот процесс, и теперь это – факт истории.

Выдвиженец
(Т. П. Ломтев)

В 1963 г. я поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Пользовалось оно тогда славой центра совершенно новой науки, точной, математизированной и презирающей всякие гуманитарные традиции. Нам казалось, что нас будут учить совсем не так, как учили студентов раньше, что преподаватели отделения – какие-то необыкновенные новаторы, отмеченные печатью избранничества.

Все, однако, оказалось не совсем так. На нас обрушились тяжелейшие математические курсы, из-за которых от первоначальных 32 человек нас уже ко второму курсу осталось 14. Очень много времени отнимала физкультура, на которую

надо было ездить с проспекта Маркса на Ленинские горы. Остальное же время шли занятия, обычные для филологов: иностранный язык (правда, в нашем случае японский), латинский язык, политэкономия капитализма. И только два лингвистических курса по два часа в неделю.

Казалось, все преподаватели на новом отделении должны быть молодыми, веселыми и энергичными. Но выяснилось, что оба лингвистических курса читают пожилые профессора. «Введение в языкознание» читал добрейший Петр Саввич Кузнецов (см. очерк «Петр Саввич»). Курс же, именовавшийся «Современный русский язык», должен был читать Тимофей Петрович Ломтев. Его имя нам ничего не говорило.

Первая же встреча с Тимофеем Петровичем произвела удручающее впечатление. Перед нами был уже немолодой (тогда ему было 57 лет) человек с брюшком и обширной плешью, совсем не интеллигентного вида. Его можно было принять за завмага или председателя колхоза, но не за профессора. Позднее мы убедились, что не только на отделении, но и на всем факультете, где уровень интеллигентности преподавателей был уже не тот, что когда-то, Ломтев выделялся по этому параметру в худшую сторону. И интонации речи соответствовали внешности.

Казалось, такой человек должен рассказывать студентам что-то забубенно традиционное. Но нет! Профессор начал излагать основные понятия математической логики, предвосхищая то, что нам еще предстояло узнать в курсах математики. Попутно он сообщал нам в весьма высоконаучных терминах различие между языковым значением и смыслом, произносил неведомые нам слова вроде «денотат» и требовал от нас чтения лишь недавно появившихся в русском переводе сверхученых книг А. Чёрча и Р. Карнапа (через несколько занятий, впрочем, он сказал: «Карнапа можете не читать. Слишком сложно»). Контраст был разителен. Позже мы поняли, что все, что нам пересказывал Ломтев, действительно было весьма почтенной наукой, но внешность и голос профессора, от которого мы узнавали об этом впервые, накладывались на содержание высказываемого, и становилось трудно отделить содержание от формы.

За год Тимофей Петрович прочитал нам лексикологию, словообразование и фонологию. Все это он читал не по учебникам, которые ругал за традиционализм, а по собственным разработкам (впоследствии изданным). Любимыми его темами были рассуждения о понятиях (как мы скоро поняли, достаточно элементарных) теории множеств и математической логики, построение всевозможных матриц и деревьев и разложение всего, что только можно, на компоненты и дифференциальные

признаки. То было время ожесточенной и в основном свободной борьбы между старой, традиционной и новой, структурной лингвистикой (оргвыводы стали делать позже). Как часто бывает в такого рода борьбе, большое значение придавалось внешней атрибутике. Важно было, чтобы из самой формы изложения становилось очевидным, к какому лагерю примыкает автор, а многие вполне искренне считали, что такая форма и есть суть дела. Молодые и не очень молодые новаторы украшали свои сочинения таблицами и матрицами из плюсов и минусов и повторяли слова вроде «дистрибуция» и «дихотомический», а умудренные «традиционалисты», среди которых выделялись остроумием А. Ф. Лосев и М. И. Стеблин-Каменский, пощипывали их за «внешнее наукообразие» и призывали писать просто. Ломтев считал себя человеком очень передовым и постоянно жаловался студентам на косность факультетского преподавательского состава (даже П. С. Кузнецов для него был слишком традиционным).

Еще он любил классифицировать все, что можно. И любовь его к матрицам и деревьям вытекала также и из его стремления все упорядочить и схематизировать. Уже на первом или втором занятии он начал нам излагать компонентную структуру имен родства. И мы записывали за ним, что слово *отец* имеет признаки «мужской пол, родитель, прямое родство, первое поколение», а в слове *мать* появляется признак «женский пол», тогда как три других признака те же самые. Тут все было понятно, но оставалось неясным, зачем столь очевидные утверждения излагать в такой наукообразной форме. Затем Тимофей Петрович перешел к зоологической классификации и целое занятие излагал систематику Линнея, приписывая каждому классу особую комбинацию цифр. Мы записывали все вслед за профессором, пытаясь понять, какое это имеет отношение к лингвистике. А он выписывал на доске разделение рыб на двоякодышащие, кистеперые, лучеперые и т. д., почему-то решив для удобства классификации отнести к рыбам и китов, что шокировало первокурсников, еще не забывших учебник зоологии. Во втором семестре большая часть курса фонологии была посвящена столь же детальному выписыванию на доске дифференциальных признаков фонем в разных видах записи.

И на любом занятии профессор ошарашивал студентов своими фразами, не вполне соответствовавшими званию. На каждом курсе, где он читал, студенты начинали заводить специальные тетрадки для записи перлов, затем переходивших в студенческий фольклор. Что-то я слышал сам, что-то запомнилось из тетрадок.

На одном занятии Ломтев, любивший все записывать красивым почерком на доске, выписал фразу, где имелось слово *дерзский*. Студенты стали поправлять, а профессор заявил: «Ну, а как же тогда *французский*?». В другой раз он произнес слово *юдоль* с ударением на первом слоге, кто-то из студентов поправил, при этом выяснилось, что значение слова профессору неизвестно. Он упорно называл персов перцами и спокойно мог сказать: «Давайте сделаем этот квадрат подлиннее». Часто он не замечал двусмысленности своих высказываний. Помню его рассуждения о двоичности знака: «Просто выстрел на улице ничего не означает, а вот выстрел стартера значим, потому что противопоставлен его отсутствию». Некоторые студенты думали тогда и позже, что Ломтев говорил так нарочно, показывая большое чувство юмора. Но скорее причиной был недостаток культуры.

Часто возникал вопрос: достаточно ли понимает Тимофей Петрович то, что читает студентам? Особенно это я почувствовал несколько позже, когда он нам уже не читал свой курс. На факультете (за пределами нашего отделения) решили устроить дискуссию по поводу трансформационных грамматик Н. Хомского, уже перевернувших мировое языкознание, но еще не слишком известных у нас.

Впечатление от дискуссии оказалось тяжелым. Противники Хомского во главе с Р. А. Будаговым излагали свои консервативные идеи хотя бы складно и интеллигентным языком. Защитники же трансформационных грамматик во главе с Тимофеем Петровичем откровенно «плавали», сам Ломтев больше всех. Долго и нудно он рассуждал о том, что суть идей Хомского в том, что они помогают для «введения терминов в теорию»; что это такое, понять было трудно. После выступления на него набросились справа и слева. Преподаватель А. Г. Волков, инвалид войны, кинулся на него, тряся костылем. Ломтев пытался защититься, апеллируя к авторитету академика Л. В. Щербы; Волков закричал: «Щерба так не говорил». В ответ на еще какие-то слова Ломтева Волков заявил: «Невежество – не аргумент». Авторитет Тимофея Петровича на факультете явно не был высок, а провал защитников новых методов (кафедра структурной и прикладной лингвистики промолчала) оказался полным.

Общее мнение о Ломтеве было сходным. Учась на первом курсе, я еще дополнительно занимался английским языком с преподавательницей, раньше работавшей на филологическом факультете. Когда я ей рассказал о лекциях Ломтева, она сказала: He is a fool.

Полностью с ней все-таки соглашаться не хотелось: что-то все же в Ломтеве привлекало, хотя бы сама направленность поисков и

увлеченность. Но с духом кафедры, с которым мы постепенно знакомились, он плохо увязывался. Он не работал на кафедре, оставаясь на кафедре русского языка, и не было понятно, почему он читает у нас. Это стало нам ясным позже. Отделение и кафедра были центрами не только новых научных методов, но и (что уже становилось типичным) некоторого вольнодумства. Открытого политического противостояния тогда еще не было, но преподаватели, а вслед за ними большинство студентов (я к ним не принадлежал) заметно обособлялись не только от научных, но и от общественных мероприятий «традиционной» части факультета. Член партии на всю кафедру и состоявшую при ней лабораторию был тогда один, и тот фотограф. Но Ломтев, незадолго перед этим секретарь факультетского партбюро, открыто показывал расположенность к кафедре структурной и прикладной лингвистики, и ввиду своей научной позиции, и, вероятно, в пику своим коллегам. Кафедре же был нужен покровитель.

Помню встречу первокурсников со студентами самого старшего тогда курса, из которых ведущей беседы была А. Раскина. Они хотели нам помочь советами, а для этого откровенно поговорить. Речь заходила о разных преподавателях, и видно было, как обе стороны избегают упоминать фамилию Ломтева. Наконец, одна наша студентка не выдержала и задала вопрос о нем прямо в лоб. Старшекурсники растерялись и постарались перевести разговор на другую тему: говорить плохо о профессоре было неудобно, а хорошего сказать было нечего. А во втором семестре в поведении Тимофея Петровича стала ощущаться нервозность: видимо, его отношения с кафедрой ухудшались.

Мы были последними студентами Ломтева на отделении структурной и прикладной лингвистики. Когда мы пришли на второй курс, он целиком вернулся на русское отделение. Курс «Современный русский язык» продолжила молодая преподавательница, пропустившая предыдущий год из-за рождения ребенка. Она читала по-другому, чем Тимофей Петрович; и она, и другие преподаватели просто не вспоминали о том, что его курс был. Но тематика курсов, конечно, пересекалась, и тень Ломтева продолжала появляться. Помню, как сменившая его преподавательница на одном из первых занятий рассказывала о выделении дифференциальных компонентов значения в концепции знаменитого датского лингвиста Луи Ельмслева. Опять «мужской пол», «первое поколение» и др. И после занятия студентка Таня Тихомирова (впоследствии профессор МГИМО Т. М. Гуревич) воскликнула: «Да это же

Ломтев!». И с ней согласились. Сама идея выработки строгого научного языка для описания вроде бы простых и понятных явлений (которые на самом деле могут и не быть такими), абсолютно необходимая для науки, начинала ассоциироваться с Тимофеем Петровичем и вызывать сомнения. И это, наряду с господством математики, возможно, стало одной из причин того, что и среди тех из нас, кто кончил университет, лингвистами стали не все.

Экзамен я сдал Тимофею Петровичу успешно, и он меня запомнил. Еще раз я с ним столкнулся, когда одну из необходимых публикаций по диссертации понес в журнал «Филологические науки», где он был главным редактором. Он принял меня хорошо и на редколлегии отстоял статью в полемике с возражавшим против нее Р. А. Будаговым. Это было в 1970 г., а через два года я узнал о его смерти.

Вновь я встретился с Ломтевым, теперь уже заочно, в конце 80-х гг., когда стал заниматься историей советского языкознания. Тогда я узнал, что профессор ранее раскрылся передо мной не всеми своими сторонами, а главные события его жизни произошли до того, как я его увидел. Его ярко начавшаяся, а затем скорее рядовая карьера отразила многие коллизии советской истории.

Тимофей Петрович родился в 1906 г. в крестьянской семье в деревне Кочерга. Позднее его устойчиво считали белорусом, но, даже если у него и были белорусские корни, деревня Кочерга находилась в Воронежской губернии, а в Белоруссию его судьба занесла позже. Ломтев сначала окончил педагогический техникум в ближайшем к родной деревне городе Новохоперске, а затем поступил в Воронежский университет, который окончил в 1929 г. Он оказался одним из многих представителей первого послереволюционного поколения, получивших название «выдвиженцев» (к этой категории принадлежал и мой отец, см. очерк «Об отце»). Такие дети рабочих и крестьян должны были, по замыслу советских руководителей тех лет, постепенно заменить старую «буржуазную», «индивидуалистическую» интеллигенцию, предварительно получив от нее профессиональные знания.

Воронежский университет, образованный на основе эвакуированной в годы Первой мировой войны русской части Юрьевского (ранее Дерптского) университета, тогда обладал сильным составом профессуры. После его окончания Ломтев переехал в Москву и поступил в аспирантуру. Он еще не закончил ее, когда в его судьбе произошел нечастый даже в те годы взлет. Молодой, энергичный провинциал, не искушенный в академических правилах игры, сдерживавших его более опытных

коллег, выступил в роли создателя и теоретика новой науки о языке, призванной заменить все, что существовало.

В сентябре 1930 г. появилось обращение группы молодых и мало кому известных языковедов, назвавших себя «Языковедный фронт», сокращенно «Языкофронт» (образцом послужила отколовшаяся незадолго от этого от РАПП литературная группа «Литературный фронт»). В нее вошли, кроме Ломтева, Г. К. Данилов, Я. В. Лоя, К. А. Алавердов, М. С. Гус (впоследствии литературовед), Э. К. Дрезен (лидер советских эсперантистов), С. Л. Белевицкий и др. Потом число «языкофронтовцев» возросло до 25 человек. В их числе был и другой мой профессор П. С. Кузнецов (впоследствии ни Кузнецов, ни Ломтев не рассказывали студентам ни о «Языкофронте», ни о своем столь давнем знакомстве; студенты удивлялись тому, что Ломтев выступал на похоронах Кузнецова, думая, что таких разных людей ничего не может связывать).

Инициатором создания группы был, по-видимому, Я. В. Лоя, а организационным лидером – Г. К. Данилов. Оба они были на десяток лет старше Ломтева и имели немалый партийный стаж. Но лишь год назад появившийся в Москве 24-летний аспирант, тогда комсомолец, за несколько месяцев стал, по выражению из воспоминаний П. С. Кузнецова, «идейным вождем» группы. Ломтев сразу стал популярен. Спустя более чем полвека член-корреспондент Академии наук А. В. Десницкая рассказывала мне, какое впечатление на нее, тогда ленинградскую студентку, произвел приезд из Москвы молодого Тимофея Петровича: «Он тогда был необыкновенно красив и одухотворен. У него была великолепная всклокоченная шевелюра». Мне, знавшему его плешивым и отнюдь не красивым, трудно было представить его таким. Но представляли же!

Языкофронтовцы начали борьбу против «буржуазной» науки, но здесь у них уже имелся сильный конкурент: школа академика Н. Я. Марра (см. очерк «Громовержец»). Пришлось вести борьбу на два фронта. Менее чем через месяц после создания группировка вызвала на бой именитого академика, инициировав дискуссию в Коммунистической академии (уже вторую после дискуссии с марристами Е. Д. Поливанова, закончившейся полной победой марризма, см. очерк «Метеор»). Дискуссия длилась с октября по декабрь 1930 г., заняв 13 заседаний. Двумя основными докладчиками были Т. П. Ломтев и Г. К. Данилов; первый посвятил доклад критике методологических основ марризма, второй – вскрытию его классовых корней и практическим вопросам. Отвечали им так называемые «подмарки»: В. Б. Аптекарь, И. К. Кусикьян и др. (Марр не снизошел до

противников), ни к тому, ни к другому лагерю не примкнула в выступлении Р. О. Шор (см. очерк «Первая женщина»). Дискуссия кончилась как бы вничью, и вскоре при поддержке руководства Наркомпроса при нем был организован Научно-исследовательский институт языкознания (НИЯз), ставший оплотом «Языкофронта». Институт получил особняк на Мясницкой улице (впоследствии его займет редакция газеты «Аргументы и факты»). Не кончивший аспирантуры Ломтев стал его ведущим сотрудником, а с 1 февраля 1932 г. заведующим наиболее важным его методологическим сектором.

Ломтев и его товарищи поставили перед собой задачу создания новой, марксистской лингвистики. Тогда эта задача выглядела совсем иначе, чем это стало казаться потом: марксизм еще не стал, по выражению О. М. Фрейденберг, «вицмундирной наукой», наоборот, он выглядел заманчивой альтернативой старой, позитивистской «вицмундирной науке». Различие проходило не только по политическому, но и по возрастному признаку: более восприимчива к марксизму была молодежь. Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев, Р. О. Шор, В.Н. Волошинов (которым я посвящаю отдельные очерки), как и Л. П. Якубинский и др., в той или иной степени увлекались поисками марксистского языкознания. Из старшего поколения склонность к этому имели лишь немногие, прежде всего, Н. Я. Марр, но то был особый случай.

Ломтев включился в эту деятельность одним из последних перед тем, как господство догматизма окончательно прервало самостоятельные научные поиски в этом направлении. Он отличался от ученых, перечисленных выше: те получили или хотя бы начали свое образование до революции, перед ними стояла нелегкая задача пересмотра воззрений, но они имели хорошую профессиональную подготовку, обширные знания и культурную основу, которые не могли и не хотели отбрасывать. Ломтев же был одним из первых в полном смысле слова советских ученых, с самого начала находившихся в новой системе координат. Марксизм для него не мог быть объектом сравнения и выбора, он понимался как единственно верное учение, отношение к которому во многом было религиозным. Вопрос стоял иначе: как связать учение классиков марксизма-ленинизма (в число которых уже вошел И. В. Сталин) с фактами избранной для себя науки. Здесь казалось, что можно сделать много.

Но свобода мнений в 1931–1932 гг. стала гораздо меньшей, чем в 20-е гг., а «марксизмом в языкознании» официально уже объявили «новое учение» Н. Я. Марра. С этим «Языкофронт» не был вполне согласен. В чем-то Ломтев и его товарищи с Марром

соглашались, особо выделяя в качестве заслуг как раз то, за что его впоследствии заклеймит Сталин: объявление языка надстройкой и тезис о классовости языка. Но языкофронтовцы любили и выискивать у Марра недостатки, не скупясь, как и марристы в ответ, на хлесткие выражения. Г. К. Данилов именовал учение Марра «продуктом мелкобуржуазного путчизма». Ломтев же предпочитал более спокойные формулировки вроде «своеобразный примитивный материализм в области языковедения» или (про марристскую программу школьного курса русского языка) «соединение механицизма с деборинщиной». Если же отвлечься от формулировок, то достаточно догматическая позиция языкофронтовцев все-таки была разумнее марристской.

«Языкофронт» отвергал самые фантастические построения Марра вроде четырех элементов, из которых тот выводил все слова всех языков. Если Марр искренне считал, что интереснее сравнивать русский язык с грузинским или киммерийским (от которого ничего не сохранилось), то Ломтев вполне здраво спрашивал: «Почему проблема кимеров важнее для вопроса о происхождении русского языка, чем, например, проблема украинского и белорусского языков?». Все-таки чему-то его в Воронежском университете научили.

Но еще крепче Ломтев припечатывал «буржуазно-империалистический индоевропеизм», опиравшийся, по его мнению, на «отдельные прослойки буржуазной интеллигенции и на кулачество, ликвидируемое как класс на основе сплошной коллективизации». К «представителям псевдонауки» он относил и Д. Н. Ушакова, и М. Н. Петерсона, и даже Е. Д. Поливанова. И все же Тимофей Петрович был умереннее марристов, отказываясь «выбросить за борт все *фактическое* богатство лингвистических *фактов*» (курсив мой), добытое «буржуазной наукой». Марр же и с фактами не считался, особенно когда это было ему выгодно.

В самом НИЯз, где при главенстве языкофронтовцев собрались лингвисты разных поколений и направлений, не утихали склоки. Главным объектом травли стал крупный славист А. М. Селищев (см. очерк «Крестьянский сын»). И, как пишет в мемуарах П. С. Кузнецов, «во всех погромных дискуссиях главным вождем выступал Т. П. Ломтев». Впрочем, и сам Тимофей Петрович был отнесен далеким от науки директором института М. Н. Бочачером к числу языкофронтовцев, которые «совершали ошибки по линии идеализма, формализма, индоевропеизма».

Ломтев постоянно подчеркивал различие трех направлений в языкознании: «индоевропеизма» (куда относилась любая немарксистская лингвистика), марризма и «марксистско-

ленинского учения о языке», пока существующего лишь на уровне методологических установок. Превратить эти установки в развернутое учение было поручено Тимофею Петровичу, которого, как пишет П. С. Кузнецов, «сразу все признали идейным вождем “Языкофронта”». Задача была, учитывая ментальность того времени, вызывающе дерзкой. Взяться за нее мог либо признанный мэтр вроде Марра, либо, наоборот, молодой, смелый и не обремененный комплексами человек со стороны, каким тогда был Ломтев.

Но что удалось сделать? До конца в этом разобраться трудно, поскольку опубликовать тогда Тимофей Петрович успел мало, а его архив до сих пор как следует не изучен. Марристы всячески мешали публикации языкофронтовских работ, и свет увидели лишь четыре статьи Ломтева, одна из которых в Минске почему-то на языке идиш, тогда одном из государственных в Белоруссии. Еще вместе с Я. В. Лоя он подготовил «Ленинскую хрестоматию о языке» с вводной статьей, лингвистическим комментарием и примечаниями, но все, что написали Ломтев и Лоя, уже в верстке было изъято, и вышел лишь сборник ленинских цитат. В опубликованных статьях критическая сторона преобладает над позитивной. Остальное известно лишь по упоминаниям в журнальной хронике и полемических статьях марристов, да иногда в немногочисленных мемуарах.

Дошедшие до нас публикации показывают те же свойства, которые замечали у него мы, студенты. Широкая постановка проблем, любовь к философии и неучет элементарных вещей, здравые мысли и фразы, звучащие почти пародийно. Видно, какое впечатление произвели на молодого ученого идеи Г. Гегеля и В. фон Гумбольдта (оцениваемого очень высоко, за что тоже его ругали «подмарки»). Рассуждения об отражении в языке законов диалектики, о причинах языковых изменений, не сводимых столь прямолинейно, как это делал Марр, к переменам в экономике, соседствуют со вполне марристскими тезисами о том, что язык «по самой природе своей есть классовое явление». Это доказывается сопоставлением двух формулировок: «Сердечный союз народов Европы» и «Революционный союз пролетариев всего мира, братьев по классу». Из идеологической их несовместимости Ломтев выводил и «языковую несовместимость». Еще его пример – «языковые фокусы социал-фашистов». В 1931–1932 гг., перед приходом Гитлера к власти, у нас все германские партии, кроме коммунистической, считались фашистскими, и Ломтев клеймит «теорию меньшего зла», согласно которой Гитлер – фашист, тогдашний канцлер Г. Брюнинг – «якобы не фашист», отсюда последний рассматривается социал-демократами как «меньшее

зло». «Так используется в интересах соцфашизма язык», – заключает Ломтев.

Лишь из воспоминаний П. С. Кузнецова мы узнаем, что Ломтев при участии других молодых членов «Языкофронта» писал «новую методологическую грамматику, опирающуюся на диалектико-материалистические основания», текст которой пока что неизвестен. Как пишет Кузнецов, в ней «части речи определялись как классы слов, отражающие действительность через классовое сознание. Существительное отражало действительность через классовое сознание предметно, глагол отражал действительность через классовое сознание процессно, и т. д.». Если текст передан точно, то, откинув шелуху «классового сознания», мы получим вполне традиционное понимание частей речи. Это все же было лучше, чем призывы Марра в те же годы «упразднить грамматику».

Марристы предпринимали меры, позволявшие им сохранять монополию в науке. Статью, напечатанную на идиш, прочитал ученик Марра С. Д. Кацнельсон, назвавший за нее Тимофея Петровича «меньшевиствующим идеалистом», который «повторяет зады Штирнера» (теоретика анархизма середины XIX в.). Но главным забойщиком в борьбе марристов с «Языкофронтом» выступал «выдвиженец», биография которого почти повторяла биографию Ломтева: принадлежал к той же возрастной группе (на два года моложе), из крестьян, окончил педагогический техникум, затем вуз и стал аспирантом, русист по специализации, комсомолец. Главное отличие – его руководителем в аспирантуре был Марр. Это был Федот Петрович Филин, впоследствии член-корреспондент АН СССР и директор Института языкознания, а потом Института русского языка. По его выражениям, «под флагом марксистской фразеологии Ломтев протаскивает соцфашистскую контрабанду, совершенно не считаясь с тем, что доклад он делает в стенах Коммунистической академии», взгляды Ломтева – «открытая защита идеологии буржуазии», «через Гумбольдта Ломтев проталкивает кантианство в его самой реакционной части».

«Языкофронт» продержался дольше, чем Е. Д. Поливанов: более двух лет. У него была поддержка наверху, особенно в Наркомпросе, где работал один из его организаторов К. А. Алавердов. Тот дружил с Н. К. Крупской и обработал ее против Марра. Как-то она пригласила сотрудников НИИЯз в свой наркомат и делилась с ними воспоминаниями о том, что Владимир Ильич интересовался сравнительно-историческим языкознанием (отрицавшимся Марром). Но сторонники Марра оказались сильнее. Ломтев и его соратники теряли одну позицию за другой.

Их печатный орган «Революция и язык» прекратился после первого номера, «Языкофронту» пришлось самораспуститься в феврале 1932 г. Наконец, в начале 1933 г. в НИЯз прислали комиссию по проверке, в результате работы которой весной 1933 г. институт был закрыт, а его сотрудники должны были искать себе работу. Ломтев, не имевший прочных корней в Москве и уже установивший контакты с Минском, решил уехать туда. Научную биографию, казалось, успешно развивавшуюся, надо было начинать заново. Впрочем, время было: молодому ученому еще не исполнилось и 27 лет.

В Минске Тимофей Петрович осел надолго: до 1946 г. (с перерывом на годы оккупации). Там он был на хорошем счету и занимал руководящие должности: зам. директора Института языкознания АН БССР, а затем зав. отделением языка Института языка и литературы, деканом филфака и зав. кафедрой русского языка и литературы в Белорусском университете. Бывали в новой жизни и неприятности. На одной из лекций он рассказывал нам, как его долго прорабатывали за рекомендацию вступить в переписку со знаменитым Пражским лингвистическим кружком, одним из тогдашних центров мировой лингвистики. Кружок прислал в Минск письмо с предложением сотрудничать, проект ответа поручили Ломтеву. Он написал, что в кружке состоят представители «идеологически чуждой науки», но это крупные ученые и переписка с ними целесообразна. Результат – новые проработки, впрочем, не имевшие для ученого катастрофических последствий. Однако все это отсрочило его вступление в партию, состоявшееся лишь перед войной.

Языкознание в Белоруссии стало складываться лишь незадолго до революции. Создание БССР поначалу стимулировало его развитие, в 20-е гг. ставшее довольно активным. Некоторое время в конце 20-х гг. в Минске даже работал крупнейший ученый Н. Н. Дурново, правда, жаловавшийся на провинциализм местных специалистов (см. очерк «Никуда не годный заговорщик»). Но на грани 20-х и 30-х гг. разгорелась борьба с «национализмом», нормальная работа стала невозможной, а после 1937–1938 гг. первое поколение белорусских языковедов перестало существовать. Восстанавливать белорусскую науку о языке пришлось в 30-е гг. Ломтеву, и с тех пор ее традиция уже не прерывалась.

В минские годы появились первые солидные публикации самого Тимофея Петровича. Он, наученный горьким опытом, стал избегать философских проблем и глобальных построений и занялся конкретными фактами белорусского языка. Самая крупная его работа, первая книга называлась «Исследования в

области истории белорусского синтаксиса», перед войной Ломтев защитил ее как докторскую диссертацию. По идеям она опиралась на науку дореволюционных лет, марризма в ней нет, только о родстве славянских языков Ломтев избегал говорить от своего имени, приводя лишь цитаты из А. Мейе и других «индоевропеистов».

Минск был оккупирован в первые же дни войны. Ломтев едва успел пешком уйти на восток, потеряв по дороге семью, к счастью, тоже уцелевшую. Громившийся им во времена НИЯз С. Б. Бернштейн вспоминал, как он привел с трудом добравшегося до Москвы Ломтева к своему учителю А. М. Селищеву, за прошедшие годы побывавшему в лагере. Теперь было не до прежних разногласий. Как пишет Бернштейн, «Тимофей Петрович находился в страшно подавленном состоянии. События его просто раздавили». А Селищев (вскоре умерший от рака) «со спокойной и глубокой уверенностью» утешал бывшего гонителя: «Не надо предаваться унынию. Немцы опасные враги, но даже они победить нас не смогут».

Еще в эвакуации Ломтев был назначен заведующим отделом школ ЦК КП Белоруссии. Два года он восстанавливал школьное обучение в освобожденной республике и не писал в это время ничего, кроме газетных статей. Но на номенклатурной должности он не задержался и в 1946 г. окончательно вернулся в Москву и в языкознание. Он стал профессором филологического факультета МГУ, где проработал четверть века. Административных должностей он больше не занимал, только был одно время, как я уже упоминал, секретарем факультетского партбюро и в последнее десятилетие жизни главным редактором журнала «Филологические науки». Большинство его публикаций в эти годы посвящено науке, хотя время иногда вновь заставляло его вспоминать о «методологии».

Через два года после его возвращения в Москву сравнительно спокойные времена сменились новым наступлением марристов, как оказалось, последним. Занявший к тому времени высокое положение Ф. П. Филин стал вспоминать о «Языкофронте», якобы «распущенном как вредная организация». Судьбы его членов к тому времени оказались разными. Г. К. Данилов и Э. К. Дрезен были расстреляны, К. А. Алавердов умер вскоре после освобождения из лагеря, другие, как и сам Ломтев, не пострадали. На филологическом факультете работали также П. С. Кузнецов и С. Б. Бернштейн (Кузнецову как раз в 1948 г. Ломтев оппонировал по докторской диссертации). Но если они не следовали «новому учению», тогда еще канонизированному, то Тимофей Петрович, по-прежнему думавший о марксистской

лингвистике, не мог ни отсидеться, ни выступать против «новой науки», хотя, как и прежде, имел с Марром разногласия.

В 1948–1950 гг. Тимофей Петрович вновь стал активно вести борьбу с разными противниками. В отличие от Филина и других «чистых» марристов он лишь вскользь упоминал имя Марра и не стремился восстановить в правах четыре элемента и прочую уже подзабытую фантастику. Зато, как и прежде, он разоблачал науку Запада и отечественных противников Марра, теперь объявленных независимо от национальности «космополитами». Особо он обратил внимание на фонологию, тогда передовую область нашего языкознания, о которой мне уже неоднократно приходилось говорить в разных очерках. Ввязавшись в давно шедшую борьбу двух фонологических школ: московской, сформированной П. С. Кузнецовым, В. Н. Сидоровым и др. как раз в стенах НИЯз, и ленинградской, основанной к 1948 г. уже покойным Л. В. Щербой, Ломтев принялся обличать обе школы, находя в обеих «идеализм» и переклички с «реакционными» западными учениями. Впрочем, он пытался построить и собственную фонологическую теорию, получилась неясно изложенная эклектическая концепция, совмещавшая элементы двух разоблачаемых систем. Ее не приняли ни те, ни другие фонологи. Кузнецов, когда его вызывали в Министерство высшего образования и предложили отречься от фонологических взглядов, заявил: «Считаю идеалистическими взгляды, выдвинутые Ломтевым». «Марксистской теории фонемы» не получилось.

Еще одним постоянным объектом критики тогда был академик В. В. Виноградов. Его тогда обличали многие, но и здесь позиция Ломтева оказалась своеобразной. Только он набросился на вышедшую еще в 1945 г. брошюру Виноградова «Великий русский язык», по слухам, понравившуюся «наверху». Эта брошюра, что правильно почувствовал Ломтев, по идеям не была ни коммунистической, ни марксистской, а была панславистской, продолжая традиции русской консервативной славистики XIX в. Тезис Виноградова о русском языке как «международном языке славян» он назвал «реакционным», а сочувственно цитируемые в брошюре высказывания К. С. Аксакова «несовместимыми с ленинским учением о наличии двух культур в каждой национальной культуре». Все это совпадало с тем, что говорили и писали в 20–30-е гг., в том числе и сам Тимофей Петрович в годы «Языкофронта». Но конъюнктура изменилась. Складывание социалистического лагеря вновь ставило вопрос о «международном языке славян», а осужденная Ломтевым «русификация» оценивалась уже иначе. Панславизм Виноградова больше соответствовал «духу времени», чем восходивший к 20-м

гг. интернационализм Ломтева.

Впрочем, когда речь заходила о белорусских делах, Тимофей Петрович повторял формулировки, усвоенные им в Минске. Он вспоминал уже давно расстрелянных белорусских ученых первого поколения, «принижавших значение русского языка». Заменяя заимствования из русского языка словами из белорусских говоров, они «снижали родной язык до уровня провинциально-местечкового, областного диалекта», «плодили местечковые слова и фразы» (слово «местечковый» используется здесь в смысле, ныне непривычном). Русский язык не должен быть международным языком славян, но белорусский язык должен развиваться только на основе русского! Ломтев в обоих случаях повторял крепко выученные им в разное время формулировки, не замечая их несоответствие друг другу.

В мае 1950 г. в «Правде» началась дискуссия по языкознанию, о которой речь шла уже в нескольких моих очерках. Ломтев не мог остаться в стороне и тоже послал статью, но ее опубликовали лишь в конце дискуссии, когда ее главный участник, Сталин, уже выступил. Все понимали, что спорить уже не о чем, но раз вождь заявил: «В каком направлении будут решены вопросы языкознания – это станет ясно в конце дискуссии», то еще две недели делали вид, будто свободный обмен мнениями продолжается. Тимофей Петрович оказался в неловком положении: его статья «Боевая программа построения марксистского языкознания» явно была написана до публикации сталинской статьи и уже не соответствовала ситуации. Ему все же удалось в начале статьи вставить несколько фраз с формулировками «по-сталински мудро», «с исчерпывающей глубиной», «новая эпоха», «мощный прожектор» и др. и упоминанием «формализма» и «идеализма» Марра. Но это только усилило эклектизм статьи, где остались критика сравнительно-исторического метода и отрицание общего происхождения славянских языков, признанного Сталиным. По мнению Ломтева, нет никакой разницы в том, что слова *партия* и *диктатура* и слово *рука* имеют параллели в других славянских языках. Впрочем, он мог с полным правом заявлять о том, что и раньше «выступал с критикой принципиальных ошибок» Марра, это было так.

После этого главой советских филологических наук стал защитник панславизма В. В. Виноградов. Ф. П. Филин и другие марристы попали на время в «черные списки» (в начале 50-х гг. на работы Филина не разрешали ссылаться), а карьера Ломтева не пошла ни вверх, ни вниз. Он покаялся за статью о фонеме и за положительную рецензию на жизнеописание Марра В. А.

Миханковой и вскоре уже истолковывал «сталинское учение о языке» в теоретическом органе комсомола «Молодой коммунист». По-прежнему он обличал западную науку и даже у некогда любимого им В. фон Гумбольдта в 1953 г. усмотрел «реакционную теорию», «шовинистическая сущность» которой была разоблачена Н. Г. Чернышевским.

Но времена успокаивались, и Ломтев вновь сосредоточился на позитивной деятельности. Он пишет книгу за книгой, к концу его жизни их набралось четырнадцать. Среди них «Очерки по историческому синтаксису русского языка», «Сравнительная грамматика восточнославянских языков», несколько книг по белорусскому языку. Писал он лучше, чем говорил, и там, где он стоял на почве фактов, его работы выглядят вполне солидно. Видно неплохое знание древнерусских памятников и современных диалектов, особенно белорусских, своего давнего друга-врага П. С. Кузнецова он мог уедать за фактические ошибки. Особой индивидуальности автора в этих работах не чувствуется.

Впрочем, интерес к теории время от времени появлялся, больше в статьях, чем в книгах. Часть из этих статей разных лет вошла в посмертную и самую интересную его книгу «Общее и русское языкознание». Точка зрения автора здесь иногда менялась, но все-таки можно выделить некоторый стержень.

Еще со времен юности Ломтева интересовала проблема «марксизм и языкознание». После разгрома «Языкофронта» он долго избегал касаться ее всерьез и вернулся к ней уже в 50-е гг., когда меньше можно было бояться проработок за «неправильное понимание» марксизма. Однако к тому времени общественный интерес к этой проблеме, когда-то значительный, уже был потерян. Живые поиски здесь прекратились как раз тогда, когда разгромили «Языкофронт». «Марксизмом в языкознании» считалось сначала учение Марра, потом «сталинское учение о языке», потом то же самое «сталинское учение», но без упоминания имени Сталина. С 1950 г. и до конца советской эпохи «в основном правильной» считалась наука о языке XIX в., особенно русская, несколько социологизированная и украшенная подходящими цитатами из классиков марксизма-ленинизма. Цитаты эти либо имели самый общий характер и были всюду применимы, либо содержали положительные оценки сравнительно-исторического языкознания или ссылки на полученные им результаты (последнее в основном относилось к Ф. Энгельсу, интересовавшемуся компаративистикой и хорошо в ней разбиравшемуся). А лингвистика развивалась независимо от всего этого.

Очень немногие у нас в 50–60-е гг. интересовались применением марксизма к языкознанию, не удовлетворяясь казенно-декоративной постановкой вопроса. Кроме Ломтева, еще можно назвать С. К. Шаумяна и в какой-то степени М. В. Панова, успешно применявшего к лингвистике законы диалектики. Оба, впрочем, в конце концов «переболели» этими стремлениями и ушли от них очень далеко, в том числе политически (Шаумян в 1974 г. эмигрировал, а Панов в те же годы после исключения из партии стал настроен антикоммунистически). А Тимофей Петрович остался марксистом до конца жизни. И из всех советских теоретиков марксистского языкознания 20–30-х гг. он был единственным, кто в 50-е и 60-е гг. еще работал.

Почти в любой публикации «позднего» Ломтева есть ссылки на классиков, особенно на В. И. Ленина, чей «принцип отражения» он вспоминал постоянно. Как составитель «Ленинской хрестоматии о языке» он всегда мог найти подходящую цитату из Владимира Ильича. Впрочем, он вспоминал и Г. Гегеля, а в конце жизни неожиданно даже упомянул Н. Я. Марра, вспомнив его формулировку «фонема – социально отработанный звук». И все это не было лишь декором, профессор хотел найти подтверждение положениям классиков в языковых фактах.

Построить марксистскую лингвистику в целом в эти годы Ломтев уже не пытался, он довольствовался лишь постановкой и проработкой отдельных проблем. Здесь он, вероятно, неосознанно возвращался к той же проблематике, которой занимались у нас и в 20-е гг., в частности, Е. Д. Поливанов: причины языковых изменений, отражение в развитии языка законов диалектики. Именно здесь легче всего было обнаружить то, о чем писали классики марксизма. Разбирались эти вопросы на материале знакомых автору языков: русского и белорусского. Много здесь схоластики и мудрствования, но есть и интересные идеи. В 50–60-е гг. мировая наука обратилась к изучению проблемы избыточности в языке, известны здесь классические работы Р. Якобсона, а Ломтев уже в середине 50-х гг. совершенно самостоятельно исследовал ее.

Но Ломтев, надо отдать ему должное, понимал в отличие от многих коллег, что наука о языке не исчерпывается марксизмом и компаративистикой. Его интересовало и то, что происходит на Западе. Конечно, эта информация доходила до него из вторых рук и часто с опозданием. Английским языком он явно не владел: в статье 1949 г. о фонеме название ведущего американского журнала «Language» транскрибируется на французский манер: «Лангаж». Но с 50-х гг. зарубежные работы в большей степени стали издаваться у нас. Это относилось не только к лингвистике,

но и к математике и даже к философии, по крайней мере, к такой менее идеологизированной ее области как логика. Появились в русском переводе труды Б. Рассела, Р. Карнапа, А. Чёрча и др. И в это же время у нас распространилось увлечение математизацией гуманитарных наук, в наибольшей степени охватившее лингвистов.

Большинство лингвистов четко вставали на одну из сторон. Одни осваивали новые методы, увлекались математизацией, другие оставались на старых позициях. Первые не вспоминали о марксизме, вторые вспоминали о нем в основном декоративно, продолжая традиции позитивистской науки. И только Ломтев оказался отдельно от всех.

С одной стороны, он всегда старался оценивать западную науку с позиций диалектического материализма: «Отвергая гносеологические принципы логического позитивизма, мы тем самым отвергаем те направления структурной лингвистики, которые считают своим знаменем логический позитивизм» (1958); «Принцип отражения, постоянно отстаивавшийся В. И. Лениным, имеет принципиальное значение для… преодоления влияния логического позитивизма, выражающегося в затушевывании различия между отражаемым и отражением и для искоренения смешения означаемого с означающим» (1970). Постоянно Ломтев обличал структуралистов за сведение языка к системе чистых отношений и отбрасывание языковой субстанции: «Вопрос о противопоставлении материализма и идеализма в грамматических учениях – это вопрос о признании и отрицании субстанции языковых фактов».

Как будто здесь он мало отличается от того же Ф. П. Филина и других языковедов, продолжавших бороться с «буржуазной лингвистикой». Но Ломтев в отличие от них подчеркивает и важность овладения новыми методами. Даже в докладе 1961 г. «Проект Программы КПСС и перспективы развития лингвистической науки» он не только выступал против «буржуазной идеологии», но и писал о важности связей языкознания с математикой, точных методах, машинном переводе и пр. Не удивительно, что он сочувственно отнесся к созданию отделения и кафедры структурной и прикладной лингвистики. А в уже упоминавшейся дискуссии в журнале «Вопросы языкознания» в 1965–1966 гг. о «дегуманизации» науки он встал на защиту структурной лингвистики и точных методов. В отличие от В. И. Абаева он считал, что «применение математики – признак развитости гуманитарного исследования», а отдельные неудачи «не могут дискредитировать все направление».

Уже не молодой профессор пытался не только признать

допустимость новых методов, но и применить их в своих исследованиях. Не только на лекциях, но и в публикациях начиная с 1960–1961 гг. он ссылался на Рассела, Тарского, Карнапа и Рейхенбаха, излагал понятия теории множеств и исчислений, выделял наборы дифференциальных признаков, составлял таблицы и матрицы. Добросовестно и тщательно Ломтев классифицировал то фонемы, то синтаксические признаки, с явной любовью приписывая им разные способы записи. Впрочем, ряд его классификаций выглядит комично не только для студентов. В одной из публикаций он, например, анализировал не только термины родства, но и названия лиц по отношению к труду, выделяя дифференциальные признаки «умеющий – не умеющий работать», «хорошо – плохо, мало, непроизводительно работающий», «приносящий работой обществу пользу – вред». Скажем, набор признаков 2222 описывается так: «не желающий работать, живущий за счет других в результате определенного общественного устройства: *паразит, трутень, Обломов*» (бедный герой Гончарова!). Набор же 2221 – то же самое, но «живущий за счет других в результате их попустительства: *дармоед, прихлебатель, приживальщик, чужеспинник*». Но, как бы то ни было, позиция была нестандартной. Ломтеву явно хотелось синтезировать марксистскую и западную науку. Недаром он все время подчеркивал, что надо изучать и субстанцию, и форму, а составляющее силу структурализма «признание реляционных свойств лингвистических единиц или объектов», по его мнению, «не имеет ничего общего с идеализмом» (следует цитата из «Философских тетрадей» Ленина). Но синтез этот несколько напоминает представления об идеале во многих восточных обществах: «Техника западная, душа своя»; вспомним статью Н. И. Конрада о японской системе образования. От западной науки нужно взять термины, систему обозначений и прочее «снаряжение в походе», но в походе за наши, советские идеалы.

Так редко полагали в 50–60-е гг., но в годы, когда «выдвиженец» Ломтев осваивал азы марксизма, именно такая точка зрения господствовала. В 20-е гг. и отчасти в первой половине 30-х гг. при крайней резкости тона по отношению ко всему «буржуазному» никак нельзя было его игнорировать и им пренебрегать. Ведущий идеолог тех лет А. В. Луначарский в статье «Достоевский» в 1-м издании «Большой советской энциклопедии», отвергая «идеологически чуждого» писателя, подчеркивал, что каждому коммунисту необходимо его прочесть и в преодолении его закалить мировоззрение. И у каждого классика литературы надо было «учиться мастерству», то же

относилось и к современному Западу. В области лингвистики такой подход выразил в речи 1931 г. Марр: «Мы уже перегнали все страны (смех, аплодисменты). Успокойтесь. Но не догнали. Это и есть диалектика… Пониманием метода мы перегнали все страны, но в технике еще не догнали». Не так ли относился Ломтев (независимо от его отношения к Марру) к современной науке Запада? Как часто бывает, первые впечатления остаются самыми сильными. И его отношение к Пражскому кружку в 30-е гг. соответствовало этому.

Официальная линия затем стала другой, особенно с началом «холодной войны»: границы «идеологически приемлемого» расширились, включив русскую классику или сравнительно-историческое языкознание, но то, что оставалось вне этих границ, отсекалось, и даже знакомство с ним не поощрялось. Более гибкие люди вроде Ф. П. Филина, привыкшие «колебаться с официальной линией», выполняли новые директивы, а Тимофей Петрович остался человеком прежней эпохи, как он оставался им и тогда, когда обвинял В. В. Виноградова в панславизме и отходе от интернационализма. И не раз он нарушал принятые правила игры.

Да и сама искренняя, а не ритуальная приверженность марксизму для многих уже выглядела реликтом времен молодости Ломтева. И в 1963 г. на конференции, посвященной «преодолению последствий культа личности в советском языкознании», он с явной грустью отметил: «Говорить о марксизме в языкознании стало признаком дурного тона».

Но история науки все же развивается по спирали, и в 60-е гг. приверженность представлениям позапрошлой эпохи могла оказываться более соответствующей времени, чем следование вчерашним стереотипам. Даже более культурные его коллеги по факультету вроде вышеупомянутого Р. А. Будагова не были способны осваивать новые западные методы. А Ломтев мог, хотя пробелы в образовании ему мешали. При всей расположенности к «передовой» кафедре он не мог вписаться в нее даже не столько по идеям, сколько по традициям и культурному уровню.

Относились к нему самому по-разному, даже сейчас воспоминания о нем различны и картина не складывается. Одни отзываются о нем как о порядочном человеке, другие как об очень плохом, одним он кажется абсолютно дремучим, другие (в том числе среди бывших его студентов) полагают, что он был интереснее, чем казался на вид. Лучше всего оценивают его ученики, особенно из провинциалов, прошедшие сходный с ним путь. Ныне покойный профессор Б. М. Задорожный говорил про него: «Он для нас был, как отец родной». Ученицы иногда

называли его за глаза Тимошей. Возиться с молодежью он любил, это почувствовали и мы, но с нами у него контакт не получился. Его квартира у метро «Молодежная» всегда была открыта для учеников. Подготовил он более 30 докторов и кандидатов наук.

Значительно хуже к нему относились московские лингвисты, особенно из академических институтов, его презрительно называли Ломтевым с ударением на втором слоге. Всех раздражали его манеры, некультурная речь, но многим также не нравились либо интерес к западной науке, либо склонность к марксизму.

К началу 70-х гг. консерватизм в советской лингвистике, как и во многом другом, усилился. Ломтев становился все более нестандартной и одинокой фигурой. Конец его жизни был отравлен склоками. То его подсиживали в «Филологических науках» (удалось отбиться), то его «ели» и в конце концов «съели» на факультете. В 1971 г. Тимофей Петрович покинул МГУ и перешел в академический Институт русского языка, где возглавил только начинавшуюся работу над «Словарем языка В. И. Ленина». Словарь будут составлять два десятилетия, авторская работа закончится как раз к 1991 г., после чего будет признана ненужной, материалы пропадут. Но Ломтев застал лишь ее самое начало. В апреле 1972 г. он поехал на конференцию в Ленинград и там скоропостижно умер прямо в такси.

Через четыре года после его смерти вышла книга – сборник статей «Общее и русское языкознание». В его подготовке участвовали не только его ученики, но и ученые, казалось бы, от него далекие, например, Н. Д. Арутюнова, которая написала: Ломтев «удачно пользовался принципами и понятиями символической логики, теории множеств и логики отношений в исследовании по синтаксической семантике».

Действительно, читая Ломтева непредвзято, можно найти у него не только смешные рассуждения вроде разложения Обломова на дифференциальные признаки и не только абстрактную схоластику. Вот, например, весьма разумная оценка так называемой традиционной лингвистики: она скорее не понимала, чем отрицала роль понятия системы языка и изучала языковые явления «в порядке визуального наблюдения и с помощью языкового чутья». Вот интересные, на мой взгляд, рассуждения о том, что для описания конкретного языка, например, русского, и для целей типологии нужны разные системы дифференциальных элементов: для русского языка достаточно четырех, а для типологических целей их нужно больше. Я привожу примеры, которые показались мне любопытными в связи с моими научными интересами, а другой

лингвист может найти у Тимофея Петровича что-то другое. Но тем, кто знал Ломтева, трудно отрешиться от его плеши, ошибок в произношении и незнания элементарных вещей.

А если об этом не знать? Один случай меня поразил. Однажды я привел в качестве курьеза слова Ломтева о ничего не означающем выстреле на улице в разговоре с доцентом Института лингвистики РГГУ Л. Л. Федоровой. Через некоторое время (2004 г.) вышло в свет ее учебное пособие «Семиотика». И там она, говоря об организации знаковых систем, пишет (стр. 114): «Иллюстрируя данный принцип – установления оппозитивных отношений – профессор Т. П. Ломтев приводил такой пример: “Просто выстрел на улице ничего не означает. А выстрел стартера противопоставлен его отсутствию”. И в примечании: «Автор благодарен В. М. Алпатову за пример». Я почувствовал, что был несправедлив к давно умершему Тимофею Петровичу. Он, конечно, выразился неаккуратно: выстрел на улице может значить очень многое, только в другом смысле, чем выстрел стартера. Но студенты заметили лишь эту неаккуратность, не оценив серьезную суть сказанного.

В последние годы обратили внимание и на, казалось бы, совсем уж устаревшие работы Ломтева ранних лет. Английский специалист К. Брандист, известный исследованиями по М. М. Бахтину и В. Н. Волошинову, серьезно занялся марксистскими концепциями языка в СССР и в том числе Ломтевым. Он начал поиски архива ученого, что у нас не делал никто, в том числе открыл и впервые опубликовал его воронежский диплом (ставший основанием для поступления в аспирантуру), в котором уже обсуждаются проблемы марксистской лингвистики. Английский исследователь особо отмечает то, что молодой Ломтев анализирует тогда только вышедшую книгу В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», теперь за рубежом очень известную, и приходит к выводу, что Ломтев критикует ее основательно. Так что Ломтев, оказывается, не забыт и вызывает интерес больше, чем многие его лучше владевшие литературными нормами современники.

Безусловно, его личность неоднозначна. Одаренность от природы и так и не преодоленные пробелы в образовании (не могу не сравнить Ломтева со своим отцом, у которого они меньше ощущались, может быть, потому, что отец был на три года старше и успел-таки поучиться в гимназии). Стремление к философским высотам и неумение разобраться в элементарных вещах (Карнап и *дерзский*). Система, ставившая и нередко решавшая великие задачи и не умевшая справляться с гораздо более простыми, способствовала появлению ученых такого типа. Ломтев был,

может быть, самым советским из известных мне лингвистов. Из лучших побуждений он мог устроить научный погром и добиться увольнения А. М. Селищева, который потом не питал к нему зла. Но было что-то трогательное и искреннее, когда он с увлечением рисовал на доске таблицы дифференциальных признаков или с упоением и гордостью произносил красивые слова *денотат, исчисление* или *семиотика*.

Мудрый директор
(Б. Г. Гафуров)

Академик Бободжан Гафурович Гафуров (1908–1977) был моим начальником девять лет, с 1968 по 1977 гг. Он занимал пост директора Института востоковедения АН СССР, а я был в этом институте аспирантом, а затем младшим научным сотрудником. При такой разнице в положении я, конечно, не принадлежал к числу людей, близко его знавших. Разговаривал с Гафуровым я один раз. Видел я его в основном издали, главным образом в знаменитом актовом зале в Армянском переулке, где когда-то играл театр «Габима»; Гафуров сидел в президиуме, а я где-нибудь в дальнем ряду. Но личностью он был настолько интересной, что хочется о нем рассказать.

В институте Бободжан Гафурович появился неожиданно для всех летом 1956 г., прямо с должности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Таджикистана. Я не буду ничего говорить о его многолетней деятельности в этой республике: знаю ее лишь по слухам в годы его директорства и позже, а слухи ходили разные и зачастую противоречивые. Но, безусловно, этот человек прошел большую школу руководителя, и это чувствовалось.

К моменту переезда Гафурова из Сталинабада в Москву обстановка в Институте востоковедения была далеко не простой. Когда я слышал рассказы об этом и читал стенограммы институтских заседаний тех лет, то невольно вспоминал высказывание одного критика, правда, про другую эпоху: «У нас обилие талантов, и нет только одного – литературы». Институт до 1956 г. не был велик по числу сотрудников, но состоял по большей части из сильных ученых разных поколений, в основном среднего и старшего. Тогда еще востоковедение оставалось «штучной» наукой, когда почти каждый был уникальным специалистом. Но целое из всего не складывалось. Каждый смотрел в свою сторону. Востоковеды сходных специальностей либо не замечали друг друга, либо яростно опровергали оппонентов. Бушевали склоки, причем по обыкновению тех лет каждая из противоборствующих сторон выискивала у своих противников «идейные ошибки» и «отход от марксизма». Например, после выступления И. В. Сталина против Н. Я. Марра филологи института, в большинстве знающие и серьезные люди, несколько лет занимались выискиванием пережитков марризма друг у друга. Руководители института сами были действующими востоковедами, а потому во время такого рода конфликтов отстаивали свою точку зрения и клеймили противоположную, отчего конфликты разгорались еще жарче. С 1950 по 1955 гг. трижды менялись директора, которых «съедали» противники.

Все кончилось знаменитым выступлением А. И. Микояна на XX съезде КПСС, где говорилось, что Восток уже пробудился, а Институт востоковедения никак не пробуждается. Тут же в журнале «Крокодил» появилась карикатура, где деятельность института изображалась в стиле иллюстраций к арабским сказкам. Четвертая смена директора стала неизбежной, и кто-то наверху решил более не ставить на должность человека из академической среды, а прислать «сильного администратора» совсем со стороны. Выбор пал на Гафурова, который как раз тогда лишился поста в Таджикистане.

Поначалу нового директора приняли настороженно, слишком чужим он выглядел. Один из виднейших ученых института Н. И.

Конрад 26 июля 1956 г. в письме старому другу Т. И. Райнову беспокоился об «очередной пертурбации в востоковедении», когда «призван варяг из Таджикистана», который «вряд ли наведет порядок». К счастью, Конрад ошибся: времена Гафурова, по признанию многих сотрудников, оказались лучшими в истории института. Я застал эту эпоху уже в ее конце, когда обстановка несколько ухудшилась и стала менее творческой. Но и тогда жизнь института была интересной и, насколько могу судить, живее, чем в других гуманитарных институтах академии.

Но вначале перед новым директором стояла сложная задача. Надо было соединить разрозненные силы в единый коллектив, объединить специалистов для решения назревших проблем. Безусловно, все это было связано с активизацией советской политики на восточном направлении, начавшейся в середине 50-х гг. Институт в старом виде не мог здесь помогать ЦК и МИДу и из-за разрозненности специалистов, и из-за нехватки исследователей по современности. Гафуров должен был, прежде всего, обеспечить выполнение заданий сверху. Как опытный партийный работник он понимал, что это нужно. И в то же время он сознавал необходимость комплексного подхода и занятий теорией.

Началась реорганизация института. Старый состав сохранился, но Гафурову удалось, пользуясь связями в «коридорах власти», добиться значительного расширения персонала. Шел целенаправленный поиск людей. Брали только что вернувшихся из лагерей, выгнанных с работы «космополитов», но также отправленных в запас военных и разведчиков; среди всех были квалифицированные специалисты. Но в наибольшей степени расширение состава шло за счет молодежи. В первое послевоенное десятилетие подготовка востоковедных кадров в Москве шла довольно интенсивно. Многих обучили в Московском институте востоковедения, хорошую подготовку давал и Военный институт иностранных языков, существовали восточные группы на историческом и филологическом факультетах МГУ. Как раз в середине 50-х гг. все эти учебные центры были закрыты или реорганизованы, вместо них создали ИВЯ (позднее ИСАА) при МГУ, где возобладал практицизм, который в дальнейшем ухудшит ситуацию с притоком кадров в Институт востоковедения. Но в 1956 г. до этого еще было далеко. В Москве имелось немало перспективных молодых людей со знанием восточных языков, многие из которых не были особенно хорошо устроены. А наука в те годы пользовалась высоким престижем, и шли туда охотно, не то, что сейчас.

Бободжан Гафурович понял, что ставку надо делать на

молодежь. Поколение 25–30-летних востоковедов разного профиля быстро заняло ведущее положение в институте, начав заниматься проблемами, которые до них никто не изучал. Гафуров не боялся выдвигать молодых сотрудников на руководящие должности, заметно отодвигая в сторону старшее поколение, ранее господствовавшее в институте. И поколение гафуровских выдвиженцев стало ведущим и определяющим в институте на долгие десятилетия, до самого последнего времени, некоторые из него работают до сих пор. А заместителем директора и ученым секретарем стали люди, только что вернувшиеся издалека.

Со времен Таджикистана Гафуров умел работать с людьми. Ученица Н. И. Конрада и Н. А. Невского Фанни Александровна Тодер рассказывала мне, как ее после восьми лет, проведенных вне востоковедения, вдруг в январе 1957 г. вызвали в институт для беседы. Она была принята самим директором в его кабинете. Гафуров вышел навстречу. Он сказал: «Вы много лет были вне своей альма-матер. Но мы исправим ошибку. Нам надо наладить в институте справочно-информационное дело. Прошу Вас помочь». После такого приема истосковавшаяся по работе Тодер уже не могла отказаться от работы в Отделе информации, хотя ей хотелось заниматься исследовательской работой (впоследствии она смогла перейти на нее). И так Гафуров разговаривал со многими поступавшими на работу.

Была после прихода нового директора реорганизована и структура института. В том числе в 1958 г. был создан Отдел языков, в котором я впоследствии работал. Лингвистов института, раньше раскиданных по разным страноведческим отделам, где их «забивали» историки и экономисты, собрали вместе, в однородный коллектив, от чего производительность труда сразу пошла вверх (так же поступили и с литературоведами).

Если прежние директора вольно или невольно оказывались в гуще склок, то Бободжан Гафурович умел стоять над схваткой и гасить конфликты. Борьба «партий» в институте надолго прекратилась. Сыграла здесь роль и ставка на молодежь: приходили свежие силы, не вовлеченные в грызню прежних лет, смотревшие на происходящее совсем по-иному.

Смягчение скандальных ситуаций, умение вовремя взять под контроль происходящее не означали для Гафурова прекращения научных споров и дискуссий. Наоборот, именно при нем в институте все время дискутировали, в том числе по вопросам, которые еще несколькими годами раньше считались абсолютно не подлежащими обсуждению. Конечно, здесь играла роль общественная ситуация в стране после XX съезда КПСС, но не все

из научных начальников поощряли излишнее «вольнодумство». Гафуров же, как государственно-мыслящий человек, понимал, как важно умело организовать спор, в котором рождается истина. Он не давал этим спорам перерасти в избиение научных противников. Ф. А. Тодер передавала его слова: «В науке нельзя бить по кумполу». А если его подчиненных начинали обвинять в «идейных ошибках» люди, находившиеся вне института, Гафуров всегда старался их защитить. И шли яростные споры по многоукладности, азиатскому способу производства, особенностям капитализма на Востоке, в которых участвовали и сотрудники института, и люди со стороны. Участники дискуссий, как правило, исходили из марксизма, но при этом критически пересматривали многие догматические подходы и положения. Спорили по своим вопросам все: и экономисты, и историки, и лингвисты.

Интеллектуальная свобода в институте по меркам тех лет была значительной, однако, она имела свои рамки, которые четко обозначились во второй половине 60-х гг. Поощрявший свободный поиск истины в профессиональной сфере, Гафуров был жестким начальником, как только речь заходила о политической деятельности его сотрудников. Тут он никогда никого не защищал. Безусловно, он был крупным партийным работником сталинской формации, широким, умным, но не сомневавшимся в своем праве карать за грехи. И так же он не сомневался в правоте коммунистического дела.

Это особенно проявилось весной 1968 г. во время «подписной кампании», когда по Москве прокатилась волна коллективных писем интеллигентов против преследований тех, кого начинали называть диссидентами. Я тогда еще не работал в институте и сам не наблюдал происходившее, но когда поступил в аспирантуру несколько месяцев спустя, эта история еще активно обсуждалась. В некоторых институтах кампания против «подписантов» была как-то смягчена, но не в институте, возглавлявшемся Гафуровым. Двоих (Ю. Я. Глазова и А. М. Пятигорского) уволили, и оба через какое-то время эмигрировали. Других долго прорабатывали, а потом еще несколько лет так или иначе в институте притесняли, не повышали в должности и, разумеется, не выпускали за границу. Директор был как бы в стороне от всех карательных мер, передав основные функции заместителям и парткому. Но все понимали, что каждая акция была согласована с ним.

Потом в институте еще бывали случаи подобного рода, правда, не столь масштабные. Одно из них я наблюдал в аспирантские годы: на сельхозработах сотрудник института

высказался по поводу советского строя в духе западных «голосов», за что по возвращении с «картошки» был уволен. И еще история, казалось бы, и не совсем политическая. На открытом партсобрании выступил аспирант и заявил, что работа специалистов высокой квалификации на уборке картофеля – безобразие, поскольку люди используются не по назначению. Сразу этого аспиранта начали прорабатывать, в институтской стенгазете появилась карикатура на него, а после окончания аспирантуры его в институт не взяли. Думаю, что во всех случаях ход кампании направлялся директором. Характерно, что и сотрудника, уволенного за разговоры на «картошке», и аспиранта, пострадавшего за выступление против этой «картошки», взяли на работу в другие научно-исследовательские учреждения. Положение «подписантов» в институте заметно улучшилось, когда директором после Гафурова стал Е. М. Примаков: тот явно старался показать, что с этими людьми раньше поступили несправедливо, а теперь надо воздать им по заслугам.

Гафуровская политика, конечно, создавала подспудную напряженность в институте. Многие, не выступая публично, разделяли взгляды уволенных и проработанных. Я хорошо это почувствовал в первые же дни в институте, когда сдавал вступительные экзамены в аспирантуру. В вестибюле в Армянском переулке висел стенд, посвященный Великой Отечественной войне. Под одной из фотографий, очевидно, была подпись «Жители Праги приветствуют воинов-освободителей». Но в конце августа или начале сентября 1968 г. кто-то отодрал конец подписи, и она выглядела так: «Жители Праги привет».

Но и мне, никогда не разделявшему диссидентских идей, пострадавших было по-человечески жалко. С людьми поступили жестко. Однако спустя много лет думаешь, что в позиции Гафурова была своя правда. «Подписантов» и прочих «антисоветчиков» зажимали и затирали, но им давали возможность работать, их труды печатали. Директор добивался одного: чтобы сотрудники занимались своим делом, пусть при этом он и использовал естественные для человека его выучки грубые методы. Ученые должны были сделать выбор. Если для кого-то главным было публичное выражение своего неприятия советского строя, он лишался возможности заниматься в СССР наукой; большинство таких людей, в конце концов, покинули страну. Те же, кому было важно научное творчество, должны были отойти от политической деятельности. Один из эмигрировавших сотрудников института потом назвал своих выбравших науку коллег страусами, засунувшими голову в песок. Но результатом этого стали научные труды мирового значения. А две попытки

нашей научной и прочей интеллигентской элиты активно заниматься политической деятельностью в 1905–1918 гг. и в 1989–1993 гг. принесли объективно большой вред нашей стране (притом, что профессиональные задатки у многих из этой элиты были прекрасными).

Для успешной же научной деятельности своих сотрудников Гафуров, безусловно, сделал много. Особенно важным было создание Издательства восточной литературы: очень немногие области науки имели свое собственное издательство, а среди гуманитарных наук востоковедение оказалось в этом отношении в самом привилегированном положении. Потом, правда, издательство превратилось в Главную редакцию восточной литературы издательства «Наука», но автономия его сохранилась (а в постсоветское время редакция вновь отделилась от «Науки» в самостоятельное издательство). Заботился Бободжан Гафурович и о том, чтобы его сотрудники посещали страны, которыми занимались. Перед этим не одно поколение советских востоковедов (исключая, естественно, тех, кто занимались Советским Востоком) работало, никогда не видев своих стран. Теперь же такие возможности стали появляться, хотя директор института, конечно, не всегда мог помочь: одни сотрудники по разным причинам были «невыездными», другие занимались странами, доступ в которые был затруднен или невозможен. Но в Индию, Японию, некоторые арабские страны начали ездить.

Мой единственный разговор с Гафуровым объяснялся этим. На следующий год после защиты кандидатской диссертации по японскому языку меня вдруг вызвал директор. Разговор занял меньше двух минут. Бободжан Гафурович велел мне дать заявку в институтский план на будущий год для поездки в Японию. И действительно, в следующем году я впервые в жизни туда поехал.

Нельзя сказать, что Гафуров был хорошо образован. Он окончил Коммунистический институт журналистики – не лучшее учебное заведение, по-русски говорил с сильным акцентом. Но, удивительное дело, такой человек очень хорошо понимал, кто есть кто и что есть что в науке. Директор обладал редким чутьем на перспективность или бесперспективность того или иного сотрудника и той или иной темы. Помогая сильным ученым, он бывал суров по отношению не только к диссидентам, но и к слабым сотрудникам. Однако и им он старался найти место, где они могли бы быть полезны. Помню, как на одном из собраний он обратился к заведующему Отделом языков В. М. Солнцеву: «Нам нужно создать в институте группу реферирования и переводов. До меня дошли слухи, что у Вас, Вадим Михайлович, не все в отделе – великие языковеды. Но язык они знают и пусть поработают в

этой группе».

Гафуров не был доступен для сотрудников, секретариат во главе с Иваном Антоновичем Скрылем был на страже. Но когда у кого-то появлялась возможность высказать директору то, что наболело, он всегда как умный администратор стремился разобраться по существу. Помню один из отчетов Отдела языков директору. Нарушив весь этикет, на трибуну поднялся уже немолодой японист Н. А. Сыромятников (см. очерк «Этот бескомпромиссный Сыромятников»), у которого к тому времени две книги несколько лет лежали без движения в Главной редакции восточной литературы. Он говорил по обыкновению долго, чередуя серьезные вещи с пустяками. Гафурову слушать его надоело, и он, в конце концов, просто согнал Сыромятникова с трибуны. Но главное он понял, хотя ничего не обещал. Сразу обе книги японист двинулись и в течение двух лет были изданы.

Сам вид Гафурова вызывал у части сотрудников некоторый трепет. Его почти квадратная фигура, тяжелая походка, акцент и очень своеобразные интонации – все вызывало и уважение, и некоторый страх. Но все знали, что в трудную минуту можно к нему обратиться, что он поможет и защитит. Гафуров, узнав как-то, что женщина, в тот момент даже не состоявшая в штате института и виденная им первый раз в жизни, безуспешно ищет недоступное для простых смертных лекарство для тяжелобольного ребенка, занялся, бросив все дела, доставанием лекарства в кремлевских аптеках и достал. Но делал это он далеко не бесплатно: эта женщина должна была выполнить его задание.

В 1968 г. Бободжан Гафурович стал академиком. Это звание он, разумеется, получил как администратор, но нельзя сказать, что он совсем не занимался научной деятельностью, пусть в коридорах говорили о том, что изданные под его именем сочинения писали другие. Главный его труд – объемистая книга «Таджики», история этого народа на протяжении многих веков. Но Гафуров всегда был политиком, и делалась книга, прежде всего, из политических соображений. Он знал, что консолидация его народа из сообщества племен в нацию еще не закончена (что в первые годы после распада СССР, увы, проявилось), и считал, что одним из средств такой консолидации должно стать создание национальной истории таджиков. А в 1974 г. много шума наделала неожиданная поездка Бободжана Гафуровича в Мекку. Сейчас в Таджикистане уверены, что он к концу жизни преодолел в себе атеизм и оценил свет истинной веры. Но представляется, что и здесь он, прежде всего, был политиком, ощущавшим себя представителем своей страны. По его мнению, такой поступок мог

создать хорошее впечатление о нас в Саудовской Аравии и во всем мусульманском мире.

Я не застал Гафурова здоровым: при мне он казался старше своих лет, ходил с великим трудом, страдал одышкой. Потом он начал часто болеть и отсутствовать в институте. Это стало сказываться: без него слишком большую роль стали играть люди, далекие от науки (сразу удаленные после прихода Е. М. Примакова), усилились ранее редкие склоки. Обстановка в институте стала какой-то напряженной. Кажется, последний раз я видел Бободжана Гафуровича в марте 1977 г. на обязательном для посещения сотрудниками мероприятии, посвященном юбилею таджикского просветителя XIX в. Ахмада Дониша. Потом он уехал в Душанбе, а в июле мы узнали о его смерти.

Говоря об общей оценке деятельности Гафурова в институте, я еще раз обращусь к воспоминаниям Ф. А. Тодер. Однажды ее спросил иностранный ученый, почему во главе института стоит Гафуров и какой областью востоковедения он занимается (это было еще до выхода в свет книги «Таджики»). Она ответила, по-моему, очень точно: Гафуров – восточный мудрец, и именно такой человек должен стоять во главе Института востоковедения. И действительно это был мудрый человек, хорошо разбиравшийся в том, что делали его сотрудники, часто не благодаря знаниям, а благодаря огромному опыту и поразительной интуиции. Он умел сопрягать интересы государства, которому служил, и интересы высокой науки, бывая и суровым, и заботливым в зависимости от ситуации. Он преобразовал Институт востоковедения, который пережил и Гафурова, и советский строй, во многом оставшись таким, каким он в те годы стал.

После Гафурова институтом руководил Е. М. Примаков, потом Г. Ф. Ким. Оба тоже показали себя как опытные и умелые администраторы и люди государственного мышления, а образованностью его превосходили. И все-таки трудно отделаться от мысли о том, что по масштабу личности они как-то недотягивали до Гафурова. И еще думаешь: будь бы жив Бободжан Гафурович, может быть, иначе бы сложилась ситуация в Таджикистане и удалось бы избежать того, что случилось после 1991 г. с народом, который он так любил.

Мемуаристка
(К. А. Антонова)

Я по существу не знал Коку Александровну Антонову (1910–2007), хотя работал ряд лет с ней в Институте востоковедения АН СССР. Видел ее в коридорах в Армянском переулке, запомнил отдельные случайно услышанные ее фразы («У меня на руках сейчас двое беспомощных: моя мама и котенок»). Позже, когда она была уже на пенсии, присутствовал на праздновании ее 80-летия и 90-летия на Ученом совете. Помню, как чествовали старушку в неизменной тюбетейке, совсем лишенную слуха, но еще активную и продолжавшую всем интересоваться и мало изменившуюся за десять лет. Но мы с ней были в разных отделах, далеки по научным интересам (она занималась новой историей

Индии: Великими Моголами и британским завоеванием, а я лингвистикой) и не пересекались друг с другом, хотя рассказов о ней я в разные годы слышал немало. Задумался всерьез о Коке Александровне я лишь тогда, когда в 1991 и 1992 гг. в журнале «Восток» печатались ее весьма интересные мемуары «Мы, востоковеды…», спустя несколько лет в том же журнале появился и еще один, заключительный фрагмент. Мемуары рассказывают о коллегах-востоковедах, об Институте востоковедения, в котором много лет проработала Антонова, и вообще о тех исторических событиях, которым она была свидетелем за долгую жизнь. И про жанр мемуаров вообще, и про мемуары К. А. Антоновой в частности хочется поговорить.

Любые мемуары субъективны, а воспоминания Коки Александровны в силу ее характера субъективны в квадрате. Она не скрывает перед читателем свои симпатии и антипатии и в идейном, и чисто в человеческом плане. Она не стремится к объективности подхода, хотя иногда неожиданная объективность и многомерность возникают у нее сами собой, о чем я скажу ниже. Есть мемуаристы, которые стараются проверить и уточнить свою память, обращаясь к энциклопедиям и справочникам. Антонова иногда это даже делала, кое-где, например, добавляя кое-что из «Биобиблиографического словаря советских востоковедов» С. Д. Милибанд, но в целом она не принадлежала к данному типу. Отсюда бич почти любых мемуаров – чисто фактические ошибки – возникают у нее слишком часто. Город Бугуруслан, расположенный между Самарой и Уфой, оказывается на границе России с Узбекистаном (вообще не существующей), а про Коммунистическую академию она то пишет, что она образовалась в начале 30-х гг., то в другом месте, что ее институты эвакуировали в годы войны в Ташкент. А на самом деле эта академия просуществовала с 1918 по 1936 г.

Такие неточности нетрудно заметить. Интереснее случаи, когда неточности или преувеличения возникают под влиянием концепции автора. Вот такое место: говоря о 1935 г., она пишет, что тогда латынь «как ненужный, мертвый язык не изучали нигде». Фактически это неверно: в МИФЛИ в те годы латынь преподавали не только филологам, но и историкам, и в программу воссозданного за год до того исторического факультета МГУ этот язык входил тоже. Но Антоновой важно подчеркнуть, что в те годы в Москве презирали древность и предпочитали современность, выходя за рамки разумного. И художественный образ накладывается на реальные воспоминания (сама Антонова немного раньше, в конце 20-х гг. получила историческое образование, сокращенное до трех лет, без латыни),

создавая законченную картину.

Автор воспоминаний, безусловно, исходит из своих взглядов времени их написания, а было что переоценивать. Как пишет Антонова, в детстве и юности, «живя в кругу друзей моей мамы, члена РСДРП(б) с 1904 г., я верила, что все большевики – кристально чистые, самые благородные люди на земле и если что-то мне кажется неверным, то это, очевидно, потому, что мне не дано постигнуть глубокого тайного смысла, понятного всем другим. Вступление в партию было моей самой заветной мечтой». Потом взгляды стали меняться, начиная с периода высылки Антоновой в Сибирь в 1937–1939 гг. (как раз из-за матери, арестованной за былое участие в оппозициях), вступить в партию она сначала не могла, а когда в 50-е гг. это стало можно, уже не хотела. А к 1991–1992 гг. Кока Александровна всем сердцем принадлежала к лагерю, который тогда называли демократическим.

Оценки советского периода нашей истории, завершившегося в период публикации воспоминаний, как положено, резко критические. Где-то здесь она дает бесспорные, но обычно не оригинальные оценки, где-то следует стереотипам и расхожим мнениям публицистики тех лет. Скажем, она пишет: «Психически больные, люди “с бзиком” всегда были и будут. Однако обстановка в стране может сделать их страшными, как Лидию Тимашук, якобы вскрывшую подлый заговор врачей-евреев». Антонова просто повторила, что тогда писали в газетах, хотя позже выяснилось, что Тимашук совсем не была страшной женщиной, а профессор, у которого она обнаружила (кажется, даже справедливо) неверный диагноз, не был евреем, и лишь потом она против своей воли оказалась жертвой политических игр. И далее она повторяет версию СМИ тех лет: «В последние дни Сталина подготавливалось массовое выселение евреев в Биробиджан», что потом также не подтвердилось. Но здесь, конечно, трудно было разобраться, где правда, а где выдумка, и в повторении того, о чем везде говорили, нельзя обвинять Коку Александровну. Хуже, например, когда она вслед за некоторыми публикациями тех лет давала односторонне резкие оценки деятельности по созданию в 20–30-е гг. новых алфавитов для народов Средней Азии (см. о ней очерк «Дважды умерший»), видя в ней лишь «разрыв с прежней культурой» и стремление «разъединить между собой» разные народы. Здесь она, видимо, повторяла конъюнктурные высказывания среднеазиатских интеллигентов в конце 80-х гг., ставивших задачу отойти от русской культуры и советского наследия как можно дальше. Но все же Антонова пишет не только об этом, иногда выходя за

пределы «перестроечных» стереотипов.

И политическая ориентация, и человеческий характер автора мемуаров способствовали самому жанру, в котором они в значительной степени выдержаны. Это жанр анекдота, причем слово «анекдот» здесь имеет не исходное значение исторического рассказа, а обычное современное значение. Антонова жила в эпоху, когда анекдот служил оппозиционно настроенным интеллигентам вроде нее средством борьбы с официозом и разного рода начальниками от генерального секретаря до непосредственного начальства. В кругах, в которых вращалась Кока Александровна, анекдоты сочинялись, приспосабливались к новым условиям, освежались и передавались дальше. И ее мемуары, в которых автор сознательно старается подальше отойти от всего официального, во многом – набор анекдотов. Иногда это анекдоты в чистом виде, особенно когда речь идет о том, что сама Антонова не видела. Иногда это истории, которые происходили с самим автором, более близкие к реальности, но расцвеченные анекдотическими деталями и очищенные от всего лишнего.

В основе анекдота лежит либо реальная ситуация, либо какое-то реальное свойство (например, характера того или иного человека), для иллюстрации которого придумывается ситуация, которой не было. А дальше анекдот переходит от одного человека к другому и видоизменяется, приобретая законченность: отсекаются лишние детали, слишком специфичный контекст событий меняется на ходовой, менее типичное заменяется более типичным, а анекдотические свойства чьего-то характера заостряются, иногда теряя правдоподобие. Соавторы анекдота, которых писатель Ф. Кривин назвал «народными исказителями», стихийно преобразуют его.

В воспоминаниях Антоновой приводится один анекдот, для которого я случайно могу восстановить прототип, поскольку мой отец наблюдал реальную ситуацию и не раз рассказывал при мне о ней. Сначала вариант Коки Александровны: «В Ташкенте сразу после войны были в один день арестованы в центральной газете Узбекистана “Правда Востока” главный редактор, дежурный редактор, корректор и наборщик за то, что в поздравительной телеграмме Тито (еще коммунистического вождя, а не “кровавого палача”, каким он был объявлен у нас через два с половиной года) Сталину в обращении, в слове “главнокомандующему” выпала буква “л”».

Мой отец наблюдал историю с выпавшей буквой «л» не в Ташкенте и не после войны, а в конце 1941 г. в Чкалове (ныне Оренбург), где тогда работал в обкоме. Когда ошибка в областной

газете обнаружилась, срочно созвали бюро обкома, где решали два вопроса: как с наименьшими потерями выйти из положения и что делать с виновным главным редактором. Решили задержать не реализованную часть тиража, но воздержаться от изъятия того, что уже разошлось, дабы не привлекать внимания. А редактора (фамилия его, кажется, была Рябов) подняли с постели, где он отсыпался после сдачи номера, привели на бюро и за несколько минут исключили из партии и сняли с должности; потом дополнительно решали, как его трудоустроить.

Весьма вероятно, первым звеном в цепи был как раз мой отец, лично далекий от семьи Антоновой, но связанный с тем же кругом московских историков (он работал в академическом Институте истории с ее мужем). Видимо, он уже после войны рассказывал случай из жизни. А дальше рассказ пошел от одного к другому, и «народные исказители» придали анекдоту в одном смысле черты анекдота в другом. Были отсечены лишние детали вроде манипуляций с тиражом, события приблизили во времени и перенесли из мало кому известного Чкалова в Ташкент, где многие историки побывали в эвакуации, добавлен еще не фигурировавший в газетах 1941 г., но позже ставший актуальным Тито, а, главное, для большей типичности исключение из партии с последующим трудоустройством заменилось арестом. Сейчас многие люди, не жившие в сталинские времена, всерьез думают, что тогда все наказания сводились к расстрелу или лагерю, но того же требовала и законченность анекдота (впрочем, я знаю судьбу главного редактора, но последствия для корректора и наборщика мне не известны).

Другой случай, когда анекдот можно скорректировать, относится к уже упоминавшейся ситуации последнего месяца жизни И. В. Сталина. Антонова пишет: «Говорят, что историк советского периода акад. Исаак Израилевич Минц написал даже историческое обоснование такого выселения (евреев в Биробиджан. – *В. А.*)». Как сейчас стало известно, Минц в те дни действительно был активен, собирая подписи под коллективным письмом именитых евреев с осуждением «сионистов-вредителей». Письмо тогда не было опубликовано и получило известность уже в наши дни, зато три с половиной года спустя Минц успешно организовал аналогичное письмо с осуждением нападения Израиля на Египет. Слухи об этом плюс известное стремление академика услужить власти породили анекдотический слух о «научном обосновании» выселения евреев. Здесь, впрочем, редкий случай, когда Кока Александровна вносит необходимую оговорку в виде слова «говорят», часто она его не делает.

Многое, конечно, мы не можем проверить, и о соответствии

тех или иных рассказов и слухов в мемуарах реальности можно лишь гадать. Иногда анекдотические детали не выглядят правдоподобными. Подчеркивая невежество академика А. П. Баранникова в вопросах истории, Антонова упоминает «ляп» в его комментариях к путевым дневникам И. П. Минаева: «Минаев упоминает какого-то Маркса, встреченного им в Бирме, Баранников в примечании разъясняет, что речь идет о Карле Марксе (!!!)». Академик-филолог мог быть слаб в истории, но не мог не знать, как строго тогда относились ко всему, что связано с классиками. И даты жизни К. Маркса были общеизвестны, а Минаев путешествовал по Бирме в 1885–1886 гг., тогда как Маркс в 1883 г. умер. Очевидно, злые языки (может быть, сама Антонова, но может быть, и не она), видя в комментариях грубые ошибки и, увидев также в них фамилию «Маркс», для заострения сюжета придумали такое. Но не стоит видеть в анекдотической манере изложения только недостатки. «Домашний» стиль рассказа приближает автора к читателю, делает события запоминающимися. Подчеркнутая антиофициозность авторской позиции проявляется и в стиле; например, солидный академик Василий Васильевич Струве большей частью именуется не по фамилии, а по неофициальному прозвищу Вась Вася. Для начала 90-х это еще казалось не вполне привычным, особенно для текста, написанного человеком старшего поколения, хотя теперь уже превратилось в штамп. Но такой подход может раздражать, если автор не талантлив, а может и привлекать, если дает яркие и живые картинки. Конечно, не надо их во всем считать чистой правдой, но какую-то реальность они отражают.

И герои большей частью получились живые. Здесь надо отметить черту Антоновой как мемуариста, которая может показаться неожиданной для человека столь пристрастного и партийного: постоянно возникающую объективность. Конечно, она делит окружающих на «своих» и «чужих» (это деление тем более заметно, чем ближе она к современности). Например, далекого от нее Б. Н. Заходера она упрекает за то, что он при хорошей востоковедной подготовке мало писал (правда, потом находит оправдание в том, что он, видимо, после высылки в молодости боялся новых бед), но близкого к ней Н. М. Гольдберга по тому же поводу полностью оправдывает. Но у нее за отдельными исключениями нет стремления писать о «чужих» только плохое, а о «своих» только хорошее. К тому же критерии деления на «своих» и «чужих» у нее менялись с годами. Если в 60–80-е гг. для нее представители официальной линии – однозначно «чужие», а люди, близкие к диссидентам (А. Л. Монгайт), – однозначно «свои», то для 30-х и даже для 40-х гг. для Коки

Александровны «чужими» были не московские марксисты, к которым она сама принадлежала, а сосредоточенные тогда в Ленинграде ученые старой востоковедной школы. Две школы отличались не только взглядами и отношением к марксизму, но и общим научным подходом: москвичи любили глобальные концепции, презирали «фактографию» и плохо знали или не знали восточные языки, а ленинградцы опирались на факты, но не любили и часто принципиально не хотели обобщать.

Где-то Антонова конца 80-х – начала 90-х гг. корректирует свои прежние оценки и подходы. Встречается у нее даже такая фраза: «Ленинградцы были славой русского востоковедения, но москвичи имели легкий доступ к властям». В контексте 1991 г. это выглядело как однозначная оценка в пользу Ленинграда, усиливаемая постоянными нападками Коки Александровны на марксизм (который, как она сама признает, принимала еще в конце 60-х гг.), но в целом мемуары так не выглядят. Видно, что И. М. Рейснер, Н. М. Гольдберг и другие ее московские друзья-марксисты все равно ей остались ближе, чем ленинградские ученые старой школы вроде лишь эпизодически появляющихся на страницах воспоминаний И. Ю. Крачковского или Ф. И. Щербатского и тем более конфликтовавших с ней А. П. Баранникова и И. П. Петрушевского. Исключение – лишь Н. И. Конрад, но он не был «типичным ленинградцем» (из-за чего, может быть, переехал в Москву), всегда имея склонность к обобщениям и к современности.

Полной переоценки прежних взглядов у Антоновой все же не произошло, но коррективы, которые она в них вносила, делали ее точку зрения более объемной и менее однозначной. В воспоминаниях мало безукоризненных героев и одномерных злодеев. Если не считать промелькнувших в одной фразе эпизодических персонажей вроде вышеупомянутых Л. Тимашук и И. И. Минца, то, пожалуй, лишь один востоковед целиком нарисован черной краской – Л. И. Климович, главный обличитель «космополитов» в востоковедении. Еще заметно недоброжелательство по отношению к академику А. П. Баранникову: видно, как Кока Александровна и через сорок лет после его смерти не могла забыть его презрительное отношение к ней. С другой стороны, «розовых» персонажей, пожалуй, лишь два. Это «мой ближайший друг» Н. М. Гольдберг и «один из самых умных и культурных людей, которых я встречала в жизни» Н. И. Конрад. И, пожалуй, они получились бледнее других. Впрочем, Гольдберг становится ближе к читателю, когда Антонова рассказывает о его не слишком удачной семейной жизни. И даже Конрад, для гуманитариев того лагеря, куда входила Антонова,

ставший, как сейчас модно говорить, знаковой фигурой, образцом русского интеллигента, принимается Кокой Александровной не во всем. В его переписке с А. Тойнби она усмотрела у обоих авторов «представления о предназначении человечества выполнить какую-то задачу», то есть признание Бога, который только и может «предначертать человечеству его путь». А про себя она пишет: «Я же являюсь сознательным атеистом». Признание, для 1992 г. уже шедшее вразрез с тем, что стало считаться в ее кругах хорошим тоном. Что-то в Антоновой оставалось от взглядов молодости.

Интереснее, когда оценки у Антоновой неоднозначны. Вот только один портрет. Игорь Михайлович Рейснер, основатель марксистского изучения истории Индии и Афганистана, научный руководитель и друг Коки Александровны. С одной стороны, видно не прошедшее с годами восхищение этим, безусловно, незаурядным человеком. Она постоянна в своих оценках: «Игорь Рейснер был талантливым, знающим и опытным ученым», «я любила его за талантливость, за то, что он всегда фонтанировал новыми мыслями», «я ходила на все его лекции в МГУ, покоренная их образностью, восхищаясь тем, как он щедро разбрасывал новые мысли и идеи, не заботясь о своем приоритете». Подчеркивается его образованность и интеллигентность: он был из дворян, из профессорской семьи. При этом убежденный марксист, член партии. Образ, не похожий на сложившиеся к началу 90-х стереотипы серого и невежественного «красного профессора». Впрочем, Антонова подчеркивает, что люди, соответствовавшие этому стереотипу, часто именно поэтому мешали ему работать, путь Рейснера в науке был совсем не простым. Выделены и другие его хорошие черты: «Игорь был любящим, заботливым и нежным отцом».

И в то же время Кока Александровна не скрывает и отрицательных сторон личности своего учителя и друга, признавая, что в своих злоключениях он бывал виноват и сам. Игорь Михайлович и его более знаменитая старшая сестра Лариса «выросли безусловно талантливыми, образованными, смелыми и целеустремленными, но проникнутыми представлениями о своей исключительности и потому натурами холодными и эгоцентричными. Их снедало стремление прославиться, играть первую роль, управлять людьми. Человек для Рейснеров не имел самостоятельной ценности». «Он стал участником тогдашних бесконечных интриг между востоковедами». «Несколько манерно, работая “на публику”, Игорь вел себя всю жизнь». Упомянуты и его неприглядные поступки: Рейснер добился исключения студента, протестовавшего против безграмотных лекций его

протеже.

По мнению Антоновой, «Игорь мечтал построить свою карьеру по примеру тех англичан, которые были одновременно и крупными администраторами, и авторами классических научных исследований по истории “подопечной” страны… По линии научной это Игорю в значительной степени удалось… Однако играть крупную политическую роль он не сумел, и это являлось для него постоянным источником скрытого недовольства и обиды». Оценка, во всяком случае, интересная.

Но что в итоге дал Рейснер в науке? Антонова не раз указывает, что для своего времени его труды были важны и значительны. Но общий итог оказывается все же неутешителен: после его смерти в 1958 г. «хотели еще выпустить сборник его статей, но даже его сын Лева, тоже индолог, не смог выбрать ничего, что представляло бы интерес сегодня… Риторика Игоря поблекла, краски осыпались, метод исследования обветшал. Сейчас трудно понять, чем Игорь так привлекал сердца его учеников».

Вероятно, это так. Но тут приходят в голову два соображения. Московская школа востоковедов-марксистов была очень уязвима даже не только своей «советскостью»: любые обобщения (за очень редкими исключениями) устаревают быстро, а факты долговечнее, и тут ее соперники ленинградцы оказывались в более выгодном положении. В 30-е гг. марксизм вовсе не выглядел так, как потом. В ту пору в его рамках еще многое предстояло сделать, многими вопросами надо было заниматься впервые, и это могло быть интересно. А из сказанного Антоновой следует, что идеи И. М. Рейснера стали устаревать еще в советское время: уже тогда наука менялась. И не по сходным ли причинам сама Кока Александровна перестала активно заниматься востоковедением сравнительно рано, уйдя на пенсию, когда ей не было и семидесяти? Мемуары показывают, что и в восемьдесят лет она была в неплохой форме, но за последние три десятилетия ее жизни они оказались единственным ее крупным произведением.

Второе, не отмеченное Антоновой: часто существует разрыв между личностью автора и его сочинениями. Друзья и знакомые М. А. Шолохова просто не верили в то, что такой на вид серый человек мог написать «Тихий Дон», отсюда и пошли рассказы о том, что роман писал кто-то другой (политику сюда примешали позже). С другой стороны, ученые, не знавшие лично академика Н. Я. Марра, обычно видели в его поздних трудах лишь бред сумасшедшего, но с этим не соглашались те, кто слышали его пламенные выступления: их сила и напор покоряли аудиторию.

Рейснер, конечно, был совсем другим человеком, чем Марр, но он тоже был ярок, интересен как личность, к тому же, по выражению Антоновой, работал «на публику». А при «остраненном» чтении все это пропадает.

Но, безусловно, Рейснер у Коки Александровны получился интересной личностью, одновременно привлекательной и отталкивающей. И ей веришь. И совсем другая личность – узбекский востоковед Мухамеджан Юлдашевич Юлдашев (о нем и о его изображении в мемуарах Антоновой я пишу в очерке «Человек в трех зеркалах»). Рейснер и Юлдашев – два советских востоковеда одного поколения. На этом, пожалуй, их сходство заканчивается. Дворянин и малограмотный «выдвиженец» сталинского времени. Казалось бы, для Антоновой Юлдашев должен был стать однозначно отрицательной фигурой. Но, оказывается, это не так. И в нем она нашла нечто.

Иногда мемуаристка прямо рассуждает о неоднозначности людей, с которыми сталкивалась. Она вспоминает востоковеда Е. Ф. Лудшувейта, который ей «был несимпатичен» и которого студенты за низкое качество лекций называли Худшувейтом. Но именно он в 1945 г. спас от разрушения дворцовый ансамбль Сан-Суси в Потсдаме, за что в его честь там поставлена мраморная доска. И она пишет: «Среди московских востоковедов того времени было много людей умнее и симпатичнее Лудшувейта, но ни о ком из них нет такой мраморной благодарственной памяти. Сложен характер человека!». И стремлением показать такие сложности сильны воспоминания.

И ценны воспоминания не только этим, но и свидетельствами мемуаристки о себе, о своих поступках, взглядах и их метаморфозах, о взглядах ее круга людей. Кока Александровна пишет, что уже к 1939 г. она и ее друг Н. М. Гольдберг «увидели, что оба отрицательно относимся к окружающей нас действительности» (правда, Антонова подходила к явлениям с «политико-экономической», а Гольдберг с «нравственно-эстетической точки зрения»). И в начале 90-х гг., и позже появилось немало мемуаров, авторы которых утверждают, что давно обо всем знали, вплоть до сходства коммунизма с фашизмом и необходимости многопартийной системы. Однако у Антоновой этого нет, а о том, что именно воспринималось ей и ее друзьями отрицательно, приводит такое свидетельство. Уже упоминавшиеся в очерке о Н. Я. Марре слова Гольдберга: «До сих пор мы шли новым, неизведанным путем, а сейчас мы встали на такой, каким уже идут другие страны», имели в виду «империалистический характер нашего нападения на Финляндию». Если угодно, это критика окружающей

действительности слева, а не справа.

В наши дни и власть, и демократический лагерь обвиняют «большевиков» как раз за то, что они посмели идти «новым, неизведанным путем», а частичное возвращение Сталина к «пути, каким уже идут другие страны», может казаться (в том числе власти, относящейся к Сталину снисходительнее, чем к Ленину) хоть каким-то возвратом к норме. И так же думали тогда и, например, многие из ленинградских востоковедов. А историки-марксисты все-таки мерили свою жизнь революцией. И еще высказывание, принадлежащее И. М. Рейснеру уже в послевоенные годы: «Мы построили здание социализма, теперь нужна внутренняя отделка». Сейчас среда людей с такими взглядами меньше всего привлекает внимание мемуаристов, больше пишут о «внутренних эмигрантах», а Антонова что-то сохранила для истории.

Многое переоценив, мемуаристка от некоторых привычных представлений все же не отказалась. Разочаровавшись в марксизме, она осталась атеисткой. Согласившись со среднеазиатскими учеными в злонамеренности языкового строительства, она как должное воспринимала борьбу Юлдашева с басмачами, не пытаясь их представить «борцами за свободу». Вообще все упоминания Гражданской войны в мемуарах даются с красной стороны. И ни следа какой-либо критики того, что делала ее мать. Видно, как Кока Александровна проходила путь, свойственный далеко не только ей: коммунистический интернационализм – «шестидесятничество» (пусть она была старше типичных шестидесятников) – переход на либеральные позиции, но последний этап она к моменту написания мемуаров не завершила.

И еще черта: Кока Александровна менее многих других мемуаристов склонна щадить и приукрашивать себя. Вот она вспоминает про свою работу в начале 30-х гг. в Международном аграрном институте (МАИ): «В 1933 г. в МАИ проходила чистка партии… Мы с Туроком (муж Антоновой. – *В. А.*) выступили с резкой критикой халтуры и некомпетентности в институте. После чистки, кончившейся, по существу, ничем, обстановка сложилась такая, что нам пришлось уйти». Не знаю, что Кока Александровна и ее муж называли «халтурой» и верным ли был такой эпитет, но ясно, что они воспользовались чисткой партии для борьбы со своими противниками.

Еще существеннее то, что она рассказывает про свою борьбу в 1936–1937 гг. с востоковедом-эмигрантом из Индии Абони Мухарджи. Задним числом она дает ему резко отрицательную характеристику: «был неприятным, типичным бенгальским

“бабу”, с таким животом, будто он на сносях и вот-вот разродится двойней», упоминает, что он крал книги, торговал дачными участками и пр. Этим она оправдывает свое поведение. В начале кампании массовых репрессий Мухарджи выступал против И. М. Рейснера, а потом и против самой Антоновой, у которой уже была арестована мать, обвиняя их в связи с «врагами народа». Антонова решила бороться и толкала на это менее склонного к решительным действиям Рейснера. Она описывает «конспиративную встречу» с Рейснером в ресторане, где они договаривались о том, как совместно «остановить Мухарджи». И далее рассказывается о том, как, будучи вынуждена «составлять для парторганизации требуемый список друзей мамы», включила в него Мухарджи, упомянув на основе рассказов матери о его сомнительном поведении в 1920 г. Она также дала отрицательный отзыв на публикации Мухарджи. Далее она пишет: «Конечно, по существу, это был донос, но тогда я это воспринимала иначе и не испытывала угрызений совести: я отбивалась от нападения, когда речь шла действительно о жизни и смерти. Я… старалась помешать Мухарджи, воспрепятствовать ему погубить меня и других». Вскоре Антонова была выслана в Омскую область и за день до отъезда узнала, что Мухарджи арестован, его затем расстреляли.

Антонова надеется, что «тут подействовал отнюдь не мой разбор его работ» и пишет, что ей «жалко Мухарджи, погибшего так далеко от своей родины». Но донос остается доносом, при этом Кока Александровна вполне могла не касаться этого эпизода, а его свидетелей к 1991 г. уже, очевидно, не осталось. Но, видимо, ей хотелось выговориться и, с одной стороны, покаяться, с другой стороны, и оправдаться. А для истории все важно.

Сама Кока Александровна предстает со страниц ее мемуаров человеком активным, самостоятельным, далеко не с самым спокойным и мирным характером. Такой ее запомнили и окружающие. Если и устарели ее работы по Индии времен Великих Моголов (судить не берусь), то воспоминания останутся как любопытный памятник эпохи, точнее, сразу нескольких эпох. К столетию Антоновой вышел сборник ее памяти, в котором они переизданы.

Этот бескомпромиссный Сыромятников *(Н. А. Сыромятников)*

Лингвист-японист Николай Александрович Сыромятников (1911–1984) не принадлежит к ученым, получившим при жизни или после смерти широкую известность, хотя некоторые из его трудов используются и сейчас. Но хочется рассказать и об этом добром, искреннем, преданном делу человеке, с которым я проработал шестнадцать лет и которого считаю одним из своих учителей.

Николай Александрович родился 1 (14) декабря 1911 г. в Чугуеве Харьковской губернии в семье инспектора народных

училищ (он любил говорить, что родился в день открытия Р. Амундсеном Южного полюса). Об отце его мало что известно, зато многие наши востоковеды помнят его заботливую мать Прасковью Максимовну, с которой он прожил почти всю жизнь до ее смерти в 1977 г. Она освобождала сына от всяких хлопот по дому.

Сейчас кажется странным, что в Харькове еще в конце 20-х гг. могли преподавать восточные языки. Тем не менее, в этом старом университетском городе, тогда столице Украины, востоковедные традиции имели давние корни. Тогда существовал даже Всеукраинский вечерний техникум (!) востоковедения, на японское отделение которого Сыромятников поступил в 1929 г. Он шутил, что начал изучать японский язык 17 ноября, в день, который позже был объявлен Международным днем студентов. Одновременно он учился на филологическом факультете Харьковского педагогического института.

Однако скоро востоковедение на Украине было свернуто, а бросать редкий язык не хотелось, и будущий японист в 1931 г. переехал на другой конец страны, во Владивосток, и поступил на третий курс восточного факультета Дальневосточного университета. В 1933 г. он окончил факультет и остался там преподавать.

О владивостокском периоде его жизни я знаю мало: сам Николай Александрович, вообще любивший предаваться воспоминаниям, о нем говорил нечасто. К тому времени, когда Сыромятников переехал во Владивосток, довольно сильная дальневосточная школа японистов, созданная в начале века, под давлением обстоятельств стала распадаться. Самые видные ее представители тогда уже покинули Владивосток. Но оставались японисты еще дореволюционной выучки: П. С. Ануфриев, Н. П. Овидиев, К. П. Феклин. Они учили Николая Александровича, и он отзывался о них тепло. Во Владивостоке он подготовил первую работу: дипломное сочинение о переходных и непереходных глаголах.

Осенью 1937 г. почти весь преподавательский состав японской кафедры университета был арестован и в апреле 1938 г. расстрелян (при этом параллельная китайская кафедра почти не пострадала), тогда чуть ли не во всех японистах видели «шпионов». Уцелели лишь самые молодые, среди них Николай Александрович. Через два года университет будет вообще закрыт, и востоковедение на Дальнем Востоке прервется более чем на двадцать лет. Но к этому времени Сыромятникова там уже не было: в 1938 г. он уехал в Ленинград учиться в аспирантуру.

Предполагалось, что он будет учиться у Н. И. Конрада, но тот

незадолго до приезда Николая Александровича в Ленинград был арестован. В университете остался лишь один квалифицированный японист, избежавший ареста: А. А. Холодович. Это был ученый большого таланта, но при небольшой разнице в возрасте (Холодович был лишь на пять лет старше своего аспиранта) и значительном несходстве характеров отношения не сложились. Когда в 1939 г. вышла из заключения и вернулась на факультет Е. М. Колпакчи, аспирант перешел к ней. Темой диссертации стал язык кёгэнов – памятников японской литературы XVI в., отражавших разговорную речь того времени. Эту тему он будет, наряду с другими, разрабатывать многие годы, но тогда за три года Сыромятников ничего написать не успел. Главное внимание он обратил на пополнение своих знаний, посещая лекции и семинары университетских «светил». Он любил вспоминать, как знаменитый Л. В. Щерба разбирал на семинаре язык первой главы «Капитанской дочки»; разбор был столь обстоятельным, что за целый семестр прошли полторы страницы текста.

Началась война. В ее первые месяцы Николай Александрович оставался в Ленинграде, где пережил самый тяжелый блокадный период. Помню, как незадолго до смерти он в своем институте выступал с воспоминаниями по случаю 40-летия окончания блокады. Он вспоминал, как вместе с товарищами подобрал упавшего на Дворцовой набережной академика С. А. Жебелёва. Они донесли его до Дома ученых, куда тот направлялся, но спасти его не удалось. В начале 1942 г. Сыромятников был призван в Военно-морской флот и несколько месяцев находился в команде моряков-связистов, располагавшейся в Елагином дворце; при нем во дворец попала бомба, и он сгорел. Там он научился танцевать «Яблочко», которое потом исполнял в самодеятельности Военного института иностранных языков; дома у него впоследствии висела большая фотография в краснофлотской форме. Но краснофлотцем Сыромятников был недолго: вспомнили о его профессии, и в июле 1942 г. он снова попал на Дальний Восток в качестве преподавателя курсов военных переводчиков Тихоокеанского флота. В конце 1943 г. его перевели в Москву преподавателем Военного института иностранных языков, с тех пор он жил здесь до смерти.

Уже в следующем году Сыромятников демобилизовался, но институт оставался его основным местом работы до 1950 г., одновременно он преподавал японский язык в Дипломатической школе НКИД СССР, на историческом факультете МГУ и в других местах. Возобновил он и учебу в аспирантуре, теперь уже у вернувшегося к деятельности Н. И. Конрада. В 1950 г. Николай

Александрович ушел из Военного института в переведенный в Москву Институт востоковедения АН СССР, с которым связана вся его дальнейшая жизнь и деятельность. Первые годы в институте он совмещал научную деятельность с редакторской, а когда в 1958 г. был организован Отдел языков, перешел туда и оставался здесь до конца жизни.

Становление Сыромятникова как лингвиста было достаточно сложным. Ему (как и, например, Н. А. Невскому) часто было нелегко сосредоточиться на какой-то одной теме и довести ее до конца. В основном из-за этого он защитил кандидатскую диссертацию лишь в 44 года, через двадцать с лишним лет после получения вузовского диплома. Сначала он занимался кёгэнами, потом, не бросая их, стал писать диссертацию о времени японского глагола, но одновременно увлекся японской фонетикой и фонологией, именно в этой области появилась первая его заметная публикация.

Первым у нас, опережая современную ему зарубежную науку, этими проблемами занялся Е. Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»), но после его гибели традиция прервалась. Сыромятников вернулся к ней в послевоенные годы, сначала разработав совершенно самостоятельно курс японской фонетики в Военном институте. Затем в 1952 г. в «Ученых записках» Института востоковедения появилась его статья «Система фонем японского языка». Исследование отличается большой детальностью и доскональным рассмотрением всех вопросов, вызывавших споры в литературе. Автор отталкивается от концепции Е. Д. Поливанова, подробно рассмотренной с упоминанием этого имени, невзирая на то, что тот тогда считался «врагом». Отмечу и столь же подробный разбор идей современных американских японистов, включая даже работу С. Э. Мартина (1924–2009), изданную менее чем за год до подписания статьи в печать, хотя в 1952 г. это не очень поощрялось. Однако все эти идеи пересмотрены, поскольку Сыромятников исходил из иной концепции, близкой, как он сам мне говорил, к Московской фонологической школе (см. очерк «Петр Саввич»). Работа очень серьезна и не потеряла значения даже сейчас. Но больше Николай Александрович ничего не публиковал ни по фонологии, ни по фонетике (кроме соответствующих разделов в книгах по истории языка): его увлекли другие темы.

Вероятно, готовая статья о фонемах могла бы стать основой диссертации, но Сыромятникова увлекла тема о японских временах глагола. Постепенно он пришел к идее, что именно она должна стать диссертационной. Здесь ему пришлось столкнуться с сопротивлением именитого научного руководителя, тогда

члена-корреспондента Академии наук. Конрад не одобрил ни занятий своего бывшего аспиранта фонологией, ни тем более его ухода в изучение времен, где у руководителя была иная, более традиционная точка зрения. Два письма Конрада Сыромятникову от 05.12.1951 и 26.08.1952 (ныне опубликованные в сборнике писем Конрада) показывают, что глава нашей японоведческой школы при всей своей вежливости недоволен строптивостью начинающего, хотя уже и не очень молодого ученого, высказывая ему в академическом тоне выговор. Однако Николай Александрович не посчитался с авторитетом руководителя. К 1953 г. работа, составлявшая почти тысячу страниц, была готова, в ней досконально изучалась категория времени в японском языке от кёгэнов XVI в. до современности. Однако защита отложилась еще на три года.

Не найдя общего языка с Конрадом, Сыромятников обратился в Ленинград к своему первому руководителю А. А. Холодовичу (Е. М. Колпакчи, всегда тепло к нему относившейся, уже не было в живых). Тот в отличие от Конрада одобрил выбор темы, но высказал большое число замечаний, на учет которых и на сокращение слишком длинного текста ушло еще три года. Лишь в июле 1956 г. Николай Александрович защитил кандидатскую диссертацию, показав всей этой историей принципиальность и ответственность при малом честолюбии. Впоследствии он долго не защищал и докторскую диссертацию, поскольку считал, что его исследования по ее теме еще не закончены. Он часто говорил: «Пусть лучше про меня скажут: “Как, он еще не доктор?”, чем: “Как, он уже доктор?”». Имея все основания защититься еще в 60-е гг., он защитил докторскую диссертацию только в апреле 1979 г., за пять лет до смерти.

Японскими временами Сыромятников занимался еще долго, результатом стала книга «Система времен в новояпонском языке», изданная в 1971 г. В итоге он сделал важное открытие. Хотя в японском языке всего два времени, а не три, как мы привыкли, – настояще-будущее и прошедшее, но их употребление оказывается, с нашей точки зрения, странным. В повествовательных текстах японских писателей разных эпох, где речь шла о прошлом, в огромном числе примеров употребляются не только формы прошедшего, но и формы настояще-будущего времени. И Николай Александрович, детально рассмотрев все такие случаи в огромном числе текстов, установил, что настояще-будущее время может означать и одновременность данного действия с каким-то другим (в том числе и в отношении прошлого), а прошедшее время и предшествование другому действию. Именно эта идея показалась слишком смелой Н. И. Конраду, но она у нас затем

получила признание, а иностранные японисты, не читающие по-русски, позднее пришли к тем же выводам независимо от Сыромятникова.

В годы работы над диссертацией ученый опубликовал и большую проблемную статью «Некоторые спорные вопросы изучения японского языка» (издана в 1955 г., написана, вероятно, несколько раньше). Это были годы борьбы с последствиями господства марризма, и Сыромятников, невзирая на авторитеты, беспощадно критиковал за те или иные марристские, по его мнению, идеи А. А. Холодовича, уже покойную Е. М. Колпакчи и даже Н. И. Конрада, хотя признавал, что последний был весьма далек от «нового учения о языке». В тупик он вставал, когда речь заходила о Е. Д. Поливанове. Он знал, что тот был последовательным противником Н. Я. Марра, но, тем не менее, марристские идеи находил и у него. В статье видны большая искренность автора и стремление освободить японоведение от догм и искажений. В статье перечислялись не изученные к тому времени у нас проблемы японского языка, многими из которых старался заниматься сам автор статьи.

От первоначальных занятий кёгэнами Сыромятников с конца 50-х гг. перешел к исследованию всего языка XVI–XIX вв. (новояпонского языка) от первых памятников, отражавших разговорную речь, до коренного преобразования языка в период европеизации Японии. Здесь он уже мог рассчитывать на поддержку академика Н. И. Конрада, ставшего ответственным редактором обеих его книг по данной тематике: «Становление новояпонского языка» (1965) и «Развитие новояпонского языка» (1978 г., уже после смерти Конрада). Первая книга описывала язык XVI–XVII вв., включая важные свидетельства первых португальских миссионеров, впервые зафиксировавших японский язык с позиций западной науки, вторая книга – язык от середины XVII в. до середины XIX в.

Книги стали первым монографическим описанием японского языка того времени не только в отечественной японистике, но вообще где-либо за пределами самой Японии. Описана языковая ситуация рассматриваемых эпох, подробно исследованы фонология, грамматика и в меньшей степени лексика. Эти две фундаментальные книги, пожалуй, составляют наибольший вклад Николая Александровича в науку.

Занимался он и современным языком. В 1971 г., помимо книги о временах, вышла и большая статья о другой глагольной категории – наклонении, где автор предложил любопытную и красивую, хотя спорную системную концепцию, позволяющую описывать и ее историческое развитие. Но наибольшую

известность получила его словарная деятельность. За свою жизнь он принял участие в составлении трех значительных японско-русских словарей. Первый из них – средний по объему «Японско-русский словарь», составленный им вместе с Л. А. Немзером еще в начальный период научной деятельности. Словарь выдержал три издания в СССР (1951, 1960, 1965) и два издания в Японии (1952, 1966). В течение двух десятилетий словарь оставался основным пособием, которым пользовались все наши японисты.

Затем Сыромятников вошел в авторский коллектив Большого японско-русского словаря под редакцией Н. И. Конрада, работа над которым шла около полутора десятилетий. Как сказано в предисловии к словарю, ему принадлежит 15,58 % его объема. Словарь вышел в 1970 г. и содержит более 100 тысяч слов. Первоначальный объем был несколько больше, но пришлось сделать сокращения и из-за издательских трудностей, и по идейным причинам, в частности, значительно сократили религиозную лексику. До сих пор это самый большой в нашей стране словарь японского языка. Он трижды выпускался в Японии (1971, 1973, 1975). За участие в этом словаре Н. А. Сыромятников в 1973 г. был удостоен Государственной премии СССР. Равнодушный к другим почестям и званиям, он гордился своим лауреатством и любил ходить с лауреатским значком.

По окончании этой работы Николай Александрович, снова вместе с Л. А. Немзером, приступил к работе над новым вариантом своего первого словаря; в большей части словарь составлялся заново, он вышел в 1984 г.; Сыромятников для него написал первый у нас краткий очерк японского ударения.

В 60-е гг., еще не закончив исследования по новояпонскому языку, ученый приступил к изучению более древнего периода японской языковой истории. В результате – книга «Древнеяпонский язык», законченная в 1968 г. и вышедшая в свет в 1972 г. в институтской серии «Языки народов Азии и Африки». Лучшие ее разделы написаны в том же стиле, что и работы того же автора о новояпонском языке: столь же скрупулезный, хотя и менее подробный из-за ограниченности объема анализ фонологии и грамматики языка древнейших японских памятников VIII в., первого века японской письменной истории, особенно «Кодзики» и «Манъёсю». В 1981 г. издательством «Наука» в несколько расширенном варианте очерк был издан на английском языке. Это единственная крупная работа Сыромятникова, доступная зарубежному читателю (было еще несколько небольших статей в Японии). После его смерти профессор Мураяма Ситиро, постоянный пропагандист русской и советской науки в Японии, выдвигал идею издать по-японски сборник работ Николая

Александровича (так же как им был издан сборник трудов Е. Д. Поливанова по японистике). Но Мураяма теперь тоже умер, и проект не реализовался.

Я познакомился с Николаем Александровичем осенью 1968 г., поступив в аспирантуру Института народов Азии АН СССР (через год ему вернут традиционное название – Институт востоковедения). К тому времени почти все указанные выше работы, кроме последнего словаря, уже были им написаны, хотя не все изданы. Вскоре после моего зачисления в аспирантуру Сыромятников предложил аспирантке Е. В. Струговой и мне заниматься с ним историей японского языка. Мы были счастливы, и занятия первоначально проходили у него дома на улице Дмитрия Ульянова. Он не был нашим научным руководителем и мог бы не возиться с чужими аспирантами, но ему так хотелось передать свои обширные знания, и Николай Александрович добровольно и, конечно, бесплатно учил нас языку разных эпох. В это же время он учил современному языку нескольких сотрудников Отдела языков и Отдела литератур – не японистов, читая с ним токухоны – японские школьные книги для чтения (изредка мне приходилось подменять его на этих занятиях). Помню, как в мои аспирантские годы, выступая на собрании, Сыромятников сказал: «Мне уже скоро шестьдесят, а у меня не было ни одного аспиранта. Может быть, я завтра умру и никому не смогу передать то, что знаю». Позже у него все же были аспиранты, но с ним ему не очень везло: лишь одного из них – Э. Г. Азербаева – он смог довести до защиты.

В квартире в академическом кооперативном доме, где он в то время был председателем ревизионной комиссии кооператива, Сыромятников жил с матерью и женой (он женился лишь в 55 лет незадолго до этого). В комнате, заставленной множеством японских книг и сувениров, привезенных из первой за много лет поездки в Японию, он читал с нами стихи из «Манъёсю», отрывки из «Гэндзимоногатари», кёгэны. Руководствуясь заветами Л. В. Щербы, он стремился не идти по текстам быстро (количественно мы прочитали не так много), но подробно останавливаться на каждом слове, обороте. Каждая фраза сопровождалась его обстоятельнейшими комментариями, касавшимися и языковых особенностей, и культурных реалий. Таким подходом Николай Александрович напоминал мне (при несходстве всего остального) А. А. Зализняка, у которого я в студенческие годы слушал санскрит. Знал Сыромятников очень много и старался передать нам как можно больше из запасов своей памяти. В его рассказах не было какой-либо системы, но пользу нам, думаю, они принесли большую. Занимались мы историей языка более двух

лет, пока не настало время сдавать кандидатский минимум, успев пройти далеко не все.

Наше общение не исчерпывалось занятиями по истории языка. Как-то Николай Александрович сказал мне: «А теперь я буду учить Вас писать». Мне это сначала не понравилось: казалось, я писать умею, раз мой диплом при защите был признан достойным публикации в виде статьи. Но, взяв написанный мной текст, он стал его править: переставил слова, добавил необходимые связки, убрал много лишнего. Я вынужден был признать, что текст стал лучше. И потом в аспирантуре и позже я давал ему читать все, мной написанное, и он испещрял текст огромным числом замечаний на полях. При этом Сыромятников не стеснялся в своих эмоциях: если что-то нравилось, он писал сбоку «правильно!», но и критиковал беспощадно. До сих пор у меня сохранилось немало машинописных страниц с его заметками. Не со всем можно было согласиться, но он удивительно точно чувствовал слабые места в работе. С замечаниями относительно стиля и языка почти всегда приходилось соглашаться.

Чувствовался опытный и любящий свое дело редактор, которым был Николай Александрович в первые годы работы в Институте востоковедения. Уроки, надеюсь, не прошли для меня даром: я стал писать совсем по-другому. Перечитывая спустя несколько лет свой диплом, я ощущал его как чужой текст. Любопытно, что редактировать чужие работы Сыромятников умел лучше, чем писать свои. В его книгах и статьях, особенно в их первых вариантах, всегда было много отступлений от темы. Причина этого была ясна: как и во время занятий с аспирантами, Николаю Александровичу хотелось высказаться, рассказать, пусть в ущерб композиции, все, что его интересовало. Когда ему приходилось по требованию коллег или издательства сокращать текст, он жаловался: «Словно по живому режут!».

И интересовался Сыромятников не только моими работами. Наш крупный историк Б. Ф. Поршнев любил вспоминать об итальянских гуманистах, которые всегда читали любые сочинения друг друга и обменивались оценками в переписке, и с тоской добавлял, что в наше время такого больше не встречается. Действительно, в Отделе языков всегда бывало проблемой обсудить рукопись монографии или диссертацию, поскольку большинство сотрудников не любили читать чужие работы, особенно по языкам, которыми не занимались. Но Николай Александрович как бы продолжал традиции гуманистов. До самых последних лет, несмотря на возраст, болезни, занятость другими делами, он читал и рецензировал множество

лингвистических работ и делал это с удовольствием: ему хотелось знать новые факты и новые трактовки. Порой он жестко критиковал своих оппонентов, не всегда стесняясь в выражениях, иногда несправедливо. Но на него не обижались: все понимали, что он исходил из интересов науки и никогда не переходил на личности.

Ученый был так же внимателен и к оценкам своих работ. Я только был зачислен в аспирантуру, и Сыромятников еще даже не начал со мной своих занятий, как он предложил мне прочесть рукопись «Древнеяпонского языка». Мнение аспиранта первого года не могло иметь значения для публикации книги, к тому же уже рекомендованной сектором к печати, просто автору было интересно. Я был воспитан на отделении структурной и прикладной лингвистики МГУ в совершенно иных традициях, поэтому отнесся к книге довольно-таки критически. В книге были уязвимые места, о которых я еще скажу, но было у меня много пыла и нетактичности молодости. Но Сыромятников не обиделся и кое-какие из моих замечаний принял. Через год он предложил мне прочесть и рукопись книги о временах, давно написанной и залежавшейся в издательстве. Эта книга оказалась для меня более интересной, да и замечаний я мог в силу более близкой тематики сделать больше. И на этот раз Николай Александрович был внимателен к моим замечаниям и предложениям. Он даже внес ряд изменений в рукопись. По моему совету она стала начинаться цитатой из статьи историка-медиевиста А. Я. Гуревича о категории времени в средневековом сознании. Дело тут было не во мне лично: Сыромятникова интересовало любое мнение о его работе, независимо от того, чье оно.

В науке для Николая Александровича ранги не существовали. Я уже говорил о его независимости к Н. И. Конраду, единственному у нас тогда члену-корреспонденту, затем академику среди японистов. Помню, как он, будучи опытным лексикографом, издевался над и в самом деле ошибочными мнениями именитых редакторов больших словарей русского языка: ориентируясь на классическую литературу, они могли описывать вместо современного языка язык XIX в.

«Слово *вертопрах* они помечают как разговорное, но кто из вас слышал когда-нибудь его в разговоре?». Внимательный к мнениям аспирантов и студентов, он мог оборвать любую знаменитость. Помню, как незадолго до его кончины на диссертационном совете Института востоковедения выступал оппонентом уже очень прославленный С. С. Аверинцев. Он, в свойственной ему манере, отталкиваясь от весьма частной темы диссертации, начал интересно рассуждать об общих

цивилизационных проблемах. Вдруг раздался голос Николая Александровича: «Ближе к теме диссертации!». Знаменитый ученый осекся, скомкал оставшуюся часть выступления и быстро закончил свою речь. Конечно, в этой ситуации поступок Сыромятникова очень вежливым не назовешь, но табу в науке для него не существовало. Не пасовал он и в общении с институтским начальством, если речь шла о важных для него проблемах.

Однако независимым и решительным Николай Александрович оставался лишь в профессиональной области (совсем как П. С. Кузнецов). Во всем остальном – от политики до быта – это был крайне наивный, легковерный человек, сохранявший какую-то постоянную детскость. Нельзя сказать, что его ничего не интересовало за пределами его профессии. Наоборот, он хотел знать как можно больше. Но критерия отбора у него не было, он доверял всякому источнику информации. Ученый искренне верил во все, о чем писали газетные обозреватели, активно пересказывая их комментарии на политсеминарах, где всегда оставался самым прилежным участником. Крайне доверчив Николай Александрович был и к распространившимся в советских средствах массовой информации с 70-х гг. рассказам о летающих тарелках, экстрасенсах и пр. С упоением он рассказывал то о таинственных свечениях, то о тарелке, которую кто-то видел над проспектом Вернадского. Когда я уезжал в Японию, он просил выяснить, как по-японски будет НЛО, поскольку этого слова он не нашел в словарях. Каждый просмотренный фильм был для него событием, особенно в последние годы жизни, и он в отделе восторженно пересказывал содержание телесериала «Профессия – следователь», легковесной итальянской комедии «Синьор Робинзон» и других не слишком выдающихся произведений искусства.

В быту Сыромятников был обескураживающе непрактичен. Оберегаемый матерью, а затем женой от хозяйственных проблем, он вставал в тупик в самых, казалось бы, простых ситуациях. В 1980 г. мы с ним в составе довольно большой группы востоковедов ездили на симпозиум в Польшу, и он, как и все его спутники, обменял положенную сумму денег. Однако затем перед ним встал вопрос: Что делать со злотыми? Николай Александрович ходил каждый день в кино, но все равно деньги оставались. Наконец, он решил купить жене туфли, но хозяин частной лавки, легко распознав, кто перед ним стоит, продал ученому две туфли на одну ногу, а поменять их времени уже не было.

Вообще, Сыромятников был абсолютно советским человеком

и, не будучи членом партии, постоянно вел общественную работу, побывав в разные годы и депутатом райсовета, и народным заседателем, и председателем ревизионной комиссии жилкооператива. Это совсем не мешало ему, например, любить поэзию Б. Пастернака, стихи которого он просил жену почитать ему в последний день жизни. А борьбы партий в советском языкознании для него как бы и не существовало: ему нравились работы Ф. П. Филина, которого многие считали «черносотенцем», и когда его книга выдвигалась на Государственную премию, Сыромятников предлагал на собрании поддержать выдвижение от имени своего института; но могли ему нравиться и работы ученых противоположного лагеря.

Тип натуры Николая Александровича несколько напоминает другого моего героя: Петра Саввича Кузнецова, также сочетавшего независимость в научных позициях, житейскую непрактичность, отсутствие политической оппозиционности и стремление к энциклопедичности. Впрочем, Петр Саввич четче определял свои позиции в борьбе лингвистических партий, он не мог бы поддержать Филина. И было еще одно важное отличие: Сыромятников не смог в Харькове 20-х гг. получить тот прочный фундамент культурных традиций, который приобрел старший почти на тринадцать лет Кузнецов в частной московской гимназии (да и Прасковья Максимовна не была столь образована, как приемная мать Кузнецова). Поэтому ему не хватало умения отбирать поступающую информацию, включая научную.

Николай Александрович был абсолютно честным человеком, лгать он не умел. Он был таким открытым в рассказах о себе, не боясь показаться смешным. Такого человека любили, в том числе и люди иного склада. В институте он оказывался одним из немногих, у которого не было врагов. Так, в конце 70-х годов диссертационный совет Института востоковедения по языкознанию замучил анонимщик. Перед каждой защитой докторской диссертации в Институт аккуратно приходило письмо – донос на диссертанта; к счастью, никто анонимкам хода не давал. И только Николая Александровича этот гнусный человек тронуть не решился.

Впрочем, его резкие выпады против коллег вызывали и ответные реакции, также не выходившие за пределы науки. Помню, как на заседании Отдела языков выступал ленинградский лингвист С. Е. Яхонтов с докладом об установлении языкового родства в языках Юго-Восточной Азии. Сыромятников торопился с женой в театр и попросил после доклада слово первым. Он произнес длинную и, надо сказать, не очень убедительную речь, разбив, как ему показалось, все пункты доклада, и торжественно

удалился. Докладчик, человек острый на язык, в заключительном слове спросил: «Есть ли среди присутствующих кто-либо, кто согласен с мнением Николая Александровича?». Ответом было молчание. Тогда докладчик заявил: «Значит, я могу ему не отвечать». И перешел к ответам другим выступающим.

Теперь следует сказать о самом сложном периоде в научной деятельности Н. А. Сыромятникова. Еще до того, как я с ним познакомился, Николай Александрович увлекся проблемой родственных связей японского языка. Этот вопрос занял немалое место в его книге «Древнеяпонский язык», ему он также посвятил ряд статей. Но еще больше материалов остались неопубликованными. Дома у него была собрана обширная картотека, в которой те или иные слова японского языка сопоставлялись с похожими по звучанию и значению словами разных языков. Во второй половине 60-х и в 70-е гг. эта проблематика занимала, пожалуй, самое большое место в деятельности Н. А. Сыромятникова.

Сама по себе она исключительно сложна. У японского языка не сохранилось близких родственников, а изучение дальнего родства возможно лишь тогда, когда наука уже проделала большую работу по реконструкции древних языковых состояний. Проблема родственных связей японского языка оставалась не решенной и тогда, когда Н. А. Сыромятников стал ею заниматься. Даже такой ученый как Е. Д. Поливанов не смог справиться с ней просто из-за того, что в его время не были достаточно изучены те языки, с которыми японский может находиться в отдаленном родстве. Лишь сейчас, особенно в работах С. А. Старостина (см. очерк «Дойти до языка Адама»), эта проблема стала, наконец, поддаваться исследованию. Четверть века назад проделать такую работу еще было почти невозможно. К тому же Николай Александрович, на свою беду, не был подготовлен для занятий компаративистикой. Рабочими приемами этой дисциплины обычно овладевают в юности, а научиться им на Дальнем Востоке, да еще в то время, когда по требованию Н. Я. Марра языковое родство было объявлено «буржуазной выдумкой», оказалось просто невозможно.

Н. А. Сыромятников шел по пути наименьшего сопротивления. Он выписывал из словарей современных языков, гипотетически родственных с японским, все слова, похожие на японские, не пытаясь их сортировать на основе регулярных звуковых соответствий, как это делают компаративисты. В те годы ведущий специалист в области дальнего языкового родства А. Б. Долгопольский о картотеке Н. А. Сыромятникова говорил: «Несомненно, среди его этимологий есть и правильные. Но проще

проделать работу заново, чем отделять его верные этимологии от неверных».

Однажды И. Ф. Вардуль – заведующий сектором – пригласил А. Б. Долгопольского в Отдел, чтобы тот изложил принципы сравнительно-исторического языкознания и определил, в чем у него с Н. А. Сыромятниковым имеются расхождения. Однако убедить Николая Александровича оказалось делом невозможным, причем его аргументация была не столько научной, сколько человеческой. После диспута он сказал: «Долгопольский говорит, что надо делать на первом этапе, что, – на втором, что, – на третьем. Получается, что самым интересным придется заниматься только через много лет. А мне уже шестьдесят, у меня нет времени ждать». Ну, что скажешь на такую аргументацию! Свою картотеку Н. А. Сыромятников публиковать не торопился, считая, что сначала он должен сам довести до конца все свои реконструкции. Но сделать это он так и не успел. За несколько дней до смерти он просил И. Ф. Вардуля и меня опубликовать его компаративные материалы. Надеюсь, когда-нибудь появится такой ученый, который найдет время с ними разобраться.

Силен Николай Александрович был в другом: в скрупулезном анализе письменных текстов, в выискивании в них интересных примеров и всестороннем описании найденных фактов. Описательные грамматики, составление словарей – вот те области, где в отличие от компаративистики он был в своей стихии. На него, вероятно, влияла система ценностей, установившаяся в нашем языкознании в 50-е годы, после работ И. В. Сталина, в соответствии с которой сравнительно-исторические исследования составляли как бы вершину языкознания.

К счастью, ученый, отличавшийся большой работоспособностью, никогда не уходил в компаративистику целиком и параллельно работал над другими темами. Помимо уже упоминавшегося словаря, в 70-е гг. он написал посвященный IX–XII вв. очерк «Классический японский язык» (завершен в 1975 г. и тоже долго пролежал в издательстве), закончив этим цикл описаний истории японского языка от древнейших памятников до начала современного этапа (не был охвачен период с XIII по XV вв., но от него почти нет памятников, отражающих разговорную речь). Среди других его работ этих лет – интересная статья о новых тенденциях в развитии японского языка, отражаемых в газетных текстах.

Все работы Сыромятникова основаны на анализе японских письменных текстов, будь то «Манъёсю» VIII в. или современная газета. Он был ученым сугубо книжного склада в отличие, скажем, от Е. Д. Поливанова или Н. А. Невского. И это типично

для японистов его поколения, для которых письменные тексты на изучаемом языке были доступны в достаточном количестве, однако контакты с живыми носителями языка исключались на многие десятилетия. Сам Николай Александрович смог на месяц попасть в Японию лишь на шестом десятке лет: в 1965 г., и то лишь потому, что не счел для себя зазорным отправиться туда в качестве стендиста на советскую космическую выставку. Об этой поездке он любил потом рассказывать. Он пытался в том же качестве поехать на ЭКСПО-70 в Осаку, но не выдержал конкуренции. На моей памяти он еще раз съездил в свою страну на конференцию в Киото в 1972 г., но всего на несколько дней. И все!

70-е годы были для Сыромятникова вполне успешными. Он много работал, находился, несмотря на возраст, в хорошей физической форме, за поддержанием которой следила его жена. Зимой он ходил на лыжах, летом ездил по туристическим путевкам. Он гордился тем, что в шестьдесят с лишним лет выполнил норму значкиста «Турист СССР», и носил значок даже чаще, чем значок лауреата. Он увлекался настольным теннисом, в который можно было играть прямо в институте, и даже участвовал в первенстве Москвы для старших возрастов и утверждал, что благодаря этой игре избавился от повышенной (или пониженной, точно не помню) кислотности. Ездил он и за границу. Кроме упомянутых поездок в Японию, он побывал на Международных конгрессах лингвистов в Бухаресте и Болонье (после Болоньи он обращался к каждому сотруднику своего отдела: «Синьор!»), на симпозиуме востоковедов в Польше, в туристской поездке в Чехословакии и ГДР. Годы долго не брали Николая Александровича, и казалось, что так будет еще продолжительное время.

Однако конец его жизни был грустным. В начале декабря 1981 г., почти накануне его семидесятилетия, в отдел пришла разнарядка: до Нового года сократить состав на три единицы, желательно за счет лиц пенсионного возраста. Приказ не подлежал обсуждению, можно было лишь выбирать из возможных кандидатур. Врагов у Николая Александровича не было, но он к тому времени уже стал старейшим сотрудником отдела, давно перешагнувшим пенсионный возраст. К тому же доктора можно было перевести на должность консультанта, которая давала возможность продолжения работы и лишь небольшой потери в деньгах, но выводила сотрудника за штат. Сочли, что лучше перевести на эту должность Сыромятникова, чем вместо этого совсем увольнять из института кого-то другого. На бюро Отдела так и решили, хотя голосование не было единогласным.

Остальное уже было формальностью: директор Е. М. Примаков не имел причин не согласиться с таким решением. Казалось, из положения вышли с наименьшими потерями, но Николай Александрович был буквально убит этим решением, на него было тяжело смотреть. Вскоре Отдел отмечал его семидесятилетие. Все старались делать вид, будто ничего не произошло, но юбилей был невеселым.

С тех пор Сыромятников стал быстро сдавать, часто болел. Не прошло и года после его выведения за штат, как впервые прозвучали зловещие слова «онкологическое обследование». Сначала худший диагноз не подтвердился. Николай Александрович бодрился, но скрывать свои чувства он, как всегда, не умел.

И все-таки он продолжал работать. За три года он написал первый у нас в стране очерк японских диалектов для многотомника «Языки Азии и Африки» и пространный раздел о падежах для предполагавшейся коллективной грамматики японского языка. Посмертно очерк диалектов был издан, а концепция грамматики затем была изменена, и в окончательном ее варианте, опубликованном в 2008 г., работа Николая Александровича отражена лишь в небольшой степени (стоит, видимо, его текст издать отдельно). Но Сыромятников успел дождаться выхода «Классического японского языка» (1983) и нового «Японско-русского словаря», появившегося за полтора месяца до его кончины. По-прежнему дело для него оставалось на первом плане. В марте 1983 г. защищал диссертацию его ученик Э. Г. Азербаев. Ситуация оказалась такой, что исход защиты был неясен: против присуждения степени высказался видный ученый Б. А. Серебренников. Николай Александрович в это время был болен, лишился голоса, все думали, что на защиту он не приедет. Однако он приехал, но такой больной, что не в состоянии был что-либо сказать. И все-таки он счел своим долгом поддержать ученика. Возможно, его присутствие повлияло на некоторых членов совета: после бурных дебатов кандидатская степень была присуждена.

В 1984 г. казалось, что судьба стала улыбаться Николаю Александровичу: болел он меньше, стал выглядеть бодрее, стал привыкать к позиции консультанта, часто приходил в Институт, занимался с аспирантами, вел долгие разговоры об интересующих его проблемах. В июле в Москву приехал известный американский тюрколог Д. Синор (1916–2011) и выступил в Институте востоковедения с докладом. Самым активным его слушателем оказался Николай Александрович. Он задавал гостю много вопросов, говорил с обычной своей

горячностью, пытался изложить свои идеи о родстве языков. Никто и представить не мог, что жить ему осталось совсем немного. Спустя два дня, 13 июля он уходил в отпуск. В свой последний день в Институте он дарил коллегам только что вышедший словарь, был бодр и весел.

Вскоре он уехал в санаторий «Поречье», где в первый же день упал, что спровоцировало сильные боли. Пришлось вернуться в Москву и лечь в академическую больницу, где врачи сразу поставили онкологический диагноз. Через месяц его выписали домой – умирать. Несколько сотрудников Института посетили его, я приезжал к нему за три дня до смерти. Он лежал на диване. Есть он уже не мог и хорошо понимал, что умирает. Находясь в полном сознании, он отдавал последние распоряжения, беспокоясь о судьбе недоделанного. В ночь с 26 на 27 августа 1984 г. Николай Александрович Сыромятников скончался. Его жена жива до сих пор и сохраняла его картотеку, которую недавно передала в Институт востоковедения. Но что делать с карточками? Наследие ученого неравноценно, но лучшие его работы используются до сих пор.

Лектор-директор
(М. С. Капица)

Впервые я увидел Михаила Степановича Капицу (1921–1995) 18 ноября 1966 г. в московском Доме ученых, где он читал публичную лекцию по международному положению. Ни он, ни я тогда не были связаны с академическим Институтом востоковедения: он работал в МИДе, а я был еще студентом.

Выступления международников в Доме ученых и других местах тогда привлекали многих. И в тогдашних газетах внимание читателей обычно связывалось с двумя разделами: спортивным и международным. Общественный интерес к международным проблемам тогда был, несомненно, значительнее, чем сейчас. В одном из рассказов тех лет два

пенсионера на лавочке рассуждали об индонезийском министре иностранных лет Субандрио, а посетившая СССР в начале 80-х гг. японская делегация пришла в восторг, когда во время визита в школу нашелся старшеклассник, знавший фамилию тогдашнего председателя японской социалистической партии. Для нас это не казалось столь удивительным.

Причин тут было две. Во-первых, в тогдашней обстановке информационной стерильности самой разнообразной и богатой информацией, доходившей до советского человека через советские СМИ (о «голосах» сейчас не говорю), оказывалась международная. О событиях в стране писали очень избирательно, но основные события за рубежом (по крайней мере, за пределами соцлагеря) передавали и обычно комментировали. Выдумывать факты опасались (в крайнем случае прибегали к сомнительным зарубежным источникам вроде индийского «Петриота»). Кое-что скрывали, но не так часто и лишь по вопросам, прямо или косвенно связанным с нами. Помню, пожалуй, лишь два случая. Канцлер ФРГ В. Брандт был вынужден уйти в отставку, когда в его окружении обнаружился агент из ГДР. У нас последний факт было запрещено сообщать, и передали лишь об отставке Брандта, которую невозможно было скрыть. Из-за этого ситуация выглядела в наших СМИ крайне нелогично: был Брандт, пользовался популярностью, и вдруг почему-то ушел. Другой случай – обмен Л. Корвалана на В. Буковского. Сообщили и об освобождении Корвалана (сразу и торжественно), и о высылке Буковского (через несколько дней вскользь), но факт обмена был засекречен. Но, повторю, такое бывало редко. Когда я с 70-х гг. стал бывать за границей, я читал там газеты (телевизор был мало показателен: международная информация в «свободном мире» сводится лишь к сенсациям), а потом сравнивал с советскими за те же дни. И оказалось, что информация о СССР пересекалась мало (США и ряд других стран вообще бойкотировали материалы советских информационных агентств и газет, полагаясь лишь на своих корреспондентов и «диссидентские источники»), а факты из «первого» и «третьего» миров, в общем, совпадали, хотя их иерархия и тем более оценки могли разниться.

Во-вторых, более широкими были и рамки, в которых могла проявиться человеческая индивидуальность. Конечно, строго разграничивалось, кто «наш», а кто «не наш». Однако среди «не наших» допускались оттенки. И оставались возможности для аналитики. На тему, кто придет на смену Брежневу, рассуждали лишь на интеллигентских кухнях, но обсуждать, кто будет следующим президентом США, и просчитывать варианты можно было не только в «Нью-Йорк Таймс», но и в «Правде». Способному

человеку было, где развернуться. И лучшими советскими журналистами тех лет были международники. Сейчас даже в официальной печати нередко ностальгически вспоминают «золотое время» нашей международной журналистики и ее традиции, утерянные на грани 80-х и 90-х гг. «Голоса», конечно, были важны для многих, но, во-первых, их слушали не все и не всегда, особенно в годы, когда их сильно глушили. Во-вторых, они бывали необходимы там, где информационная стерильность особо ощущалась (но и они подавали советскую жизнь с перекосом: «диссидентские источники» рассказывали, прежде всего, о себе). А интерес к международным событиям, имевший в русском обывательском сознании давние корни (Саша Черный: «Мне известны различные версии относительно Англии в Персии»), мог удовлетворяться за счет собственных источников. Одним хватало «Правды» или «Известий», другие читали «За рубежом» и ходили слушать международников.

Лекторы играли особую роль. Слово улетает, написанное остается и может быть приобщено к делу. Поэтому в лекциях допускались (разумеется, в определенных рамках) вольности, которые в газете вычеркнул бы редактор. Лекторы, знакомые с иностранной прессой и тассовскими материалами «для служебного пользования», владели информацией, закрытой для непосвященных, и дозировано ее сообщали. Препарировали и раскладывали по полочкам. Это бывало интересно, на лекции ходили, как на концерты. Дом ученых был одним из мест, где «концерты на политические темы» проходили регулярно.

Но, конечно, многое зависело от личности лектора, информацию надо было уметь подавать. Даже в Доме ученых бывали ораторы на редкость скучные. Но бывали и мастера своего дела. В 60-е гг. знаменит был Г. М. Свердлов (брат «того самого» Свердлова), часто выступавший в Доме ученых.

Когда я впервые увидел М. С. Капицу, мне его фамилия ничего не говорила, хотя он уже был представлен как доктор исторических наук. Первые минуты разочаровали: ничего от актерской манеры Свердлова и других знаменитостей, далеко не лучшая дикция. Но постепенно впечатление стало меняться. Стало очевидным, что на трибуне человек, действительно знающий, свободно владеющий разнообразной информацией. В конце 1966 г. в центре общественного внимания был Китай, где недавно началась «культурная революция». В газетах об этом писали немало, но цельной картины не получалось, многое оставалось неясным. А Михаил Степанович свободно говорил о происходящем, давал характеристики Мао Цзэдуну, его жене, Линь Бяо и другим деятелям. Я не имел тогда понятия о

послужном списке Капицы, но было очевидно, что он бывал в Китае, знал этих людей, изучал их. А характеристики оказывались отличными от того, что тогда писали и говорили, в том числе и по западному радио. Например, много тогда было слухов про Линь Бяо, его называли чуть ли не «злым гением» Китая. Совсем иное говорил Михаил Степанович: «Да это китайский Рокоссовский, Черняховский! Молодой, смелый генерал, мало искушенный в политике. Не получится из него наследник Мао!». Впоследствии это подтвердилось.

Потом я не раз слышал Капицу в Доме ученых, старался не пропускать именно его выступления: он оказался интереснее других лекторов. Скажем, Г. М. Свердлов очень строго держался официальной линии, умело расцвечивая ее деталями и анекдотами, почерпнутыми из западных источников. А у Михаила Степановича чувствовалась личность. Он не боялся отстаивать свою точку зрения, не всегда думая про ее соответствие официальной.

Наличие собственной точки зрения вовсе не означало какого-то фрондерства. В те годы у Михаила Степановича не было в помине «двоемыслия» и тем более «кукишей в кармане», свои идеи он высказывал прямо и иногда грубовато. А если его мнение иногда расходилось с официальным, то не в сторону, ныне называемую «демократической», а скорее в обратную.

Помню его трактовку в 1968–1970 гг. чехословацких событий. Он, безусловно, видел в происходившем угрозу делу социализма, а ввод войск искреннее одобрял (как одобряли его тогда все-таки многие у нас). Но потом у него появилось недоумение из-за недостаточно решительных, по его мнению, действий нового чехословацкого руководства. В начале 1970 г. А. Дубчека, уже снятого с высоких должностей, отправили послом в Турцию. И Михаил Степанович сокрушался: «Вместо того чтобы посадить Дубчека на скамью подсудимых, его зачем-то отправляют послом». По залу пошел ропот: среди слушателей было немало сочувствовавших «пражской весне». Впрочем, ход событий шел в сторону того, что хотелось лектору: через несколько месяцев Дубчека отозвали из Анкары и исключили из партии (до скамьи подсудимых дело, однако, так и не дошло).

И никогда Михаил Степанович не скрывал своего отношения к И. В. Сталину, имя которого на официальном уровне тогда произносилось редко. Однажды произошел такой инцидент. Один из слушателей не выдержал его похвал и крикнул: «Сталин – преступник!». Все ждали реакции лектора. Он сказал: «А я вам отвечу, как английский король!», и произнес девиз ордена Подвязки: «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом

подумает». Его оппоненты ожидали какого угодно ответа, только не этого, эффект неожиданности сработал, и инцидент был исчерпан.

Уважение к Сталину могло сочетаться у Капицы с высокими оценками совсем других политиков. Особо он почитал Ш. де Голля. На одной из лекций он долго о нем восхищенно говорил, особо подчеркивая его политическое долголетие: сколько лидеров в мире уже сменилось, а де Голль остается главой нации.

Но в этой речи проявилась и другая черта Михаила Степановича: увлекаясь чем-то, он мог проглядеть изменение ситуации. Панегирик де Голлю он произнес в середине апреля 1969 г. Через две недели де Голль покинул пост президента и навсегда ушел с политической сцены. Теперь аналитики единодушно считают, что такой поворот событий был предрешен еще годом раньше, и в последний год президентства де Голль уже был не тот. Но Капица этого не заметил. Вообще в прогнозах он мог быть прав, как в случае с Линь Бяо, но часто и ошибался. Еще одним симпатичным ему лидером был Нородом Сианук. Ему он предсказывал долгое и успешное политическое будущее накануне его свержения (впрочем, спустя много лет он все-таки появился опять в политике).

Михаил Степанович говорил, что думал, поэтому у него бывали неприятности. В 1970 г., когда я уже учился в аспирантуре Института востоковедения, там прошел слух о том, что Капице запретили выступать с публичными лекциями. И действительно, в Доме ученых я больше его не слышал (впрочем, вскоре я перестал туда ходить на лекции). Однако на его карьере дипломата это как будто не сказалось: уже после этого он стал заместителем министра иностранных дел. Потом много лет я редко его видел, хотя часто о нем слышал: его высказывания, ситуации, в которые он попадал, постоянно обсуждались в институте.

Вновь я встретился с Михаилом Степановичем и впервые по-настоящему с ним познакомился в 1987 г., когда он был назначен директором Института востоковедения и занимал эту должность до 1994 г. Не нужно говорить о том, насколько сложным для института оказался этот период.

Если для его предшественника Е. М. Примакова директорство в институте было одной из ступеней вверх в успешной карьере, то Михаил Степанович не мог не ощущать, что «едет с ярмарки». Ему было уже далеко за шестьдесят, силы начинали уходить. Из МИДа его, как и многих других дипломатов старой формации, изгнал Э. А. Шеварднадзе. Академическая деятельность ему не была совсем в новинку, но все же он не мог не ощущать себя «человеком со

стороны». Видно было, что ему не очень хотелось проявлять какую-то активность. Но активности требовала общественная ситуация. В Академии наук к моменту прихода в нее Капицы руководящее положение еще занимала «старая гвардия», но в Институте востоковедения, как и в других институтах, все большую роль играли люди иного склада, «горлопаны», как их именовал Михаил Степанович. Поначалу их деятельность шла в основном снизу.

В деятельности директора чувствовалась усталость. А многое для него оказалось неожиданным. В годы дипломатической службы он вряд ли мог себе представить, что ему когда-нибудь, например, придется заниматься коммерческой деятельностью в виде сдачи в аренду институтских помещений. А пришлось. И здесь он оказался не по возрасту неопытен и допустил особенно много ошибок. Сам выбор арендаторов оказался неудачен, что привело к судебным тяжбам, вызовам милиции и прочему, к чему Капица был совсем не готов.

Но и с собственно институтскими делами было непросто. Михаил Степанович проявил себя миролюбивым человеком, хотя как дипломат был чувствителен к своему авторитету и знакам уважения по своему адресу. Но обстановка сказывалась. Уже через год после прихода, в феврале 1988 г., новый директор потерпел моральное поражение на перевыборах ученого совета, срок полномочий которого истек. Дирекция наметила новый состав строго по ранжиру: заместители директора, заведующие отделами плюс академики и члены-корреспонденты (сам Капица не баллотировался: директор всегда входит в ученый совет по должности). Но заранее разработанная процедура сразу рухнула: «горлопаны», потребовали свободного голосования, и директор не смог возразить. Все отобранные кандидатуры были включены в списки для голосования, но, помимо них, выдвинули и многих других. В итоге новоизбранный состав совета примерно наполовину не совпал с директорским (кстати, среди «народных» кандидатов тогда впервые выбрали туда и меня). Вероятно, для Капицы эти события были тяжелым ударом. Но он избрал единственную правильную в тех условиях тактику: признал результаты голосования и начал налаживать отношения с новым советом, где все-таки преобладали люди, специально не искавшие конфликтов с дирекцией. Все в тот раз быстро успокоилось.

И в отличие от некоторых других академических институтов за семь лет восстания сотрудников против директора так и не произошло. Если «демократическая общественность» иногда и вела за собой коллектив, то чаще это происходило по «глобальным» вопросам вроде выдвижения кандидатов в

народные депутаты от Академии наук (проходившего в разных институтах по одинаковым сценариям с одинаковыми кандидатурами). Но, например, не получили развития появившиеся было предложения создать институтский совет трудового коллектива (кое-где такие советы становились параллельными центрами власти). На собраниях бурно шумели (и не только радикал-демократы), но все оставалось в рамках.

В этом вряд ли целиком была заслуга директора. Традиции, сложившиеся при Б. Г. Гафурове (см. очерк «Мудрый директор») и сохранявшиеся при Е. М. Примакове и недолго возглавлявшем институт Г. Ф. Киме, тоже, вероятно, играли роль. Сравнительно свободная обстановка внутри института, возможность высказывать научные взгляды в довольно широких пределах, умение прежних директоров гасить конфликты, – все это привело к тому, что среди наиболее солидной и авторитетной части сотрудников мало кто считал себя в институте лично ущемленным (те, кто считали, просто ушли в другие места, особенно в РГГУ). Даже противники «тоталитаризма» и «тоталитарной науки» обычно не хотели ни ликвидации института, ни разрушения сложившихся традиций. А Михаил Степанович, как бы к нему ни относились, и как бы он многих ни раздражал, тоже этого не желал.

Забегая вперед, упомяну самый, пожалуй, критический момент этого периода, относящийся уже к февралю и марту 1992 г. Тогда никто не знал, что будет завтра, ходили слухи о скором роспуске Академии наук или, по крайней мере, о предстоящем выходе из ее состава институтов. И тогда один из сотрудников выступил с идеей о преобразования института в фонд, естественно, под его руководством, пообещав при этом резко поднять зарплаты. Институт бурлил, мнения разделились. И хотя это было время идеологических распрей, институт раскололся не по идейному, а по социальному, если угодно, по классовому признаку. Сотрудники невысокого ранга с низкими зарплатами активно поддержали идею фонда, а институтская элита из администраторов и докторов наук независимо от политических взглядов желала сохранения института в прежнем виде. Трудно сказать, что было бы с Михаилом Степановичем, если бы проект осуществился, но ситуация разрядилась сама собой: у инициатора проекта не хватило денег для создания фонда.

Множились и конфликты внутри отделов и секторов. Помню страсти, кипевшие в 1989 г. в Отделе Древнего Востока. Там собралось много хороших ученых, но после смерти академика М. А. Коростовцева долго не было полноценного руководителя.

Капица решил поставить во главе отдела Б. А. Литвинского, тогда заведовавшего сектором в другом отделе. Как показал последующий опыт, выбор был разумным, но отдельские сотрудники возмутились тем, что начальника им навязывают сверху: тогда это было не в моде. Назначение все же состоялось, но конфликты не утихали. Однажды спор выплеснулся на заседании ученого совета; обе стороны выступили резко, а я рискнул выступить с примирительной речью. Через несколько дней меня вызвал Михаил Степанович. Единственный раз за все семь лет он был со мной очень резок: «Вы чего поддерживаете этих горлопанов?» (то есть противников Литвинского), хотя я не поддерживал до конца ни одну из сторон. Директор был взбешен, видел в происходящем умаление своего авторитета и винил в этом «демократов» (хотя Литвинский не был таким уж его единомышленником). Впрочем, здесь в его пользу работало время: никто не отрицал, что Литвинский – крупный ученый, и постепенно к нему в отделе привыкли.

Иногда директор проявлял активность, но чаще плыл по течению, желая только, чтобы все было тихо. По сравнению с предшественниками он был доступнее. И Гафуров, и Примаков при разных характерах и стилях работы были обособлены от коллектива, стояли над ним, и попасть к ним лицам, не входившим в их близкое окружение, бывало сложно. А попасть в кабинет к Капице было легко. Гораздо легче, чем у предшественников, было и «выбить» у него что-то, подписать бумагу. Чувствовалась в этом отзывчивость, все знали, что директор – не злой человек. Но присутствовало здесь и равнодушие: Капица в отличие от сверхделовых предшественников не всегда отдавал себе отчет в последствиях тех шагов, которые от него требовали, и часто не хотел об этих последствиях думать (пример – упомянутые выше арендные дела; даже японцы здесь оказались сомнительные, что с этой нацией бывает редко). Особенно легко чего-либо добиться у директора можно было, послав к нему привлекательную по внешности сотрудницу. Еще до прихода Михаила Степановича в институт там рассказывали о его слабостях по женской части, что подтвердилось.

Но были, к сожалению, и другие слабости. Нередко заходить в директорский кабинет было неприятно, особенно в конце рабочего дня. Институтская молодежь называла Михаила Степановича Михаилом Стаканычем. Говорят, такое с ним бывало и раньше, но на людях это поначалу не было особо заметно, однако к концу его пребывания в директорской должности это замечали многие, в том числе и я. Вероятно, влияла сложная

обстановка в институте и во всей стране.

Наступил август 1991 г. В переломные для страны дни я, в ту пору секретарь парткома института, оказался в отпуске и вернулся в Москву 27 августа. В первый же вечер мне позвонила сотрудница, входившая в партком, и рассказала плачущим голосом, что большинство институтских начальников вышли из партии, а комната парткома опечатана по приказу Капицы (разумеется, он действовал не сам, а по распоряжению свыше). На другой день 28 августа я, еще числясь в отпуске, поспешил в институт. Среда – так называемый присутственный день, но в коридорах и комнатах было пусто, здание казалось вымершим. Но директор был на месте. Увидев меня, он явно обрадовался и вызвал заведующую спецчастью (должность в институте существовала последние дни). Нам двоим было дано задание: временно снять печати в комнате парткома, вынести оттуда знамя института и орден Трудового Красного Знамени, который имел институт, перенеся в профком, документацию парткома передать в институтский архив, а затем вновь, как положено, опечатать помещение. Все это мы выполнили. На столе в опечатанной комнате лежала недавно появившаяся папка; в ней находилось около двух десятков написанных в разном стиле документов одинакового содержания: о выходе из КПСС; все было датировано 21, 22 и 23 августа. Меня поразило полное отсутствие заявлений от рядовых сотрудников: только руководящий состав от заведующих секторами и выше. Капицы среди них не было (из партии он не выходил и ни в одну из вновь образовавшихся партий потом не вступил). В разговоре он не скрывал недовольства происходящим, но он был службист и должен был выполнять приказы.

Последние два с половиной года директорства были для Михаила Степановича самыми тяжелыми. Обстановка становилась все более непривычной, а силы уходили. Директор не скрывал, что хочет лишь спокойно и без скандалов досидеть до конца срока. В институте многие его недолюбливали, считали недостаточно современным, но особо на него и не нападали. Жить в институте и работать он не мешал, хотя не очень и помогал. Из института уходили, но не изгонялись, а многим идти было просто некуда. Всем было трудно, но работа не прекращалась, и благодаря многолетним привычкам сотрудников, и просто по инерции. Директор старался, чтобы все по возможности оставалось по-прежнему. А после истории с фондом два года особых событий не происходило, кроме ставших частыми потерь, которые Капица тяжело переживал. Помню, как в самом конце директорства он был просто раздавлен внезапной смертью

видного историка Н. А. Иванова. Сам Капица часто болел и, видимо, ощущал, что и ему жить недолго.

Первое время после августа 1991 г. Михаил Степанович открыто высказывал нелюбовь к происходившим переменам. Рассказывали, что он публично говорил об этом в посольстве КНДР. Но постепенно и он стал многое переосмысливать и пересматривать.

Помню один из последних разговоров с ним в декабре 1994 г., когда он уже не был директором. Японское посольство устроило прием по случаю дня рождения императора, почему-то не вечером, а в первой половине дня. От института там оказались М. С. Капица, Н. В. Васильев и я. Михаил Степанович после отставки сохранял право пользоваться институтской машиной и предложил подвезти нас с приема в институт. По дороге разговор зашел о Тунисе. И Капица вдруг сказал:

«Все-таки везде, где вводили сицилистические [он так выразился] идеи, ничего не получалось. Вот соседние Тунис и Ливия. Насколько в Тунисе при капитализме лучше!». Что бы он сказал про Тунис, если бы дожил до 2011 г.? Подобные оценки есть и в его воспоминаниях.

Уйдя с должности директора, Михаил Степанович посвятил оставшиеся ему месяцы жизни написанию мемуаров. Чувствуя ограниченность отпущенного ему времени, он торопился изложить на бумаге все то, что он видел и слышал за годы дипломатической службы. И он успел поставить последнюю точку. Книга «На разных континентах (записки дипломата)» вышла к первой годовщине его смерти. Впечатление она оставляет двойственное. Много интересных фактов и подробностей, уникальные свидетельства участника важных событий, опять-таки нестандартность многих оценок. И при этом ощущается одна из потерь, которые мы понесли в 90-е гг.: профессия издательского редактора. Правда, кое-где, как в издательстве «Восточная литература», она уцелела, но книги Капицы редактор не коснулся. Автор торопился успеть, многое писал по памяти, которая всегда подводит в таких случаях, не заботился о стиле. И все огрехи сохранились в неприкосновенности. Например, Капица рассказывает, как его напутствовал А. Н. Косыгин, посылая на похороны Индиры Ганди, хотя Алексей Николаевич умер четырьмя годами раньше. Кроме того, воспоминания – человеческий документ, написанный автором, который находился в процессе переосмысления пережитого. Где-то сохранились оценки, которые дипломат и ученый отстаивал всю жизнь, где-то они существенно иные, и цельная картина не всегда получается.

Завершив воспоминания, осенью 1995 г., Михаил Степанович решился съездить на Тайвань: объездив множество стран, он захотел поехать туда, куда въезд раньше был невозможен. Перед отъездом я последний раз с ним разговаривал, попросив подписать коллективное письмо протеста против повышения квартплаты в Москве. Он очень охотно подписал: меняя отношение к прошлой эпохе, он новую все равно не принимал.

Поездка на Тайвань оказалась слишком тяжелой. Сразу по возвращении он лег в больницу, откуда не вышел. Я упоминал, что первый раз видел Капицу 18 ноября 1966 г. И так получилось, что ровно через 29 лет, 18 ноября 1995 г. его хоронили. Ему было 74 года.

Я не буду давать оценку его книгам по Китаю и по международным отношениям («Советско-китайские отношения», «КНР (Два десятилетия – две политики)», «КНР (три десятилетия – три политики)», «Сукарно (политическая биография)» и др.). Закончить очерк хотелось бы другим. В феврале 1990 г. на ученом совете института был поставлен доклад выдающегося ученого С. А. Старостина (см. очерк «Дойти до языка Адама»). Тогда Старостин работал в Институте востоковедения и был еще не членом-корреспондентом и даже не доктором, а всего лишь кандидатом наук. Но он и сформировавшийся вокруг него коллектив уже тогда добились многого, и ему было о чем рассказать. Хотя Михаил Степанович по профессиональным интересам был далек от ностратики и вообще от лингвистики, он откликнулся на интересную тему и дал «добро» на доклад. Трудно представить, чтобы его стал ставить на ученый совет Е. М. Примаков, недолюбливавший «традиционный цикл», как он выражался. А Михаил Степанович на это пошел и был потом доволен научной стороной доклада. Но он оставался верен себе и потом говорил: «Все замечательно, но как одет Старостин! Потрепанные джинсы, без галстука! Как можно!». МИДовская школа не могла выветриться ни при каких обстоятельствах.

Фигура неровная. Но все же Капица, как и многие другие начальники советской эпохи, опровергал самим фактом своего существования расхожие с 80–90-х гг. у нас представления, согласно которым в то время наверх отбирались самые серые и несамостоятельные. Вышедший, как и многие другие, из низов, имевший пробелы в образовании, не свободный от чиновничьих привычек, он все-таки был яркой, своеобразной личностью со своим мнением.

Нестандартный человек
(О. С. Широков)

Я не хочу разбирать здесь научные идеи Олега Сергеевича Широкова (1927–1997) и оценивать большинство его трудов. Хочется вспомнить этого яркого и своеобразного человека.

Когда я учился в МГУ (1963–1968), Олег Сергеевич там еще не преподавал и не жил в Москве. Фамилия его, впрочем, по публикациям была мне уже известна. Не помню точно, когда я его впервые увидел, хотя внешность его, жгуче-черную бороду не запомнить было трудно. В начале 70-х гг. Широков начал работать на филологическом факультете МГУ и быстро занял там ведущее положение, хотя никогда ничем не заведовал, был «просто профессором». С тех пор я постоянно видел его на филфаке, а в последнее десятилетие его жизни мы вместе там заседали в диссертационном совете.

В годы, когда Широков пришел на факультет, там сохранялось, как и в «мое» время, противостояние кафедры и отделения структурной и прикладной лингвистики во главе с В. А. Звегинцевым, где я учился, и всего остального.

«Традиционалисты» и структуралисты постоянно спорили, с трудом понимали друг друга, а главное, и не старались понимать. Когда по истории языкознания мы со Звегинцевым проходили тему «Младограмматики» (направление лингвистики конца XIX в.), Владимир Андреевич (это было в помещении кафедры) показал в окно через улицу Герцена на здание, где располагалась основная часть факультета, и сказал: «Вон там их идеи и сейчас господствуют». А для другой части факультета кафедра Звегинцева, где зачем-то преподавали математику, казалась чем-то в лучшем случае непонятным, в худшем подозрительным. Противостояние, поначалу чисто научное, к концу 60-х гг. стало приобретать политическую окраску. С кафедры за «политику» уволили преподавателя математики Ю. А. Шихановича, ставшего затем известным диссидентом, были «проколы» и среди студентов (зато в 90-е гг. немногочисленные на факультете члены КПРФ окажутся на этой же кафедре). Обе стороны не всегда вели себя корректно, а главное, мало интересовались друг другом.

Олег Сергеевич никогда не имел отношения к кафедре структурной и прикладной лингвистики. Все годы он работал на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания, которая ввиду близости тематики особенно враждовала с кафедрой Звегинцева (в 1982 г. начальство приняло решение о слиянии кафедр, что нанесло вред тем и другим, в 1988 г. они разъединились). Считалось, что кафедры при частичном сходстве тематики резко различаются «методологией». Но Олег Сергеевич с самого начала стал публично заявлять, что он структуралист по научным взглядам и последователь князя Н. С. Трубецкого (я не раз это слышал от него с трибуны ученых и диссертационных советов). Тем самым профессор заявил об особой позиции в факультетских распрях.

Сам его научный подход был нестандартен. Тематика его исследований была самая что ни на есть традиционная: индоевропеистика, классические языки, историческое языкознание (как раз этим занимались упомянутые выше младограмматики). В 30-е и отчасти в 40-е гг. сами эти области науки считались «буржуазными», «консервативными», занятие ими не поощрялось. А после выступления И. В. Сталина в 1950 г. сравнительно-историческое языкознание (или компаративистика) не только было разрешено, но вновь, как в дореволюционные времена, было возведено в ранг самой престижной лингвистической дисциплины. Однако если его обвинения в «буржуазности» были надуманы с начала до конца, то обвинения в консервативности имели основания. Метод был разработан в XIX в., отшлифован младограмматиками и мало изменился в

следующем веке. Большинство специалистов в этой области вполне этим удовлетворялись, занимаясь описанием конкретных фактов. А классическая филология основывалась на методике, разработанной еще раньше: в XVII–XVIII вв., и не воспринимала даже развитие лингвистики в XIX в. Для филологов-классиков основа всего – конкретный текст, который надо понять, научно издать и прокомментировать. Сама идея описания фонетики и грамматики в отвлечении от содержания текстов была классикам чужда.

Структурные методы восстановили в правах изучение современных языков в отвлечении от их истории, считавшееся в XIX в. недостаточно научным. Но появилась противоположная крайность: игнорирование всякой истории. В студенческие годы я часто слышал, что «передовые» лингвисты применяют «современные» методы к современным языкам, а история языков и тем более толкование текстов – удел «традиционалистов». Такие идеи сказывались и на отделении структурной и прикладной лингвистики (ОСИПЛ). Поначалу перекосы лингвистической моды как-то уравновешивал работавший на кафедре Петр Саввич Кузнецов, но после его смерти историческая проблематика на кафедре совсем сошла на нет. Впрочем, за пределами МГУ работали А. Б. Долгопольский и В. А. Дыбо, увлекшие компаративистикой ряд выпускников отделения, прежде всего С. А. Старостина, героя следующего очерка, который, в свою очередь, стал формировать собственную школу из младших питомцев ОСИПЛ. Но и это будет проходить вне стен университета, и лишь в наши дни историческая и компаративная лингвистика заняли подобающее им место на отделении.

Не говорю сейчас о том, что на «традиционных» кафедрах занимались не только историей языков, но и другими, совсем не младограмматическими проблемами (стилистикой, методикой преподавания языков и пр.), так что Звегинцев в учебных целях несколько утрировал ситуацию. Но на факультете произошел разрыв между структурной и исторической лингвистикой. Между тем к 60–70-м гг. применение структурных методов к истории языков уже имело свои традиции и свои классиков, включая много раз мной уже упоминавшихся Н. Трубецкого и Р. Якобсона. Но в МГУ разрыв долгое время преодолевал один профессор Широков.

Студентов ОСИПЛ до 80-х гг. не учили компаративистике, зато обучали многим другим наукам, студенты же других отделений большей частью лишь приблизительно представляли, что такое фонема. И Олег Сергеевич, в основном фонолог по интересам, должен был просвещать студентов и здесь. Работал он

не только на своей кафедре: кафедра классической филологии давала студентам массу знаний, но не в области лингвистики, и здесь ее выпускники специализировались у Олега Сергеевича. Но на ОСИПЛ ему дороги не было.

Говоря о Широкове как о человеке, трудно избежать штампованных эпитетов «неоднозначный», «противоречивый» и т. д. Поневоле думаешь о том, как личность человека и плоды его деятельности могут не совпадать между собой, об этом я уже писал в очерке «Мемуаристка». Хорошо, если люди адекватны своим трудам. Но бывает и так, как было с упомянутым в том очерке И. М. Рейснером: память о личности перевешивает значение ее трудов. И случай Олега Сергеевича сходен: все знавшие его помнят эрудицию, полиглотизм этого человека, многосторонность его интересов, стремление к оригинальности в научном творчестве. А в публикациях это не всегда отражалось.

Я особенно это осознал, когда уже после смерти Олега Сергеевича его вдова Аида Васильевна попросила меня посмотреть некоторые главы из коренным образом переработанного им в конце жизни учебника введения в языкознание. Учебников по этому курсу у нас сейчас уже немало, и исторически сложился их стандарт. Его начала создавать Р. О. Шор (см. очерк «Первая женщина»), но классическим образцом стала замечательная книга А. А. Реформатского. Хотя она написана давно и содержит «несовременные» цитаты из К. Маркса и В. И. Ленина, но благодаря высокому качеству до сих пор переиздается и используется в преподавании. Однако учебник Реформатского, создав образец жанра, во многом закрыл возможности его совершенствования: большинство современных учебников слишком на него похожи, но до его уровня не дотягивают. И только Олег Сергеевич, в первом издании своего учебника еще следовавший данному образцу, решил затем сделать все подругому. Учебник идет от конкретных языков: приводятся сведения о некотором языке или группе языков, и при этом рассказывается о некотором специфичном для него языковом явлении. Скажем, вместе с данными о семитских языках говорится о структуре семитского корня, параллельно со сведениями о тюркских языках рассказывается о свойственной им так называемой гармонии гласных, и т. д. И в том же 1998 г. ту же идею построения учебника мне высказал лингвист С. А. Крылов, не учившийся у Широкова и не знавший о его труде. Идея, что называется, витала в воздухе, но лишь Олег Сергеевич ее реализовал.

Замысел интересен, но реализация не оказалась адекватной. Редактируя разделы о языках вне индоевропейской семьи, я

должен был править почти каждую фразу: сплошные неточности и фактические ошибки. И в книге большой перекос в сторону тех сюжетов, которыми Широков непосредственно занимался (греческое ударение), чего в учебнике для студентов разных специализаций быть не должно. Переработанное, а фактически новое издание учебника вышло в свет, но прошло незамеченным и не вытеснило старого доброго Реформатского.

Стараясь найти нестандартные решения, Олег Сергеевич был в то же время связан с традицией. Его всегда интересовала история науки. И здесь он, бывало, первым брался за то, что стало актуальным. Так было в конце 80-х гг., когда общественная ситуация заставила вспомнить историю лингвистики нашего недавнего прошлого, в том числе события 1950 г.

Как я уже писал в очерке «Громовержец», осенью 1987 г. востоковед П. М. Шаститко предложил мне написать статью о влиянии этих событий на развитие советского востоковедения, и тема оказалась столь увлекательной, что помимо статьи я быстро, с ходу написал целую книгу о Н. Я. Марре и марризме. В конце марта 1988 г. я поставил последнюю точку. И через три дня, случайно зайдя в Институт языкознания, я увидел объявление о том, что 2 апреля на филологическом факультете МГУ состоится дискуссия на тему «Марр и Сталин». Организаторы дискуссии не были обозначены, но я сразу подумал, что это результат деятельности Олега Сергеевича, и не ошибся.

Придя на дискуссию, я уже не мог найти места в довольно большой аудитории 1060 и все время простоял, несмотря на, казалось бы, не лучшие часы: вечером в субботу. О. С. Широков сделал основной доклад, потом выступали подобранные им содокладчики и просто свидетели тех событий (помню выступление Ф. Т. Жилко), потом все желающие. Я тоже брал слово, но мог лишь дополнить сказанное некоторыми деталями: главное уже рассказали.

Позже я узнал, что одновременно по той же теме готовит книгу М. В. Горбаневский. Он, как и я, выпустил книгу, а Олег Сергеевич не довел свои исследования до конца. Зато он сделал другое важное дело: опубликовал в «Вестнике МГУ» наиболее интересные выступления проходившей в «Правде» в 1950 г. дискуссии по языкознанию. До сих пор эта публикация остается единственной (лишь статью Сталина переиздавали).

В те годы Олег Сергеевич был очень активен. Видно было, как он рад самой возможности публично говорить то, что давно думал. Одним из первых на факультете он стал носить значок с трехцветным флагом, тогда еще официально не принятым. Чуть ли не в каждом выступлении на любую научную тему он клеймил

коммунистов и требовал исключить из официального наименования университета слова «ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени». Любил он вспоминать и о том, как еще в Черновцах его прорабатывали за «идеологические ошибки» в преподавании (чего в Москве, кажется, ни разу не было), всегда подчеркивая, что главным его гонителем был тогдашний секретарь обкома по пропаганде Л. М. Кравчук, впоследствии, став президентом Украины, столь радикально переменивший взгляды.

Но и здесь профессор сохранял свою нестандартность. Умами многих тогда завладели стереотипы «возврата в мировую цивилизацию», а он руководствовался собственным мнением, не во всем с ними совпадавшим. Ненавидя Сталина, он объективно оценивал его брошюру и ни в какой степени не реабилитировал Марра, что тогда был распространено.

И совсем нестандартным для конца 80-х и начала 90-х гг. был его интерес к евразийству. Давняя любовь к лингвистическим идеям Н. С. Трубецкого привела его к историософским концепциям князя. В 30-е гг. за чтение любых сочинений Трубецкого арестовывали, с 50-х гг. с его лингвистических трудов запрет был снят, но и в 1987 г. даже его статья «Мысли об индоевропейской проблеме» печаталась с купюрами, о публикации же или комментировании евразийских работ не могло быть и речи. Но и когда цензура ослабла, евразийские идеи оказались мало востребованными: они противоречили одной из аксиом нашего «демократического» движения, согласно которой все образцы для России находятся на Западе. И Олег Сергеевич едва ли не первым у нас начал всерьез заниматься евразийством.

В те годы в академическом Институте востоковедения, где я работаю, практиковалось приглашение для выступлений, как тогда говорили, «прорабов перестройки», причем организатором выступал партком: помню выступления Ю. Афанасьева, Р. Медведева, Л. Разгона, Н. Шмелева и др. Это было возрождением институтской традиции 60-х гг., прекращенной после знаменитого выступления А. И. Солженицына. Как-то, уже в начале 1991 г., возникла идея пригласить кого-нибудь с рассказом о евразийстве. Я предложил кандидатуру Широкова, предупредив о его антикоммунизме. Членов парткома (часть которых вскоре выйдет из партии) это не испугало, но я боялся, что уже Олег Сергеевич не захочет иметь дело с ненавистной организацией. Вопреки моим опасениям он легко согласился выступить и сделал доклад. Видно было, что он чувствовал невостребованность своей деятельности и был рад любой возможности рассказать о том, что его волновало.

В «Вестнике МГУ» Широков опубликовал несколько важных статей Трубецкого, это были их первые издания на родине автора. Еще при жизни Олега Сергеевича евразийские идеи стали, наконец, популярны, но совсем не в той среде, к которой он принадлежал. Те, кто не приняли того, что произошло в августе 1991 г. и в октябре 1993 г., и сожалели о разрушенной державе, но уже не могли сохранять коммунистические идеи в неизменном виде, начали обращаться к «третьему пути» в евразийском варианте. И не надо забывать, кому принадлежит приоритет в открытии этих идей.

Широков имел сложный характер. У него часто не складывались отношения с людьми, а его промежуточное положение в научной жизни факультета дополнительно осложняло его отношения и со своей кафедрой, и с соседями с кафедры структурной (затем теоретической) и прикладной лингвистики. Помню, как довольно долго, обидевшись на что-то, он бойкотировал заседания диссертационного совета, в котором продолжал состоять, потом, правда, бойкот прекратился. Была здесь неуживчивость, но была и независимость. И нередко в конфликтных ситуациях он бывал прав.

Ушел из жизни Олег Сергеевич как-то неожиданно и быстро. Рассказывают, что он за несколько дней до смерти точно предсказал, какого числа умрет. Еще многое он мог бы сделать. А факультет стал без него бедней. Его яркая и нестандартная личность очень запоминалась.

Дойти до языка Адама
(С. А. Старостин)

Писать о Сергее Анатольевиче Старостине (1953–2005) мне особенно трудно. Все другие мои «герои» – либо исторические личности, которых я знаю лишь по книгам, документам и воспоминаниям, либо мои старшие коллеги, между которыми и мной существовала дистанция. А Старостин был на восемь лет меня моложе, мы познакомились, когда он был школьником, а я студентом, мы были на «ты», и, казалось, это не та фигура, о какой надо писать мемуары. Но очень рано я стал чувствовать, что среди коллег моего поколения он отличается от всех остальных, что он выбивается из любого ряда. А потом неожиданная и ранняя смерть.

Но рассказ о Сергее Анатольевиче хочется начать с его отца Анатолия Васильевича Старостина. Сын мало его знал: родители разошлись вскоре после его рождения. Но, несомненно, ему передались некоторые отцовские способности, особенно полиглотизм.

Сам я с Анатолием Васильевичем не был знаком, но много слышал о нем от своего отца, который работал с ним в конце 40-х гг. в Издательстве иностранной литературы (Иноиздате, как тогда говорили, потом разделившемся на «Мир» и «Прогресс»). На отца он произвел сильное впечатление, и он много позже даже написал о нем рассказ «Полиглот». Единственный сохранившийся его экземпляр я потом нашел среди бумаг отца и подарил Сергею Анатольевичу, тот был ему рад, но после его смерти текст куда-то делся, поэтому кратко пересказываю основное по памяти.

За свою жизнь мой отец не встречал никого, кто был бы так способен к языкам. Как правило, наша интеллигенция тех лет с точки зрения знания языков делилась на две категории: одни их знали с раннего детства (отец с восхищением рассказывал про семьи, где дети должны были один день говорить по-немецки, следующий по-французски, третий по-английски), другие их не знали или, как отец, могли лишь читать. Отец даже говорил, что наши историки по сравнению с дореволюционным временем многое приобрели и в методологии (марксизм!), и в общем кругозоре, но потеряли в знании языков. Однако и среди потомственных интеллигентов редко кто мог выйти за пределы трех основных западных языков, уже знание испанского или польского казалось экзотикой.

В издательстве было немало переводчиков, но остальные специализировались по одному языку, редко по двум. А Старостин, вовсе не потомственный интеллигент, мог свободно говорить и, естественно, читать на более чем десятке языков, включая совсем редкие. И еще одна черта, резко отличавшая его от остальных сотрудников издательства: те давно закончили процесс освоения иностранных языков, кто в детстве, кто в институте, а Старостин все время расширял свой багаж, учил все новые и новые языки.

Как-то отец слышал разговор Анатолия Васильевича по телефону с испанцем, тот повторял лишь одно слово Si ‘Да’. Отец сказал ему после этого: «Ты что, кроме Si, ничего не знаешь?». Старостин очень огорчился и следующим летом специально поехал вожатым в пионерлагерь к испанским детям, потом он уже говорил на этом языке свободно. В эти же годы он осваивал и языки Прибалтики, отец от него узнал, что два языка из трех (литовский и латышский) очень похожи друг на друга, поэтому их

можно учить одновременно, а третий язык (эстонский) совсем на них не похож, и он изучается отдельно.

Отец считал, что все дело в определенном центре мозга, который ведает языком, и у Старостина он достиг особого развития. Может быть, это и так: наука только начинает подступаться к этим вопросам. Но, надо сказать, Анатолий Васильевич выделялся своими способностями лишь в одной области. Работая в исторической редакции, он очень хотел стать кандидатом исторических наук, но диссертация не получилась. Он не укладывался в сроки, и отцу, тогда уже кандидату наук, поручили посмотреть, как идет работа. Оказалось, что Старостин сделал огромное число выписок из литературы на самых разных языках вплоть до португальского, но связать все это в самостоятельный текст не мог. Так он никогда и не защитил диссертацию. Не владел Старостин и стилем: над его переводами смеялись, и редакторам приходилось их сильно править.

Через некоторое время Старостин подал заявление об уходе, мотивировав это так: «Стало скучно, языки повторяются. Уйду в Гослитиздат, художественную литературу переводят с большего числа языков». Потом отец лишь изредка его встречал, при одной из встреч он спросил Старостина, где тот сейчас работает. Он ответил: «В Литературном институте, преподаю таджикский язык и таджикскую литературу». В журнале «Вопросы литературы» в 60-е гг. публиковали письма Б. Л. Пастернака грузинским писателям, и тот в одном из писем жаловался на подготовленные Старостиным подстрочники. Умерли мой отец и А. В. Старостин почти одновременно в конце 1980 г.

Во время одной из встреч отец спросил Старостина: «Верно ли говорят, что твой сын по знанию языков тебя обогнал?». Тот ответил: «Пока нет, но языков десять он уже знает». Речь шла не о Сергее Анатольевиче, а о его старшем брате. Так что семья дала, по крайней мере, троих полиглотов. Не знаю, относится ли к этой категории сестра Сергея Анатольевича, но и она выбрала себе редкую специальность: румынскую литературу.

А с самим будущим членом-корреспондентом РАН, тогда еще Сережей, я познакомился в феврале-марте 1966 г. Я тогда учился на 3-м курсе отделения структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, и студентов привлекли к обслуживанию второй традиционной олимпиады по языковедению и математике (была и первая традиционная). Олимпиады (теперь именующиеся лингвистическими) проводятся до сих пор, и я участвовал в организации большинства из них. Они тогда проводились для учеников 9–11 классов, и вдруг на нее пришел Сережа Старостин, учившийся в 6-м классе (почему он не

участвовал годом раньше в первой олимпиаде, не знаю, видимо, просто не знал). Уже это было сенсацией, но я, сразу поняв, что речь идет о сыне Анатолия Васильевича, совсем не удивился. Тогда Сережа, не имевший еще олимпиадного опыта, получил лишь вторую премию, но уже на следующий год победил и до окончания школы (тогда перешли с 11-летнего обучения на 10-летнее) четыре раза выигрывал олимпиады. Одним из заданий олимпиады постоянно бывает такое: перевести некоторый предложенный текст на все известные школьнику языки. И здесь Сережа сразу показал свои знания самых разных языков. Способности отца передались! В предисловии к посмертному изданию трудов Старостина академик В. В. Иванов пишет, что он говорил на нескольких десятках языков, а разбирался со словарем примерно на четырехстах языках.

Но уже олимпиады показали, что сын имел с отцом не только сходства, но и различия. Кроме задачи на знание языков, предлагались и задачи на материале заведомо незнакомых школьникам языков вроде суахили или хануноо. Для их решения необходимо показать умение логически мыслить, анализировать и обобщать. И в этом Сереже Старостину не оказывалось равных. Уже тогда стало ясно, что мы имеем дело не просто с полиглотом, каким был его отец, а с начинающим крупным лингвистом.

Сережа стал ходить на лингвистический кружок для школьников, а затем и на «взрослый» семинар по ностратике (дальше я расскажу, что это такое), который вел А. Б. Долгопольский. На одном из «детских» семинаров преподававший на нашем отделении математик А. Д. Вентцель попросил поднять руку тех, кто ходит на семинар Долгопольского. Подняли руки Старостин и другой наш олимпиадный вундеркинд А. Лерман (тоже ставший потом лингвистом, но совсем молодым уехавший, как позже и Вентцель, в США). Вдруг математик заявил, что ходить туда не надо, там дети получают слишком специальные знания, а сначала надо получить общие сведения о лингвистике. Не знаю, зачем Вентцель так говорил; может быть, он был и прав в отношении детей средних способностей, но никак не в отношении Старостина и Лермана. Они были, вероятно, расстроены тем, что их ославили, но не отступили.

В 1970 г. Старостин окончил школу и поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики. Как раз в этом году на отделении второй раз за 10 лет набирали японскую группу: заведующий кафедрой В. А. Звегинцев считал, что раз Япония стала технически передовой страной, то нужны специалисты по автоматической обработке информации на японском языке. Раз в

7–8 лет создавались японские группы, выпускники которых, однако, если получили известность, то не как прикладники (здесь успеха добилась З. М. Шаляпина, не японист по образованию). В первой группе учился и я, а остальная часть группы сосредоточилась на преподавании японского языка и немало сделала в этой области. Из третьей группы вышел О. А. Мудрак, который станет ближайшим сотрудником С. А. Старостина и будет заниматься многими языками. А с Сергеем Анатольевичем учились Вера Гальперина, затем Подлесская, ставшая известным лингвистом-японистом и томолог, и Татьяна Чучина, затем Старостина, ставшая его первой женой.

Его научная деятельность началась очень рано. Старостин был моложе меня на восемь лет, но его научные публикации стали появляться всего на два года позже. Его посмертный том «Труды по языкознанию» открывается тезисами доклада на конференции по сравнительно-историческому языкознанию в декабре 1972 г., то есть в девятнадцать лет. В то время Сергей учился на третьем курсе, но в примечаниях к книге сказано, что работа была выполнена первокурсником. Первая большая по объему его публикация вышла в сборнике Института востоковедения в год окончания университета. Когда-то такой ранний восход не был редкостью. Знаменитый Ф. де Соссюр опубликовал солидную книгу (оказавшуюся единственной прижизненной) в 21 год, и даже в 1930 г. ленинградский лингвист В. Г. Адмони опубликовал первую свою книгу (о происхождении языка) в том же возрасте. Но в наши дни лингвисты обычно начинают самостоятельную научную деятельность с диплома, то есть в 22–23 года, а впервые печатаются еще позже, в аспирантуре. Впрочем, до первой книги тогда и Старостину еще было далеко.

Уже первые, студенческие работы показали, наряду с высоким уровнем, преобладающие интересы молодого ученого, проявлявшиеся еще со времен семинара А. Б. Долгопольского. Безусловно, Старостин мог бы добиться успеха в любой области лингвистики, тем более что в студенческие годы он получил прекрасную школу в экспедициях А. Е. Кибрика в Дагестане. Там студентов учили записывать в полевых условиях и обрабатывать материал малоизученных или вовсе не изученных языков, уметь работать с конкретными языками и видеть в каждом из них специфическое проявление общих закономерностей человеческого Языка. Сергей Анатольевич мог бы великолепно заниматься и современными языками, и синхронным изучением древних языков, и общей теорией языка. Иногда он всем этим и занимался, о чем я еще буду говорить. Помню, как в 1978 г. во

время экспедиции на Сахалин он мне рассказывал свои идеи о древнекитайском языке. Вопреки преобладающим в нашей китаистике традициям, но очень убедительно он доказывал, что в этом языке не было частей речи, а каждое слово могло выступать и в функции имени, и в функции глагола. Например, в зависимости от контекста одно и то же слово могло соответствовать русским словам *бежать* и *бег*, слову *собака* и сочетанию *быть собакой* и т. д. В данном случае эти идеи были им опубликованы, хотя и много лет спустя: в 1994 г. Но многое так и осталось не зафиксированным на бумаге. Ученого влекло сравнительно-историческое языкознание, отрасль науки, сложившаяся и получившая немалые результаты еще в XIX в., но до сих пор представляющая собой обширное поле деятельности.

Как сказано в учебнике «Сравнительно-историческое языкознание» С. А. Старостина и С. А. Бурлак, «**Сравнительно-историческое языкознание** (лингвистическая компаративистика) – наука, занимающаяся сравнением языков с целью установления их родства, их генетической классификации и реконструкцией праязыковых состояний». Лингвист-компаративист на основе строгой методики сопоставляет известные языки и реконструирует праязык, от которого эти языки произошли. Сравнительно-историческое языкознание не следует смешивать с историческим языкознанием, выявляющим историю языков в период существования на них письменности путем сравнительного анализа письменных памятников разных эпох». Старостин занимался и историей языков, но его все-таки, прежде всего, влекла компаративистика, для которой письменные памятники – лишь вспомогательный материал при реконструкции более древних, как правило, дописьменных языковых состояний.

Расцвет сравнительно-исторического языкознания пришелся на XIX в., когда путем многочисленных проб и ошибок был выработан великий сравнительно-исторический метод, исторически первый из строгих лингвистических методов. За столетие было установлено и доказано родство многих языков, входящих в большую индоевропейскую семью. А это русский и другие славянские, английский, немецкий, французский, испанский и другие языки Европы, да еще иранские языки и многие языки Индии, включая хинди, урду и бенгали. Результаты были впечатляющими и для профессиональных языковедов, и для неспециалистов, которые часто интересуются проблемами происхождения и родства языков, народов и культур (к сожалению, этот интерес часто выходит за пределы науки, а то и приобретает опасные формы). В течение XIX в. большинство крупных лингвистов были индоевропеистами, а проблемы

компаративистики находились в центре теоретических споров.

В начале XX в. ситуация в лингвистике стала меняться. Ученые пришли к выводу о том, что существует «перекос» в сторону исторического и сравнительно-исторического изучения языков, что необходимо изучение структуры языка вне связи с его историей. Такой переход (как говорят историки науки, «смена научной парадигмы») упоминается в ряде моих очерков. Большинство их персонажей отошли от проблем компаративистики (или занимались ими в весьма специфической форме, как Н. Я. Марр). Теоретические споры стали идти не здесь, а сравнительно-историческим языкознанием большей частью занимались ученые-эмпирики, погруженные в конкретику и далекие от теоретической лингвистики. Это не значит, что компаративистика перестала развиваться. Наоборот, если в XIX в. она почти не выходила за рамки индоевропеистики, то в XX в. началось интенсивное изучение тюркской, семитской, финно-угорской и других семей. А с начала 60-х гг. XX в. в СССР стала активно развиваться так называемая ностратическая гипотеза, согласно которой индоевропейские, тюркские, финно-угорские языки и еще ряд семей входят в более древнюю ностратическую макросемью. Эти исследования начал замечательный ученый В. М. Иллич-Свитыч (1934–1966), рано погибший, попав под грузовик, в год, когда Сережа Старостин стал заниматься лингвистикой. Их продолжили А. Б. Долгопольский, уехавший в 1976 г. в Израиль, и В. А. Дыбо, работающий в Москве до сих пор. Сергей Анатольевич связал жизнь с этим кругом лингвистов со школьных лет, став в нем сначала учеником, потом коллегой, потом лидером.

Исследование ностратического родства сдерживалось нехваткой данных по многим языкам и группам, изученным не столь хорошо, как индоевропейские языки. К их числу относился и японский язык, изучавшийся Старостиным со студенческих лет. Первым шагом здесь должно было стать сопоставительное исследование собственно японских диалектов и диалектов островов Рюкю на крайнем юге Японии. Диалекты Рюкю родственны японским, но уже в древности значительно от них отличались. Для выявления дальнейших родственных связей японского языка необходимо было восстановить праяпонскую звуковую систему на основе сопоставления японского и рюкюского материала. Первым это стал делать (и тоже в юности) Е. Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»), ставший основоположником научного компаративного изучения японского языка. Однако Старостин, основываясь на большем материале и лучше разработанных методах, и здесь, и в вопросе о внешних

связях японского языка (см. ниже), пересмотрел результаты Поливанова. Доклад 19-летнего студента назывался «К проблеме реконструкции праяпонской фонологической системы». И уже в студенческие годы он начал также заниматься китайскими реконструкциями, на четвертом курсе он сделал в Институте востоковедения доклад по этой теме.

В 1975 г. Старостин окончил МГУ и поступил в аспирантуру академического Института востоковедения, в котором он затем работал до 1992 г. Темой диссертации была реконструкция древнекитайской звуковой системы. Руководителем числился заместитель директора ИВ АН и заведующий Отделом языков В. М. Солнцев, который был специалистом по современному китайскому языку и не занимался компаративистикой; он ничего не мог дать аспиранту, но и не мешал ему, что тоже было важно. Древнекитайский язык V–III вв. до н. э. – редкий случай, когда фонетику языка, имевшего письменность, можно реконструировать только с помощью сравнительно-исторического метода, поскольку иероглифическое письмо не дает данных о произношении. До Старостина данную систему пытались реконструировать крупные западные китаисты, но лишь у него реконструкция впервые получилась. А работа была закончена, когда автору было 25 лет.

Диссертация была написана, и ее надо было защищать. Но тут к чистой науке присовокупились человеческие взаимоотношения. Разумеется, никто в Отделе языков Института востоковедения не пытался опровергнуть научные положения диссертации, никто не был и против присуждения кандидатской степени. Но появилось предложение (выдвинутое вне института и поддержанное оппонентами и рецензентом) присудить за нее степень доктора, что, разумеется, соответствовало уровню работы. Однако отношение к совсем молодому сотруднику отдела, только что кончившему аспирантуру, было не в его пользу сразу по нескольким причинам. С одной стороны, научный уровень работы в отделе и среди членов диссертационного совета могли оценить немногие. Преобладали специалисты по современным языкам. Если кто и занимался компаративистикой, то это были люди значительно старшего возраста с давно сложившимися взглядами; один из примеров – «герой» моего очерка Н. А. Сыромятников, имевший здесь очень своеобразный подход. С другой стороны, молодой сотрудник раздражал старших непривычным поведением, манерами и слишком явной независимостью взглядов. В очерке о М. С. Капице я уже рассказывал, как Капица, прошедший дипломатическую школу, возмущался слишком неформальным внешним видом младшего

коллеги. Но это были времена, когда Старостин уже стал известным ученым. А в аспирантские годы его мятые джинсы и небритая борода привлекали внимание. Однажды к В. М. Солнцеву пришел пожилой сотрудник института из отставных военных и заявил, что небритого и нечесаного Старостина фотографировали иностранцы на фоне институтского здания, потребовав положить этому конец. Солнцев в целом относился к Старостину неплохо, но тут побоялся последствий и, вызвав меня, велел поговорить со Старостиным и убедить его побриться. Каюсь, я выполнил поручение. Но побриться аспирант отказался, мотивируя это тем, что это не примет его жена (тогда речь шла о первой жене). Тем дело и кончилось, и такой же облик и небритую бороду Сергей Анатольевич сохранил до конца, хотя с годами стал выглядеть солиднее.

Но была здесь и еще одна проблема, о которой мне не очень легко говорить. В отделе за семнадцать лет Старостин ни с кем не ссорился, спорил только по чисто научным вопросам. Другие молодые сотрудники отдела конфликтовали со старшими гораздо больше. Но именно Старостина, пожалуй, более других недолюбливали, особенно поначалу. Может быть, дело было в том, что другие тогда молодые сотрудники бывали резкими, невоспитанными, неуважительными к старшим, но могли с ними поговорить на житейские темы, сыграть в капустнике, принять активное участие в похоронных делах. А Сергей Анатольевич настолько жил своим делом, что мало замечал далеких от него окружающих, даже если они занимались какими-то лингвистическими, но не его вопросами. И это воспринималось как высокомерие, а его часто не прощают. Был и еще один аспект: солидные сотрудники отдела медленно и часто с трудом поднимались по лестнице научных званий, а тут вдруг какой-то молодой человек решился их обгонять.

Здесь должен сказать кое-что и о себе. Почти за сорок лет знакомства у нас со Старостиным не было ни одного открытого конфликта. Но напряженность в наших отношениях я всегда ощущал. Чувствовалось, что он передо мной не раскрывается так, как перед многими другими. Часто встречаясь, особенно в годы, когда мы были сослуживцами, мы не так уж много разговаривали, особенно на темы, выходившие за рамки деловых. Редкие исключения – экспедиция на Сахалин, о которой я еще буду говорить, пожалуй, летняя школа для детей в Дубне в 1992 г. Но я всегда в подобных ситуациях привык винить, в первую очередь, себя. Не общается, – значит, я не заслужил. К тому же темы исследований у нас чаще всего бывали разные (хотя были даже и работы в соавторстве). И, главное, я всегда чувствовал

превосходство Старостина над собой и в науке, и в масштабе личности, хотя мог видеть какие-то его недостатки, которые часто бывали продолжением достоинств (например, нелюбовь тратить время на изучение сделанного предшественниками). Если на многих старших коллег я смотрел снизу вверх, часто просто потому, что они что-то знали и умели лучше меня, поскольку освоили это раньше, то из более молодых я безоговорочно смотрел снизу вверх на него одного, иногда просто робея перед ним. Еще в годы совместной работы в Институте востоковедения я придумал шутку, которую потом повторил на одном из заседаний его памяти: «Благодаря Старостину я останусь в истории науки. Лет через сто в томе переписки его собрания сочинений к фразе: «Алпатов мне сказал, что меня опять не пустили за границу» будет дано примечание: «Алпатов – один из представителей официальной науки того времени, в те годы покровительствовал Старостину». За границу его до перестройки действительно не пускали, говорят, из-за общения «не с теми иностранцами».

Но вернемся к защите диссертации. Она состоялась 19 октября 1979 г. в комнате 222 нового здания Института востоковедения на улице Жданова (ныне Рождественке), куда институт только-только переехал. Обстановка была напряженной. Как я узнал от И. Ф. Вардуля лишь спустя много лет, институтский партком не дал разрешения на защиту диссертации в качестве докторской. Тогда был официальный порядок, когда перед защитой каждой докторской диссертации вопрос должен был обсуждаться на парткоме института (кандидатские диссертации защищали без этого). И я четырьмя годами позже проходил такую процедуру и прошел. Но у Сергея Анатольевича недоброжелателей было больше, да и был я уже старше, что тоже имело значение. И независимо от решения парткома многие члены диссертационного совета, не возражая против присуждения кандидатской степени, не хотели голосовать за степень доктора. Помню разговор с Н. А. Сыромятниковым, в 67 лет только что ставшим доктором наук. Он не был злым человеком, но считал всегда нужным в научных вопросах проявлять принципиальность. И он сказал: «Буду голосовать за кандидатскую степень и против докторской. Старостин талантлив, но доктором ему быть рано». И так думал не он один.

Провал был бы неизбежен, но И. Ф. Вардуль, хорошо относившийся к Старостину, нашел выход из положения. По нормам ВАК, в случае, если за кандидатскую диссертацию предлагается присудить докторскую степень, сначала обсуждается и голосуется вопрос о кандидатской степени, потом

на том же заседании – о докторской. Когда первый вопрос был исчерпан с положительным решением, Вардуль сказал, что количество имеющихся публикаций по теме диссертации достаточно для присуждения кандидатской степени, но недостаточно для присуждения докторской, поэтому вопрос о докторской степени следует снять с обсуждения. Само по себе это было верно: к 1979 г. Сергей Анатольевич еще не имел опубликованных книг, и если бы докторская степень была присуждена, то в ВАКе могли бы к этому придраться. Члены совета вздохнули с облегчением и согласились. Вскоре Старостин получил кандидатский диплом, а доктором стал лишь в 1992 г. Книга на основе диссертации вышла в дополненном виде в 1989 г.

После этого Старостин вернулся к японскому языку, но уже в более широком аспекте, рассматривая вопрос о его родственных связях как часть ностратики. В течение 80-х гг. он работал над книгой «Алтайская проблема и происхождение японского языка». Она вышла в самом конце советской эпохи, у меня сохранился экземпляр с надписью: «Дорогому Володе – коллеге и начальнику – с уверенностью в алтайском происхождении японского языка. 8/IV 91 г.». Уверенности во всем, что он делал, у Старостина всегда было много.

А проблема была непростой. Если не считать диалектов Рюкю, которые одни ученые считают отдельным языком, другие причисляют к японским, у японского языка нет близких родственников. И, например, в перечне языковых семей и групп в известном учебнике А. А. Реформатского он причислен к отдельным языкам, никуда не входящим. В мире нет ни одного языка со столь значительными числом носителей и культурными традициями, чьи родственные связи были бы столь неясными. Гипотезы, конечно, были, и идея о принадлежности японского языка к алтайской семье, куда входят тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки и, по-видимому, корейский, существовала задолго до Сергея Анатольевича: считается, что ее впервые выдвинул в 1857 г. немецкий ученый А. Боллер. Но потом появилась и другая гипотеза, связывавшая японский язык с австронезийской, или малайско-полинезийской семьей, куда относятся языки Малайзии, Индонезии и Океании, эту гипотезу выдвинул и пытался доказать Е. Д. Поливанов. В сторону поисков генетических связей именно с этими языками толкали исторические данные, о которых уже шла речь в очерке о Н. А. Невском. Древнейшее население Японских островов, по-видимому, составляли австронезийцы, сходные с аборигенами Тайваня (которые именно поэтому вызвали интерес Невского), но

на грани новой эры с континента вторглись кочевники-алтайцы, из смешения двух этносов сложились японцы. Впрочем, Е. Д. Поливанов не отрицал и японо-алтайское родство, посчитав, что японский язык – смешанный, принадлежащий одновременно к алтайской и австронезийской семьям. Старостин, однако, не признавал возможность смешения языков в принципе (см. ниже).

Для выяснения родственных связей японского языка нужно было применить методы сравнительно-исторического языкознания, что сделать оказывалось сложно из-за отсутствия близкородственных языков. Старостин с самого начала рассматривал данную проблему как часть проблемы ностратической макросемьи. Уже В. М. Иллич-Свитыч пришел к выводу о том, что все причисляемые к алтайским языки являются ностратическими (тогда как австронезийские языки туда не входят). Однако и с самими алтайскими языками ясности не было. Если в первой половине XX в. идея о существовании алтайской семьи господствовала, то с 50-х гг. среди тюркологов и монголистов стало преобладать мнение о том, что тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки, не говоря о корейском, не родственны, а имеющееся между ними сходство – результат поздних контактов. А среди старших коллег Старостина не было единой точки зрения; например, А. Б. Долгопольский считал, что особой алтайской семьи не существовало, а ее традиционные ветви – отдельные семьи, входящие в ностратическую макросемью. С чем сравнивать праяпонскую систему, восстановленную Старостиным-студентом, еще надо было разбираться.

Ученый пересмотрел существовавшие алтайские реконструкции и пришел к выводу, что отдельная алтайская семья действительно существовала. Японский же язык представляет собой особую ее ветвь, отделившуюся от других алтайских языков раньше всех остальных, примерно в четвертом тысячелетии до новой эры (этим же временем обычно датируется и время существования индоевропейского праязыка). К австронезийской же семье японский язык не относится, хотя с ней имеются сходства, объясняемые контактами исторического времени. Эти выводы – выдающийся вклад в науку о языке, важный и для историков и археологов. Хотя на уровне гипотез и деклараций все эти положения высказывались и до Сергея Анатольевича, но впервые было предъявлено их доказательство (впрочем, и сейчас они признаются не всеми специалистами).

В мою задачу не входит подробное рассмотрение и объяснение для читателя-нелингвиста той методики, на основе которой Старостин пришел к этим выводам. Желающих детально

с ней познакомиться отсылаю к уже упоминавшемуся учебнику С. А. Старостина и С. А. Бурлак. Скажу лишь об одном важнейшем аспекте, связанном с методом глоттохронологии, предложенным американским лингвистом М. Сводешом в 40-х гг. XX в.

Хотя методы реконструкции праязыков, основанные на установлении регулярных фонетических соответствий между предположительно родственными языками, сформировались еще в XIX в., но традиционная компаративистика имела ряд слабых мест. Во-первых, как писал крупнейший французский компаративист начала XX в. А. Мейе (оппонент Н. Я. Марра), «за отсутствием всяких письменных документов, нет никакого средства определить, с точностью до нескольких столетий, время разделения индоевропейских диалектов»; это, разумеется, относилось и к другим семьям. Во-вторых, установлению языкового родства мешают заимствования, которые с разной степенью легкости проникают в разные слои лексики. Скажем, очевидно, что слово индоевропейского (русского) языка *компьютер* заимствовано из другого индоевропейского (английского) языка, где оно, в свою очередь, образовано из элементов, заимствованных из третьего индоевропейского языка – латинского. Здесь отдаленное родство трех языков никакой роли не играет, а то же английское слово перешло и во многие неиндоевропейские языки. И дело здесь не во времени заимствования: древние заимствования столь же не показательны, только их труднее обнаруживать. Зато компаративистика умеет доказать, что *брат* и *brother, mpu* и *three* похожи по звучанию не случайно, они происходят из общего индоевропейского источника. И это связано со значением слов: названия, связанные с культурой (материальной и духовной), заимствуются очень легко вместе с тем, что они именуют, а имена родства или числительные заимствуются очень редко. Кое-что об этом знали и в XIX в., но строгих правил не было. Оба эти недостатка попытался преодолеть М. Сводеш.

Американский ученый предложил список из ста значений слов, наиболее устойчивых против заимствований; эти слова называют базовой лексикой. Список формировался чисто эмпирически, на основе данных по большому числу известных к тому времени языков. Сводеш предложил считать, что чем больше имеющих общее происхождение слов из стословного списка в каждой паре языков, тем ближе друг к другу эти языки и тем позднее разошлись. Проверка этой гипотезы на материале языков с уже установленными родственными связями показала, что близкородственные языки (скажем, русский и украинский) имеют до 90 % совпадений базовой лексики, языки, отделившиеся друг

от друга несколько раньше (скажем, русский и польский, немецкий и шведский) – 75–85 %, а более отдаленно родственные языки одной семьи (скажем, русский и немецкий) – около 30 %. Слова из данного списка со временем частично меняются, иногда на заимствования, иногда (чаще) на другие исконные слова: в русском языке было слово базовой лексики *око*, а потом оно было вытеснено новым словом *глаз*. Такие изменения Старостин рассматривал как проявление общей закономерности функционирования языка как «изменяющейся, саморазвивающейся системы». А Сводеш предложил считать, что замена слов в стословном списке – процесс, происходящий во всех языках с постоянной скоростью. А из этого следует, что время отделения двух родственных языков друг от друга допускает не только относительную, но и абсолютную датировку. Сводеш вывел формулу, по которой можно на основе количества общих слов, значения которых входят в его список, подсчитать время разделения языков. Эта формула, как указывают С. А. Старостин и С. А. Бурлак, по происхождению представляет собой «формулу полураспада радиоактивного углерода, используемую при радиоуглеродном датировании в археологии и палеонтологии».

Построения Сводеша были основаны лишь на индуктивном обобщении известных ему фактов (или на аналогии с другими науками) и не имели строгого доказательства ни с точки зрения состава базовых значений, ни с точки зрения постоянства изменений соответствующих слов. Однако, как это вообще обычно в компаративистике, такого рода обобщения, казалось бы, ни на чем не основанные, работают и дают результаты. Правда, оказалось, что формула Сводеша «умолаживала» время расхождения языков и требовала коррекции. Кроме того, Сводеш считал, что все сто слов из его списка имеют равные шансы замениться другими, что оказалось не так. Помимо списка Сводеша, предлагали и другие. С одной стороны, 100 значений расширяли до 110 и даже 200; с другой стороны, старший коллега Старостина из Ленинграда С. Е. Яхонтов, ученый очень широких интересов, часто споривший с Сергеем Анатольевичем, предложил список из 35 самых устойчивых значений.

Идеи Сводеша принимались не всеми компаративистами, нередко их считали априорными и бездоказательными. Но Старостин постоянно указывал на их важность, и, по сути, на них основаны его построения и в области алтаистики, и при анализе других семей. Однако он поправил Сводеша, пересмотрев и усложнив его формулу, выделив возмущающие факторы (постоянство смены базовой лексики не соблюдается в случае замены исконного слова на заимствованное) и учитывая разные

степени «базовости» лексики: 35-словный список С. Е. Яхонтова, собственный 55-словный список, стословный список М. Сводеша, список из 110 слов.

На основе этого Старостин сопоставил списки базовой лексики для выполненных его предшественниками и частично им скорректированных реконструкций тюркского, монгольского, тунгусо-маньчжурского и корейского праязыков, выяснив, что, например, между тюркскими и монгольскими языками в списке Сводеша имеется 20 слов общего происхождения, а между монгольскими и корейским – 16. Это вполне соответствовало принятым критериям признания таких языков родственными. А поскольку многие исконно общие слова сохранились не во всех ветвях алтайской семьи, то процент общеалтайской базовой лексики оказался еще более значительным. Затем он сопоставил эти реконструкции с собственными реконструкциями праяпонского языка. И обнаружилось, что если исходить из 110-словного списка и учитывать четыре семантических дублета в праяпонском, то, как пишет Старостин в своей книге, «среди этих 114 лексем мы имеем 81 лексему алтайского происхождения (среди них 49 с точным семантическим соответствием в одном или нескольких алтайских праязыках, и 32 лексемы без такого соответствия, но с достаточно надежной алтайской этимологией)». Это очень большой процент. А с австронезийскими языками у праяпонского обнаруживается лишь 9 совпадений в базовой лексике, из них лишь три в 35-словном списке, что можно объяснить древними заимствованиями.

Не надо думать, что вся деятельность ученого сводилась к использованию и коррекции метода глоттохронологии. Он был нужен для интерпретации реконструированных праформ, а сами эти праформы восстанавливались на базе традиционного сравнительно-исторического метода, разработанного в XIX в. и основанного, прежде всего, на установлении регулярных фонетических соответствий между родственными языками. Этот метод вызывал критику и в XIX в., и в первой половине XX в., и со стороны дилетантов вроде Н. Я. Марра, и со стороны крупных ученых (И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. Трубецкой), а сейчас на Западе многими третируется. Но Старостин, основываясь на замечательных результатах, полученных на основе этого метода, считал «аксиоматику сравнительно-исторического языкознания» незыблемой и применимой к любым языкам. Как пишет в уже упоминавшемся предисловии В. В. Иванов, он «разработал принципы сравнения, пригодные для всех существующих 6–8 тысяч языков и их главных диалектов и возможных предков». Старостин, например, считал неправильным варьировать списки

базовой лексики для разных культурных ареалов, веря в универсальность компаративной методики, включая глоттохронологию, для любых семей и групп. Исходя из принципов, усвоенных в студенческие годы, он всегда искал подтверждения универсальных законов языка, пусть не всегда такие законы пока что познаны.

Одним из следствий веры в незыблемость компаративной аксиоматики было отрицание возможности смешения и скрещения языков (в очерке о Н. Я. Марре рассказывалось о том, до каких нелепостей доходил этот автор, приняв такую возможность). Поэтому, согласно Старостину, японский язык не мог быть смешанным алтайско-австронезийским, а если какой-то народ заимствует большую часть базовой лексики, то происходит не смешение, а смена языка. Так, видимо, и произошло с австронезийскими предками японцев, которые, вобрав в себя численно уступавших им завоевателей, переняли их язык. Так, собственно говоря, подходили к любым языкам и ученые XIX в.

Я довольно подробно остановился на алтайской и особенно японской проблематике у Старостина и позволю себе далее говорить лишь о полученных им для многих других языков результатах. А в 70–80-е годы, помимо тем, описанных выше, Старостин в Институте востоковедения и других местах занимался и многим другим, в том числе не только компаративистикой.

В это время И. Ф. Вардуль хотел создать коллективную грамматику японского языка. Работа по разным причинам полностью не осуществилась, удалось написать лишь первый том, где Старостину принадлежат разделы по фонологии и акцентуации. Он, кроме всего прочего, был выдающимся специалистом в этих областях, пройдя школу в студенческих экспедициях; компаративное изучение многих языков он значительно продвинул за счет изучения их ударения и тона, часто до него изученных плохо. Свои разделы он закончил к 1982 г., но по не зависящим от него причинам (И. Ф. Вардуль был недоволен своей частью работы и многократно ее переделывал) книга вышла лишь в 2000 г., уже после смерти ее инициатора и главного редактора, но еще при жизни Сергея Анатольевича. А теперь из трех авторов остался я один.

Еще меньше повезло другой работе Старостина тех лет, писавшейся в 1983 г. на моих глазах. Годом раньше я был призван на два месяца в Военный институт (ныне университет), где благодаря знакомым преподавателям вместо отправления в летний лагерь ходил в институт, как на работу, ночуя дома, и за положенный срок написал учебник «Теоретическая грамматика

японского языка». Через год так же призвали Старостина, и я договорился с теми же преподавателями об аналогичной его работе по написанию учебника истории японского языка. Работа была сделана (я единственный раз в жизни работал со Старостиным как ответственный редактор) и, по-видимому, залегла где-то в недрах Военного института, где многое строго засекречивалось. Про свой учебник я в 1991 г. совершенно случайно узнал, что тремя годами раньше он вышел (экземпляр книги получил еще через десяток лет), а судьбу учебника Старостина не знаю до сих пор. Сам он, кажется, не интересовался этой судьбой: работа была подневольной, а тематика учебника была не совсем ему близка, поскольку в основном надо было писать не о компаративистике, а об истории языка письменного периода (для Японии с VIII в.).

И еще один эпизод, с которым у меня больше всего связано воспоминаний о Старостине. Весной 1978 г. работавший тогда с нами в одном отделе А. Н. Барулин загорелся идеей найти на Сахалине айнов (которых когда-то в Японии изучал Н. А. Невский, а на Сахалине наблюдал А. П. Чехов). Было известно, что после присоединения в 1945 г. Южного Сахалина к СССР остававшиеся там немногочисленные айны уехали в Японию, но кого-то видели и позже и даже пытались не очень квалифицированно изучать. Благодаря энергии Барулина сформировалась экспедиция, куда также вошли И. И. Пейрос, Старостин и я. Весь август мы провели на Сахалине, изъездив значительную его часть. Помню, как мы ехали из поселка Ноглики в город Оху на «самом медленном в мире поезде», как его называли (180 километров он покрывал за сутки). Мы купили билеты, но оказалось, что в единственном вагоне, где можно было лежать (почему-то не поперек, а вдоль полок), имелось для нас лишь три места, а кому-то одному надо было переходить в сидячий вагон. Бросили жребий, и не повезло Старостину. Мы как-то выспались, а утром узнали, что наш коллега оказался в окружении страшного, потерявшего человеческий облик оборванца и не мог заснуть ни на минуту.

Айны, знавшие свой язык, однако, так и не обнаружились (последний из безусловных носителей языка, как оказалось, умер в инвалидном доме г. Анива, куда мы заезжали с Барулиным, тремя годами раньше). Старостин первый отказался от поисков с неизвестным результатом и решил заняться делом, раз уж мы на Сахалине. Возле Охи жили нивхи, и он отправился вместе с Пейросом изучать их диалекты. Барулин еще некоторое время занимался поисками, а потом в поисковой группе, так ничего и не добившейся, остался лишь я, не имевший опыта полевой работы,

а остальные во главе со Старостиным занялись исследовательской деятельностью. Помимо нивхов, они занялись корейскими диалектами (на Сахалине живет немало корейцев, причем родом из разных частей Кореи, поэтому можно было изучать разные диалекты). Нивхский материал потом так и не был Старостиным использован, а вот корейские данные вошли в книгу о происхождении японского языка.

В экспедиции я лучше всего узнал Сергея как человека. Он оказался очень неприхотливым, совершенно равнодушным к бытовой стороне жизни. Говорить с ним можно было не только о китайских частях речи: он был очень начитан и много знал обо всем. Может быть, он иногда бывал наивен в политике: много позже, летом 1992 г., он говорил в Дубне, что мы прожили тяжелую зиму, но все худшее уже позади, а теперь мы уже стали «нормальной страной». Я был скептичнее и, к сожалению, оказался прав. Зато он прекрасно знал литературу и музыку. С собой на Сахалин он взял кассетный магнитофон и множество записей «Битлз». Я в области «легкой музыки», как тогда говорили, был воспитан на В. П. Соловьеве-Седом и Б. А. Мокроусове и эту группу до того почти не знал. А Старостин был в нее прямо влюблен (не только в музыку, но и в тексты). И я постепенно привык к этой музыке и стал тоже находить в ней достоинства (чего я не могу сказать о западной эстраде последующего времени). Вообще у Старостина иногда открывались неожиданные факты биографии. Когда у него дома был банкет по случаю защиты докторской диссертации, там появился А. Градский: оказывается, Старостин писал ему тексты по-английски. Другим его гостем там был ныне покойный Д. А. Пригов.

Но главной научной средой для ученого был не Институт востоковедения, а семинар по ностратике Института славяноведения АН СССР во главе с В. А. Дыбо и постепенно формировавшийся вокруг него поначалу еще неофициальный круг лингвистов. На отделении структурной и прикладной лингвистики компаративистов тогда не готовили, но многие из выпускников ранних лет, причем нередко одни из наиболее способных, увлеклись этой дисциплиной. И Старостин уже тогда становился среди них научным лидером.

И трудно найти языковую семью или группу, которой Старостин совсем не занимался, у него есть публикации по очень многим из них, разумеется, по одним больше, по другим меньше. Пожалуй, он наложил на свои исследования одно ограничение: не выходить за пределы Старого Света, пока со всеми его языками не будет все ясно; дойти до индейских и австралийских языков он не

успел. Впрочем, некоторые его ученики искали языковое родство и там. Кроме того, Старостин неохотно рассматривал изолированные языки, которые неизвестно, с чем сравнивать: баскский в Пиренеях, нивхский и юкагирский на российском Дальнем Востоке (японский сюда все же не относится, раз есть рюкюский, с которым его можно сравнить на первом этапе). Нивхскими материалами он не воспользовался именно поэтому, хотя записывал их с увлечением. Как раз эти языки так любят изучать дилетанты, но большинство серьезных специалистов не знают, как к ним подступиться. Правда, Старостин иногда нарушал табу: он (с В. Э. Орлом) выдвинул гипотезу о родстве этрусского языка с восточно-кавказскими (дагестанские, чеченский и др.), а бурушаски, язык неясного происхождения в Гималаях, отнес к сино-кавказской макросемье. Однако для этрусского он (редкий случай) так и не дал строгого доказательства, а В. В. Иванов, пожалуй, единственный раз в своем предисловии выражает сомнение в идеях Старостина.

Есть у Старостина и работы по самой традиционной тематике компаративистов – индоевропеистике, где он вместе с одним из самых первых своих соавторов С. Л. Николаевым предложил в 1981 г. новую трактовку глаголов в праязыке. Именно эта работа впервые у него подверглась резкой критике, в том числе за рубежом: нетрадиционная трактовка хорошо известных сюжетов всегда вызывает наибольшее неприятие. Писал он и об афразийских языках (семитские, берберские, древнеегипетский, некоторые языки Африки, в том числе сомали и хауса). Эти языки В. М. Иллич-Свитыч считал ностратическими, но Старостин и А. Ю. Милитарёв показали, используя глотто-хронологическую датировку, что афразийское родство восходит примерно к тому же времени, что ностратическое, поэтому если эти языки и родственны ностратическим, то на более глубоком уровне.

Но более всего, помимо вышеупомянутых японского и китайского языков, Старостин занимался языками Северного Кавказа, куда ездил еще студентом; позже побывал и в Абхазии, где в экспедиции с ним участвовал будущий ее президент В. Г. Ардзинба. Вопрос о родственных связях языков Кавказа, исключая индоевропейские (армянский, осетинский) и тюркские (азербайджанский, кумыкский, карачаевский и др.), сложен и до работ Старостина решался неоднозначно, хотя их исследовал и такой крупный ученый как Н. С. Трубецкой. Более или менее общепринято выделение трех групп: это западно-кавказские (абхазский, адыгейский, кабардинский и др.), упомянутые выше восточно-кавказские и южно-кавказские, или картвельские (грузинский, мегрельский, лазский, сванский). Но как они

соотносятся? Один из ответов дали Н. Я. Марр и его противник А. С. Чикобава (считающийся инициатором работ И. В. Сталина), по этому вопросу их взгляды совпадали. Чикобава, обоснованно отвергнув «новое учение» Марра, принял как догму его раннюю гипотезу, выдвинутую в годы, когда тот еще не до конца порвал с наукой. Согласно этой гипотезе, все три группы составляют единую семью, которую Марр называл яфетической (потом включив в нее и другие языки), а Чикобава – иберийско-кавказской. Но доказать это обоим не удалось. В. М. Иллич-Свитыч пришел к выводу, поддержанному и развитому Старостиным: единой семьи не существует, картвельские языки – ностратические, а две другие семьи к их числу не относятся. Западно-кавказские и восточно-кавказские языки считал родственными (но не родственными картвельским) еще Н. С. Трубецкой, но окончательно это доказал лишь Старостин вместе с С. Л. Николаевым, используя более обширный, в том числе собранный им самим в экспедициях материал. Впрочем, и это родство признали не все.

Работая над кавказскими языками, Старостин неожиданно нашел единомышленника и соавтора, принадлежавшего и к другому поколению, и к другой научной школе. Это был выдающийся исследователь языков и истории древней Передней Азии И. М. Дьяконов (1915–1999), живший в Ленинграде. Дьяконов был знатоком древних языков этого региона, а Старостин имел значительный материал по современным языкам. Совместно им удалось доказать принадлежность к восточнокавказской группе древнего урартского языка в теперешней Армении (люди постарше помнят формулировку из школьного учебника истории: «Урарту – первое государство на территории нашей Родины»). Кстати, Н. Я. Марр когда-то советовал И. И. Мещанинову сопоставить этот язык именно с дагестанскими: при недостатке научного мышления интуиция у него иногда давала и верные догадки. Еще более древний хаттский язык в Малой Азии оказался родственным западнокавказским языкам. Этрусскую гипотезу я уже упоминал. Совместная книга об урартско-кавказском родстве, благодаря международной известности Дьяконова, вышла в Мюнхене на английском языке в 1986 г., для Старостина это была первая большая публикация за рубежом и вообще первая монография. А кавказскими реконструкциями Старостин занимался много лет, постоянно их дополняя и уточняя, уже в 1994 г. он издаст итоговую книгу – «Этимологический словарь кавказских языков».

Но языки Северного Кавказа (плюс лежащий по другую сторону Кавказского хребта абхазский) интересовали Сергея

Анатольевича не только сами по себе. Еще в 70-е гг. он заинтересовался мало изученной семьей языков совсем другого региона СССР – енисейскими языками. Сохранился лишь один малочисленный язык этой семьи – кетский; в XIX–XX вв. успели записать некоторые сведения еще о нескольких языках, ныне исчезнувших. Окружающие народы Сибири говорят либо на алтайских, либо на уральских (то есть на ностратических) языках, а енисейские языки на них совсем не похожи. В 1982 г. Сергей Анатольевич опубликовал большую статью с реконструкцией фонологической системы енисейского праязыка. А в конце 1984 г. на конференции в Институте востоковедения он предложил смелую гипотезу о родстве между собой западно– и восточнокавказских, енисейских и китайско-тибетских языков и, может быть, бурушаски. Развитием гипотезы ученый занимался до конца жизни.

Если раньше Старостин доказывал уже существовавшие гипотезы о языковом родстве, превращая их в теории, то теперь он предложил совершенно новую идею, далеко выходившую за рамки общепринятого в компаративистике. Подобную смелость до него могли позволить себе лишь дилетанты вроде Н. Я. Марра, для которых не существует табу; по сути, именно поэтому сино-кавказскую гипотезу, как она стала называться, не приняли многие серьезные ученые. Помимо географической отдаленности сино-кавказских языков и большого их несходства, не в пользу гипотезы говорил и тот факт, что она не имеет никаких, даже косвенных исторических подтверждений, которые важны для индоевропеистов и которые где-то обнаруживаются даже для ностратики. Только языковые данные, только реконструкции. Безусловно, высказать такую гипотезу мог лишь человек, сам интенсивно занимавшийся всеми тремя сравниваемыми семьями, а такого, кроме Старостина, в мире больше не было.

Если ностратическая гипотеза вызывала споры и неприятие, но уже была, по крайней мере, признана находящейся в рамках допустимого (играло роль здесь и признание уже покойного В. М. Иллича-Свитыча классиком науки), то синокавказская гипотеза казалась слишком радикальной ученым старшего и среднего поколения. Особенно активно с ней много лет борется С. Е. Яхонтов, проявивший в спорах немало остроумия. Но молодежь активно ее приняла, в том числе и из-за харизмы ученого, ее выдвинувшего.

К тому времени общественная ситуация в стране стала меняться. Для Старостина это, прежде всего, означало возможность появления активных контактов с зарубежными коллегами. Впервые он выступал с докладом на английском языке

(опубликованы тезисы) на фонетическом конгрессе в Таллинне в 1978 г., потом, как уже говорилось, вышла совместная с И. М. Дьяконовым книга. Но снятие внешних препятствий произошло осенью 1988 г., когда делегация советских ученых, развивавших идеи ностратики, отправилась на конференцию в Мичиганский университет в США. Старостин, по возрасту один из самых молодых, стал на ней неформальным лидером. «Десант» советских компаративистов вызвал на Западе несомненный интерес, подогревавшийся тогдашней модой на Россию: там ностратики не было (за исключением ученых, ранее эмигрировавших из СССР), а компаративистика была во многом другой. Нашим участникам конференции казалось, что теперь их идеи станут мировыми. Но позже выяснилось, что, кроме внешних препятствий, бывают и внутренние; об этом я скажу дальше.

В это время Старостин еще работал в Институте востоковедения. Там его положение стало гораздо прочнее, чем вначале, и из-за общественных перемен, и просто из-за того, что он стал старше и издал несколько больших книг. Успешно прошло его выступление на ученом совете, упомянутое в очерке о М. С. Капице, а в Отделе языков он возглавил специально созданную группу сравнительно-исторического языкознания. Единомышленников и последователей Старостин находил и среди сотрудников института, первоначально воспитанных в иных традициях. Из них надо особо отметить А. Ю. Милитарёва, ставшего ведущим специалистом по афразийским языкам. Милитарёв старше Старостина на десять лет, но безоговорочно признал Сергея Анатольевича своим учителем. И в Институте востоковедения Старостин после развода нашел вторую жену, с которой очень хорошо прожил до конца жизни. Наталья Юрьевна Чалисова – специалист по классической персидской литературе, автор немалого числа работ. В обоих браках было по сыну, каждый из которых по-разному вошел потом в коллектив, возглавлявшийся отцом (старший как лингвист, младший как разработчик компьютерной базы).

В Институте востоковедения во времена М. С. Капицы было относительно спокойно. Как раз в эти годы (1989–1992) я недолго был начальником Старостина, заведующим отделом, что он не преминул отметить в надписи на книге. Главной своей обязанностью по отношению к нему я считал не мешать и по возможности не вмешиваться в его обширную деятельность. Но я чувствовал, что ему тесно в институте, где лингвистическая компаративистика по объективным причинам не могла стать приоритетным направлением. Вместе с А. Ю. Милитарёвым они стали искать другое место работы. Сначала они чуть было не

перешли в Институт этнографии, но что-то не сложилось, и еще два года они оставались на прежнем месте. А потом «прогрессивные» ученые стали переходить во вновь образованный почти с нуля Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Туда в 1992 г. перешел и Старостин, незадолго до этого 17 января 1992 г., наконец, защитив в Институте востоковедения докторскую диссертацию на основе книги о родственных связях японского языка (в отличие от первой защиты вторая прошла без всяких происшествий). В РГГУ перешли из Института востоковедения А. Ю. Милитарёв, О. М. Мудрак и другие члены его коллектива, и еще ряд сотрудников Института востоковедения разных специальностей, включая его жену. Жалко было расставаться с Сергеем Анатольевичем, но я понимал, что независимо от политических и прочих преходящих обстоятельств ученому его калибра нужен самостоятельный научный центр.

Коллектив, возглавляемый Старостиным, мог теперь из неформального превратиться в формальный, образовался особый центр, фактически небольшой научно-исследовательский институт при университете. Туда перешли его единомышленники не только из Института востоковедения, пополнялся он и молодежью, сначала из выпускников МГУ, потом РГГУ, где с самого начала компаративистика заняла в обучении большое место, стал поставлять собственных выпускников.

В первые годы существования РГГУ, тогда возглавлявшегося видным «прорабом перестройки» Ю. Н. Афанасьевым, его преподаватели и сотрудники были захвачены идеей создать центр «свободной науки» по образцу западных университетов, противостоящий «консервативным» МГУ и Академии наук. Потом жизнь сгладила это противостояние: почти все поняли, что делают общее дело, а советские традиции, как выяснилось, далеко не во всем плохие, оказались устойчивее, чем первоначально казалось. Например, преподавательский состав Института лингвистики (лингвистического факультета), созданного вышеупомянутым А. Н. Барулиным, формировался из выпускников Отделения структурной и прикладной лингвистики МГУ и оказался очень похож на это отделение (только с большим преподаванием восточных языков).

И Старостин в последнее десятилетие жизни активно сотрудничал с Академией наук. В 2000 г. после смерти В. М. Солнцева, к тому времени директора академического Института языкознания, возникла идея поставить на это место Сергея Анатольевича. Одно время он был увлечен этим предложением, но не получилось: коллектив предпочел «своего» В. А.

Виноградова, уже много лет работавшего в институте. Но в последние годы жизни Старостин, помимо РГГУ, работал и в Институте языкознания, где ради него создали специальный центр языков Евразии, расформированный после его смерти. И в 1997 г. он стал членом-корреспондентом Академии наук (кстати, первым в академии выпускником Отделения структурной и прикладной лингвистики, хотя он принадлежал лишь к одиннадцатому его выпуску). Увы, академиком он стать не успел.

Впрочем, не знаю, каким он был бы директором Института языкознания: институт занимается не только компаративистикой, а Старостин всю свою творческую жизнь был поглощен своим Делом и мог не замечать тех, кому важно нечто совсем другое. Я уже отмечал сложности такого рода в Институте востоковедения, а как бы он поладил, например, с сектором (ныне центром) социолингвистики или с сектором психолингвистики? При всей широте его возможностей он не мог объять все. Я это почувствовал, редактируя его так, кажется, и не вышедший учебник истории японского языка. В нем должно было быть отражено и функционирование разных вариантов языка в японском обществе, а история языка в близкое нам время, особенно в XIX–XX вв., почти целиком сводится к исторической социолингвистике и стилистике. И, читая учебник, я видел, как это Сергею Анатольевичу было неинтересно в отличие от исторической фонетики и грамматики (ср. прямо противоположную ситуацию с Н. И. Конрадом). Мне даже пришлось кое-что дописывать. А директор должен уметь вникнуть в каждую проблему. Вообще мне кажется, что крупный ученый должен статусно возглавлять научный коллектив лишь тогда, когда он руководит общей для всех задачей (как это было у Старостина в РГГУ). Если же направлений много, то ученый сознательно или бессознательно будет «тянуть одеяло на себя». Тогда уж лучше крупный администратор вроде Б. Г. Гафурова, см. очерк о нем.

И вообще Старостин в своей деятельности отказывался от многого, считая это лишним; недаром ему быстро надоели поездки в поисках айнов. Например, в годы перестройки, когда появилась возможность посылать его за границу, мы с И. Ф. Вардулем попытались устроить ему поездку в Японию. Получить приглашение от японских ученых, уже знавших его по публикациям, было нетрудно, но решительно отказался сам Сергей Анатольевич. Ему это было неинтересно: материал для японских реконструкций не требует сбора на месте, а японская компаративистика, честно говоря, очень слабая. И он, часто бывая с конца 80-х гг. за границей, строго выбирал, с кем ему

перспективно иметь контакты. А вот на то, что ему было нужно, он не жалел времени, но и умел его зря не тратить. В. В. Иванов вспоминает, как Старостин говорил ему, что на изучение каждого нового для себя диалекта он отмеряет только три дня. Конечно, так мог поступать только тот редкий человек, который мог быть одновременно лингвистом и полиглотом.

Возглавив научный коллектив, Старостин уже мог планировать большой объем работы по сравнению гигантского числа языков мира, в идеале (которого Старостин не успел достичь) всех языков. Бедой многих ученых, в том числе компаративистов, бывает необходимость самим взваливать на себя огромный и часто неподъемный объем работы, в том числе рутинной. Старостин очень много делал сам, но нужна была помощь коллег, обычно занимавшихся лишь какой-то семьей или группой языков, но знавших их досконально. Как он писал в статье 1998 г.

«О доказательстве языкового родства», «какие-либо теоретические препятствия на пути дальнейшего сравнения или реконструкции отсутствуют», однако имеются трудности, связанные с большим объемом информации, и нужна «готовность к кооперации со стороны специалистов по отдельным языковым семьям». С уже сложившимися специалистами старшего и среднего поколения кооперация получалась редко (удачное сотрудничество с И. М. Дьяконовым стало скорее исключением), но Старостин умел харизмой привлекать своих сверстников и молодежь. И он один мог держать в голове всю гигантскую работу в целом. В той же статье 1998 г. он писал: «Для оценки родства внутри макросемей типа ностратической большинству специалистов просто не хватает знаний по отдельным семьям». А кому, кроме него, таких знаний по-настоящему хватало?

90-е годы расширили возможности ученого и в другом отношении. По его собственным воспоминаниям, Старостин впервые сел за персональный компьютер в 1986 г., а к 1988 г. он уже самостоятельно разработал компьютерную систему StarLing (первоначально STAR). Над ее совершенствованием он при участии нескольких своих коллег – лингвистов и программистов работал до конца жизни. Для каждого изучаемого языка были сформированы обширные базы данных. Как пишет его старший сын Г. С. Старостин, после Сергея Анатольевича осталось немного не опубликованных в электронном или бумажном виде работ: все им сделанное немедленно заносилось в базы данных.

Конечно, это было связано с особым стилем работы ученого. Как вспоминает тот же Г. С. Старостин, он однажды пожаловался отцу на то, что ему трудно бывает написать теоретическое

вступление к статье. Тот ответил: «А у меня вот все всегда просто – сначала «предлагается следующая система соответствий», а потом «ниже приводится материал». И все. Разумеется, ученый немного утрировал ситуацию, и теоретические вступления бывают необходимы. Но, например, в книге «Алтайская проблема и происхождение японского языка», по моим подсчетам, тексты, не сводящиеся к системе соответствий и материалу, занимают (не считая примечаний и библиографии) примерно 26 страниц из 300, меньше 10 %. Конечно, именно такие тексты, за вычетом кратких объяснений и пояснений, легко внести в базу данных. Безусловно, Старостин имел четко разработанные теоретические взгляды, без которых он не мог бы целенаправленно изучать материал, но не любил тратить много времени на их изложение. Он понимал, что теории устаревают, а правильно зафиксированные факты останутся. И надо было успеть охватить как можно больше данных. Впрочем, у него, особенно в последние годы жизни, были и статьи, где он сжато, концентрированно, без лишних слов выражал свое теоретическое кредо. Особенно надо отметить уже упомянутую статью «О доказательстве языкового родства» и статью «Сравнительное языкознание и этимологические базы данных», полностью опубликованную лишь посмертно. Их идеи подробно и с большим количеством примеров из самых разных языков изложены в учебнике «Сравнительно-историческое языкознание», написанным им совместно с его ученицей С. А. Бурлак (два издания, последнее в 2005 г.).

Из работ 1990–2000-х гг., непосредственно выполненных Старостиным (одним или с сотрудниками), помимо многочисленных баз данных и разработки Starling, надо называть уже упоминавшийся северно-кавказский этимологический словарь (1994, совместно с С. Л. Николаевым), фундаментальный алтайский этимологический словарь совместно с А. В. Дыбо и О. М. Мудраком (2003) и законченный незадолго до смерти труд «Сино-кавказская фонология», который он не успел издать.

К концу 90-х годов Сергей Анатольевич стал общепризнанным в стране главой научной школы. Избрание в академию было знаком признания. Не все у нас признавали ностратику и тем более синокавказские идеи, но у нас (в отличие от заграницы) публично отвергали их редко (одно из исключений – кавказовед Г. А. Климов). Лингвистический истеблишмент, задающий у нас сейчас тон, был, по крайней мере, при жизни Старостина, благожелателен к его направлению в науке. Приходилось лишь жалеть, что его выдающиеся результаты не получили известности за пределами лингвистического, в основном столичного сообщества. Лишь изредка он мог выйти «на

публику». Еще в 90-е годы в «Комсомольской правде» появилось интервью с ним не особо серьезной журналистки, именовавшей себя Светой Кузиной. И однажды помогла его старая знакомая Т. Н. Толстая, сумевшая занять место на телевидении. В своей «Школе злословия» она как-то разговаривала с Сергеем Анатольевичем. Беседа была серьезной, но, как весь цикл передач, шла поздно ночью. Еще как-то он появился у А. Гордона, и, кажется, все. Известность Старостина никогда не шла в сравнение, скажем, с известностью А. Т. Фоменко. Миру его открытия остались и остаются неизвестны, хотя они могли бы быть интересны и полезны и для той аудитории, что читает Фоменко.

Еще одной проблемой внутри страны было отсутствие серьезной конкуренции. Старостин никогда не боролся за монополизм в науке, но он получился сам собой. На его пятидесятилетии я вспомнил стихи Игоря Северянина, который считал, что В. Брюсов ему – единственный «равный государь», и пожелал ему в тосте «равного государя». Все, занимавшиеся у нас дальним родством, либо следовали за Старостиным, либо не могли с ним спорить на равных. В наибольшей степени «равным государем» был С. Е. Яхонтов, но это – исследователь-одиночка, не имеющий ни коллектива учеников, ни компьютерной базы. Но, конечно, Старостины рождаются не часто.

Но это было у нас, а за границей ситуация оказывалась иной. Массового признания там он так и не получил. Причины тут оказывались разными. Некоторых ученых заочно задевала одна особенность его деятельности. Отсекая лишнее, Старостин не хотел тратить время не только на общение с неинтересными ему людьми, но и на доскональное изучение того, что уже было сделано в науке по той или иной интересовавшей его проблеме. Ему было проще что-то сделать самому, чем выяснять, что здесь уже сделали другие (эта черта сближала его с Е. Д. Поливановым), хотя предшественники могли добиться существенных результатов и просто знать какие-то факты, которые Старостин не знал. И это замечали. Помню свой разговор на конференции в Венгрии в 1996 г. с крупным американским японистом Р. Э. Миллером. Он также занимался проблемой родственных связей японского языка и также был сторонником его алтайского происхождения. Однако Миллер, бывший почти на тридцать лет старше Старостина, относился к его работам прохладно. Я быстро понял, почему: пожилой ученый стал жаловаться, что московский коллега игнорирует его довольно многочисленные публикации. Он удивлялся тому, что Старостин, если и ссылается на его работы, то только на первую книгу по

данным проблемам, вышедшую в 1972 г., хотя Миллер потом продвинулся дальше. Я посмеялся про себя, поскольку я эту книгу спустя два года после выхода купил в Японии и, вернувшись в Москву, подарил Старостину, тогда аспиранту. Потом я уже не снабжал его работами Миллера, и не знаю, насколько он их читал. Впрочем, их подходы значительно различались.

Эта причина была, конечно, не единственной. Сам факт того, что принципиально новые идеи исходят из России, мода на которую прошла, не способствовал мировому признанию идей Старостина и ностратики в целом. Сыграла, по-видимому, роль и деятельность некоторых (далеко не всех) эмигрантов из СССР и России. Ни от кого мне не приходилось слышать столь резких и полностью зачеркивающих всякий вклад Сергея Анатольевича в науку оценок, как от одного сравнительно молодого лингвиста, переехавшего из России в США; более академично, но по сути то же он высказывал и печатно.

Но, разумеется, кроме экстранаучных причин, бывают и научные. Смелость идей вроде синокавказского родства очевидна многим, но их доказательства понятны даже не всем лингвистам, а лишь тем из них, кто овладел сложнейшим сравнительно-историческим методом, который обычно усваивается в юности и требует полной отдачи. Н. Я. Марр и Н. А. Сыромятников – два примера ученых, которые по разным причинам не смогли этот метод освоить. Когда-то считалось, что заниматься языкознанием и использовать сравнительно-исторический метод – одно и то же, но Ф. де Соссюр открыл путь к научным исследованиям языка, не требующим владения этим методом. А сейчас на Западе, особенно в США, распространена идея о том, что сравнительно-исторический метод устарел, что родство языков можно доказывать и иными способами, скажем, через массовое фронтальное исследование всей лексики сразу многих сравниваемых языков, без кропотливого установления регулярных соответствий, или же через расшифровку геномов носителей тех или иных языков. Таким лингвистам Старостин мог казаться чуть ли не человеком XIX в. Наконец, специалисты по отдельным языкам и языковым группам, досконально их знающие, могли видеть у него ошибки из-за неучета каких-то фактов.

В последние два десятилетия жизни Старостин большую часть своих крупных работ публиковал по-английски. За рубежом его школу знают лучше, чем большинство других направлений российской лингвистики. И все равно к ней относятся в лучшем случае как к любопытной экзотике, вряд ли соответствующей языковой реальности, в худшем – как к ошибочному направлению.

На книгу Старостина о родственных связях японского языка напечатал рецензию известный американский лингвист широкого профиля Б. Комри. Он признал талант и эрудицию автора, но счел алтайскую гипотезу лишь предполагаемой (putative). Автор рецензии отметил отсутствие в книге фактических ошибок, но посчитал неубедительными многие этимологии и указал на неучет как ряда конкретных исследований, так и новых теоретических идей, особенно разграничения заимствования и языкового сдвига. Вывод Комри: «Старостин предлагает бесценный материал относительно алтайской гипотезы и устанавливает высокие мерки для оценки их предположительных родственных связей. Для меня менее ясно, соответствуют ли его выводы этим высоким меркам». И позже, в 1999 г. международная группа авторов журнала «Journal of Linguistics», попытавшаяся подойти к алтайской проблеме с позиций общего языкознания, пришла к выводу о том, что алтайская гипотеза не опровергнута, но и не доказана, то есть это еще не теория. Даже выход в 2003 г. огромного алтайского этимологического словаря С. А. Старостина, А. В. Дыбо и О. М. Мудрака не привел к массовому пересмотру мнений западных тюркологов и монголистов: по-прежнему противников существования алтайской семьи больше, чем сторонников. Тем более нет на Западе, исключая часть эмигрантов из нашей страны, сторонников синокавказского родства.

А коллектив, возглавляемый Старостиным, несмотря ни на что, шел все дальше. Его глава, несомненно, считал, что его реконструкции отражают «божью правду», как иногда говорят американские лингвисты. Как свидетельствуют его ближайшие коллеги, Сергей Анатольевич не верил в бога, но у него существовала абсолютная, прямо религиозная убежденность в том, что все на самом деле происходило так, как получалось из его реконструкций. Старостин был убежденным сторонником единого происхождения (моногенеза) всех языков мира и всерьез мечтал дойти до реконструкции «языка Адама», именно так он и выражался в выступлениях последних лет. Не успел.

Летом 2005 г. под Москвой проходила (впервые в России) Постоянная международная алтаистическая конференция (PIAC), собирающаяся ежегодно. Старостин редко участвовал в ней: ностратика там не в почете, но, когда PIAC заседал столь близко, он все-таки согласился выступить. Доклад не вызвал критики, но в его обсуждении участвовали одни только российские делегаты (потом опять ностратика на конференциях PIAC перестала приветствоваться). Сохранились фотографии со Старостиным, сделанные в тот день. Никто не мог думать о том, что это одна из

его последних конференций.

Я видел после этого Сергея Анатольевича еще один раз. В. И. Подлесская решила осуществить то, что не удалось завершить И. Ф. Вардулю, и написать, наконец, коллективную японскую грамматику. Старостин снова должен был писать там фонетику и акцентуацию. На 8 сентября в РГГУ была назначена первая встреча авторского коллектива. У всех не хватало времени, я опоздал, Старостин куда-то торопился, и мы столкнулись на лестнице. Переговорили около минуты о распределении функций, потом разбежались: он куда-то помчался бегом, а я пошел договариваться с Подлесской. Потом я его видел только на похоронах, а фонетический раздел грамматики, которая, слава богу, уже издана, пришлось компилировать из прежних публикаций Старостина.

Сентябрем 2005 г. датируется ныне опубликованное письмо Сергея Анатольевича нобелевскому лауреату М. Гелл-Манну по поводу предполагавшегося международного проекта «Эволюция человеческих языков» (с учеными иных специальностей часто бывало легче находить общий язык, чем с лингвистами). В четверг 29 сентября Старостин сделал доклад на Ностратическом семинаре, а в конце следующего дня провел занятие со студентами в РГГУ (я одновременно читал лекцию там же, но в другом корпусе, и узнал о случившемся лишь на другой день). После занятия они остались вдвоем с О. А. Мудраком. Вдруг Старостин сказал, что ему плохо, и упал. «Скорая помощь» могла лишь констатировать смерть. Вскрытие показало, что у него уже был перенесенный на ногах инфаркт, а причиной смерти стал тромб.

Старостин был среди его современников единственным, кто одновременно занимался японским и китайским языком. Как я упоминал в очерке «Трудное плавание по течению», последним его предшественником здесь был Н. И. Конрад. Учеными они были совершенно разными и по научной школе, и по интересам, но вот такое совпадение: умерли они в один день 30 сентября и чуть ли не в тот же час, только Старостин на 35 лет позже.

Не помню за последние годы столь многолюдных похорон. Все, даже знавшие о научной деятельности Старостина лишь понаслышке, понимали, кого потеряли. Безусловно, если бы Старостин вел более размеренную жизнь и следил за здоровьем, он бы мог прожить больше, чем 52 года. В. В. Иванов, вспоминая, как его младший коллега отводил три дня на изучение диалекта, считает, что он мог интуитивно чувствовать недостаток отпущенного ему судьбой времени. Такое заключение трудно как доказать, так и опровергнуть.

Коллектив, основанный Старостиным, продолжает существовать, работа идет. Каждый из его бывших сотрудников – сильный специалист по той или иной семье или группе языков, у них уже есть собственные ученики, но сможет ли кто-нибудь, кроме него, охватить все изучаемые семьи и связать их воедино? Вся жизнь Сергея Анатольевича была подчинена большой страсти: дойти до «языка Адама», пусть пока так и не известно, был ли он на самом деле.

Об отце
(М. А. Алпатов)

О своем отце Михаиле Антоновиче Алпатове (1903–1980) я мог бы сказать словами его ровесника (моложе отца на три месяца) Аркадия Гайдара: «Обыкновенная биография в необыкновенное время». У его поколения молодость пришлась на бурную эпоху, судьба независимо от воли человека делала самые неожиданные повороты. Из его друзей детства и юности многие не дожили до сорока, кто погиб в одну из войн, кто в коллективизацию, кто «в репрессию» (как было написано в музее енисейской деревни Ворогово про первого председателя местного колхоза). А те, кто, как отец, дожили до послевоенных лет, обычно, как и он, после этого жили более или менее спокойно,

без больших событий, и уходили из жизни от старческих болезней в мирные («застойные», как потом стали говорить) времена (до новых катаклизмов из них мало кто дотянул). Судьба отца четко делится на два почти равных периода: до Отечественной войны включительно и после. Первый период богат событиями, второй прошел в основном за письменным столом.

Михаил Антонович родился 7 (20) ноября 1903 г. в казачьем хуторе Сибилёве Митякинской станицы Донецкого округа Области Войска Донского. Теперь это Каменский район Ростовской области. Он был старшим из шести детей Антона Даниловича (1883–1964) и Агриппины Дмитриевны (1885–1975) Алпатовых. Мой отец никогда не скрывал свое казачье происхождение. Наоборот, он очень гордился тем, что он казак и именно донской казак.

Обычное крестьянское детство, о нем отец любил вспоминать, многое вошло в роман «Горели костры», изданный им в 1970 г. Как раз тогда в Сибилёве открылась приходская школа, и он отучился положенный срок у учителя Степана Васильевича. Потом он изобразил этого учителя в романе, сохранил ему даже подлинные имя и отчество, но приукрасил биографию, сделав революционером. На деле учитель не занимался политикой и был горьким пьяницей. Но он был добрым человеком, и отец сохранил о нем хорошую память. Отец часто говорил и писал, что не раз в жизни он встречал добрых людей, которые ему помогали в сложных ситуациях.

На этом образование должно было закончиться. Как-то Антон Данилович, мастер на все руки, сказал: «Все я умею, одного не умею и не люблю – тачать сапоги. Пусть Мишка будет сапожником». И он уже договорился с местным сапожником, что по окончании полевых работ мальчик пойдет к нему учеником. Но это было лето 1914 г., отец Михаила ушел на войну, мать с детьми вернулась к отцу Дмитрию Петровичу Алпатову (они были однофамильцы с зятем), а тот был совсем другим человеком (внук тоже изобразит его в романе). Сам он не получил никакого образования (умел только расписываться), но уважал «ученых людей» и хотел, чтобы его внук учился дальше. Обучение у сапожника не состоялось. Но вряд ли бы что получилось, если бы не подвернулся случай.

Летом 1915 г. по хуторам был объявлен набор в Каменскую мужскую гимназию. У нас историки мало пишут о реформах в российской системе образования, происшедших перед самой революцией, а если пишут, то не всегда точно: например, приписывая реформы П. А. Столыпину, который тогда уже четыре года лежал в могиле. Инициатором же их был на самом деле

министр народного образования граф П. Н. Игнатьев. Ограничения для «кухаркиных детей», действовавшие три десятилетия, были отменены, и принимались меры, которые дали бы возможность способным детям из «простых» получить образование. «Игнатьевские гимназисты» потом заняли заметное место в советском обществе, достаточно назвать две фамилии: Шолохов и Брежнев. Из Сибилёва Степан Васильевич порекомендовал троих, все они поступили в гимназию. Оба товарища сохраняли дружбу с отцом и на моей памяти, один стал инженером-строителем, начальником стройуправления, другой – учителем, отец пошел дальше всех. А из его братьев и сестер и из всех других его друзей детства никто не получил образование выше начального. Так что его судьба в первый раз была определена добрым человеком – учителем.

Гимназия в окружной Каменской станице (ныне город Каменск-Шахтинский) значила для деревенского мальчишки очень много. Еще недавно ходил за плугом и пас скот, а теперь учил латынь и немецкий. Латынь он с тех пор любил всю жизнь и через много лет, когда я был студентом, гонял меня по всем склонениям и спряжениям. Помимо школьных уроков он учился играть на мандолине и рисовать (долго мечтал стать художником). Любимым его педагогом стал Митрофан Петрович Богаевский, директор гимназии и учитель истории, кадет по взглядам. Его называли «донским златоустом». В первые месяцы гражданской войны он станет правой рукой атамана Каледина и в феврале 1918 г. будет красными расстрелян (в «Тихом Доне» он упоминается). Став коммунистом, отец всегда вспоминал о нем с большим уважением. Именно после его уроков гимназисту впервые захотелось стать историком. Но до осуществления мечты было еще много лет.

Началась гражданская война. Гимназисты видели и Каледина, и Краснова, а бой под Глубокой, описанный у Шолохова, гремел совсем рядом. Отец много слышал про этот бой от разных его участников и потом часто рассказывал, что Шолохов в описании боя много напутал. Последней его прижизненной публикацией стал рассказ об этом бое, вложенный в уста одного из героев романа «Горели костры», он мечтал о второй книге романа – про Гражданскую войну, но успел написать лишь этот фрагмент. Весной 1919 г. занятия прекратились, пришлось вернуться на хутор. К этому времени дед умер, снова командовать в доме стал Антон Данилович, вернувшийся с фронта, человек властный и упрямый. А мимо Сибилёва, отступая, дважды проходила армия Деникина. Антон Данилович свое уже отвоевал и вместо себя отправлял старшего

сына. Первый «отступ» летом 1919 г. оказался коротким, быстро удалось прийти домой. Второй раз деникинцы отступали уже окончательно в конце 1919 г. Отец, которому только что исполнилось шестнадцать лет, ушел из дома с родительскими конями и подводой в обозе армии Деникина. То ли за три, то ли за четыре месяца ему пришлось отступать от Сибилёва до Новороссийска.

Белую армию Михаил увидел уже в период ее разложения. Холод, голод, вши, развал дисциплины и чудовищная озлобленность солдат и офицеров. Немногих попадавших им в руки красных пытали и убивали. В самом конце пути украли подводу и коней. Наконец, в марте 1920 г. белые оказались прижаты к Черному морю. Ночь под Новороссийском они назвали «ночью Страшного суда». Отец спустя много лет говорил моей матери, что это была самая тяжкая ночь в его жизни. Масса народа пыталась погрузиться на не очень большой корабль. Сели в основном «господа офицеры», для большинства места не хватило, корабль отправился, толпа бросилась вплавь, пытаясь забраться на борт. И тогда ударили по толпе из корабельных орудий. Били по своим! Это нельзя было уже никогда забыть.

Оставшиеся на берегу без всякой надежды ждали появления красных. Думали, что всех убьют. Случилось иначе. Кого-то отправили под трибунал, но многим предложили вступить в Красную Армию (вспомним Григория Мелехова), а мальчишек, вроде моего отца, красноармейцы обогрели, накормили и отпустили домой. Опять встретились добрые люди! Все могло бы быть иначе, Михаил мог сесть на тот корабль и оказаться в эмиграции. Но получилось именно так: 16-летний юноша увидел у белых все самое худшее, а встреча с красными оказалась счастливой. И неудивительно, что он сделал эмоциональный выбор в пользу красных на всю жизнь. С большими приключениями, то пешком, то на подножках и в товарных вагонах, он только к лету добрался до своего хутора. По пути было много приключений, но и тут иногда попадались добрые люди.

Отец любил рассказывать о самых разных событиях своей жизни, но о том, что побывал у белых, пусть не в строю, а в обозе, конечно, должен был молчать. Я ни разу ничего об этом не слышал. А вот моей матери он рассказал всю историю единственный раз, вскоре после того как они соединились, а она поведала мне о ней уже после смерти отца. Но события эти его волновали, а поскольку он был не только историк, но и писатель, то уже в 70-е годы решился их описать. Получилась повесть «Вадимка», завершенная примерно за год до смерти и изданная

посмертно в 1985 г. По-моему, это лучшее из его художественных произведений. Он пишет о юноше Вадимке из хутора Козорезовки, но легко почувствовать, что книга автобиографична. Сам он называл повесть «книгой о доброте», хотя посвящена она недобрым временам.

Вернувшись в Сибилёв, Михаил Алпатов вскоре вступил в комсомол и был зачислен в Часть особого назначения (ЧОН) по борьбе с бандитизмом. Гражданская война на Дону кончилась, но казаков, недовольных новой властью, было много (опять можно вспомнить «Тихий Дон», теперь уже самый его конец). Шла жестокая с обеих сторон борьба, никто не ценил человеческую жизнь, отец рассказывал о том времени много страшного. Далеко не все из этого вошло в повесть «Вадимка». Если первая ее часть, посвященная пути ее автора с Дона в Новороссийск и обратно, по-видимому, очень близка к реальности, то вторая, о ЧОН, несколько приглажена по сравнению с устными рассказами, к тому же добавлена любовная история Вадима, которой у Михаила на самом деле не было. Во всяком случае, о его увлечениях до техникума я ничего не знаю. И не знаю, убивал ли он людей (в повести юноша убивает бандита, но не уверен, что это соответствовало истине).

Вот один из эпизодов того времени. Как-то отец поздним вечером шел один, без оружия. Его нагнали конники, он понял, что это бандиты. Силы были неравные. Но бандиты его не знали и потребовали документы. В кармане у него лежали удостоверение ЧОН, комсомольский билет и справка о воинской обязанности. При предъявлении любого из первых двух документов немедленная смерть. Надо было вытащить именно справку о воинской обязанности, и он ее вытащил. Тут уж никаких добрых людей, просто повезло.

В те годы отец не только боролся с бандами, но и три года учил детей в начальной школе, сначала на Сибилёве, потом на хуторе Грачики. Но хотелось учиться дальше. Райком комсомола дал ему летом 1923 г. направление в педагогический техникум в Ростов. Но разъярился Антон Данилович, для которого любая «легкая» работа была невыносима (одна из его дочерей кончила всего один класс и была практически неграмотна, потому что отец забрал ее из школы, когда узнал, что во втором классе родители должны покупать тетрадки). Он заявил сыну: «Я думал, из тебя выйдет мастер, а из тебя выходит босяк!». Они крепко поругались и помирились только через тридцать лет.

В Ростове по комсомольскому направлению отец смог без экзаменов оформиться сразу в три учебных заведения: университет, педагогический техникум и художественное

училище. Но дальше надо было выбирать, а тут в техникуме его избрали в студенческий комитет. Он решил, что «нельзя ставить личное выше общественного», и предпочел техникум. Потом он очень жалел об этом выборе, сильно отдалившем завершение его образования. Особенно ему было жалко, что он не стал художником (уже в техникуме два его сокурсника решили ехать в Москву во ВХУТЕМАС, он чуть не уехал с ними, но опять общественная работа не позволила, из двух друзей один начал потом становиться известным скульптором, но рано погиб на войне). Правда, позже появилось самоутешение: он говорил, что если бы выбрал университет, то наверняка бы хорошо учился и остался преподавать, а в 1937 г. там значительную часть профессуры, особенно «выдвиженцев», расстреляли.

Но годы техникума и комсомольской юности он потом вспоминал тепло. Жить было трудно и голодно, но весело. Тогда было развито студенческое самоуправление, и считалось нормальным активное вмешательство студентов, особенно комсомольцев, в учебный процесс и учебные планы. Алпатов был одним из лидеров этой деятельности. Часть его друзей погибла в 1937 г. и на войне, но с теми, кто остался, он дружил всю жизнь. Многие из них потом тоже перебрались в Москву, и почти все не ограничились техникумом и кончили затем разные вузы. Отец среди них был большим авторитетом, что я особенно почувствовал после его смерти. На сороковой день собралась группа его друзей по техникуму, мы поехали на Ваганьковское кладбище. Там в тот день было не пробиться: это одновременно оказался первый день рождения В. Высоцкого после его смерти. И один из друзей сказал: «Вот наш умница лежит, и никто его не знает, а какому-то фигляру все почести». Все с ним согласились.

Уже в техникуме отцу впервые захотелось писать. Он описал жизнь техникума, назвав свое произведение «Комсомольская бурса». Этот текст не сохранился, но через полвека Михаил Антонович снова сел писать «Комсомольскую бурсу», которая, правда, получила в итоге название «Возвращение в юность». Эта повесть, уже открыто автобиографическая, вышла в журнале «Молодая гвардия» в 1978 г. и отдельной книгой посмертно в 1983 г.

В техникуме отец пережил какую-то трагическую любовную историю, о которой он не рассказывал и которую могу восстановить лишь по косвенным данным. Похоже, что девушка погибла во время аварии ростовского водопровода, смешавшегося с канализацией, в результате чего в городе было много отравлений со смертельным исходом. Как-то он сказал: «Не называйте при мне имя Ася, оно для меня связано с тяжелыми

воспоминаниями». Видимо, так ее и звали, но теперь уже ничего не узнать. Потом он женился на другой студентке техникума, Александре Мурузовой (отец – ростовский армянин, мать – дворянка), с ней он уехал в Романовскую.

Техникум был окончен в 1927 г. Уже там у Михаила Антоновича была историческая специализация, хотя преподавать ему пришлось, в соответствии с программами тех лет, обществоведение. Пять лет он учительствовал, год в селе Белая Глина, потом в 1928–1932 гг. в станице Романовской на Дону, недалеко от тогда еще не существовавшего Волгодонска, был там директором средней школы. В Романовской он вступил в партию. Как коммуниста, к тому же более образованного, чем другие, его активно привлекали к самым различным мероприятиям. Приходилось ездить по хуторам и селам, агитировать в колхозы, выполнять хлебозаготовки. Отец любил все это вспоминать и написал позднее рассказ о том, как ему даже пришлось стать на время судьей. Вышло постановление, запрещавшее педагогов надолго отвлекать от работы. Тогда его товарищи, которых продолжали отправлять на хлебозаготовки, свалили на него все свои дела в самой станице. В том числе надолго уехал в колхозы судья, и Алпатову пришлось несколько месяцев выносить приговоры. Среди дел были весьма интересные.

Первоначально отец очень активно вел такую работу и был полностью убежден в необходимости коллективизации. Он стал ведущим пропагандистом станицы и как человек с историческим уклоном любил читать лекции с историческими примерами. Он рассказывал крестьянам, что первоначально большинство крестьянства составляли середняки, а кулаков и бедняков было немного; но с развитием капитализма середняки вымываются, небольшая их часть становится кулаками, а большинство разоряется и превращается в бедняков; предотвратить это может только вступление в колхоз. Но казаков это не убеждало, они говорили: «А, может быть, я в кулаки сумею выбиться?». И стало чувствоваться, что происходит что-то не то. Однажды Алпатов выступил против закрытия церкви, считая его несвоевременной мерой. Церковь все же закрыли, тогда к райкому прибежала толпа женщин с криками: «Открывай церкву!» («бабий бунт», по Шолохову). Кто-то при этом заявил: «Вот Алпатов – умный человек, правильно говорит!». Начались неприятности, но обошлось. И независимо от этого дела стали идти хуже. Развернулись раскулачивание, борьба с «кулацким саботажем», в еще недавно зажиточной станице начинался голод. Довольно твердые с 1920 г. убеждения отца впервые дали трещину (вторым тяжелым моментом для него станет XX съезд в 1956 г.). Надо

было искать какой-то выход.

В романе «Горели костры» его персонажи в другую эпоху и по другому поводу ведут спор о том, что лучше: делать историю или ее писать. Мне кажется, что здесь как-то отразились его собственные мысли в Романовской станице в 1931–1932 гг. Тогда отцу надоело участвовать в истории, которая не всегда развивалась так, как хотелось, и показалось, что лучше историю писать. В райкоме он летом 1932 г. получил разрешение ехать в Москву и поступать на исторический факультет МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории). В МГУ тогда не было гуманитарных факультетов, и МИФЛИ в первой половине 30-х гг. был главным центром подготовки историков, как и лингвистов.

Но со станицей было покончено не сразу. Первый сын там умер вскоре после рождения, а теперь Александра снова ждала ребенка, и брать ее в неизвестность было опасно. Отец уехал один, а зимой, в первые студенческие каникулы поехал забирать жену и новорожденную дочь. С ними все обошлось нормально, но окружающая картина была страшной. Когда отец ехал учиться, голод только начинался, а теперь в разгаре было то, что на Украине сейчас именуют Голодомором (но ведь жили в Романовской не украинцы). Стояли вымершие деревни, дети умирали за партами, а сноху его хозяйки приговорили к расстрелу за то, что она, шатаясь от голода, схватила и съела какие-то колхозные посадки (не знаю, был ли приговор приведен в исполнение). Все это я слышал от него самого. И лишь после войны он узнал, что один из его братьев умер летом 1933 г. от последствий голода.

На моей памяти отец много говорил о коллективизации. Чувствовалось, что это была и важная, и больная для него тема. И видна была двойственность его позиции. Он много знал о происходившем и многого не мог простить. Но ему нужно было убеждать окружающих и, видимо, самого себя в том, что деятельность его и его товарищей была не напрасной при всех жертвах, и проводить преобразования в деревне было нужно. В 1977 г. он об этом опубликовал статью в журнале «Дон» под названием «Банальная политграмота».

После зимы 1933 г. отец надолго потерял связь с Доном. Лишь после войны к нам стали оттуда приезжать его родители, к тому времени разошедшиеся. На вопрос о том, как живут сибилёвцы, моя бабушка махнула рукой и сказала: «Пьют да воруют». Михаилу Антоновичу тяжело было слышать от матери такое, и он не торопился на родину. Лишь в последнее десятилетие, после выхода в свет романа «Горели костры», он

начал снова ездить на Дон, где еще жила его мать, был и в Сибилёве, и в Романовской. Его там тепло принимали как писателя-земляка, устраивали в его честь читательские конференции. А выход романа немного помог уже угасавшему Сибилёву. Именно благодаря роману туда провели асфальтовую дорогу и пустили автобус. В 70-е гг. жить на Дону стало лучше, чем после войны, и отец радовался: он мог считать, что его труды все-таки были не напрасны.

А в Москве началась совсем другая жизнь. Михаил Антонович поздно получил высшее образование: поступил в институт в 28 лет и закончил его в 33 года. Но учился он хорошо, что-то осталось от гимназической подготовки, но и старания было много, очень хотелось наверстать упущенное. Преподавательский состав МИФЛИ был неровен, но все-таки много было ярких и интересных людей. Он любил потом рассказывать про П. Ф. Преображенского, В. С. Сергеева, Е. А. Косминского, Н. А. Куна, Н. А. Машкина (у которого писал диплом) и других. Специализировался он по античной истории, возможно, сказывалась любовь к латыни. В МИФЛИ он приобрел новых друзей, со многими из них он, как и с друзьями по Ростову, поддерживал отношения до конца жизни. А в семье у него уже были дочь Нана (Нинель) и сын Игорь. После скитания по общежитиям удалось приобрести дачный участок в подмосковном Быкове, где Александра Мурадовна устроилась в школу и проработала там потом много лет, была завучем. В 1937 г. отец окончил МИФЛИ и был зачислен в аспирантуру, но учиться ему тогда не пришлось.

Как он потом рассказывал, лето 1937 г. он лежал в Быкове в гамаке, строил планы, а вокруг его участка ходил наблюдатель, фиксируя всех входящих и выходящих. К тому времени арестовали его друга с донских времен Николая Жарикова, тоже переехавшего в Москву. В доносе было сказано: «Жариков ругал товарища Сталина, а Алпатов с ним спорил». То и другое соответствовало действительности, причем Жариков, безусловный коммунист по взглядам, говорил о вожде примерно то же, что потом скажет Хрущев. В первые дни учебного года началось персональное дело Алпатова о «притуплении классовой бдительности» (надо было не спорить, а сообщить куда следует). Стоял вопрос об исключении из партии, что обычно бывало первым этапом перед арестом. Но, как это ни покажется сейчас странным, мнения коммунистов МИФЛИ разошлись, и снова на пути, казалось бы, обреченного аспиранта оказались добрые люди. Особенно ему помог профессор Алексей Петрович Гагарин, по словам отца, человек малообразованный, но хороший.

Благодаря нему первоначальный вердикт об исключении из партии райком заменил «строгим выговором с занесением». Но из аспирантуры отца исключили. Добрые люди ему посоветовали уехать из столицы и пойти в Наркомпрос за направлением куда-нибудь. Там по коридорам ходили посланцы из периферийных вузов и искали людей для заполнения преподавательских вакансий, образовавшихся в связи с арестами. Отца нашел представитель Сталинградского пединститута и предложил ехать с ним. Михаил Антонович предупредил о строгом выговоре, тот ответил: «Так не исключили же!». Вскоре, в том же сентябре, они уехали в Сталинград. Потом отец говорил: «Тогда меня потянуло за штаны, но отпустило». Жариков погиб, а его дочери отец в 1952 г. помогал поступить в институт.

В Сталинграде претензий к нему больше не было, но вынужденный отъезд разрушил его семью. Александра Мурадовна не могла ехать в неизвестный город с маленькими детьми и терять работу. В Сталинграде у Михаила Антоновича появилась другая жена, а первая семья распалась (отец старался поддерживать отношения с детьми и платил алименты не до 18 лет, а до получения высшего образования). Дети его стали в итоге докторами наук: Нана – химик, а умерший несколько лет назад Игорь был специалистом по авиационной и космической медицине, экспертом по расследованию крупных катастроф, в том числе гибели Ю. А. Гагарина.

Если Александру Мурадовну я не раз видел, то вторую жену я не видел никогда и не знаю даже, какая у нее была профессия. Знаю лишь, что звали ее Мария Федоровна и, по словам моей тетки (сестры матери), она была очень красива. С ней он вернулся в Москву и жил до отъезда оттуда в начале войны. Детей в этом браке не было. А потом, когда появилась моя мать, Мария Федоровна долго не давала развода, и мои родители официально зарегистрировались лишь в 1953 г., когда мне было 8 лет.

В Сталинграде по древней истории в институте был преподаватель (А. И. Дмитрев), но некому было читать историю средних веков. Отец, хотя и слушал общий курс истории средних веков у Е. А. Косминского, но никогда по ним не специализировался. А где взять литературу? Накануне его приезда в институте, не имея возможности отделить сочинения «врагов народа» от остального, просто сожгли библиотеку. Однако, к счастью, среди немногого уцелевшего оказалась энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Факты можно было набирать оттуда, а затем самостоятельно давать им марксистскую интерпретацию. Готовиться к занятиям приходилось, особенно поначалу, всю ночь, а халтурить отец не умел. Утром он клал

голову под кран с холодной водой и шел на лекцию. С тех пор он на всю жизнь полюбил Брокгауза и Ефрона и, работая в начале 50-х гг. в энциклопедии, сумел по знакомству купить полный комплект, которым потом пользовался, а теперь пользуюсь я.

В Сталинграде Михаил Антонович проработал три года. В 1940 г. при помощи того же А. И. Гагарина он вернулся в Москву, преподавал на Ленинских курсах (его учеников потом послали политруками на фронт, и почти все погибли) и восстановился в аспирантуре. Но поскольку он привык уже к средним векам, то стал аспирантом по этой тематике у Е. А. Косминского. Некоторое время он учился и у только что вернувшегося из эмиграции Р. Ю. Виппера, о беседах с которым потом любил вспоминать.

16 октября 1941 г. отец ушел из Москвы в рядах ополчения. Он потом часто вспоминал, как они целый день шли, казалось, куда-то совсем далеко, а на деле дошли только до станции Востряково (теперь это у кольцевой автодороги), как на другой день его определили шофером подвозить снаряды (на слова, что он не умеет водить, лейтенант ответил: «Ничего, побываешь раза два в канаве и научишься!»). Но за баранку он не сел и на фронт так и не попал, и о дальнейшем периоде я знаю очень мало. Уже через день или два он был комиссован по болезни сердца и больше никогда не служил в армии.

Некоторые из людей, знавших отца в годы войны, в том числе моя тетка, потом его осуждали за пребывание всю войну в тылу. Тетка говорила: «Всех мужчин, в конце концов, забрали, даже ссыльных, и только Михаил Антонович остался!».

Болезнь сердца у отца действительно была: из-за нее его в первый раз не взяли в армию после техникума, и от сердца он спустя много лет и умер. Но другие в его ситуации добивались вопреки врачам права умереть за Родину, а добивался ли он? Он ведь побывал в армии в гражданскую, а ЧОН тоже был военной службой особого рода, где приходилось рисковать жизнью и, если надо, отнимать жизни у других. Теперь же человек призывного возраста не воевал. Объективно мой отец повторил судьбу своего отца, который прошел Первую мировую, в начале 1918 г. перешел со своим полком на сторону красных, но когда армия развалилась, уже не пошел ни к Буденному, ни к Деникину, а остался дома.

Михаил Антонович снова уехал из Москвы один (ко второй жене он больше не вернулся), заезжал в Казань, куда был эвакуирован Е. А. Косминский, и в итоге оказался в Оренбурге, тогда называвшемся Чкаловым. Там он прожил два года. Через товарища по МИФЛИ С. П. Сурата он стал инструктором обкома партии, выполняя разные поручения первого секретаря Г. А.

Денисова. Тогда в русском языке еще не было слова *спичрайтер*, но именно такие функции он выполнял при Денисове (выдвиженце конца 30-х гг., когда заполнялись многочисленные вакансии, на семь лет моложе отца). В сохранившихся письмах описывается подготовка многочисленных речей «первого». Но, как и в Романовской, много времени и сил отнимали поездки уполномоченным по области, надо было ездить по колхозам, выбивая поставки зерна и скота. Как-то он спросил Сурата, зачем вообще уполномоченные нужны, мы ничего не знаем о сельскохозяйственном производстве, а должны давать указания. Тот ответил: «Мы нужны самим фактом своего существования. Председатель колхоза знает, что есть человек, который может приехать и его разогнать, вот и старается». Приходилось ездить по степи в сорокаградусные морозы, ночевать в избах вместе с коровами.

Но одна из таких поездок круто изменила его жизнь. В городе Бугуруслане Чкаловской области он встретил будущую мою мать Зинаиду Владимировну Удальцову. Она была с матерью и сестрой эвакуирована из Москвы и преподавала в местном учительском институте. В Москве они оба к началу войны были аспирантами Е. А. Косминского, но в разных вузах (мать в МГУ), и до 1942 г. друг друга не знали. Отношения стали развиваться очень бурно, чему свидетельством обширная переписка между Чкаловом и Бугурусланом в промежутках между редкими встречами. Письма матери написаны размашистым и с трудом читаемым почерком, а отец всю жизнь писал почти каллиграфически. Разница в возрасте почти пятнадцать лет, он женат, она разведена с первым мужем, но в Бугуруслане имела возлюбленного, потом ушедшего на фронт. Но чувства, как показывают и письма, и последующий более чем тридцатипятилетний брак, были настоящими.

Мать первая летом 1943 г. вернулась в Москву и стала через знакомых добиваться перевода туда любимого человека. Михаил Антонович приехал в Москву, которую с тех пор не покидал, в ноябре 1943 г. Трудностей поначалу было много. Прежняя жена не давала развода. Отец Зинаиды Владимировны долго не принимал женатого зятя и в первый раз не пустил его в квартиру, отношения нормализовались лишь с появлением внука. Московской прописки не было, сначала не было прописки вообще, потом первая жена временно прописала его в Быкове, а в квартире тестя на Конюшковской улице удалось легализоваться лишь после войны. Из-за отсутствия прописки не сразу удалось и устроиться на постоянную работу. Лишь с осени 1944 г. Михаил Антонович начал преподавать в Высшей партийной школе, где уже работала Зинаида Владимировна. Там он стал заместителем

заведующего кафедрой всеобщей истории.

Хотелось заниматься наукой, но опять не всегда это получалось. Выговор давно был снят, но хорошая анкета (член партии, русский, из крестьян) скорее мешала научным занятиям: приходилось исполнять то одни, то другие поручения. Сначала четыре года преподавания провинциальным, часто малограмотным партийным работникам и поездки по стране для приема экзаменов у заочников. И здесь сохранились письма, иногда с любопытными деталями из жизни страны тех лет. Мне как лингвисту запомнился фрагмент его письма жене из Калининграда от 26 декабря 1946 г.: «Русский и немец бойко торгуют; каждый из них говорит на своем языке, но друг друга понимают. Вообще же здесь складывается какой-то рязанско-прусский язык, – немцы в разговоре между собою пересыпают свою речь русскими словами, а русский, говоря с русским, то и дело прибавляет – ну, gut; bitte и т. д. Или – запрашивать fűnf hundert рублей, это, братец ты мой, очуметь можно. Или: Курносая, wieviel kostet твое барахло? Кипящий котел, где сплавляются две культуры, – это рынок».

Долго не было времени на диссертацию. Михаил Антонович страдал из-за того, что жена, несмотря на рождение сына, уже стала кандидатом, а он еще нет. Впоследствии она все время его обгоняла: раньше стала и доктором наук, с 50-х гг. почти всегда зарабатывала больше его, а потом (в 1976 г.) мать достигла высоты, до которой отец не добрался, будучи избрана членом-корреспондентом Академии наук. Все это плохо согласовывалось с воззрениями на роль женщины, усвоенными в Сибилёве, и создавало душевный дискомфорт. Чувствовал он и то, что его жена была в научных кругах своей, а в нем многие интеллигенты в нескольких поколениях видели выходца из деревни. Он уважал своего учителя Е. А. Косминского, но ощущал его высокомерие и отношение к нему как к человеку «не своего круга». Если мать дружила с Косминским до его смерти, то отец после защиты диссертации, которую писал самостоятельно, никогда больше с ним не поддерживал отношений.

Чтобы завершить диссертацию, отец на несколько месяцев добился освобождения от преподавания и прикрепился к аспирантуре Академии общественных наук при ЦК. Там он в декабре 1947 г. в 44 года защитил диссертацию на тему «Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в.», через два года вышла одноименная книга, ставшая первой книгой Михаила Антоновича (переведена на польский язык). Основными авторами, рассмотренными в книге, были А. Токвиль и Н. Д. Фюстель де Куланж. В духе времени они рассмотрены

весьма критично, для него это были идейные противники, но противники серьезные и заслуживающие уважения. На всю жизнь ему запомнилось высказывание Токвиля о том, что дворянин не выбросит на улицу старого слугу, а фабрикант без зазрения совести выбрасывает на улицу рабочих, он его часто повторял и даже вставил в роман «Горели костры». Уже в 90-е гг. появилась статья о советской историографии Токвиля и Фюстеля де Куланжа, которых теперь уже стало принято почитать; идеи книги Алпатова в статье осуждались, но она была признана талантливой в литературном отношении. Отец никогда от идей этой книги не отказывался. Уже в 1959 г. ему пришлось ненадолго вернуться к этим сюжетам: ему вдруг велели срочно написать для «инстанций» справку о том, кто такой Токвиль. Оказывается, президент США Д. Эйзенхауэр в одной из речей, критикуя отсутствие демократии в СССР, вспомнил определения демократии у этого историка, признанные на Западе классическими. Н. С. Хрущев решил ответить президенту, а поскольку отец чуть ли не единственным у нас всерьез писал о Токвиле, то он должен был писать справку, где повторил выводы своей диссертации. Все это потом было озвучено Хрущевым.

Но и после защиты диссертации от науки отвлекали. Через несколько месяцев, в начале 1948 г. отца назначили заведующим исторической редакцией Издательства иностранной литературы (позднее «Прогресс»). Весной 1951 г. он перешел в Большую советскую энциклопедию, тогда выпускалось ее второе («синее») издание, на должность помощника главного редактора. Главным редактором был физик академик Б. А. Введенский, плохо разбиравшийся в гуманитарных науках и мало в них вникавший (лишь однажды он пытался изъять из выходившего тома репродукцию «Спящей Венеры» Джорджоне на том основании, что обнаженную женщину могут увидеть дети, гуманитарная часть Главной редакции все же Венеру отстояла). Поэтому соответствующая часть издания в течение трех лет в основном лежала на Михаиле Антоновиче. 1951–1954 гг. были, пожалуй, пиком его карьеры, должность давала блага вплоть до единственной в его жизни персональной машины с шофером Колей.

Но и издательская, и энциклопедическая деятельность ему быстро надоели, хотелось писать. Уже в эти годы он по совместительству на полставки работал в академическом Институте истории, сначала в секторе истории средних веков, а потом во вновь организованной группе по написанию многотомных «Очерков по истории исторической науки в СССР». А 1 сентября 1954 г. Михаил Антонович Алпатов по собственному

(действительно) желанию ушел из энциклопедии на полную ставку в Институт истории с сильным понижением в зарплате и уровне благ. Институт стал его единственным местом работы до конца жизни (после разделения института в 1968 г. на две части он работал в Институте истории СССР). В ранние годы он много преподавал (любил говорить, что прошел все ступени преподавания: в начальной школе, средней школе и вузе), но после ухода из Высшей партийной школы в 1948 г. никогда не поднимался на кафедру: письменный стол его привлекал больше.

Еще в 1951 г. вышла его вторая книга («брошюра», как он ее всегда называл), изданная вскоре на нескольких языках стран соцлагеря, включая китайский (в детстве я впервые увидел книгу, заполненную непонятными знаками и, что особенно поражало, открывавшуюся с непривычной стороны). Но автор ее в отличие от первой книги не любил и впоследствии даже не включал в списки печатных работ. В наши дни устрашающим кажется само ее название «Американская буржуазная историография на службе поджигателей войны», хотя для 1951 г. оно было обычным. Это была заказная работа, связанная с деятельностью в Издательстве иностранной литературы; к тому же работа основывалась на рефератах американских книг, выполненных не им, а английского языка отец не знал: в гимназии и МИФЛИ он учил немецкий и французский языки, английский тогда преподавался редко. Позже родители пытались учить у частного преподавателя этот язык, но время было упущено.

Но даже в этой худшей его книге проявился интерес Михаила Антоновича к историографии, изучению исторической науки. Оставаясь всю жизнь, разумеется, марксистом, он любил говорить: «Вот все пишут про производительные силы и производственные отношения, а где же человек? Живые люди исчезают». Его всегда влекли конкретные люди со своими особенностями, идеями и характерами, что и привело его ко второй профессии – литературе. А в исторической науке, где тогда господствовал социологический подход, живой человек в наибольшей степени мог присутствовать в историографии, где речь шла не только об идеологии тех или иных классов, но и о деятельности конкретных историков, тем самым личность историка оказывалась неустранимой. Что-то, вероятно, оставалось у отца от уроков М. П. Богаевского.

С 50-х гг. Михаил Антонович уже не занимался иностранными авторами, сосредоточившись на русских историках. На долгие годы главной его работой (параллельно с начавшейся к тому времени писательской деятельностью) стало участие в коллективном труде «Очерки истории исторической

науки в СССР». В советское время, особенно во вторую его половину, у нас очень любили обобщающие коллективные труды, в которых кратко и компактно излагалось все, что было достигнуто по той или иной проблеме. «Очеркам» придавалось большое значение, была сформирована главная редакция, которую сначала возглавлял академик М. Н. Тихомиров, а потом трудом стала руководить академик М. В. Нечкина («мать-начальница», как ее называл отец), Алпатов входил в главную редакцию на всех этапах работы. Был создан специальный сектор во главе с Нечкиной, где отец работал много лет. Работа была огромной (надо было охватить не только русскую, но и грузинскую, молдавскую, казахскую и пр. историческую науку, начиная с самых истоков) и двигалась медленно: с 1955 по 1966 гг. издали четыре тома.

Работа шла сравнительно спокойно, пока речь шла о «старых годах» (три первых тома), хотя и тут конфликтов хватало. Михаил Антонович постоянно спорил с весьма вспыльчивым Тихомировым. Тот был ученым старой школы, почитавшим С. М. Соловьева за 29 томов русской истории, и презиравшим революционных демократов, как тогда говорили. Главный его аргумент был: «Но что же Ваши Герцен с Чернышевским написали?». Отец, для которого иерархия ценностей была противоположной, горячо спорил, но все же какие-то компромиссы удавалось достигать. Но чем становилось ближе к современности, тем ситуация обострялась. Четвертый том о 20–30-х гг. писался с огромным трудом, а по поводу последних десятилетий авторы и редакторы переругались, и мудрая Нечкина поняла, что писать об этом времени еще рано (в одном выступлении она сказала: «Мы идем по минированной целине»). Работа была прервана, издание осталось неоконченным. Сектор сохранился, став сектором историографии.

Алпатов активно участвовал в многотомнике и как автор. Еще работая в энциклопедии, он по вечерам допоздна сидел за столом и писал для первого тома главу о Т. Н. Грановском. Помню, как поздно вечером, когда все уже спали, он встал из-за стола и произнес: «Кончил Грановского!» (это были первые числа 1953 г.). Для второго и третьего тома он писал о большом числе историков-медиевистов конца XIX и начала XX в., о которых часто ничего не было известно, за исключением их сочинений. И ему все его «герои», начиная с Грановского, были интересны и как личности, он ходил в Ленинскую библиотеку, читал мемуары, переписку, выискивал биографические данные, искал у них живые человеческие черты. И ему важно было, сохраняя, разумеется, марксистский подход, охватить весь спектр направлений, учесть и

либералов, и консерваторов, включая самые одиозные по тем временам фигуры. Например, он счел нужным остановиться на А. С. Вязигине, крайне правом историке, связанном с черносотенцами и расстрелянном в 1919 г. красными. Долго он выяснял биографию Л. П. Карсавина, про которого было известно, что он после эмиграции вновь оказался в СССР и после войны недолго преподавал в Вильнюсе, а дальше следы его терялись. Он посылал запросы в Вильнюс, где не могли назвать год смерти Карсавина, а потом через знакомого по МИФЛИ узнал, что тот был арестован и умер в советском лагере. Тогда этот ученый еще не был реабилитирован, однако Михаилу Антоновичу было важно включить в свою галерею историков и его. Сейчас имя Карсавина стало популярным (правда, больше пишут о нем как о философе, чем как об историке), но именно отец первым его вспомнил после полного забвения.

Однако историку хотелось иметь и собственную исследовательскую тему. Он, как и многие советские ученые его поколения, не любил «мелкотемья» и мыслил глобальными категориями. Его всегда волновала проблема славянофильства и западничества, выбора Россией своего исторического пути. Об этом он писал даже в личных письмах, а любимой его оперой была «Хованщина» Мусоргского, где он видел близкую ему историческую концепцию. И он выбрал для разработки тему «Русская историческая мысль и Западная Европа». Ему хотелось рассмотреть, как в России формировались знания о Западе и как на Западе формировались знания о России. Серия книг должна была охватить период от Киевской Руси до наших дней, Михаилу Антоновичу очень хотелось показать, как Россия долгие столетия металась между подражанием Западу и поисками собственного пути развития, пока не стала после Октября, наоборот, примером для остального мира. Тема, конечно, была очень широка, Недавно в журнале «Вопросы истории» опубликованы дневники М. В. Нечкиной, в которых о ее выборе Алпатовым написано в неодобрительном тоне: тема сама по себе интересна, но не Алпатову ей заниматься. По-видимому, она исходила, как когда-то Е. А. Косминский, из того, что человеку из деревни для ее разработки не хватит культуры.

Тем не менее, работа пошла, первая часть исследования в 1966 г. была защищена в качестве докторской диссертации (оппоненты Л. В. Черепнин, А. А. Зимин, В. Д. Королюк). Затем в 1973 и 1976 гг. вышли два тома, третий, незаконченный том вышел посмертно в 1985 г. Автор успел дойти примерно до середины XIX в. (с некоторыми пробелами). Алпатов писал «обобщающий» труд, не претендуя на открытие новых фактов и

имен и основываясь на опубликованных отечественных исследованиях. Конечно, в его подходе была вторичность и компилятивность, особенно сказывавшаяся в зарубежной части: когда-то отец штудировал Фюстеля де Куланжа в оригинале, но теперь он уже отвык от чтения иностранных текстов и брал материал из публикаций по-русски (иногда в отношении англоязычных публикаций просил моей помощи). Но оценки его были, разумеется, собственными, и свою задачу он видел в том, чтобы разрозненные фрагменты свести в общую картину.

Не будучи специалистом в данной проблематике, я не беру на себя смелость давать научную оценку этому трехтомнику. Отмечу лишь, на мой взгляд, главное. Конечно, идейная основа – марксистская, иначе быть и не могло. Марксизм был хорошо освоен в МИФЛИ, «французская буржуазная историография» XIX в. и тем более историки вроде С. М. Соловьева на его фоне казались архаикой, а современную западную историческую науку отец не знал. Кое-что он узнавал из моих рефератов (именно тогда я впервые столкнулся с именем Р. Пайпса), но ученые вроде Пайпса отталкивали явной политической ангажированностью. Чистая же «фактография» была не в его духе. В то же время постоянная его черта – стремление к максимально возможной объективности. Даже у идейно враждебных историков Алпатов искал нечто интересное и примечательное. Особенно это видно в разделах о норманнском вопросе и П. Я. Чаадаеве.

Вопрос о норманнах и происхождении русского государства всегда был больным в отечественной историографии, часто оценки подогревались политическими симпатиями и антипатиями. Но у Алпатова видно стремление избежать крайних оценок. Он указывал, что надо разграничить проблемы формирования государства и происхождения династии. Нет оснований считать Рюрика и Олега славянами, но из этого не следует, что русская государственность создавалась исключительно извне, что германцы были намного культурнее славян. А в отношении П. Я. Чаадаева Алпатов стремился преодолеть традиционные подходы к нему, основанные на единственном его сочинении – первом из «Философических писем». Оно дает основание считать его автора крайним западником, тогда как идеи Чаадаева позже эволюционировали совсем в иную, «русскую» сторону, но эта эволюция не вписывается в привычные схемы.

Конечно, сейчас во многих случаях стали приняты иные оценки. В почете крайнее западничество, противовесом ему иногда служит крайнее славянофильство, а поиски «золотой середины» как бы не ко времени. Но сейчас в Интернете я нахожу

ссылки на эти три книги, замены которым по их тематике, кажется, пока нет. Они продолжают использоваться.

Но даже в столь широкой теме отцу было тесно. Более тридцати лет в нем боролись историк и писатель. После первой «Комсомольской бурсы» много лет он был далек от сочинительства, но в 1948 г., работая в издательстве, оставшись в обеденный перерыв на рабочем месте, вдруг стал набрасывать речь казака по случаю празднования 100-летия Отечественной войны 1812 г. В 1912 г., когда ему не было и девяти лет, отец наблюдал на хуторе эти первые в его жизни публичные торжества и запомнил, что тогда говорили жители Сибилёва. Обеденный перерыв закончился, сослуживцы вернулись, и зав. редакцией порвал текст и бросил его в корзину. Но стремление писать о казаках у него осталось, и уже в следующем году появились первые наброски будущего романа.

Как и в области истории, начинающий писатель (которому было уже под пятьдесят) сразу поставил глобальную задачу: написать роман. Работа над ним заняла около двадцати лет, автор писал его ради чистого интереса, сначала не думая о публикации. Лишь в начале 60-х начались попытки пробиться в издательство «Советский писатель», поначалу неудачные. И все-таки в 1970 г. роман там вышел, а спустя три года появилось и второе издание (в 1985 г. было и третье, посмертное). Названия его менялись: то «Казачьи поколения», то «Повесть о России», то «Загоралась во поле травушка» (строка из цитируемой в романе казачьей песни), в итоге он стал именоваться «Горели костры». Менялись и композиция, и сюжетные линии, и даже время действия. С самого начала автор ставил перед собой задачу связать две главные темы: хорошо ему известный донской казачий быт и революцию. По первоначальным замыслам, действие романа должно было начинаться в дореволюционные годы, охватывать революцию и гражданскую войну и доходить чуть ли не до современности.

Конечно, такая тематика сразу заставляла вспоминать о М. А. Шолохове, тогда уже живом классике и почти земляке (Вёшенская и Митякинская станицы входили даже в один округ области Войска Донского, хотя имели некоторые различия, в том числе диалектные, что подчеркивал отец). Алпатов никогда лично не знал Шолохова, хотя еще до техникума на учительских курсах от коллег из Вёшенской слышал, что там объявился свой писатель, фамилия которого показалась отцу какой-то совсем «не писательской». Уже после выхода романа живший в Вёшенской друг отца по техникуму устроил там читательскую конференцию, отец поехал в знаменитую станицу, взяв и меня. Он ехал в

надежде встретиться с классиком и подарить ему роман, но секретарь Шолохова (тоже его знакомый еще по Ростову) не пропустил. Но существование столь крупного писателя со столь близкой тематикой, конечно, уязвляло Михаила Антоновича (к тому же он с детства усвоил казачью привычку смотреть сверху вниз на местное не казачье население, а Шолохов был не казак), отсюда он так выделял ошибки Шолохова в описании боя под Глубокой. Видимо, поэтому он, в конце концов, решил разойтись с «Тихим Доном» и начать эпопею не с предреволюционных лет, как первоначально планировалось, а с первых лет XX в., Шолоховым не затронутых, пожертвовав идеей сделать себя прототипом главного героя. В итоге роман, где Михаил Антонович в соответствии с реальным временем лежит в люльке и еще не может действовать, так и остался в пределах 1903–1905 гг.

Сильная сторона романа – в изображении казачьего быта. Как и в исторических сочинениях, перед глазами Михаила Антоновича стояли живые люди, известные ему не из книг, а из самой жизни. Почти у всех казачьих персонажей романа есть реальные прототипы. Картина перекликается с начальной частью «Тихого Дона», но не повторяет Шолохова, есть у автора и свое. Но историк часто подавлял в авторе писателя. Он старался, как тогда полагалось, давать широкую картину российских событий, перенося действие то в Киев во время всеобщей стачки, то на поля сражений Русско-японской войны, то в Петербург в день 9 января. Все это он описывал, разумеется, не по личным впечатлениям, а по историческим документам. И получалось хуже. После выхода в свет роман стал сочинением «местного значения»: как я уже упоминал, на Дону «писателя-земляка» принимали хорошо, а в Москве на него не обратили внимания.

Потом были вышеупомянутые автобиографические «Возращение в юность» и «Вадимка» (изданный также в украинском переводе). И еще несколько опубликованных рассказов на основе глав романа, не вошедших в окончательный текст, и несколько журнальных публицистических статей, часть которых составила небольшую книжку в «Библиотеке «Огонька». Две темы этих статей: призыв к писателям уважать историю и не допускать исторических ошибок и проблема «Казачество и революция». Для отца, казака и в то же время коммуниста, важно было доказать, что революция и советские преобразования были естественным выходом из той ситуации, в которой находились донские казаки, и продолжением казачьих традиций. Сейчас принято всю эту проблему оценивать прямо противоположным образом, сводя к «расказачиванию» и страданиям казаков из-за их происхождения (отец никогда не имел неприятностей по этой

причине). Этого нельзя забывать, однако судьба моего отца все-таки показывает, что бывало по-разному.

Но на Дону его вспоминают как видного выходца из казаков, и «Казачья энциклопедия» – единственная энциклопедия, куда включили статью о нем (ее попросили написать меня).

Многое осталось неопубликованным и хранится у меня, прежде всего, «Академические рассказы», юмористические картинки из жизни среды, в которой Михаил Антонович вращался во вторую половину жизни. Об одном из этих рассказов – «Полиглот» – я упоминал в очерке о С. А. Старостине. А многое он по тем или иным причинам не сохранил, в том числе яркий памфлет о Н. С. Хрущеве, написанный под впечатлением его падения, и сочиненную им лекцию профессора И. В. Лучицкого, о которой я скажу в самом конце.

Жизнь Михаила Антоновича Алпатова в последние 26 лет жизни – это в основном его исторические и литературные сочинения. Он поздно пришел в науку: диплом вуза получил в 33 года, кандидатскую диссертацию защитил в 44 года, докторскую диссертацию незадолго до 63-летия. Все его оппоненты по обеим диссертациям были моложе диссертанта, Зимин и Королюк почти на 20 лет. Хотелось многое успеть. К тому же отец (в отличие от матери, которая умела писать быстро и легко, что ей очень помогало) всегда писал трудно, медленно, трудился над каждой фразой, стремясь к совершенству.

В 50–60-е гг., впрочем, не вся жизнь отца проходила за письменным столом. В институте он первые годы принимал участие в общественной жизни, хотя в отличие от своей жены никогда не стремился здесь в первые ряды и был в институте рядовым старшим научным сотрудником, хотя мог бы по всем параметрам претендовать на руководящие должности. В середине 50-х ему как-то предложили работу в Париже в какой-то международной организации, кажется, в ЮНЕСКО, он решительно отказался. Вообще ездить куда-либо он не очень любил, а за границей (опять-таки в отличие от жены) не был никогда, не будучи «невыездным» ни по одному из параметров: просто не тянуло. В отпуск, пока я был мал, ездили на дачу, иногда, особенно позже, на юг в санаторий, чаще всего в Кисловодск, а дважды провели лето на турбазах Дома ученых, где отец имел успех умением разжигать костры. Но всюду отец брал с собой ручку, бумагу и необходимый запас книг и каждый день что-нибудь писал. Если, как на турбазах, не было стола, писал на коленях, что-нибудь подложив.

В Москве отец поддерживал отношения с друзьями былых лет, нередко принимал гостей, и постоянно у нас появлялись и

подолгу останавливались его родственники и друзья с Дона к ужасу моей матери, которая не любила этих скотников и кладовщиц. Общий язык с ними он сохранял, хотя, считая себя интеллигентом, всю жизнь (вероятно, начиная с гимназии) боролся с крепко усвоенными на Сибилёве привычками. В том числе на моей памяти он никогда не произносил нецензурную, или, как сейчас стали говорить, обсценную лексику, кроме одного случая. Когда отцу было уже под семьдесят, мы понесли с ним чинить магнитофон. Тогдашние магнитофоны были тяжелыми агрегатами, и мы с трудом несли его вдвоем в мастерскую, находившуюся в квартале от дома. Там магнитофон не взяли, да еще нас и обхамили, пришлось тащить обратно. Когда мы вернулись, разозленный отец ушел в дальнюю комнату, плотно закрыл дверь и, думая, что никто его не слышит, громко произнес в одиночестве: «…твою мать». И я понял, как ему всю жизнь было тяжело табуировать эту лексику, для меня благодаря этому оставшуюся навсегда чужой. А вот песни своего детства и юности он любил (что не нравилось матери), много их цитировал в романе, а под конец жизни любил слушать по радио передачу «Встреча с песней», где можно было услышать то «На Муромской дорожке стояли три сосны», то «Шумел, горел пожар Московский».

Ходил он и в театр, кино, одно время в Дом ученых, однажды даже выступил в «Правде» как кинорецензент по фильму о гражданской войне на Дону по мотивам Шолохова. Но в основном это относилось к периоду до начала 70-х гг. В последние годы жизни отец, чувствуя, что силы уходят, стал ограничивать себя во всем, кроме работы за письменным столом, особенно после второго инфаркта за два с половиной года до смерти (первый инфаркт в 1960 г. мало изменил его привычки). После этого он не ходил в институт и работал только дома. Отрадой был лишь пушистый кот Ферапонт, которого он даже изобразил в романе (точнее, два кота: после смерти первого скоро появился второй, в точности такой же внешности). Обычно кот сидел на столе и следил за работой. Отвлечением был еще телевизор, а летом в последние годы отец ездил в академический санаторий «Узкое» на территории Москвы, куда он попадал в качестве мужа члена-корреспондента.

Но жизнь не всегда давала возможность сосредоточиться на одной науке. В институте и вокруг него шла борьба партий, в которой мои родители, безусловно, входили в партию официальную («черносотенную», как ее именовали самые непримиримые из противников). Отца, видевшего своими глазами всю советскую историю, в том числе и немало плохого, толкала в

эту партию вся его биография, начиная с того дня, как он видел, как белые стреляли по своим. Не все в его взглядах сходилось в цельную картину, особенно в отношении коллективизации.

Двойственной была его позиция и по разоблачению «культа личности». Сталина он не раз при мне оценивал очень резко, и все-таки время Сталина для него было частью его жизни, его биографии, и он не мог признать его потраченным зря. Мои родители в середине 50-х гг. однозначно положительно восприняли прижизненную и посмертную реабилитацию. Отец сам участвовал в реабилитации своего ученика по Романовской, вернувшегося «оттуда», сочувствовал другим возвратившимся и старался им помочь. Когда ему при мне сказали, что один из его сокурсников по МИФЛИ писал доносы, он прореагировал так: «Нет больше у меня такого друга», и с тех пор я дома эту фамилию не слышал. И в то же время отец, мать и часть их друзей резко отрицательно отнеслись к «секретному» докладу Н. С. Хрущева на XX съезде: «Выставил нас на посмешище перед всем миром», – говорил он. В обнародованных Хрущевым фактах для отца не было особенно ничего нового, а в «измену» своих арестованных друзей он и раньше не верил, но складывавшаяся из доклада картина целого периода его жизни была для него непереносима. Он почувствовал, что теперь СССР уже никогда не будет образцом мироустройства для других стран, как раньше (в чем не ошибся, и последующие события в Венгрии и других странах это подтвердили). С тех пор он активно не любил Хрущева, постоянно замечал у него некультурность и необдуманность решений (хотя, конечно, справку о Токвиле для него добросовестно написал), очень радовался его падению и написал даже памфлет.

Потом отцу нравился А. Н. Косыгин (умерший с ним в одну ночь), к Л. И. Брежневу он относился сначала нейтрально, потом все более раздражался из-за его немочи и особенно из-за подхалимажа вокруг него. Внутри его шел процесс осмысления происходящего, его реакцию не всегда можно было предугадать. Вот два примера. В 1976 г. я женился, и мы с женой снимали квартиру, но прописаны были с моими родителями на 2 Песчаной улице, где наша семья жила с 1952 г., там же оставался и мой паспорт. В день очередных выборов мне очень не хотелось ехать на другой конец города ради голосования, и я по телефону попросил отца взять мой паспорт и проголосовать за меня. И вдруг он закричал в трубку: «Какой же ты коммунист к ядрене-фене? Сейчас же приезжай!» (я уже был членом партии). Пришлось ехать. Но незадолго до его смерти исполнилось 50 лет его пребывания в партии, я помнил эту дату и заехал на

последнюю квартиру родителей (в 1979 г. они переехали на Ленинский проспект, а квартиру на 2 Песчаной оставили нам). Я поздравил отца, но он вдруг прореагировал очень сухо, я почувствовал, что этот юбилей ему совсем не был приятен. Почему?

Идейная борьба среди советской интеллигенции, в том числе среди историков, после короткого всплеска в 1956–1957 гг. утихла до конца эпохи Хрущева, но с середины 60-х гг. резко усилилась. Начались дело Синявского и Даниэля, потом подписная кампания, позиции сторон резко поляризовались. Отец старался на все это смотреть с исторической точки зрения. В истории с Синявским и Даниэлем он увидел, прежде всего, возрождение спора славянофилов и западников. Ему долго казалось, что после революции этот спор уже решен жизнью и почвы не имеет, и вдруг появились новые западники, зачем-то апеллирующие к Западу при обсуждении российских вопросов! Он написал целый текст и послал его Д. С. Лихачеву, которого знал через жену и мнения которого ценил высоко. Дмитрий Сергеевич ответил (письмо сохранилось), что никакие это не западники и не писатели, и на такие незначительные фигуры не стоит обращать внимания.

Но конфликты шли уже в институте, где на некоторое время сверхлиберальную позицию занял партком во главе с В. И. Даниловым, в котором активную роль играли А. М. Некрич и М. Я. Гефтер (потом первый был исключен из партии, а затем эмигрировал, а второй вышел из партии сам). Партком начал вести борьбу против якобы намечавшейся реабилитации Сталина (которой в итоге так и не произошло). Михаил Антонович, очень не любивший склоки, был вынужден вмешаться, естественно, не на стороне парткома, который в итоге был раскассирован и сменен другим. Впрочем, это, пожалуй, был последний эпизод подобного рода для отца, в 70-е гг. он старался держаться подальше от конфликтов, щадя силы и время. Но симпатии его, разумеется, были не на стороне того лагеря, который позже стал именоваться демократическим и который он охарактеризовал донским словом *кубло*, что значит ‘гнездо гадюк’. Когда кто-то из «кубла» уезжал за рубеж, отец радовался: одной проблемой меньше.

В институте к нему относились в целом хорошо, даже часть «кубла», тепло о нем вспоминали и после смерти, а дожившие до наших дней сослуживцы вспоминают и сейчас. В нем ценили доброжелательность, стремление помочь людям (иногда в ущерб себе: в 1949 г. уволенный за «пятый пункт» историк попросил у отца взаймы крупную сумму денег, тот дал и до конца жизни долг

не получил, хотя историк давно был восстановлен на работе). Его шутки и остроты передавались по институту. В 2003 г. столетие со дня рождения М. А. Алпатова отмечали в его институте (пригласили и нас с ныне покойным братом). Вел заседание директор института А. Н. Сахаров. При жизни Михаила Антоновича у них были хорошие отношения, потом взгляды Сахарова сильно изменились, но память о покойном он сохранил.

В свой последний день 17 декабря 1980 г. отец написал и отослал, сам дойдя до почтового ящика возле соседнего дома, первую порцию новогодних поздравлений друзьям, которые всегда писал в большом количестве. Потом для третьего тома своего труда писал уже подходившую к концу главу о Шлёцере. К вечеру вернулась с работы жена и рассказывала обо всех тогда волновавших событиях в Польше, где набирала силу «Солидарность» (оба к ее деятельности относились резко отрицательно). Уже перед сном Михаил Антонович пошел кормить Ферапонта и вдруг почувствовал, что задыхается, сначала ему показалось, что простудился. Но это был третий инфаркт, и через час его не стало. На похоронах было много людей: и старых друзей, и историков.

Конечно, многое в том, что писал мой отец, принадлежало своему времени. Но в нем не было «двоемыслия»: он всегда писал то, что думал. Избегал он (за редкими исключениями вроде «брошюры») и конъюнктурности. Старался он и не быть догматиком, отдавая должное и людям, далеким по взглядам, начиная от М. П. Богаевского и кончая Л. П. Карсавиным, и стремясь к объективности.

А времена меняются, и то, что кажется незыблемым в одну эпоху, может совсем иначе выглядеть в другую. Среди черновых текстов отца помню один, который не был опубликован и который позднее, видимо, был выброшен в связи с изменением структуры его романа; во всяком случае, после смерти автора он не обнаружился. Одна из сюжетных линий была связана с Киевом, где в университете должен был учиться его герой Степан Васильевич (его реальный прототип как будто там не был). Когда я в детстве был с отцом в Киеве, мы ходили по его улицам, изучая топографию города. Потом все оказалось излишним: киевские сцены значительно сократились, а университет выпал совсем. Но одна из уже написанных глав представляла собой лекцию профессора Киевского университета И. В. Лучицкого «На пороге нового столетия». Профессор был реальный (один из персонажей «Очерков по истории исторической науки в СССР»), но лекция целиком вымышлена. Придумана она на основе высказываний Лучицкого в печатных работах и, возможно, воспоминаний об

уроках близкого ему по идеям Богаевского. И либеральный профессор (чьи работы по истории отец оценивал достаточно высоко) у него говорил о прогрессе и свободе личности; с ними не все бывало хорошо в прошлом, но сейчас они общепризнанны и в новом столетии они обязательно восторжествуют. В 1955 г. отцу казалось, что либеральные, кадетские идеи начала века были далеким прошлым, опровергнутым жизнью. Согласно роману, Степан и другие студенты, до того любившие Лучицкого, остались лекцией разочарованы, поскольку они чувствовали приближение революции, а он нет. И вот в самом начале уже XXI в. я оказался на юбилее известного историка, который, ничего не зная об этом утраченном тексте, взялся уже в реальности прочесть доклад на такую же тему. Речь шла, разумеется, уже о новом XXI, а не XX столетии, но автор (в прошлом коммунист, друживший с моими родителями) повторял примерно те же идеи, что Лучицкий у отца. Добавились лишь обличение тоталитаризма и сожаление о том, что и в XX веке свобода в мире окончательно не восторжествовала, но зато конец века внушает надежды на новое столетие. Известный образ истории (включая историю науки), движущейся по спирали, хорошо подтверждается: идеи столетней давности снова популярны, а то, что в середине XX в. казалось моему отцу очевидным, отвергнуто научным истеблишментом. А как будут полагать историки в середине XXI в.?

Вот такая сложная судьба, в которой много было тяжелого и горького, а потом жизнь наладилась. По не зависящим от него обстоятельствам Михаил Антонович Алпатов пришел в науку поздно. И все же он прошел путь от крестьянина (казака) до ученого и писателя, реализовав свои способности.

А мне в наследство от отца достались постоянное желание писать (пусть уже не пером, как он, а сначала на пишущей машинке, теперь на компьютере) и интерес к живому человеку в истории науки. Вот и стал я вместо морфем и граммем, с которых начинал, заниматься то историографией лингвистики, то документальным жанром литературы. Хорошо это или плохо, не знаю, но тянет.

О матери
(З. В. Удальцова)

Моя мать Зинаида Владимировна Удальцова родилась 5 марта 1918 г. в Кисловодске в семье местного землевладельца Владимира Амвросьевича Мыльцына и его жены Марианны Дмитриевны, урожденной Абрамовой.

Оба ее деда выбились «из простых» наверх. Дед по отцу Амвросий Николаевич Мыльцын происходил из мещан города Царицына (ныне Волгоград), начинал чуть ли не бурлаком, затем стал лесопромышленником. Ему принадлежали большой лесопильный завод в Царицыне и несколько домов, вел он также дела по сплаву леса по всей Волге. Его дело унаследовал старший сын, а Владимира Амвросьевича, единственного в семье, решили учить. В 1910 г. он окончил юридический факультет Московского университета. Однако юриспруденция его не увлекла, и он быстро

перестал работать по полученной в университете профессии, а впоследствии не пытался к ней вернуться. Его интересы лежали совсем в другом. После женитьбы и рождения старшей дочери Ирины он решил обзавестись собственным хозяйством. Незадолго до революции он купил большой земельный участок на окраине Кисловодска, возле станции Минутка, завел породистых лошадей, племенных коров, кур и начал хозяйствовать.

Дед с материнской стороны Дмитрий Николаевич Абрамов, родом из крестьян Кирилловского уезда Новгородской губернии (теперь Вологодская область), перешел затем в мещанское сословие, смолоду начал работать в Волжско-Камском банке, служил в его отделениях в разных поволжских городах и завершил карьеру управляющим отделения банка в Вятке, там родилась Марианна Дмитриевна. В семье было пять дочерей и два сына (еще трое детей умерли в детстве). Абрамовы были культурной семьей, две старшие дочери учились в Сорбонне, а дочь Зинаида, по мужу Клобукова (в ее честь назвали племянницу) была скульптором, ученицей А. С. Голубкиной, и основала в Вятке первую художественную школу. Сама Марианна Дмитриевна окончила лишь гимназию и почти никогда не работала, но любила музицировать и хорошо играла на рояле и пела, даже партию Кармен в домашнем исполнении.

К моменту рождения Зинаиды Владимировны хозяйство на Минутке еще существовало, но вскоре началась гражданская война. Власть много раз менялась, отца однажды чуть не расстреляли, но в итоге вся семья осталась жива, потеряв большую часть хозяйства. Сохранилась одна корова, спасавшая детей в трудные годы. Семья переехала в другой дом, поменьше, в самом Кисловодске, где жила до 1929 г. Жили сдачей жилья интеллигентным курортникам: в доме на Тургеневской улице снимали комнаты В. И. Качалов, В. В. Вересаев, Ю. Н. Тынянов, академик П. Н. Сакулин.

Нельзя не отметить совпадение: Зинаида Владимировна родилась в том же году, в том же городе и в семье того же социального слоя, что А. И. Солженицын (семьи знакомы не были). Но судьбы их сложились совершенно по-разному.

В 1929 г. в Кисловодске началось преследование домовладельцев. Семья сначала лишилась дома, через год появилась опасность ареста. Владимир Амвросьевич уехал в Сталинград к матери, туда же отправилась старшая дочь, окончившая школу. Вскоре Марианну Дмитриевну предупредил знакомый: она в списках на арест и следующей ночью за ней должны прийти. Пришлось немедленно уехать в Москву к сестре-скульптору. Зина, которой было двенадцать лет, осталась в

Кисловодске одна в съемной комнате на целый год, правда, под присмотром тетки Галины Дмитриевны (после Сорбонны она просвещала карачаевцев) и бабушки. Уже тогда ей пришлось учиться быть самостоятельной. Через год, летом 1931 г., и она уехала в Москву, где собралась вся семья; с тех пор она всегда жила там, исключая период эвакуации. В большом городе нетрудно было затеряться, и в итоге репрессии не коснулись никого из Мыльцыных.

Семья жила в те годы в проходной комнате большой коммунальной квартиры в Выползовом переулке (теперь на месте этого дома дворец «Олимпийский»). Затем в 1936 г. отцу удалось выхлопотать небольшую двухкомнатную квартиру возле зоопарка, на Конюшковской улице. Отец работал мелким служащим, мать вела хозяйство, дочери учились (Ирина Владимировна окончила Пединститут имени Ленина и впоследствии более тридцати лет преподавала русскую литературу на факультете журналистики МГУ). Жилось трудно, но весело. Одно время Зина, тогда еще школьница, увлеклась балетом и занималась у знаменитого К. Я. Голейзовского. Но скоро она поняла, что великой балерины из нее не выйдет, хотя с Голейзовским завязались многолетние отношения, был даже момент (перед самой войной, после ее развода), когда Касьян Ярославич хотел жениться на ней, бросив жену и маленького сына (сохранилось письмо), но это не осуществилось. Потом, на моей памяти, они продолжали дружить, уже мирно и спокойно, до самой его смерти.

В 1935 г. Зина вместе со школьной подругой Ириной Кругликовой (1917–2008, впоследствии археолог, доктор исторических наук) решили поступать на исторический факультет МГУ, воссозданный лишь за год до этого, обе поступили. Выбор профессии был сделан раз и навсегда.

Вскоре жизнь круто изменилась. Уже на втором курсе студентка в восемнадцать лет вышла замуж за своего сокурсника Ивана Удальцова. Первый брак не оказался прочным (хотя фамилия сохранилась на всю жизнь), но значительным для Зинаиды Владимировны оказалось влияние среды, в которой она оказалась, резко отличавшейся от того, к чему она привыкла. Ее муж был сыном старого коммуниста Ивана Дмитриевича Удальцова (до сих пор в Москве есть улица, названная в его честь), недолго бывшего ректором МГУ. Свекор был ярким, интересным человеком, как и его жена, Маргарита Мануиловна. Уровень жизни и круг знакомств были совершенно иными по сравнению с Выползовым переулком. Три лета подряд Удальцовы, включая Зину, отдыхали в Теберде, где одновременно с ними бывали С. С. Прокофьев, Л. Д. Ландау. Но в этой семье пришлось

пережить и 1937 г. Не раз к привилегированному дому на улице Усачева по ночам подъезжали машины, Иван Дмитриевич жег бумаги. Но и тут обошлось: Удальцовы оказались среди той части жильцов дома, которая уцелела. После развода Зинаида Владимировна продолжала дружить с Иваном Дмитриевичем и Маргаритой Мануиловной до конца их жизни.

Влияние Ивана Дмитриевича и его брата, историка Александра Дмитриевича Удальцова оказалось значительным: до университета девушка даже не состояла в комсомоле, но на факультете скоро стала активной общественницей. Позже, в 1945 г. И. Д. Удальцов, тогда уже не родственник, дал ей рекомендацию в члены партии.

Но, прежде всего Зина старательно училась, в дипломе у нее были всего две четверки, каждую из которых она долго переживала. В те годы на факультете было много хороших преподавателей, но выбор главного Учителя произошел сразу и окончательно: это был будущий академик Евгений Алексеевич Косминский, заведовавший кафедрой истории средних веков (которую спустя много лет возглавит сама Зинаида Владимировна). Студентка занималась в его семинаре. Но чем она будет дальше заниматься, еще не было ясно.

Выбор подсказал незадолго до окончания университета А. Д. Удальцов. Как-то он сказал: «Сейчас перспективны те области истории, которые нужно создавать заново и которые пока не охвачены специалистами». Племяннику он посоветовал заняться историей славян (впоследствии он стал директором Института славяноведения АН СССР), а его жене – историей Византии. Идея понравилась, темой диплома стало снабжение Константинополя хлебом при Юстиниане. Руководителем был Косминский, специалист по Западной Европе: византинистов на факультете тогда не было.

Как известно, русское дореволюционное византиноведение было очень сильным и одним из ведущих в мире. Но оно (как и славистика) было особенно тесно связано с официальной царской политикой, среди византинистов и славистов преобладали ученые консервативной ориентации, почти не было людей с левыми взглядами и тем более марксистов; кроме того, византиноведение в России традиционно имело религиозно-православную окраску, большое место в нем занимала история церкви. Поэтому после революции, когда началась борьба за новую науку, эта дисциплина оказалась в особо тяжелом положении. Старое византиноведение в 20-е гг. как-то спасал авторитет его многолетнего лидера академика Ф. И. Успенского, но после его смерти в 1928 г. ситуация резко ухудшилась. Одни умерли,

другие еще раньше эмигрировали, третьи стали жертвами репрессий, как В. Н. Бенешевич и Ф. И. Шмит. Новые же кадры долго не появлялись. В 30-е гг. многие считали, что вообще Византия – не та тема, которой стоит заниматься историку-марксисту, что она далека от нас и «неактуальна». В первой половине 30-х гг. византиноведения в СССР почти не существовало, кроме изучения византийского искусства, где с 20-х гг. работал В. Н. Лазарев. Лишь к концу десятилетия появились первые советские византинисты, причем в Ленинграде раньше, чем в Москве. З. В. Удальцова еще студенткой ездила на преддипломную практику в Ленинград к одной из первых византинистов новой, марксистской формации, Елене Эммануиловне Липшиц. С тех пор они с Липшиц находились в научном контакте почти полвека (Елена Эммануиловна была старше, но пережила Зинаиду Владимировну), хотя их отношения бывали достаточно сложными.

В 1940 г. З. В. Удальцова окончила МГУ и была оставлена в аспирантуре у Е. А. Косминского. Через год началась война, семья (кроме отца, отказавшегося выезжать из Москвы и ставшего комендантом бомбоубежища на Конюшковской) уехала в Бугуруслан Чкаловской (ныне Оренбургской) области. Там обе сестры преподавали в местном учительском институте, а затем и в эвакуированном в этот город из Кишинева Молдавском педагогическом институте. В Бугуруслане Зинаида Владимировна испытала ряд неприятностей (см. очерк «Человек в трех зеркалах»), но там она встретила будущего моего отца Михаила Антоновича Алпатова, об этой встрече рассказано в предыдущем очерке. После возвращения в Москву они поженились и не расставались до смерти Михаила Антоновича в 1980 г.

В июле 1943 г. Зинаида Владимировна вернулась в Москву и восстановилась в аспирантуре, одновременно она несла разные, как тогда говорили, общественные нагрузки, в том числе была секретарем приемной комиссии первого набора тогда только формировавшегося МГИМО, как раз в это время она вступала в партию. С 1944 г. параллельно с написанием диссертации она начала преподавать в Высшей партийной школе. А в апреле 1945 г., через несколько дней после завершения текста диссертации у нее родился сын, то есть я. Пока она была в родильном доме, ее муж занимался перепечаткой диссертации у машинисток и раздачей экземпляров рецензентам. В июне она уже принимала сессию, а в октябре защищала диссертацию, уехав в перерыве заседания кормить и опоздав из-за этого к объявлению результатов голосования. Домашний быт не был никогда ее стихией. К счастью, ей много помогали родители, особенно отец.

Владимир Амвросьевич к тому времени оставил работу (в Москве он так ничего не нашел, что было бы ему по душе) и целиком занялся домом и внуком. Так было в годы, когда семья жила на Конюшковской, но и потом, когда в 1952 г. мои родители и я переехали в новый дом на 2 Песчаную улицу, он много помогал.

Кандидатская диссертация Зинаиды Владимировны была посвящена видному политическому и культурному деятелю Византии XV в. Виссариону Никейскому. Тема была подсказана Косминским, но она вполне соответствовала склонностям аспирантки. Зинаида Владимировна, безусловно, любила Византию, но с детства и юности всем сердцем восприняла определенные каноны своей эпохи, причем был пункт, в котором и старая русская разночинная интеллигенция, и идейные коммунисты вроде братьев Удальцовых сходились по взглядам: они все глубоко почитали античность и Возрождение, недолюбливая «мрачное средневековье». Ее отец был верующим человеком, всю жизнь ходил в церковь (десятки лет он вел домашнюю книгу расходов, где было зашифрованное обозначение «мой расход»), но мать, тетки и большинство их знакомых либо не интересовались религией, либо, как скульптор Зинаида Дмитриевна, были атеистами; Удальцовы, разумеется, были атеистами тоже. Видимо, поэтому мать в истории Византии интересовали, прежде всего, начало, когда античные традиции еще не умерли, и конец, когда в гибнущую империю начали проникать идеи западного гуманизма. А Виссарион был вождем западной, протогуманистической партии в период, когда империя гибла под натиском турок.

В кандидатской диссертации подробно была рассмотрена борьба партий в Византии в последние десятилетия ее существования. Этих партий было три: традиционно-православная, туркофильская и западная. И в эту борьбу диссертантка вкладывала свои чувства. Сторонники турок казались ей предателями, но ее не меньше раздражали исихасты и другие ревнители православной веры. Она говорила и тогда, и позже, что реакционеры, отрицавшие светскую культуру, ей противны. Симпатии молодой исследовательницы склонялись в сторону западников, связанных с культурой Возрождения. А в те годы и борьба партий пятисотлетней давности могла восприниматься как нечто политически актуальное. В этом смысле тема была скользкой: не только сторонники турок, но и Виссарион мог восприниматься как предатель своего народа: он перешел в католичество и кончил жизнь кардиналом. И появляется работа с симпатией к нему, да еще как раз тогда, когда советская власть смягчила свое отношение к православию,

но с Ватиканом достигло апогея жесткое противостояние. На историческом факультете МГУ к диссертантке, считавшейся одной из первых красавиц, относились хорошо, и защита прошла блестяще. Вскоре в первом номере нового журнала «Советская женщина» появился репортаж «Молодой историк», где его героиня показывалась на фотографиях и на трибуне диссертационного совета, и дома с грудным сыном (первое мое упоминание в печати). Но уже после этого ситуация чуть не осложнилась. Некий Вишневский, не раз писавший в инстанции «сигналы» с разоблачениями, написал в ЦК о том, что в МГУ защищена диссертация, в которой прославляется предатель и агент Ватикана. Пришлось ходить «наверх» объясняться, обошлось.

На основе диссертации были опубликованы две статьи в только что возобновившемся «Византийском временнике». Это были первые публикации молодого историка. И когда уже в наши дни византинисты решили издать нечто вроде дайджеста «Византийского временника» за столетие его существования, в котором каждый из заметных его авторов представлялся только одним сочинением, из всего множества публикаций Зинаиды Владимировны за сорок лет выбрали именно одну из ее самых ранних статей по кандидатской диссертации. Видимо, ее посчитали в наименьшей степени устаревшей.

И позже ее как историка тянуло, прежде всего, не в самые «типично византийские» эпохи и сюжеты. Все ее более или менее конкретные по тематике работы (не говорю сейчас об обобщающих и историографических сочинениях) посвящены либо самому концу византийской истории (кандидатская диссертация), либо ее самому началу (две наиболее крупные монографии). У нее было личное отношение к своим героям, которых она нередко воспринимала как живых людей. Любимой ее эпохой была эпоха Юстиниана (VI в.), когда Византия более всего походила на впечатлявшую ее Римскую империю. Ее привлекали «последние римляне», пытавшиеся отстоять гибнувшую античную культуру, и провозвестники новой культуры вроде Виссариона. А монахи и мистики, споры по поводу догматов и обрядов ей были чужды. Безусловно, она более тяготела к западной культуре, не всегда осознанно. Лишь в 70–80-е гг., когда западничество стало сопрягаться с антисоветизмом, ее взгляды начали меняться. И еще один аспект византийской истории ее задевал лично: роль женщин. Она симпатизировала жене Юстиниана императрице Феодоре, несмотря на известные ее неприятные качества: Феодора была сильной женщиной и играла большую роль в управлении государством. Другой ее любимой героиней была

поэтесса Касия, с чувством достоинства ответившая императору, собиравшемуся на ней жениться, и не ставшая из-за этого императрицей. Ей самой приходилось не раз ощущать, что женщине пробиваться в карьере бывает труднее.

До 1948 г. Зинаида Владимировна продолжала работать в Высшей партийной школе и по совместительству в МГУ старшим преподавателем, а затем доцентом. В 1948 г. она перешла из Высшей партийной школы на постоянную работу в Академию наук. После короткого пребывания в Институте славяноведения она с начала 1949 г. пришла в академический Институт истории, с которым (с двухлетним перерывом в 1968–1970) была связана вся дальнейшая ее жизнь. Параллельно она преподавала на кафедре истории средних веков МГУ. Первоначально в академии она работала младшим, а с 1952 г. старшим научным сотрудником в секторе истории средних веков. Пришла она туда, еще когда сектором заведовал Е. А. Косминский, к тому времени академик, всегда хорошо к ней относившийся, но в 1952 г. он был вынужден покинуть свой пост (еще раньше он был отстранен от руководства кафедрой МГУ). Сектор и кафедру возглавила Н. А. Сидорова, деятельность которой сейчас часто оценивают отрицательно в связи с тем, что она активно проводила партийную линию в науке (ее в одной публикации назвали «Сталиным в юбке»). Но конфликт ее с Зинаидой Владимировной не имел идеологического характера: две энергичные и довольно молодые женщины не могли ужиться. Их отношения быстро испортились, и конфликты вспыхивали постоянно. С конца 40-х гг. Зинаида Владимировна также вела основную работу по изданию «Византийского временника». Этот главный печатный орган русской византинистики, перестав выходить после смерти Ф. И. Успенского, был возобновлен сразу после войны. Его официальным главным редактором стал Е. А. Косминский, но (после короткого периода, в который журнал делал Б. Т. Горянов) он фактически передал его своей ученице, исполнявшей должности ответственного секретаря, затем заместителя главного редактора. Участвовала она и в коллективных работах: писала главы по Византии в вузовском учебнике истории средних веков и в многотомной «Всемирной истории». В эти же годы у Зинаиды Владимировны появляются первые ученики, среди которых выделялся Г. Г. Литаврин, впоследствии академик.

Но стоял вопрос о тематике новых работ. После диссертации некоторое время Зинаида Владимировна продолжала изучение Византии XV в., но постепенно ее все более начинал интересовать ранний период византийской истории. Она поступила в докторантуру. В это время ее вызвали на Старую площадь и

предложили как молодой коммунистке написать докторскую диссертацию на тему «Комсомол в Великой Отечественной войне». Она решительно отказалась и не без труда добилась утверждения темы по Византии.

Однако окончательная тема докторской диссертации пришла не сразу. В начале 50-х гг. Зинаида Владимировна еще полностью разделяла догмы тогдашней советской науки, среди которых был тезис о «революции рабов, с грохотом опрокинувших Рим», как однажды выразился И. В. Сталин. Ей показался интересным подход, с которым выступил историк А. Д. Дмитрев (коллега моего отца в Сталинграде), в своей докторской диссертации рассматривавший «революцию рабов» в разных частях Западной Римской Империи и сравнивавший ее ход по регионам. Ей захотелось сделать то же для Византии. Начался сбор материала по византийским провинциям, более всего материала нашлось по Италии, которая при Юстиниане на некоторое время вошла в состав Византии. Но концепция «революции рабов» никак не находила на этом материале подтверждения, появились сомнения. Тут умер Сталин, сразу начались дискуссии, в ходе которых от «революции рабов» отказались. Что было делать с частично собранным материалом? Постепенно сформировалось решение заняться темой, менее глобальной, но более рациональной: анализом экономических и политических отношений в Италии VI в. и взаимоотношений между Италией и Византией. Результатом стала большая книга «Италия и Византия», обозначенная на титуле 1959 г., но реально вышедшая в феврале 1960 г., а в мае того же года защищенная в качестве докторской диссертации (оппоненты С. Д. Сказкин, А. И. Неусыхин, М. Я. Сюзюмов).

К этому времени Зинаида Владимировна уже несколько лет работала в созданном ею секторе византиноведения. Ее отношения с Сидоровой накалились до предела (но когда Нина Александровна внезапно умерла в 1961 г., мать искренне ее жалела). Обе стороны понимали, что лучший выход – разойтись. Но, разумеется, для создания сектора имелись, прежде всего, важные научные причины: в Москве уже появилась целая группа молодых византиноведов. Среди них были Г. Г. Литаврин, К. А. Осипова, Р. А. Наследова, несколько позже З. Г. Самодурова и К. В. Хвостова. Особо надо отметить А. П. Каждана. Этому значительному ученому долго не везло: после аспирантуры и защиты диссертации ему (это были времена «борьбы с космополитизмом») отказали в работе в Москве, и он уехал в Тулу. Потом пришлось уехать и оттуда: его уволили за высказывание на политсеминаре:

«“Краткий курс” – пособие для домохозяек, читать надо первоисточники». Александр Петрович устроился лишь в Великих Луках. При организации сектора разрешили взять одного способного человека с периферии. Зинаида Владимировна колебалась между Кажданом и Карышковским из Одессы, но предпочла в итоге Каждана, он показался перспективнее.

Для организации в 1955 г. сектора Зинаида Владимировна использовала авторитет Е. А. Косминского, к тому времени по состоянию здоровья мало функционировавшего. Он согласился считаться заведующим новым сектором, который иначе бы не утвердили, поскольку он целиком состоял из молодежи, еще не имевшей докторских степеней. После смерти Косминского в 1959 г. Удальцова стала исполняющей обязанности заведующего, а после утверждения ее докторской диссертации ВАКом в 1961 г. – заведующим. Сектор стал центром московского, а во многом и всесоюзного византиноведения, сложилась научная школа.

1955 г. для Зинаиды Владимировны стал годом и других событий. Одно было трагическим: не стало Марианны Дмитриевны, перед тем долго болевшей. Но это был и год первой поездки за границу для участия в Международном конгрессе византинистов в Стамбуле. Тогда такая поездка казалась еще чем-то чрезвычайным. В деревне на Днепре, где родители со мной проводили отпуск, ее нашли телеграммой и предписали срочно возвращаться в Москву, хотя до отъезда на конгресс оставалось еще более месяца. Все последующее время шли инструктажи, утверждения текстов докладов и пр. Но окончательного разрешения ЦК все не было, хотя пора была выезжать. Делегация (В. Н. Лазарев, Д. В. Сарабьянов, З. В. Удальцова) уже решила, что поездки не будет. Потом вдруг позвонили и сказали, что нужно лететь. А дорога была сложной: тогда не было прямого сообщения с Турцией и требовались две пересадки в Праге и Париже. В результате делегация опоздала на открытие конгресса и приехала лишь на второй его день. Потом еще не раз судьба поездок, в которых участвовала Зинаида Владимировна, решалась в конце дня, предшествовавшего отъезду; впрочем, всегда итог оказывался положительным, но с большой нервотрепкой. Лишь к 70-м гг. в этом смысле стало проще.

В 1955 г. еще не закончился самый острый период «холодной войны», и обстановка была напряженной. Во время поездки по Турции ночью кто-то ломился в номер, Зинаиде Владимировне и переводчице пришлось забаррикадироваться, на обратном пути пропал багаж, нашедшийся лишь через три недели. В Стамбул делегация попала спустя несколько дней после жестокого

погрома, организованного турками против греков. Страшное впечатление произвело посещение храма византийской постройки, где валялись разбитые иконы, а настоятель был весь забинтован.

Но на самом конгрессе все было по-иному. В большинстве византинисты были настроены к советской делегации доброжелательно. В. Н. Лазарева заочно знали как крупного искусствоведа, а Зинаида Владимировна оказалась приятным сюрпризом. Молодая привлекательная женщина, умевшая вести светскую беседу по-французски, не вписывалась в западные представления о застегнутых на все пуговицы советских людях. Она обижалась только на то, что ее все время называли «мадемуазель Удальцова». Женщины среди западных византинистов тогда уже были, но все еще считалось, что наука и семья несовместимы, и в науку шли старые девы. Зинаида Владимировна пыталась доказать, что у нее есть муж и сын, но ей не верили, считая это пропагандой. Она жалела, что не захватила мои фотографии.

Но и другая сторона меняла свои представления. Удальцова долго верила не только в «революцию рабов», но и в превосходство советской науки, вооруженной правильным методом, над «буржуазной» наукой Запада. А в Стамбуле она увидела интересных людей, много знающих и часто более образованных, особенно по части языков и источников. А. Грегуар, А. Пиганьоль и другие «буржуазные ученые» оказались очень приветливы. Особенно теплые отношения у нее установились с Георгием Александровичем Острогорским, русским эмигрантом, жившим в Югославии. Потом он не раз приезжал на родину, бывал у нас дома, была и она у него в Белграде, и дружеские контакты у них продолжались более двадцати лет, до его смерти.

И с тех пор Удальцова прочно свыклась с представлением о том, что есть мировая наука о Византии, а советское византиноведение – ее часть. Но это не значило, что она смотрела на западную науку снизу вверх. Наоборот, она всегда оставалась марксистом и считала, что этот подход наиболее плодотворен. Для нее, особенно в 50–60-е гг., казалось неприемлемым исходить из «филиации идей», как она иронически говорила. Она твердо была убеждена, что не идеи правят миром, а экономика, поэтому надо заниматься социально-экономической историей; здесь она сходилась со своими сотрудниками, включая А. П. Каждана, которого признали за рубежом именно как специалиста в этой области.

А основания гордиться советским византиноведением у

Зинаиды Владимировны были. Помимо сотрудников сектора, из которых особенно выделялись А. П. Каждан (вскоре после Удальцовой также ставший доктором наук) и Г. Г. Литаврин, активно работали ленинградские историки: Е. Э. Липшиц, Е. Ч. Скржинская, Г. Л. Курбатов, Н. В. Пигулевская. С Курбатовым и Скржинской отношения были добрыми, с Пигулевской и особенно Липшиц – не очень, но все делали общее дело, постоянно публикуясь в «Византийском временнике». В Свердловском университете с 40-х гг. работал ученый старшего поколения М. Я. Сюзюмов, последний из непосредственных учеников дореволюционных византинистов. Он опубликовал очень яркую работу в 1916 г., а потом ни разу не издавался до 1940 г. В Свердловске благодаря его энтузиазму сложилась целая школа византинистов.

К началу 60-х гг. византинистика у нас уже была столь развита, что можно было приступить к написанию трехтомной «Истории Византии». И тогда, и позже до конца советской эпохи у нас очень большое значение придавалось таким обобщающим трудам. Мать пробивала работу наверху, распределяла обязанности и написание глав книги, координировала всю деятельность авторов, хотя, безусловно, роль А. П. Каждана и Г. Г. Литаврина также была очень значительной. Трехтомник вышел в 1967–1968 гг.

60-е гг. были, пожалуй, расцветом активности Зинаиды Владимировны. Она много писала, имея талант писать легко и быстро (чем отличалась от моего отца), много занималась и организаторской деятельностью. Она любила ездить по стране и за границу (этим тоже отличалась от отца), часто совмещая деловые обязанности с познанием мира. Однажды она оказалась одна на несколько дней в Риме, пошла в туристическое бюро и на все деньги, что у нее были, купила с десяток экскурсий по городу с французским языком и ездила с утра до вечера. «Правила поведения советских граждан за рубежом» такое поведение не то что совсем запрещали, но не рекомендовали, но она не обращала на это внимание. А однажды вместе со мной она поехала в Теберду по местам воспоминаний юности. Ей сразу захотелось повторить подвиги студенческих лет, она попыталась забраться с группой туристов на ледник Алибек, но возраст и силы были не те, и с ледника инструктору пришлось ее стаскивать. Все равно инструктор был в восхищении. Азарт в таких поступках у нее был всегда, в конце концов, он ее и погубил.

Под руководством академика Е. М. Жукова в те годы был создан всесоюзный научный совет «Закономерности перехода от одной общественно-политической формации к другой»; там

Удальцова возглавила секцию феодализма и с 1964 г. раз в два года проводила сессии (одну из них я упоминал в связи с М. Ю. Юлдашевым). Там кто-то из участников прислал стихи о «прекрасной даме, которая просит соблюдать регламент». Мать имела репутацию красивой женщины и активно эту репутацию поддерживала, хотя фигура у нее после моего рождения уже была не та, как в годы, когда она занималась балетом. После Стамбула она постоянно участвовала в Международных конгрессах византинистов, а с 1965 г. также и в Международных конгрессах историков. С 1966 г. она уже официально стала главным редактором «Византийского временника». Не раз его пытались закрыть: даже тогда многим византинистика казалась «неактуальным» занятием, но Удальцова обходила все рифы. Продолжала она (после короткого перерыва из-за «борьбы со злостными совместителями», инициированного Н. С. Хрущевым) и преподавание в МГУ, как раз в это время ее студентами, а затем аспирантами были С. П. Карпов и П. И. Жаворонков.

В августе 1970 г. очередной Международный конгресс историков состоялся в Москве. Возглавлявший оргкомитет академик Е. М. Жуков, всегда благоволивший к Зинаиде Владимировне, поручил ей вместе с Е. В. Гутновой (старой ее знакомой по университету и аспирантуре) один из основных докладов. Доклад, в котором давалось типологическое сравнение западноевропейского и византийского феодализма, сделанный Удальцовой в актовом зале МГУ, имел успех, докладчица могла чувствовать себя на вершине славы. Но в ее жизни нередко радости совпадали с несчастьями. В тот же самый день тяжело заболел Владимир Амвросьевич, которому было уже 86 лет, и через месяц скончался. Выполняя его просьбу, Зинаида Владимировна с сестрой заказали сорокоуст и присутствовали на отпевании.

Чуть раньше, в 1968 г. начались реорганизации Института истории, который разделили на две части: Институт истории СССР и Институт всеобщей истории. А Зинаиду Владимировну уговорили со всем сектором перейти в Институт славяноведения, где она уже когда-то работала. Но на новом месте не сложились личные отношения, и через два года сектор вернулся обратно, теперь уже в Институт всеобщей истории, где мать работала затем до последнего дня. В Институте славяноведения остался Г. Г. Литаврин, которому, как когда-то Зинаиде Владимировне, пора было создавать собственный центр. На период работы в Институте славяноведения пришлись завершение и публикация историографической книги Удальцовой «Советское византиноведение за 50 лет» (1969). В книге очень детально

описаны работы по Византии с конца 30-х по конец 60-х гг., то есть марксистского периода, но ранний период, когда работали ученые старой школы, описан очень бегло: у автора не лежала душа к их деятельности, представлявшейся ей сильно устаревшей, а церковная история не была ее сферой. Теперь в нашей историографии приоритеты явно изменились.

Следующая ее книга «Общественно-политическая борьба в ранней Византии» (1974) тоже была в какой-то степени историографической, но речь в ней шла об историках не XX, а IV–VI вв. Снова Зинаида Владимировна обратилась к ранней Византии, но теперь в ином ракурсе: теперь уже в центре внимания была история идей. Первая часть книги была посвящена светским, языческим или лишь поверхностно христианизированным авторам исторических сочинений, вторая – авторам церковных хроник. Безусловно, симпатии Зинаиды Владимировны были на стороне первых, особенно любимых ею Аммиана Марцеллина и Прокопия. В них она видела живых людей, сопереживала им и их героям. Стиль ее всегда был очень эмоционален, она стремилась создавать психологические портреты своих персонажей.

Обстановка в стране и в среде интеллигенции между тем менялась. Мать и отец однозначно отнеслись положительно к снятию Хрущева: очень уж он раздражал некультурностью и страстью к непродуманным реформам. К новым руководителям, особенно к Косыгину, они отнеслись доброжелательно, но постепенно на первый план вышел Брежнев, все более терявший здоровье и не скрывавший свою некомпетентность. Отделом науки ЦК долго руководил старый сослуживец Брежнева С. П. Трапезников, прославившийся тем, что в первом публичном выступлении перед академической аудиторией (на нем была и Удальцова) произнес слово *престиж* с ударением на первом слоге. Многое в том, что шло сверху, раздражало и Зинаиду Владимировну, и Михаила Антоновича, но еще больше их расстраивали все более проявлявшиеся антикоммунистические настроения среди окружавших их интеллигентов. Они мало сталкивались с диссидентами в прямом смысле, но с ближайшими сотрудниками часто было работать все труднее.

Сложными были отношения с А. П. Кажданом, хотя деловое сотрудничество довольно долго сохранялось. Но все более выходили наружу различия в системе ценностей. Однажды в 60-х гг. они вдвоем ездили за рубеж. На обратном пути была остановка в Бресте. Зинаида Владимировна больше недели не знала о том, что происходило на родине, и первым делом кинулась покупать газеты. Прочитав, она дала их Каждану, а тот

их брезгливо отшвырнул: для него советские газеты не имели никакого значения. Мать это обидело. Разница взглядов все более сказывалась на взаимоотношениях, но когда в 1974 г. с Кажданом случился инфаркт, мать ему очень сочувствовала. Однако его эмиграция в 1978 г. (вслед за сыном, уехавшим тремя годами раньше) не стала для нее неожиданностью.

Позже, с 70-х гг. выдвинулся как византинист С. С. Аверинцев, сначала занимавшийся Плутархом. У Зинаиды Владимировны к нему были симпатии: нравились его образованность и преданность древним культурам. Она долго ему покровительствовала и с гордостью говорила: «Я сделала Аверинцева выездным». На нее произвело большое впечатление, как во время поездки в Грецию он в античном амфитеатре в Эпидавре декламировал древнегреческих поэтов. Позже (1980) Удальцова оппонировала на докторской защите Аверинцева. Но две его черты ее разочаровывали. Они однажды вместе ездили в Болгарию, жена Сергея Сергеевича в это время ждала ребенка, и он заходил чуть ли не в каждый храм и молился за то, чтобы все прошло благополучно. Такая степень религиозности была ей просто непонятна. И еще тяжелее она перенесла поступок Аверинцева во время поездки в Париж. Он бросил остальную делегацию и на целый день уехал куда-то к русским эмигрантам. Дело было даже не в том, что это были эмигранты: Острогорский матери нравился. Но тот был гражданином социалистической Югославии, лояльным к своей власти, а тут были люди, известные недоброжелательством к Советскому Союзу. Она искренне не понимала, зачем хорошему ученому надо общаться с такими людьми.

Отношение матери к еще остававшимся представителям старой русской интеллигенции было гораздо лучше, чем к западникам. Она ценила в них и культуру, и патриотизм, и, вероятно, сходство с интеллигентами, памятными ей по временам Кисловодска. С юности она дружила с Дмитрием Павловичем Каллистовым, ленинградским античником. А Каллистов побывал до того и на Соловках, о чем ей рассказывал, позже он стал одним из основных источников информации по данной теме для «Архипелага ГУЛАГ». Взгляды не мешали ей сочувствовать судьбе Дмитрия Павловича. Их дружба длилась более тридцати лет, а когда он в 1973 г. долго и тяжело умирал от мозговой опухоли, она очень была расстроена, а потом специально ездила в Ленинград на похороны. Уже с 60-х у нее установились хорошие отношения с Д. С. Лихачевым. Зинаида Владимировна из симпатий к нему постоянно покровительствовала его дочери Вере Дмитриевне, занимавшейся византийским искусством,

трагически погибшей в 1981 г. Сохранились интересные и очень откровенные письма Дмитрия Сергеевича к Зинаиде Владимировне и Михаилу Антоновичу. Мать понимала, что такие как Каллистов и Лихачев не любят советскую власть. Но она думала, что теперь, когда бури улеглись, как казалось, навсегда, эти люди считали существующую власть меньшим злом по сравнению с Западом и западничеством. Для них (по крайней мере, в то время) все-таки СССР был продолжением «их» России.

Но, безусловно, Зинаида Владимировна оставалась коммунисткой не только по принадлежности в партии, но и по взглядам. Сейчас часто говорят, что все у нас в те годы были заражены «двоемыслием», кроме лишь открытых диссидентов. Предполагается, будто верить в советские идеи не мог никто. Но тут было именно так. Может быть, мать иногда в чем-то и сомневалась, но убеждала в верности линии ЦК не только других, но и себя. Отец, человек с гораздо более сложной судьбой, переживший и Гражданскую войну, и коллективизацию, был здесь полным единомышленником. Это вовсе не значило, что им нравились выверты Хрущева, маразм Брежнева последних лет, бескультурье Трапезникова и прочих начальников. Но они отделяли конкретных людей от идей и институтов. Для Зинаиды Владимировны Отдел науки ЦК, с которым она постоянно сотрудничала, не ассоциировался с его заведующим, не умевшим правильно ставить ударения: это был орган, делавший то, что правильно, по определению, независимо от конкретных личностей. Она верила в то, что ей там говорили, и старалась выполнять получаемые директивы. И представляется, что в этом не было даже чего-то специфически советского: здесь было нечто похожее на американские традиции, согласно которым президент США заслуживает поддержки не за личные качества, которые могут быть всякими, а как представитель института власти.

Не всегда, однако, здесь ее представления и стремления совпадали с реальностью. Неудачей она, например, считала свое «хождение во власть». В 1961 г., Зинаиде Владимировне, только что успешно защитившей докторскую диссертацию, предложили стать депутатом Моссовета. Она согласилась с радостью, ей такая деятельность казалась интересной. Когда она стала депутатом, ее приветил тогдашний московский руководитель Н. И. Егорычев; с делегациями, им возглавляемыми, она ездила в Ленинград, потом в Алма-Ату на празднование 40-летия советской власти в Казахстане, где несколько дней вблизи наблюдала Хрущева. Как бы она критически ни относилась к его личности, это казалось интересным, хотя лидер страны на ее глазах в полной мере показал свою грубость и бесцеремонность.

Но депутатские будни принесли ей разочарование. Сначала Зинаида Владимировна отнеслась к своим обязанностям со всей ответственностью, сидела на своем участке в приемные дни и пыталась выполнять наказы избирателей, одним из которых была просьба об открытии в ее округе общественного туалета. Однако скоро стало понятно, что депутат никакой реальной роли не играет, все решает аппарат райисполкома, который относился к депутатскому корпусу высокомерно, туалет так открыть за два года и не удалось. Под конец срока Зинаида Владимировна уже не старалась ничего сделать, а перед следующими выборами решительно отказалась вновь баллотироваться, хотя сам Егорычев очень просил ее остаться.

Разочарование матери однажды (примерно в это же время) принесло и выступление на партийном активе, то ли городском, то ли районном. Она старалась говорить красиво и эмоционально, как она привыкла выступать на ученых и диссертационных советах, но совсем не академической публике это не понравилось. Ее стали захлопывать, а потом сказали: «Вы выступали, как актриса, а у нас это не годится». Мать обиделась и больше не выступала перед секретарями заводских парткомов. Зато она еще с Бугуруслана любила лекторскую деятельность. Помню, как в конце 1953 г. она по поручению райкома бегала по предприятиям и рассказывала о роли личности в истории (борьба с «культом личности» началась уже тогда, хотя имя Сталина открыто еще не произносилось).

Безусловно, властные органы относились к ней всегда хорошо. Это сыграло роль и в ее избрании членом-корреспондентом АН СССР в декабре 1976 г. (правда, с пятой попытки), и в назначении директором Института всеобщей истории летом 1980 г., после смерти Е. М. Жукова. И тут снова успехи совпадали с несчастьями. Через несколько месяцев после избрания в Академию у Зинаиды Владимировны обнаружилась крайне опасная болезнь, в июне 1977 г. ей сделали тяжелую операцию, исход которой несколько дней был неясен. К счастью, все обошлось. А вскоре после ее назначения директором, в конце 1980 г., скоропостижно скончался Михаил Антонович.

Кроме директорства в институте, на Зинаиде Владимировне лежали и другие обязанности. По совместительству ей почти одновременно с назначением директором пришлось стать заведующей кафедрой средних веков исторического факультета МГУ (после смерти А. И. Данилова). Она возглавляла кафедру несколько лет, а незадолго до смерти передала ее своему любимому ученику С. П. Карпову после защиты им докторской диссертации (он стал на факультете впоследствии и деканом).

Несколько лет она возглавляла Российское палестинское общество, но затем отказалась от него по причинам, сходным с причинами отказа от депутатства. Кроме «Византийского временника», она десять лет была и главным редактором «Вестника древней истории». Под ее редакцией был издан трехтомный труд «История крестьянства в Европе в средние века» (1985), была она и в числе руководителей работы над восьмитомной «Историей Европы», за участие во «Всемирной истории» она в 1987 г. получила Государственную премию СССР. Постоянно она ездила на международные конференции, в том числе на всемирные конгрессы историков (пять раз) и византинистов (восемь раз). В международных кругах византиноведов и медиевистов ее хорошо знали и, насколько я представляю, уважали. Она долго добивалась права провести один из конгрессов византинистов в Москве. Это было не так легко, поскольку требовались две санкции: Отдела науки ЦК и Международного комитета византинистов. На это ушло много сил и времени, несколько раз не получалось. Наконец, на очередном конгрессе в США в 1986 г. было принято решение провести следующий конгресс в Москве. Зинаида Владимировна очень этим гордилась. Решение было реализовано, но уже без нее, возглавлял московский конгресс 1991 г. Г. Г. Литаврин.

В эти годы начинались перемены и в науке, и во всей жизни. Кое-что Зинаида Владимировна понимала и принимала, особенно в сфере самой науки. Еще с конца 70-х гг. она осознала, что происходит сдвиг интересов от социально-экономических вопросов к проблемам культуры. По ее инициативе началась работа над новым трехтомником «История византийской культуры». Частично сохранялся прежний коллектив, пополнившийся С. С. Аверинцевым и другими специалистами нового поколения. Увидеть изданным ей было суждено лишь первый том (1984). Посмертно Зинаида Владимировна получила еще одну Госпремию, теперь уже России, в составе коллектива авторов трехтомника (1995). На основе своих теоретических разделов в «Истории» она еще написала небольшую книгу «Византийская культура», последнюю свою монографию, где дала очерк византийской культуры на протяжении тысячелетия. Зинаида Владимировна успела прочесть лишь корректуру книги, вышла она посмертно в 1988 г.

Но иначе она восприняла общественные перемены. «Перестройка» началась, когда она находилась на вершине своей карьеры, а здоровье и силы уже были не те, что когда-то. Мне кажется, что из-за тогдашних привычек медленно продвигать людей Зинаида Владимировна стала во главе института слишком

поздно. Кроме всего прочего, она стала терять ранее свойственное ей умение меняться вместе со временем.

А перемены оказывались для нее все более непонятными. Ей нравился М. С. Горбачев и тем, что он молод и энергичен, и просто как руководитель «своей» страны и «своей» партии. Представить себе дальнейшее в 1985–1987 гг. мало кто мог. Но Зинаида Владимировна стала ощущать, что реформы выходят за пределы всех многочисленных трансформаций, пережитых ею до того. Она не знала, как все это оценивать. Как-то незадолго до смерти она сказала мне: «Что ж, если для укрепления страны нужно изменить экономику, значит так и надо. Но лишь бы не трогали идеологию!».

Но уже покушались и на идеологию. Заведующий сектором в ее институте Ю. Н. Афанасьев (до этого у них были прекрасные отношения) напечатал, да еще в журнале «Коммунист» статью с резкими оценками всей советской исторической науки. Мать с трудом переживала эту, как ей казалось, неблагодарность. Конфликт с Афанасьевым разрешился его уходом в Историко-архивный институт, вскоре преобразованный им в РГГУ. Совсем незадолго до смерти я застал ее совершенно убитой из-за того, что еще мало известный журнал «Век XX и мир» опубликовал статью М. Я. Гефтера. Они были знакомы со студенческих лет, и их отношения до 60-х гг. были хорошими. Но затем Гефтер стал оппозиционером, и их контакты прервались. Когда же он вышел из КПСС и начал выступать по «голосам», то для нее перестал существовать, она поверила не подтвердившемуся слуху об эмиграции Гефтера. И вдруг его печатают в советском издании! Для Зинаиды Владимировны это выглядело как появление из небытия давно умершего человека. В институте начались собрания с предложениями о реорганизации ученого совета, о расширении прав трудового коллектива за счет дирекции. До прямых нападений «общественности» на директора дело при ее жизни не дошло, но можно было ждать и такого.

За три дня до смерти, в субботу 26 сентября 1987 г. я видел мать последний раз (в 1979 г. она переехала в академический дом на Ленинском проспекте). Она была занята корректурой «Византийской культуры» и академическими делами.

Одним из первых нововведений перестройки в исторической науке стала выборность директоров академических институтов. До Института всеобщей истории очередь еще не дошла, но в одном из соседних институтов, где место оказалось вакантным, шла предвыборная борьба с двумя основными кандидатами. Зинаида Владимировна сказала: «Я буду поддерживать А, хотя у меня с ним сложные отношения. Но конфликты у нас личные, а

не политические. Б я мало знаю, но он для меня неприемлем, поскольку его поддерживают антикоммунисты института». Уже после ее смерти выбрали Б.

Когда я вечером уходил, мать спросила меня, что сегодня по телевизору. Я сказал: «Вечер Жванецкого» (тогда ему впервые разрешили сольный концерт на телевидении, что было для многих сенсацией). К моему удивлению она спросила, кто это. Я рассказал, упомянув, что сейчас он очень знаменит. Зинаида Владимировна вдруг сказала: «А для меня знаменитый человек – не Жванецкий! Для меня знаменитые люди – Михаил Пселл, Виссарион Никейский!». При всей погруженности в административные дела для нее главным была Византия, занятия которой спасали от мрачных мыслей.

Через два дня она уехала в Баку на симпозиум вместе с венгерскими учеными во главе с академиком Пахом, которые тогда были очень любезны и настроены на сотрудничество с Москвой (куда все делось уже через два года?). На другой день, 29 сентября всех повезли на экскурсию по городу. Мать была в хорошем настроении, интересовалась Баку, в котором была впервые, а когда приехали на пляж, вдруг захотела искупаться. В молодости она хорошо плавала, но к тому времени не входила в воду уже лет десять, а то и больше. Тот же азарт, что когда-то в Теберде. В воде ей стало плохо, и она захлебнулась. Ей было 69 лет (столько же лет прожил и ее герой Виссарион Никейский). Тело привезли в Москву. Похоронили Зинаиду Владимировну Удальцову на Ваганьковском кладбище рядом с родителями и мужем, в 1999 г. там положили и ее сестру.

Прошли два десятилетия, идеи, незыблемые для Зинаиды Владимировны, были официально осуждены и отвергнуты. История Византии стала во многом другой, на первый план выдвинулись самые далекие от нее проблемы вроде исихазма и догматики. В печати появлялись нелестные характеристики Удальцовой как «фигуры донельзя официальной». Обвиняли ее помимо приверженности марксизму и занятия высоких должностей и в том, чего никогда не было, вроде выталкивания А. П. Каждана за границу. Но чаще о ней просто умалчивают. Однако из истории отечественного византиноведения выбросить ее нельзя. Как бы ни расходились между собой понимание задач истории у Зинаиды Владимировны и многих нынешних византинистов, но она любила свое дело, активно участвовала в возрождении российской науки о Византии после упадка 30-х гг., а затем в течение четырех десятилетий способствовала ее развитию. Полвека существует созданный ею сектор, продолжает выходить «Византийский временник», который она вела и спасала

много лет. И память о Зинаиде Владимировне сохраняется благодаря ее ученикам, многие из которых и сейчас активно работают. Когда исполнялось 80 и 90 лет со дня ее рождения, С. П. Карпов устраивал в МГУ заседания ее памяти, куда приглашали и меня. Правда, в Институте всеобщей истории ее помянули в 1998 году, а в 2008-м уже нет. Но и сейчас есть благодарные ученики, которые ставят в день ее рождения в храмах свечку.

О матери после ее смерти вспоминали по-разному, но мне больше всего запомнились слова ныне тоже покойного академика Никиты Ильича Толстого, правнука Льва Николаевича: «Зинаида Владимировна была настоящая русская барыня». Мать родом не происходила из дворян, по взглядам с юности и до самого конца была коммунисткой. Но, видимо, что-то в ней было такое, что оценил потомок графского рода.